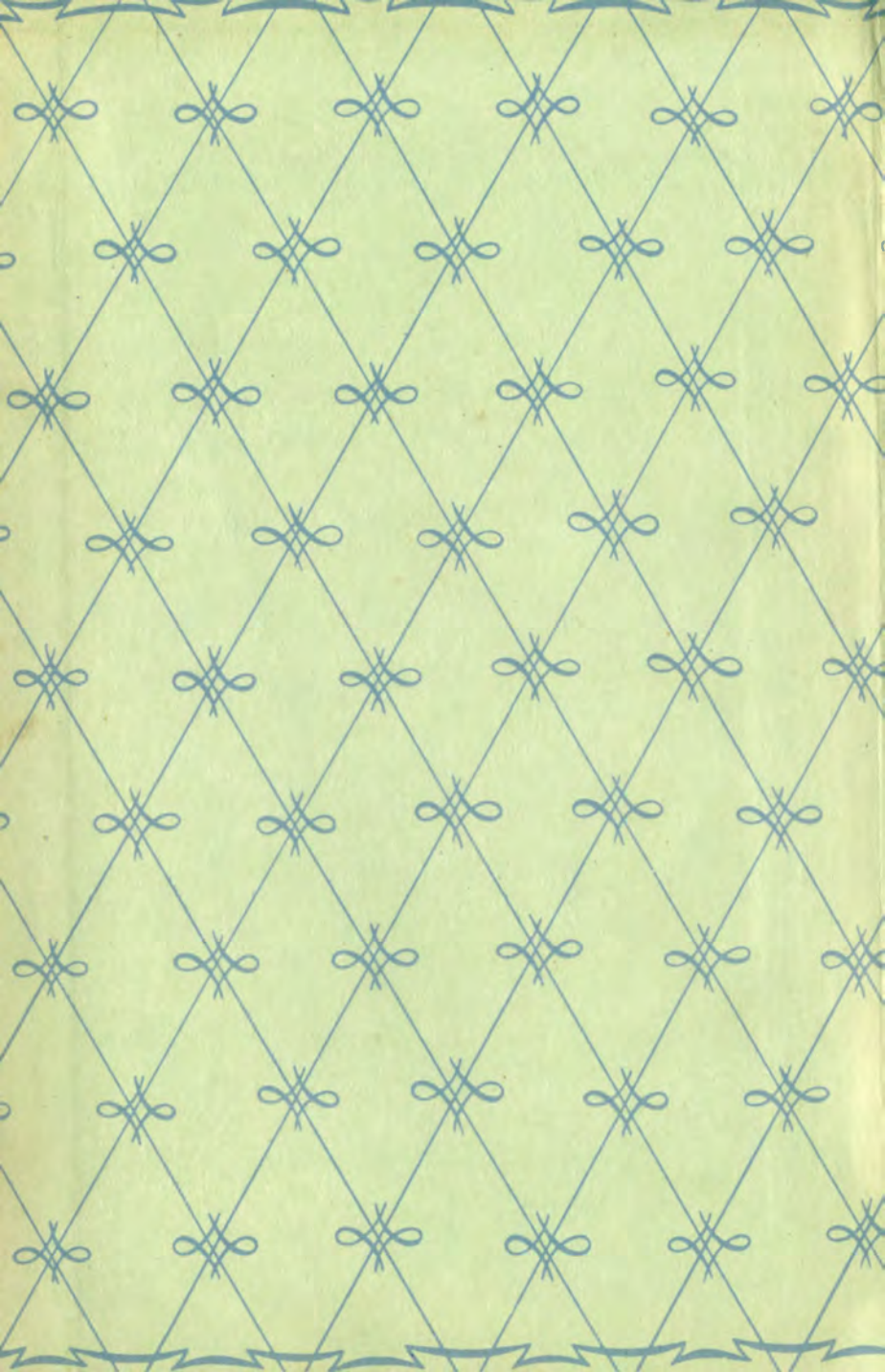




М. Ю.
ЛЕРМОНТОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



М. Ю.
ЛЕРМОНТОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Москва
1964

с е р и я ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, С. И. МАШИНСКОГО,
Ю. Г. ОКСМАНА, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
« ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА »
1 9 6 4

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
« художественная литература »

1 9 6 4

*Составление, подготовка текстов,
вступительная статья и примечания*
М. И. ГИЛЛЕЛЬСОНА и В. А. МАНУЙЛОВА



М. Ю. Лермонтов
Автопортрет. 1837—1838

ЛЕРМОНТОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

I

Воспоминания современников — ценный источник для понимания эпохи и жизни замечательных людей.

Они воссоздают живой образ человека, раскрывают его личность, его характер, свидетельствуют об отношении к нему современников, сообщают подчас неизвестные факты его биографии и тем самым существенно дополняют наши представления о той или иной исторической личности. Правда, мемуары — менее точны, менее достоверны, чем документы, письма и дневники. В них в большей или меньшей степени неизбежен элемент творческого, вольного или невольного, преобразования сохранившихся в памяти эпизодов, не говоря уже о случаях некритического следования мемуариста за уже известными биографическими материалами. Но, уступая в документальной точности дневниковым записям и письмам, воспоминания дают возможность их авторам создавать живые образы великих людей и их окружения, рисовать широкие картины быта, конечно если мемуары написаны людьми с большим кругозором, чуткими и хорошо осведомленными.

Однако таких зорких мемуаристов в литературе о Лермонтове мы почти не знаем, не говоря уже о том, что большая часть воспоминаний о нем написана через много лет после гибели поэта. Николай I и его приближенные, которые с таким ожесточением преследовали Лермонтова при жизни, не примирились с поэтом и после его смерти. До конца царствования Николая I биография Лермонтова была запретной темой в русской печати: если не считать

беглых упоминаний о его жизни и творческих замыслах в статьях Белинского, Межевича и Дружинина, то, по существу, первыми воспоминаниями о Лермонтове явились «Записки» Е. А. Сушковой, напечатанные (да и то частично) только в 1857 году, то есть через два года после смерти Николая I.

Лишь в 1858 году увидели свет мемуары А. М. Меринского, в которых впервые было сказано, что поэт «дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук» и «выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю». При этом Меринский в примечании сослался на статью А. Андреевского «Пятигорск и Кавказские минеральные источники» в «Одесском вестнике» (1841, № 63), где было сообщено о гибели Лермонтова «в 5 часу пополудни», но без указания причины смерти. Эта ссылка была маскировкой, создавалось ложное впечатление, что об убийстве Лермонтова на дуэли уже сообщалось в печати в 1841 году.

Даже когда был снят негласный запрет с упоминания о событиях короткой, но мятежной жизни Лермонтова, — это не означало, что в печати можно было подробно и правдиво говорить о важнейших моментах его биографии. Не случайно А. В. Дружинин, написавший в 1860 году ценную статью о Лермонтове, оставил в рукописи пустые листы, на которых собирался впоследствии поместить рассказ о трагических событиях, сопутствовавших гибели поэта. Однако и в урезанном виде он не смог опубликовать свою работу. А потом она затерялась в его архиве, и была напечатана лишь сто лет спустя.

Многие десятилетия о наиболее важных событиях жизни Лермонтова приходилось говорить намеками и обиняками, о некоторых из них можно было писать лишь за рубежом. Так, первое упоминание об участии Лермонтова в оппозиционном «кружке шестнадцати» появилось в Париже в 1879 году в книге Ксаверия Браницкого, участника этого кружка¹.

Неблагоприятные общественные условия отрицательно сказались на мемуарной литературе о Лермонтове. Понимая невозможность опубликования воспоминаний о поэте, его друзья и знакомые, и среди них самые близкие ему люди, ничего не рассказали о нем в печати. Не оставил воспоминаний самый близкий Лермонтову и самый значительный в его окружении человек — Святослав Афанасьевич Раевский. Даже воспоминания друга детства Акима Павловича Шан-Гирея написаны лишь в 1860 году, без малого спустя два десятилетия после гибели поэта. Некоторые воспоминания

¹ Les Nationalités Slaves. Lettres au révérend P. Gagarin par Xavier Krczak-Branicki. Paris, 1879.

писались еще позднее, в 70-е и 80-е годы. К этому времени множество подробностей забылось, даты сместились, а главное, как уже отмечалось выше, о самых драматических эпизодах из жизни поэта писать надо было все еще с оглядкой на цензуру, прибегая к недомолвкам и иносказаниям.

В некоторых воспоминаниях встречаются неверные, несправедливые суждения о поэте, которые объясняются не только и не столько забывчивостью того или иного мемуариста, сколько характером его личности, его общественно-политической позицией, его отношением к людям и фактам. Поэтому некоторые воспоминания о Лермонтове требуют особой настороженности и критической проверки. Сложную индивидуальность поэта понимали далеко не все современники, так или иначе сталкивавшиеся с ним. Стоит ли удивляться, что они, не сумев проникнуть во внутренний мир поэта, вольно или невольно искажали облик Лермонтова и неверно объясняли его мысли и действия.

Личность мемуариста почти всегда имеет решающее значение при нашей оценке достоверности и объективности его воспоминаний. Вот почему мы стремились сообщить в примечаниях все наиболее существенное из того, что нам известно об авторе тех или иных воспоминаний, охарактеризовать его общественную позицию. Гвардейский офицер А. Ф. Тиран, учившийся с Лермонтовым в юнкерской школе и служивший с ним в лейб-гвардии Гусарском полку, гораздо меньше понял поэта, чем случайный его знакомец, артиллерист К. Х. Мамацев, воевавший вместе с Лермонтовым на Кавказе, или профессор И. Е. Дядьковский, за две-три встречи сумевший правильно оценить широту интересов и редкий ум своего собеседника; И. С. Тургеневу достаточно было два вечера видеть Лермонтова в столичном светском кругу, чтобы создать в своих «Литературных и житейских воспоминаниях» одну из самых ярких портретных характеристик поэта.

Читая мемуары, надо помнить, что достоверность и объективность не одно и то же. Воспоминания, не вызывающие сомнений в своей достоверности, могут быть недостаточно объективны из-за пристрастного отбора материала. В «Заметках о Лермонтове», написанных М. Н. Лонгиновым, литератором консервативного лагеря, отбор фактов произведен явно тенденциозно: сообщив о посещении А. Х. Бенкендорфом дома Е. А. Арсеньевой в 1837 году и об объявлении «высочайшего прощения» поэта, М. Н. Лонгинов не счел нужным отметить ту неблагоприятную роль, которую играл шеф жандармов в других случаях жизни Лермонтова. Трудно поверить, что М. Н. Лонгинов не знал об истинной роли Николая I и Бенкендорфа в жизни и гибели поэта. Знал, отлично знал, но

предпочел умолчать! Политические симпатии мемуариста наложили верноподданнический отпечаток на его воспоминания: М. Н. Лонгинов был достаточно честен, чтобы не измышлять, но не столь честен, чтобы писать всю правду.

Не все события в жизни писателя являются для нас в равной мере интересными и важными. Душевный такт мемуариста, умение распознавать талант, широкий умственный кругозор — вот те качества, которые помогают отделять главное от второстепенного и определяют значительность воспоминаний. Немецкий поэт и переводчик Фридрих Боденштедт, воспоминания которого о Лермонтове высоко оценил еще М. Е. Салтыков-Щедрин, вполне справедливо писал по этому поводу: «Произнося суд над умом, выходящим из ряда обыкновенных, следует брать мерилom не то, что в нем есть общего с толпою, которая стоит ниже его, а то, что отличает его от этой толпы и возвышает над нею».

II

С наибольшей глубиной личность и творческую индивидуальность Лермонтова понял его гениальный современник А. И. Герцен. Он не был лично знаком с поэтом, но он общался с людьми, окружавшими Лермонтова, с жадностью читал каждое новое его произведение, появлявшееся в печати или ходившее в списках по рукам. Сопоставив устные воспоминания друзей о Лермонтове, конгениально восприняв его творчество, Герцен нарисовал психологический портрет поэта на широком фоне России того времени: «...Чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив, — давать вызреть в безмолвном гневe всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову»¹. И далее:

«Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные

¹ А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. VII, изд. АН СССР, М., 1956, стр. 223—224.

этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила»¹.

И вслед за этой глубокой оценкой творчества Лермонтова Герцен с поразительной прозорливостью охарактеризовал личность поэта: «К несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось и другое — он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово»².

Отбросив в сторону все наносное, второстепенное, Герцен вскрыл самые существенные стороны личности Лермонтова.словно полемизируя с будущими недалёковидными мемуаристами, Герцен писал о глубине душевных переживаний поэта, о выстраданной им интеллектуальной смелости; Герцен полностью отверг зарождавшуюся в те годы легенду о Лермонтове «как о балованном отпрыске аристократической семьи».

Мемуарная литература о Лермонтове обогатилась недавно найденной статьей А. В. Дружинина, написанной еще в 1860 году³.

¹ А. И. Герцен, Собр. соч., т. VII, стр. 225.

² Там же, стр. 225—226.

³ «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 630—643 (публикация Э. Г. Герштейн).

В этой статье, источником которой явились беседы Дружинина с близкими поэту людьми, содержится характеристика Лермонтова, полностью совпадающая с герценовской: «Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приятельством, — говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того, чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре»¹.

Как правильно подметил А. В. Дружинин, необходимо было «пробить ледяную оболочку», а это удавалось немногим. Даже Белинский при первом знакомстве не разгадал Лермонтова. Из воспоминаний Н. М. Сатина известно, что их встреча на Кавказе в 1837 году окончилась взаимной неприязнью. Но вот Белинский посещает Лермонтова во время его пребывания под арестом в ордонанс-гаузе в 1840 году, — разговор серьезный и откровенный открывает изумленному взору Белинского богатую натуру Лермонтова. Потрясенный этой встречей, он спешит сообщить В. П. Боткину о своем «открытии» Лермонтова: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий, и могучий дух! как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! <...> Я с ним спорил, и мне отраднее было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговее и смиряюсь в сознании своего ничтожества»².

В этом признании Белинского перед нами как бы воочию встают две исполинские фигуры — фигура «неистового Виссарио-

¹ «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 630.

² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 508—509.

на», безудержного в проявлении своих чувств, и фигура Лермонтова с его «озлобленным взглядом на жизнь», наперекор всему верующего в высокое назначение человека.

Проникнув в «глубокий и могучий дух» Лермонтова, Белинский и Герцен поняли своеобразие его творческой индивидуальности. Они писали, что Лермонтов принадлежит к тем писателям, в произведениях которых явственно ощущается субъективное начало. Они отмечали психологическую близость между Лермонтовым и его героями: «...Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! — восклицал Белинский. — Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцырь, веет его собственным духом, поражает его собственной мощью»¹.

Герцен, рекомендуя немецким читателям произведения Лермонтова, писал: «На немецком языке имеется отличный перевод «Мцыри». Читайте его, чтобы узнать эту пламенную душу, которая рвется из своих оков, которая готова стать диким зверем, змеей, чтобы только быть свободной и жить вдали от людей. Читайте его роман «Герой нашего времени», который напечатан во французском переводе в газете «*Démocratie pacifique*» и который является одним из наиболее поэтических романов в русской литературе. Изучайте по ним этого человека — ибо все это не что иное, как его исповедь, его признания, и какие признания! Какие грызущие душу терзания! Его герой он сам. И как он с ним поступил? Он посылает его на смерть в Персию, подобно тому как Онегин погибает в трясине русской жизни. — Их судьба столь же ужасна, как судьба Пушкина и Лермонтова»².

В свою очередь, Белинский в статье о «Герое нашего времени» создал восторженный апофеоз Печорину — Лермонтову: «Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. <...> Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстанет на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, 1954, стр. 537.

² Цит. по статье: G. Ziegengest. Die Herzen und Turgenyev-Forschung im Institut f. Slavistik d. Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin — Forschungen und Fortschritte, 1957, № 8, S. 251. (Оригинал на нем. яз.)

сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь»¹.

Конечно, было бы наивно полагать, что Белинский и Герцен полностью отождествляли Печорина с Лермонтовым. Но они справедливо считали, что глубина психологической обрисовки Печорина во многом объясняется интеллектуальной и душевной близостью героя и автора. Недаром П. В. Анненков, близко наблюдавший Белинского в эти годы и внимательно следивший за внутренней умственной борьбой критика, писал в своих воспоминаниях: «Памятником усилий Белинского растолковать настроение Лермонтова в наилучшем смысле остался превосходный разбор романа «Герой нашего времени» от 1840 года»². Именно психологическая близость Печорина к Лермонтову и дала возможность Белинскому, объясняя образ Печорина, выявить индивидуальную самобытность и богатую духовную одаренность его творца.

Никто из современников не поднялся до такого глубокого понимания натуры Лермонтова и его творений, как Белинский и Герцен. Но и из отдельных высказываний и воспоминаний многих близких Лермонтову лиц мы можем почерпнуть драгоценные крупинцы, восполняющие наши представления о поэте и его творчестве. Немногие сведения, сохранившиеся в записях С. А. Раевского³, обнаруживают интереснейшие детали творческой лаборатории Лермонтова. С. А. Раевский писал в 1844 году: «Соображения Лермонтова сменялись с необычайною быстротою, и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко, — и я бывал свидетелем, как во время размышлений противника его в шахматной игре Лермонтов писал драматические отрывки, замещающие краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, 1954, стр. 235—236.

² П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 180.

³ Кое-что из ценнейших сведений, которыми располагал С. А. Раевский, успел записать в свое время первый собиратель материалов для биографии Лермонтова, пензенский учитель В. Х. Хохряков, которому стольким обязан П. А. Висковатов и все последующие биографы поэта. См. главу о В. Х. Хохрякове в книге: И. Андронов, Лермонтов. Исследования. Статьи. Рассказы, Пензенское обл. изд-во, 1952, стр. 253—270.

любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т. п.»¹. В письме к А. П. Шан-Тирею С. А. Раевский 8 мая 1860 года сообщал: «Большая половина известной элегии (то есть «Смерть Поэта»), в которой Мишель, после горячего спора в нашей квартире, высказал свой образ мыслей, написана им была без поправок, в несколько минут (Мишель почти всегда писал без поправок)»².

Раскрытию психологической характеристики всегда помогает выразительное описание внешности человека. Сопоставление портретных зарисовок Лермонтова в мемуарной литературе с известной нам прижизненной иконографией поэта убеждает, что современники создают верное представление о наружности Михаила Юрьевича³. Но главная заслуга принадлежит тем мемуаристам, которые сумели, описывая внешний облик поэта, выразить и его внутренний мир.

Живой портрет сначала двенадцатилетнего мальчика, а потом двадцатидвухлетнего офицера запечатлел в своих воспоминаниях художник М. Е. Меликов: «В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны». И дальше характерное профессиональное замечание: «Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз)».

Затем М. Е. Меликов встретился с Лермонтовым летом 1836 года в Царскосельском парке: «Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете

¹ Н. П. Пахомов, Два новых автографа Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 19—21, М. 1935, стр. 506.

² П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М. 1891, Приложения, стр. 22.

³ См. Н. П. Пахомов, Лермонтов в изобразительном искусстве, М. — Л. 1940; М. Ю. Лермонтов в портретах. Ред., вступительная статья и примечания И. С. Зильберштейна, М. 1941; Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, т. II. М. Ю. Лермонтов, М. — Л. 1953.

лет с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла».

Выразительны описания внешности Лермонтова в воспоминаниях П. Ф. Вистенгофа, А. М. Меринского, И. И. Панаева, Е. П. Ростопчиной и др. Но пронизательнее всех охарактеризовал поэта И. С. Тургенев, видевший его всего два раза: «В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых плечах, возбуждала ощущение неприятное, но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» и т. д. — действительно применялись к нему». Портретные характеристики, созданные современниками, всегда изобличали их собственное отношение к Лермонтову.

III

Проследим, как отразился жизненный путь Лермонтова в воспоминаниях современников.

Детство, отрочество и юность, вся жизнь поэта, за исключением его странствий по Кавказу, просто и бесхитростно описаны троюродным братом Михаила Юрьевича А. П. Шан-Гиреем. Некоторые исследователи упрекают Шан-Гирея за то, что он путает подчас даты и не всегда достаточно осведомлен в творческой истории некоторых произведений Лермонтова, даже наиболее значительных. Действительно, Шан-Гирей допустил в своих воспоминаниях ряд досадных фактических ошибок. Он запомнил, что Лермонтов родился в Москве, а не в Тарханах; на год позднее датирует он поступление Лермонтова в Московский университет; по ошибке среди произведений, написанных в Москве, называет поэмы «Боярин Орша» и «Беглец», созданные позднее в Петербурге; неясно представляет себе последовательность редакций «Маскарада» и полагает, что «Арбенин» одна из ранних редакций этой драмы, и т. д. Однако эти весьма существенные события из творческой биографии поэта могут быть воссозданы по рукописям и другим источникам, и не удивительно, что три десятилетия спустя

Шан-Гирей мог кое-что забыть и перепутать в этой части своих мемуаров.

Можно упрекать А. П. Шан-Гирея за недостаточно глубокое понимание «Демона», за недооценку некоторых юношеских произведений поэта, но нельзя отрицать, что во всей мемуарной литературе о Лермонтове нет более полного и психологически верного рассказа о жизни поэта, о его радостях и горестях, о его круге чтения, о трогательной привязанности к бабушке, о верной и горькой любви к В. А. Лопухиной, чем воспоминания его младшего друга. Некоторым дополнением к первой части воспоминаний А. П. Шан-Гирея служат рассказы тарханских старожил, собранные П. К. Шугаевым в его публикации «Из колыбели замечательных людей». Многие стороны противоречивого характера поэта становятся понятными после чтения записей П. К. Шугаева. Тарханские впечатления запомнились Лермонтову на всю жизнь. Его одаренность и повышенная восприимчивость помогли сначала почувствовать, а затем понять и воплотить в своих творениях весь трагизм окружавшего его мира. В юношеских драмах, в незавершенном романе «Вадим», позднее в поэме «Сашка» Лермонтов верно изобразил нравы крепостнической деревни.

Скупко сообщают мемуаристы о семейном конфликте, в который были вовлечены родители и бабушка поэта. А. Ф. Тиран проронил в своих воспоминаниях: «...Отец его был пьяница, спившийся с кругу, и игрок, а история матери — целый роман...»¹ В записях П. К. Шугаева мы читаем о сложных взаимоотношениях в семье Лермонтова. Трудно сказать, кто был прав и кто виноват в этой семейной распре. Для нас важен лишь самый факт непримиримых столкновений между матерью, отцом и бабушкой Лермонтова: эта, остающаяся для нас во многом загадочной, вражда предопределила некоторые трагические мотивы в творчестве Лермонтова. Достаточно вспомнить стихотворение «Ужасная судьба отца и сына || Жить розно и в разлуке умереть», посвященное смерти отца, чтобы почувствовать, как напряженно вдумывался семнадцатилетний поэт в историю отношений своих родителей. В одном из черновых набросков 1831 года он писал:

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец,
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом...

¹ «Звезда», 1936, № 5, стр. 184.

Ранняя смерть матери, полный разрыв между отцом и бабушкой, рассказы о самоубийстве деда на новогоднем балу в Тарханах — все это, несомненно, отразилось на характере подрастающего поэта, а следовательно, и на его творчестве.

Из воспоминаний, посвященных юношеским годам поэта, наибольший интерес представляют записки Е. А. Сушковой (Хвостовой), в которых она живо рассказала о своем знакомстве, встречах и отношениях с Лермонтовым. В первую часть ее записок органически включен ряд ранних стихотворений Лермонтова, в том числе и таких, автографы и списки которых до нас не дошли. Вторая часть ее записок посвящена встречам с Лермонтовым в Петербурге в конце 1834 и в начале 1835 года; эти страницы проясняют историю создания образа Лизаветы Николаевны Негуровой в незавершенном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (как известно, Е. А. Сушкова была прототипом Негуровой) ¹.

Как бы ни были справедливы нападки на субъективизм «Записок» Сушковой, на ее стремление явно преувеличить свое значение в жизни поэта, нельзя отрицать, что они написаны очень живо, талантливо и до сих пор сохраняют значение одного из важнейших источников биографии молодого Лермонтова.

Критики и историки литературы многие десятилетия писали о духовном одиночестве юного Лермонтова. Сопоставляя мемуарные свидетельства Д. А. Милютина, С. Е. Раича, А. З. Зиновьева, В. С. Межевича, А. М. Миклашевского и обращаясь одновременно к архивным и забытым печатным материалам, исследователи пришли к противоположному выводу. Н. Л. Бродскому и Ф. Ф. Майскому ² удалось установить, что в годы учения в пансионе и университете вокруг Лермонтова образовалась дружная группа передовых молодых людей, оказавшая благотворное влияние на формирование личности и мировоззрения поэта. Таким образом, воспоминания современников дают возможность иногда значительно расширить, а порой даже существенно изменить наше представление о том или ином периоде жизни Лермонтова.

¹ Подробнее об этом см. далее в комментариях Ю. Г. Оксмана к воспоминаниям Сушковой.

² См. работы: Н. Л. Бродский, Лермонтов-студент и его товарищи. — В кн.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова», М. 1941, стр. 40—76; Ф. Ф. Майский, Юность Лермонтова (Новые материалы о пребывании Лермонтова в Благородном пансионе). — В кн.: «Труды Воронежского университета», т. XIV, вып. II, 1947, стр. 185—259; Т. Левит, Литературная среда Лермонтова в Московском благородном пансионе. — «Литературное наследство», т. 45—46, М. 1948, стр. 225—254.

В настоящее время правомерно сделать вывод, что на духовное развитие Лермонтова Московский университетский пансион оказал столь же большое и положительное влияние, как Царско-сельский лицей на Пушкина.

Московский университет начала 30-х годов XIX века описан в воспоминаниях И. А. Гончарова, П. Ф. Вистенгофа и Я. И. Костенецкого. Они мало знали Лермонтова, ни один из них не был другом его, и по этой причине значение их воспоминаний для характеристики личности Лермонтова ограничено; богатый духовный мир поэта лишь угадывается по отдельным штрихам, вкрапленным в их повествования. Зато эти мемуары и в особенности соответствующие главы из эпопеи Герцена «Былое и думы» рисуют живую картину нравов Московского университета тех лет. Возбужденное состояние умов московского студенчества, которое ярче всего проявилось в нашумевшей «маловской» истории, описанной Герценом (Лермонтов принимал в ней участие), доказывает, что в Московском университете поэт по-прежнему находился среди оппозиционно настроенной молодежи. Именно в Москве — среди воспитанников пансиона и университета — начали формироваться передовые политические и эстетические взгляды Лермонтова.

В Москве Лермонтов испытал два глубоких сердечных чувства. Долгие годы биографы не знали имени женщины, скрытого под инициалами Н. Ф. И. Ей адресованы многие стихи Лермонтова. Розыски И. Л. Андроникова открыли это имя. В статье «Лермонтов и Н. Ф. И.» исследователь опубликовал мемуарное свидетельство Н. С. Маклаковой, внучки Н. Ф. Ивановой, пролившее свет на это юношеское увлечение Лермонтова. Выяснилось, что к Н. Ф. Ивановой относится большой цикл стихотворений поэта 1830—1832 годов. И. Л. Андроников установил также, что история неразделенной любви поэта к Н. Ф. Ивановой отразилась в драме «Станный человек».

Но особенно глубокий след в жизни и творчестве Лермонтова оставило его чувство к Варваре Александровне Лопухиной, которой посвящен ряд стихотворений и такие значительные произведения, как «Демон» и «Валерик». А. П. Шан-Гирей писал о ней в своих воспоминаниях: «Будучи студентом, он был страстно влюблен <...> в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная <...>. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения...»

Эти «последующие увлечения» — М. А. Щербатова, Э. К. Му-
синна-Пушкина, Е. П. Ростопчина, Е. Г. Быховец. О первых двух ме-
муаристы упоминают только вскользь; Е. П. Ростопчина и Е. Г. Бы-
ховец оставили нам сдержанные мемуарные письма, в которых
все же просвечивает их любовь к поэту. Но эти увлечения лишь на
краткое время заглушали в душе поэта большое чувство к Лопухи-
ной, о котором он сам писал в 1840 году в стихотворном послании
«Валерик».

Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно.
Забыл я шум молодых проказ,
Любовь, поэзию, — но вас
Забыть мне было невозможно.

И это-то глубокое чувство поэта, кроме воспоминаний
А. П. Шан-Гирея, не нашло отражения в мемуарной литературе¹.
А может быть, тот факт, что оно было скрыто от всех, лишь под-
тверждает его глубину и неподдельность.

В августе 1832 года Лермонтов переезжает в Петербург. От-
каз администрации Петербургского университета зачесть ему эк-
замены, сданные в Московском университете, и ряд других при-
чин вынуждают Лермонтова отказаться от продолжения универ-
ситетского образования. Он поступает в Школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Годы, проведенные поэ-
том в юнкерской школе, отражены в воспоминаниях А. М. Ме-
ринского, А. М. Миклашевского, Н. С. Мартынова, В. В. Боборы-
кина, Н. Н. Манвелова. Эти воспоминания богаты подробностями
жизни Лермонтова в стенах юнкерской школы. Однако они не от-
вечают на вопрос, почему Лермонтов называл «ужасными» годы
своего пребывания в юнкерской школе. Между тем, не ответив
на этот вопрос, невозможно понять, какое воздействие оказали
на поэта нравы этого военного заведения, типичной казармы нико-
лаевского царствования.

¹ Известно, что по требованию Н. Ф. Бахметева, мужа Вар-
вары Александровны, были уничтожены многие письма и рукописи
Лермонтова, находившиеся у нее.

Воспоминания, относящиеся к пребыванию Лермонтова в юнкерской школе, при всей их достоверности страдают одним существенным недостатком: мемуаристы идеализируют порядки, царившие в этом военном учебном заведении. Юнкерская школа в эти годы была целиком в ведении самодура великого князя Михаила Павловича. Постоянные аресты воспитанников и личные выговоры начальству школы вызывались малейшими нарушениями дисциплины.

Мемуаристы свидетельствуют, что жестокая военная дисциплина сочеталась в юнкерской школе с крайне разнузданными нравами. В этом отношении своеобразным документом является рукописный журнал «Школьная заря»; в нем видное место занимали неудобные для печати стихи, среди которых были помещены и юнкерские поэмы Лермонтова.

Письма Лермонтова этой поры показывают, насколько он тяготился пребыванием в военной школе.

Ценным подспорьем для изучения быта юнкерской школы служат воспоминания И. В. Анненкова «Несколько слов о старой Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров». В мемуарах И. В. Анненкова имя Лермонтова не упомянуто (вторая часть воспоминаний, в которой должен был фигурировать Лермонтов, осталась неопубликованной; сохранилась ли рукопись — неизвестно), но правдивое описание повседневной жизни юнкеров, их обычаев позволяет ясно представить среду, в которой поэт провел эти два года.

Петербургская жизнь Лермонтова в 1835—1836 годах отражена в мемуарах, рисующих картины гусарского быта. Однокашники Лермонтова по Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и его сослуживцы по лейб-гвардии Гусарскому полку сообщили В. П. Буриашеву, П. К. Мартыянову, П. А. Висковатову множество типичных, но мелких фактов, характеризующих не столько самого поэта, сколько вольные нравы военной молодежи того времени. Какой внутренней сосредоточенностью и силой должен был обладать Лермонтов, чтобы противостоять чуждой ему среде и даже творить в этой обстановке!

Смерть Пушкина, всколыхнувшая русское общество, круто изменила жизнь Лермонтова. За полное скорби и негодования стихотворение «Смерть Поэта» Лермонтов был арестован и выслан на Кавказ. Этот важнейший эпизод политической биографии поэта описан многими его современниками — А. П. Шан-Гиреем, М. Н. Лонгиновым, В. П. Буриашевым, А. Н. Муравьевым и, кроме того, документально отражен в «Деле о непозволительных стихах...». Это следственное дело многое уточняет в воспоминаниях современников,

написанных значительно позднее. Из документальных материалов мы сочли необходимым включить в приложение к настоящему сборнику объяснение С. А. Раевского, наиболее авторитетного свидетеля, принимавшего непосредственное участие в распространении стихотворения «Смерть Поэта».

Из мемуаров мы видим, что это стихотворение было справедливо воспринято современниками как смелое политическое выступление Лермонтова; оно сразу сделало его имя известным всей передовой России. Значение стихотворения «Смерть Поэта» для идейного самоопределения Лермонтова огромно. В статье «Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича» А. И. Васильчиков — секундант на дуэли Лермонтова с Мартиновым — с полным основанием утверждал, что «Лермонтов был *представитель направления, противного тогдашнему поколению великосветской молодежи*, что он отделился от него при самом своем появлении на поприще своей будущей славы известными стихами «А вы, надменные потомки...».

Все мемуаристы, писавшие о стихотворении «Смерть Поэта», единодушно отмечают, что оно произвело сильнейшее впечатление на русское общество. В. В. Стасов, учившийся в то время в Училище правоведения, писал в своих воспоминаниях: «...Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище Пушкин убит был на дуэли. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург, даже и наше училище; разговорам и сожалениям не было конца, а проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе:

А вы, толпою жадною стоящие у трона... —

и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лег за <двенадцать> перед тем «Горе от ума»¹.

Стихотворение «Смерть Поэта», его гневные заключительные строки отразили чувства передового русского общества. Юнкер

¹ «Русская старина», 1881, № 2, стр. 410—411.

П. А. Гвоздев в ответном послании, написанном 22 февраля 1837 года, обращаясь к арестованному Лермонтову, восклицал:

Не ты ль сказал: «Есть грозный суд!»
И этот суд — есть суд потомства,
Сей суд прочтет их приговор
И на листе, как вероломство,
Он впишет имя их в позор¹.

Весной 1837 года сосланный Лермонтов прибыл на Кавказ. Что пишут о времени его первой ссылки мемуаристы? В воспоминаниях Н. М. Сатина, помимо уже упомянутой нами встречи Лермонтова с Белинским, идет речь о прототипе доктора Вернера в «Герое нашего времени» — Николае Васильевиче Майере. Знакомство Лермонтова с этим широкообразованным человеком, другом декабристов, надо полагать, оставило глубокий след в жизни поэта. О политических интересах Майера писал в своих воспоминаниях офицер генерального штаба в Ставрополе Г. И. Филипсон. Отправляясь в экспедицию 1837 года, он взял с собой несколько книг, рекомендованных ему Майером. Это были: «История французской революции» Минье, «История английской революции» Гизо, «История контрреволюции в Англии» Карреля и «О демократии в Америке» Токвиля. «Я их прилежно изучал, — писал Филипсон, — и это дало совсем особенное направление моим мыслям и убеждениям»². Эти сведения Филипсона имеют для нас первостепенное значение, указывая на то, что в Пятигорске в кружке сосланных декабристов, в котором бывали Лермонтов и Майер, читались запрещенные в России книги, посвященные английской и французской революциям, обсуждались кардинальные вопросы общественного развития.

Повествование Н. М. Сатина является единственно значительным воспоминанием, относящимся к первой ссылке Лермонтова; остальные мемуаристы сообщают нам лишь отдельные детали из его жизни и творческой биографии.

Известно, что в «Тамани» описано происшествие, случившееся с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани в доме казачки Царицыхи в 1837 году. В воспоминаниях «На Кавказе в 30-х годах» М. И. Цейдлер, побывавший в 1838 году в Тамани и живший в том домике, где за год до него останавливался Лермонтов, описывает лиц, которые изображены в «Тамани», и рассказывает историю возникновения широко известного рисунка

¹ «Русская старина», 1896, № 10, стр. 132.

² «Русский архив», 1883, № 6, стр. 249.

Лермонтова: «...Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвращаясь, рассказал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь». Этот рисунок Лермонтова сохранился до наших дней.

Эти сведения да рассказ соученика Лермонтова по юнкерской школе В. В. Боборыкина о случайной встрече с Лермонтовым во Владикавказе в декабре 1837 года, когда поэт спешил «на север из далека», — вот и все, что содержится в воспоминаниях современников о жизни Лермонтова на Кавказе в 1837 году. Отсутствие развернутых мемуарных свидетельств привело к тому, что первая ссылка Лермонтова оказалась недостаточно освещенной биографами поэта; многие ее эпизоды остаются неизвестными или плохо изученными. Правда, разыскания Ираклия Андроникова в его книге «Лермонтов в Грузии в 1837 году» и работы других исследователей¹ постепенно проясняют эти «белые пятна», однако недостаток сведений в воспоминаниях современников и отсутствие иных материалов вынуждает в ряде случаев ограничиваться предположениями.

К осени 1837 года относится сближение Лермонтова с поэтом-декабристом А. И. Одоевским, только что переведенным из Сибири на Кавказ. Это была очень значительная встреча поэтов двух поколений. От Одоевского Лермонтов мог узнать многое о Грибоедове и Рылееве, о восстании 14 декабря 1825 года и сибирской ссылке. К сожалению, Одоевский не оставил воспоминаний, и об их увлекательных беседах мы можем только догадываться по стихотворению Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».

Я знал его — мы странствовали с ним
В горах востока... и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений...

¹ См. А. В. Попов, М. Ю. Лермонтов и Кавказ. Рекомендательная биография с приложением хронологической канвы кавказской биографии поэта, Ставропольское книжное изд-во, 1963, стр. 12—18.

По возвращении из первой кавказской ссылки Лермонтов недолго служил в Гродненском гусарском полку, расквартированном в Селищенских казармах под Новгородом. Двухмесячное пребывание его в этом полку нашло свое отражение в воспоминаниях А. И. Арнольди и М. И. Цейдлера. Из этих мемуаров, помимо быта, окружавшего Лермонтова в Селищенских казармах, мы узнаем, что и под Новгородом, в трудных условиях казарменной жизни, поэт не прекращал напряженной творческой работы. В них сообщается экспромт Лермонтова на М. И. Цейдлера «Русский немец белокурый...», рассказывается о занятиях Лермонтова живописью, упоминается о дружбе с Н. А. Краснокутским, человеком, который «с ранней молодости обращал на себя внимание своим многосторонним образованием. Замечательный лингвист — он владел свободно десятью языками, много занимался живописью и музыкой и был всегда душой полковой молодежи. Он помогал Лермонтову в переводах иностранных произведений и жил с ним на одной квартире в Селищенских казармах»¹. В частности, как сообщает А. И. Арнольди, Н. А. Краснокутский сделал для поэта подстрочный перевод сонета Мицкевича «Вид гор из степей Козлова».

Жизнь Лермонтова в Петербурге в 1838—1840 годах отражена во многих воспоминаниях его современников (И. С. Тургенева, И. И. Панаева, В. А. Соллогуба, А. П. Шан-Гирея, Е. П. Ростопчиной и др.).

Письма С. Н. Карамзиной к сестре, которые недавно были обнаружены в Симферопольском архиве², позволяют еще ярче представить жизнь поэта в эти годы расцвета его творчества. Эти письма, равно как и дневниковые записи А. И. Тургенева, полностью подтверждают рассказ А. П. Шан-Гирея о том, что по

¹ Ю. Елец, История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. I, СПб. 1890, стр. 205. Об этом периоде жизни Лермонтова см. Ю. Г. Оксман, Лермонтов в записках А. И. Арнольди. — «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 449—456.

² Ф. Ф. Майский, М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — В кн.: «М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов», Ставропольское книжное изд-во, 1960, стр. 123—164. В статье Ф. Ф. Майского опубликован в отрывках перевод писем С. Н. Карамзиной 1838—1839 годов с многочисленными упоминаниями о Лермонтове. В настоящее время подготавливается академическое издание этой интереснейшей части семейной переписки Карамзиных, служащей прямым продолжением переписки 1836—1837 годов, где так много упоминаний о Пушкине. См. И. Андроников, Тагильская находка. — «Новый мир», 1956, № I, а также «Пушкин в письмах к Карамзиным 1836—1837 годов». Под ред. Н. В. Измайлова, изд. АН СССР, М. — Л. 1960.

возвращении из первой кавказской ссылки Лермонтов наиболее дружески был принят «в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского». Письма С. Н. Карамзиной показывают, что уже в сентябре 1838 года Лермонтов становится своим человеком в литературном салоне Карамзиных. Однако среди лиц пушкинского окружения не было единодушного отношения к поэту. П. А. Плетнев холодно относился к Лермонтову. Жуковский и П. А. Вяземский покровительствовали ему, но в их отношениях мы не находим особой сердечной теплоты. Дружественнее относился к Лермонтову В. Ф. Одоевский, а в лице С. Н. Карамзиной и Е. П. Ростопчиной поэт нашел преданных друзей. Судя по воспоминаниям М. Б. Лобанова-Ростовского, приятельница Пушкина Е. М. Хитрово покровительствовала Лермонтову и способствовала получению приглашений в лучшие салоны столицы. Письма Лермонтова к другу Пушкина С. А. Соболевскому указывают, что между ним и Соболевским были короткие приятельские отношения. Широкая и благодарная тема «Лермонтов в пушкинском кругу» требует новых разысканий и особого исследования.

Важным событием петербургской жизни Лермонтова было его участие в «кружке шестнадцати», состоявшем из университетской молодежи и гвардейских офицеров. Однако мемуаристы, за исключением Ксаверия Браницкого, хранят полное молчание об этом. До сего времени даже не установлены имена некоторых участников кружка. Б. М. Эйхенбаум, обративший внимание на роль «кружка шестнадцати» в биографии Лермонтова, писал: «Определить точно идейное направление и общественно-политическую физиономию этого кружка трудно за отсутствием материалов, да вряд ли у него и было единое направление; но несомненно, что кружок этот был оппозиционный, настроенный против николаевского режима. Кроме того, в этом кружке, по-видимому, горячо обсуждались философские и религиозные вопросы — не без влияния идей Чаадаева»¹.

Значительный архивный материал содержится в статье Э. Г. Герштейн «Лермонтов и «кружок шестнадцати»². Автор сообщает сведения о некоторых членах этого кружка, публикует письма И. С. Гагарина к Ю. Ф. Самарину с изложением его философско-исторических взглядов; сопоставив записку П. А. Валуева «Мысли о национальности» с высказываниями Лермонтова в поэме

¹ Б. М. Эйхенбаум, Литературная позиция Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 43—44, М. 1941, стр. 56.

² Э. Г. Герштейн, Лермонтов и «кружок шестнадцати». — Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова, М. 1941, стр. 77—124.

«Сашка», Э. Г. Герштейн пришла к выводу, что «искание собственного исторического пути, сравнение западноевропейской цивилизации с русской — такова была одна линия тем, обсуждавшихся в «кружке шестнадцати»¹.

Необходимы дальнейшие архивные поиски об участниках этого кружка и его деятельности. Лишь после того, как будет выявлен весь круг вопросов, обсуждавшихся в этом кружке, можно будет уточнить его значение для общественной биографии поэта. Одно несомненно: в этом оппозиционном кружке, в котором велись откровенные разговоры без оглядки на всесильное III Отделение, зрела политическая мысль Лермонтова².

В начале 1840 года повседневная петербургская жизнь Лермонтова была нарушена его дуэлью с сыном французского посла — Эрнестом де Барантом. Эта дуэль и последовавший за ней арест Лермонтова освещены в воспоминаниях А. П. Шан-Гирея, И. И. Панаева, М. Н. Лонгинова, Е. П. Ростопчиной и др. Мемуарные свидетельства, а также письма и дневниковые записи современников позволяют установить, что дуэль Лермонтова с Барантом произошла в результате сложного сплетения политических и личных мотивов. Обострение франко-русских отношений, упорные толки о том, что Лермонтов в стихотворении «Смерть Поэта», заклеив Дантеса, якобы стремился оскорбить французскую нацию, личное соперничество между Лермонтовым и Барантом, возникшее на почве их заинтересованности кн. М. А. Щербатовой, — все это, вместе взятое, привело к дуэли.

Суровый приговор — вторичная ссылка на Кавказ — последовал не случайно. Э. Г. Герштейн в исследовании «Дуэль Лермонтова с Барантом», сопоставив семейную переписку Барантов с воспоминаниями Ю. К. Арнольда, установила, что шеф жандармов Бенкендорф и министр иностранных дел Нессельроде, «гонимые Пушкина и главные организаторы его убийства, беспощадно преследуют его преемника — Лермонтова. Бенкендорф и Нессель-

¹ Э. Г. Герштейн, Лермонтов и «кружок шестнадцати». — Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова, М. 1941, стр. 104.

² Полемизируя с Б. М. Эйхенбаумом и Э. Г. Герштейн, Б. Е. Платонов пытается отрицать оппозиционный характер «кружка шестнадцати» (Б. Е. Платонов, Лермонтов и «кружок шестнадцати». — Уч. зап. Ленинградского пед. института им. А. И. Герцена, т. 81, 1949, стр. 131—161), причем впадает в другую крайность: по его мнению, никакого «кружка шестнадцати», по сути дела, не существовало, а были лишь сборища «золотой молодежи». Б. Е. Платонов, не учитывая сложности исторической обстановки тех лет,

роде не забыли ему выступления в дни гибели Пушкина с одой, направленной против «завистливого и душного света», против палачей русской свободы, русской славы и русского гения»¹.

Кратковременные наезды Лермонтова в Москву, которую он посещал на пути из Петербурга на Кавказ, отражены в воспоминаниях Фридриха Боденштедта и С. Т. Аксакова, дневниках А. И. Тургенева и Ю. Ф. Самарина, а также в письмах Самарина к И. С. Гагарину. Эти свидетельства позволяют утверждать, что Лермонтов, находившийся в то время в расцвете творческих сил, быстро вошел в круг московских литераторов, и только его ранняя гибель помешала укрепить этим связям и знакомствам. Воспоминания С. Т. Аксакова создают образ Лермонтова, вдохновенно читающего свою поэму «Мцыри» 9 мая 1840 года на именинном обеде Гоголя, в саду у Погодина. К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, М. Н. Загоскин и многие другие представители московской интеллигенции присутствовали на этом обеде, где и произошло личное знакомство Лермонтова с Гоголем. В мае же 1840 года, как свидетельствует в своих воспоминаниях А. А. Стахович, Лермонтов познакомился с великим русским актером М. С. Щепкиным².

Мемуарные, эпистолярные и дневниковые материалы говорят о том, что диапазон московских знакомств Лермонтова был чрезвычайно широк — в него входит и многочисленная группа московских писателей (Н. В. Гоголь, Е. А. Баратынский, К. К. и Н. Ф. Павловы, С. Т. Аксаков, М. Н. Загоскин, М. А. Дмитриев), и видный деятель декабристского движения, живший в Москве под тайным полицейским надзором, М. Ф. Орлов, и близкий друг Пушкина опальный философ П. Я. Чаадаев, и идеологи нарождавшегося славянофильского движения (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин), и многие другие. Московские встречи, упрочив известность Лермонтова среди наиболее видных представителей тамошней интеллигенции, вовлекли поэта в самую гущу интенсивных общественных и литературных споров. Раздвигались его умственные горизонты, оттачивался его поэтический талант. Удивительно точно охарактеризовал Лермонтова немецкий поэт Фридрих Боденштедт, встречавшийся с поэтом в Москве незадолго до его трагической гибели: «Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его произведений, к которым его легкие, шутливые стихотворения от-

¹ «Литературное наследство», т. 45—46, 1948, стр. 426.

² А. А. Стахович, Ключки воспоминаний, М. 1904, стр. 55.

носятся, как насмешливое выражение его тонко очерченных губ к его полным думы глазам».

Жизнь Лермонтова во время его второй ссылки на Кавказ нашла отражение в воспоминаниях декабриста Н. И. Лорера, К. Х. Мамацева, А. И. Дельвига (двоюродного брата поэта Дельвига), А. Чарыкова, А. Д. Есакова, Я. И. Костенецкого. Их записки, а также журнал боевых действий отряда на левом фланге Кавказской линии (в этом отряде сражался Лермонтов) свидетельствуют о храбрости поэта, о его решительности в бою. 3 февраля 1841 года командующий войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-адъютант Граббе представил Лермонтова за храбрость к «Золотой полусабле», но Николай I, враждебно относившийся к поэту, отказал в награде.

Во время пребывания на Кавказе в 1840 году расширились декабристские связи Лермонтова, возникшие еще в 1837 году. Как утверждают мемуаристы, во время второй ссылки Лермонтов встречался со многими декабристами: В. Н. Лихаревым, сраженным пулей горцев в момент философского спора с Лермонтовым, М. А. Назимовым, Н. И. Лорером и другими. Среди кавказских знакомых Лермонтова неоднократно мелькает имя отчаянного храбреца и бесстрашного дуэлянта Р. И. Дорохова (прототипа Долохова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»), устные рассказы которого о Лермонтове позволили А. В. Дружинину написать статью о поэте, полную глубокого понимания его личности. В это же время на Кавказе Лермонтов сблизился с младшим братом Пушкина, Львом Сергеевичем.

В отряде генерала А. В. Галафеева Лермонтов служил вместе с прогрессивно настроенным артиллерийским офицером К. Х. Мамацевым, который в своих записках оставил нам очень правдивую характеристику поэта. Заслуживает внимания сообщение Мамацева о том, что в конце 30-х годов интеллектуальный уровень кавказских офицеров-артиллеристов заметно повысился, они «предавались научным занятиям и чтению», следили за журналами, за статьями Белинского. Именно к этой передовой части кавказского офицерства влекли Лермонтова общие их симпатии и интересы.

Очерчивая круг кавказских знакомств Лермонтова, мемуаристы свидетельствуют о том, что и в неблагоприятных условиях ссылки поэт искал и находил людей с передовыми, оппозиционными взглядами, интересовавшихся вопросами философии, литературы, искусства. Лермонтов был близок на Кавказе с Григорием Григорьевичем Гагариным, известным художником, по всей видимости членом «кружка шестнадцати». Единственное мемуарное

упоминание об их дружбе принадлежит Д. А. Столыпину, который, передавая в дар Лермонтовскому музею в 1882 году акварель «Стычка в горах», писал: «Прилагаю еще акварель, нарисованную Лермонтовым, и красками кн. Гр. Гагариным. Расскажу в кратких словах сюжет: в одной рекогносцировке число войск наших было мало, когда появились толпы лезгин; начальник отряда дал приказание казакам зажечь степь. Лермонтов, возвращаясь после данного ему поручения к начальнику, который виден стоящим со свитою на кургане, увидел изображенную сцену. Один лезгин проскочил сквозь пламя и, напав на двух наших казаков (полагаю, пластунов), дал выстрел и, после промаха, наскочив на одного из казаков, хотел ударить его прикладом. Казак ловко отвернул голову от удара и кинжалом поразил лезгина. Лермонтов жил в одной палатке с братом (А. А. Столыпиным-Монго) и кн. Григорием Гагариным»¹.

Из этого письма мы узнаем и о совместной работе Лермонтова с Гагариным над живописными полотнами, и об отражении в этих картинах тревог их военной жизни.

В начале февраля 1841 года Лермонтов приехал в отпуск в Петербург и пробыл в столице два месяца. 11 апреля дежурный генерал Главного штаба П. А. Клейнмихель вызвал его и сообщил предписание в 48 часов покинуть столицу и отправиться в Тенгинский пехотный полк; утром 14 апреля 1841 года Лермонтов уехал на Кавказ. Об этом последнем пребывании Лермонтова в Петербурге рассказывают в своих воспоминаниях А. П. Шан-Гирей, Е. П. Ростопчина, В. А. Соллогуб, И. И. Панаев, М. Н. Лонгинов, И. П. Забелла и др. Как передают В. А. Соллогуб и А. А. Краевский (в пересказе П. А. Висковатова), Лермонтов не терял надежды выйти в отставку и целиком отдаться литературной работе, мечтал об издании собственного журнала. Военная служба явно тяготила поэта. В его творческом воображении рисовались картины задуманных исторических романов. Белинский писал по этому поводу: «Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство...»²

¹ ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 32, л. 59—60. Подробнее об этом см. Н. Пахомов, Живописное наследие Лермонтова. — «Литературное наследство», т. 45—46, М. 1948, стр. 118—122; А. Савинов, Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — Там же, стр. 433—472.

² В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. V, стр. 455.

Как пишет А. П. Шан-Гирей, Лермонтов собирался вновь вернуться к «Демону» и довести до совершенства эту поэму, замысел которой преследовал его на протяжении всей его творческой жизни. Издание журнала, «трилогия в прозе», «Демон» — таковы литературные планы Лермонтова, о которых сообщают мемуаристы. Многие другие творческие начинания волновали поэта. Сообщая читателям о приезде Лермонтова в Петербург, редакция «Отечественных записок» писала: «...Замышлено им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценнейшие подарки»¹.

Однако мечтам Лермонтова и надеждам «Отечественных записок» не суждено было сбыться — поэту не только отказали в отставке, но и потребовали, чтобы он немедленно уехал на Кавказ. Как свидетельствуют современники, покидая столицу, Лермонтов предчувствовал близость трагического конца.

О последних днях Лермонтова подробно говорится в воспоминаниях, дневниках и письмах современников. Записи А. И. Васильчикова, Э. А. Шан-Гирей, Е. Г. Быховец, А. И. Арнольди, Н. И. Лорера, Н. Ф. Туровского рассказывают о днях, предшествовавших дуэли Лермонтова с Мартыновым, и о самом поединке. Однако, несмотря на значительное количество материалов, многое в этой печальной развязке остается для нас неизвестным — о самом главном, о тайных пружинах дуэли современники, как уже говорилось выше, не осмеливались писать. П. А. Висковатов, тщательно собиравший сведения о жизни поэта от его знакомых и очевидцев событий, утверждал: «Нет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру шекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и <в> деятелях характера графа Бенкендорфа...»²

Все дошедшие до нас документальные, мемуарные, эпистолярные сведения о дуэли не оставляют никаких сомнений в понимании Мартыновым того, что гибель Лермонтова будет благосклонно при-

¹ «Отечественные записки», 1841, т. XV, № 4, отд. VI, стр. 68.

² П. А. Висковатов, Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество, М. 1891, стр. 418—419.

нята Николаем I. Уверенный в безнаказанности, он вызвал на дуэль и убил поэта, наотрез отказавшегося стрелять в него¹. Как это ни чудовишно, но ни один из четырех секундантов не смог предотвратить кровавой развязки дуэли.

29 июля 1842 года Герцен записал в своем дневнике: «Да и в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет — Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ»².

Воспоминания современников о Лермонтове полностью раскрывают эту мысль Герцена. От своего первого открытого политического выступления — стихотворения «Смерть Поэта» — и до конца жизни Лермонтов неоднократно высказывал свою вражду к деспотизму и крепостничеству, свою приверженность высоким идеалам гуманизма. Поэт был «не дома в мире мертвых душ», и его ранняя гибель была предопределена той пропастью, которая лежала между ним и реакционной дворянской общественностью тридцатых и сороковых годов.

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОН

В. А. МАНУЙЛОВ

¹ Несмотря на то что все свидетельства современников указывают на Мартынова как на убийцу Лермонтова (да Мартынов и сам не отрицал этого), в последнее время была предпринята попытка обелить его. В совершенно фантастической статье В. А. Швембергера «Трагедия у Перкальской скалы (По следам народной молвы)», на основании мифических показаний какого-то безымянного старика священника, утверждается, что Лермонтов якобы был убит казаком, подосланным жандармами для того, чтобы он стрелял в поэта одновременно с Мартыновым («Литературный Киргизстан», 1957, № 2, стр. 102—115). Подобному искажению событий справедливо дан решительный отпор в статье Е. Слащева «Об одной версии гибели М. Ю. Лермонтова» («Литературный Киргизстан», 1959, № 4, стр. 110—119).

² А. И. Герцен, т. II, стр. 221.

ЛЕРМОНТОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

А. П. ШАН-ТИРЕЙ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

В последнее время стали много говорить и писать о Лермонтове; по этому случаю возобновились упреки, давно уже слышанные мною от многих родных и знакомых, зачем я не возьмусь описать подробностей его жизни. Мне тяжело было будить в душе печальные воспоминания и бесплодные сожаления; притом же, сознаюсь, и непривычка к литературной деятельности удерживала меня. «Пусть, — думал я, — люди, владеющие лучше меня и языком и пером, возьмут на себя этот труд: дорогой мой Мишель стоил того, чтоб об нем хорошо написали».

Двадцать лет ждал я напрасно; наконец судьба привела меня в те места, где тридцать три года тому назад так весело проходило мое детство и где я нашел теперь одни могилы. Всякий из нас нес утраты, всякий поймет мои чувства. Здесь же получены были мною нумера журнала с ученическими тетрадами Лермонтова и объявление, угрожавшее выходом в свет трех томов его сочинений, куда войдут тетради и значительное число его детских стихотворений¹. Праведный боже! Зачем же выпускать в свет столько плохих стихов, как будто их и без того мало? Под влиянием этих чувств я преодолел свою нерешительность и взялся за перо. Не беллетристическое произведение предлагаю публике, а *правдивое* описание того, что происходило в жизни человека, интересующего настоящее время.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в имении бабушки своей, Елизаветы Алексеев-

ны Арсеньевой, рожденной Столыпиной, в селе Тарханах², Чембарского уезда, Пензенской губернии.

Будучи моложе его четырьмя годами, не могу ничего положительного сказать о его первом детстве; знаю только, что он остался после матери нескольких месяцев на руках у бабушки³, а отец его, Юрий Петрович, жил в своей деревне Ефремовского уезда и приезжал не часто навещать сына, которого бабушка любила без памяти и взяла на свое попечение, назначая ему принадлежащее ей имение (довольно порядочное, по тогдашнему счету шестьсот душ), так как у ней других детей не было. Слышал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам. Сам же начинаю его хорошо помнить с осени 1825 года.

Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича.

Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками, Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль. Учителями были М-г Сарет, высокий и худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время, а кефалонец занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян; он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развилась и принесла плоды великолепные: много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать.

Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны⁴, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как

мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу.

Жил с нами сосед из Пачелмы (соседняя деревня) Николай Гаврилович Давыдов, гостили довольно долго дальние родственники бабушки, два брата Юрьевы, двое князей Максютых, часто наезжали и близкие родные с детьми и внучатами, кроме того, большое соседство, словом, дом был всегда битком набит. У бабушки были три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда еще не было запрету), сходилась на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах⁵, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявления же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время, все сочинения по заказу Сарет он писал прозой, и нисколько не лучше своих товарищей.

Когда собирались соседки, устраивались танцы и раза два был домашний спектакль; бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело⁶.

Так прожили мы два года. В 1827 году она поехала с Мишелем в Москву, для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14 лет; он учился прилежно. М-г Gindrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был, однако, строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учителя,

как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина⁷; тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К***; меня ужасно интриговало, что значит слово *стансы*, и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка»⁸ и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря», на манер «Наблюдателя» или «Телеграфа»⁹, как следует, с стихотворениями и изящною словесностью, под редакцией Николая Гавриловича; журнала этого вышло несколько номеров, по счастью, перед отъездом в Петербург, все это было сожжено, и многое другое, при разборе старых бумаг.

Через год Мишель поступил полупансионером в университетский благородный пансион, и мы переехали с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова¹⁰. Пансионская жизнь Мишеля была мне мало известна, знаю только, что там с ним не было никаких *историй*; изо всех служащих при пансионе видел только одного надзирателя, Алексея Зиновьевича Зиновьева, бывавшего часто у бабушки, а сам в пансионе был один только раз, на выпускном акте, где Мишель декламировал стихи Жуковского: «Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей»¹¹. Впрочем, он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо.

В соседстве с нами жило семейство Лопухиных¹², старик отец, три дочери-девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру.

Вскоре потом умер M-r Gindrot¹³, на место его поступил M-r Winson¹⁴, англичанин, и под его руководством Мишель начал учиться по-английски. Сколько мне помнится, это случилось в 1829 году, Впрочем, не могу с достоверностью приводить точные цифры; это так давно, более тридцати лет, я был ребенком, никогда никаких происшествий не записывал, и не мог думать, чтобы мне когда-нибудь пришлось доставлять материалы для

биографии Лермонтова. В одном могу ручаться, это в верности как самих фактов, так и последовательности их.

Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его; читал Мура и поэтические произведения Вальтера Скотта (кроме этих трех, других поэтов Англии я у него никогда не видал), но свободно объясняться по-английски никогда не мог, французским же и немецким языком владел как собственным. Изучение английского языка замечательно тем, что с этого времени он начал передразнивать Байрона¹⁵.

Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи; то есть с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живою своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, как как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц?¹⁶ Маленькая слабость очень извинительная в таком молодом человеке. Тактика эта, как кажется, ему и удавалась, если судить по *воспоминаниям*. Одно из них случилось мне прочесть в «Русском вестнике»¹⁷, года три тому назад. Автор этих «Воспоминаний», называвшийся Катенькой, как видно из его рассказа, у нас же и в то время известный под именем Miss Black-eyes* Сушкова, впоследствии Хвостова, вероятно, и не подозревает, что всем происшествиям был свидетель, на которого, как на ребенка, никто не обращал внимания, но который много замечал, и понимал, и помнит, между прочим, и то, что никогда ни Alexandrine W.¹⁸, ни Catherine S.¹⁹, в нашем соседстве, в Москве, не жили; что у бабушки не было брата,

* Черноокая (англ.).

служившего с Грибоедовым, и тот, о ком идет речь, был военным губернатором (Николай Алексеевич Столыпин) в Севастополе, где в 1830 г. во время возмущения и убит; что, наконец, Мишель не был косолап, и глаза его были вовсе не красные, а скорее *прекрасные*.

Будучи студентом, он был страстно влюблен, но не в мисс Блэк-айз, и даже не в кузину ее (да не прогневается на нас за это известие тень знаменитой поэтессы)²⁰, а в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15—16; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «у Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет, новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину.

В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Все это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше как драпировка; что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было; что все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению, к тому же,

кроме двух или трех, они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от *auto da-fé* случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень, очень жалеть, что творения эти появились в печати.

По выпуске из пансиона Мишель поступил в Московский университет, кажется, в 1831 году²¹. К этому времени относится начало его поэмы «Демон», которую так много и долго он впоследствии переделывал; в первоначальном виде ее действие происходило в Испании и героиней была монахиня;²² также большая часть его произведений с байроническим направлением и очень много мелких, написанных по разным случаям, так как он, с поступлением в университет, стал посещать московский *grand-monde**. Г. Дудышкин, в статье своей «Ученические тетради Лермонтова», приводит некоторые из этих стихотворений, недоумевая, к чему их отнести;²³ мне известно, что они были написаны по случаю одного маскарада в Благородном собрании, куда Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой, в этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были приведенные г. Дудышкиным стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятно встретить в маскараде, где это могло быть и кстати и очень мило, но какой смысл могут иметь эти, очень слабые стишки, в собрании сочинений поэта?

Тот же писатель и в той же статье предполагает, что Miss Alexandrine — лицо, играющее важную роль в эти годы жизни Лермонтова. Это отчасти справедливо, только не в том смысле, какой, кажется, желает наметнуть автор. Miss Alexandrine, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтобы овладеть этой беспокойною натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благород-

* Большой свет (франц.).

ному; все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему (...) ²⁴. Между тем, как о девушке, страстно и долго им любимой, во всем собрании трудно найти малейший намек.

В Москве же Лермонтовым были написаны поэмы: «Литвинка», «Беглец», «Измаил-Бей», «Два брата», «Хаджи Абрек», «Боярин Орша» и очень слабое драматическое произведение с немецким заглавием «Menschen und Leidenschaften» *. Не понимаю, каким образом оно оказалось налицо; я был уверен, что мы сожгли эту трагедию вместе с другими плохими стихами, которых была целая куча ²⁵.

Развлекаемый светскими удовольствиями, Лермонтов, однако же, занимался лекциями, но не долго пробыл в университете; вследствие какой-то истории с одним из профессоров, в которую он случайно и против воли был замешан, ему надо было оставить Московский университет, и в конце 1832 года он отправился с бабушкой в Петербург ²⁶, чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии Гусарский полк. Через год, то есть в начале 1834, я тоже прибыл в Петербург для поступления в Артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нашел опять большую перемену. Он сформировался физически; был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом по-прежнему смугл и нехорош собой; но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, черные и мягкие волосы, очень красивые и нежные руки; ноги кривые (правую, ниже колена, он переломил в школе в манеже и ее дурно срастили).

Я привез ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней часто о нем говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:

— Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

* «Люди и страсти» (нем.).

— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

— А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь ее мизинца! — возразил я, рассердившись не на шутку.

Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились.

Школа была тогда на том месте у Синего моста, где теперь дворец ее высочества Марии Николаевны²⁷. Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланского, и я почти каждый день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными *pâtés froids, pâtés de Strasbourg**, конфетами и прочим, и таким образом имел случай видеть и знать многих из его товарищей, между которыми был приятель его Вонляр-Лярский, впоследствии известный беллетрист, и два брата Мартынова, из коих меньшой, красивый и статный молодой человек, получил такую печальную (по крайней мере для нас) известность. <...>

Нравственно Мишель в школе переменялся не менее как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбошерства; по счастью, Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры, все это пропало, как с гуся вода. *Faut que jeunesse jette sa bouillie*** , говорят французы.

Способности свои к рисованию и поэтический талант он обратил на карикатуры, эпиграммы и другие неудобные к печати произведения, помещавшиеся в издаваемом в школе рукописном иллюстрированном журнале, некоторые из них ходили по рукам отдельными выпусками. Для образчика могу привести несколько стихов из знаменитой в свое время и в своем месте поэмы «Уланша»: ²⁸

Идет наш шумный эскадрон
Гремящей пестрою толпою,
Повес усталых клонит сон,
Уж поздно, темной синевою
Покрылось небо, день угас,
Повесы ропщут...

.

* холодные паштеты, страсбургские паштеты (франц.).

** Молодость должна перебеситься (франц.).

Но вот Ижорка, слава богу!
Пора раскланяться с конем.
Как должно вышел на дорогу
Улан с завернутым значком;
Он по квартирам важно, чинно
Повел начальников с собой,
Хотя, признаться, запах винный
Изобличал его порой.

Но без вина что жизнь улана?
Его душа на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян,
Тот, извините, не улан!
Сказать вам имя квартирьера?
То был Лафа ²⁹, буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни доппель-кюмель, ни мадера,
Ни даже шумное ай
Ни разу сладить не могли.
Его коричневая кожа
Сияла в множестве угрях,
Ну, словом, все, походка, рожа
На сердце наводило страх.
Задвинув кивер на затылок,
Идет он, все гремит на нем,
Как дюжина пустых бутылок
Толкаясь в ящике большом.

.
Лафа угрюмо в избу входит,
Шинель, скользя, валится с плеч,
Кругом он дико взоры водит
И мнит, что видит сотни свеч...
Пред ним меж тем одна лучина,
Дымясь, треща, горит она,
Но что за дивная картина
Ее лучом озарена!
Сквозь дым волшебный, дым табачный,
Мелькают лица юнкеров.
Их рожи красны, взоры страшны,
Кто в сбруе весь, кто без ш.....,
Пируют! — В их кругу туманном
Дубовый стол и ковш на нем,
И пунш в ушате деревянном
Пылает синим огоньком и т. д.

Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал. В школе он носил прозвание Маёшки, от М-г Мауех, горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа ³⁰.

Два злополучные года пребывания в школе прошли скоро, и в начале 1835 его произвели в офицеры ³¹, в лейб-гусарский полк, я же поступил в Артиллерийское училище и, в свою очередь, стал ходить домой только по воскресеньям и праздникам.

С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения» ³². Лермонтов был взбешен, по счастью, поэму никто не разобрал, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать.

По производстве его в офицеры бабушка сказала, что Мише нужны деньги, и поехала в Тарханы (это была их первая разлука). И действительно, Мише нужны были деньги; я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни, кассиром был его Андрей ³³, действовавший совершенно бесконтрольно. Когда впоследствии он стал печатать свои сочинения, то я часто говорил ему: «Зачем не берешь ты ничего за свои стихи. Пушкин был не беднее тебя, однако платили же ему книгопродавцы по золотому за каждый стих». но он смеясь отвечал мне словами Гете:

Das Lied, das aus der Kehle dringt
Ist Lohn, der reichlich lohnet * ³⁴.

Он жил постоянно в Петербурге, а в Царское Село, где стояли гусары, ездил на ученья и дежурства. В том же полку служил родственник его Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе, а потом и в свете, под именем Мунго. Раз они вместе отправились в сентимен-

* Песня, которая льется из уст, сама по себе есть лучшая награда (нем.).

тальное путешествие из Царского в Петергоф, которое Лермонтов описал в стихах:

Садится солнце за горой.
Туман дымится над болотом.
И вот, дорогой столбовой,
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника, большим налетом и т. д.³⁵

В это время, то есть до 1837 года, Лермонтов написал «Казначейшу», «Песню о царе Иоанне и купце Калашникове», начал роман в прозе без заглавия³⁶ и драму в прозе «Два брата», переделал «Демона», набросал несколько сцен драмы «Арбенин» (впоследствии названной «Маскарад»)³⁷, и несколько мелких стихотворений, все это читалось дома, между короткими. В 1836 году бабушка, соскучившись без Миши, вернулась в Петербург. Тогда же жил с нами сын старинной приятельницы ее, С. А. Раевский. Он служил в военном министерстве, учился в университете, получил хорошее образование и имел знакомство в литературном кругу.

В это же время я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной.

Через Раевского Мишель познакомился с А. А. Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в «Отечественных записках». Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который, однако же, все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики, когда в январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и уметь ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он, в один присест, написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему

городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова.

Стихи эти были написаны с эпиграфом из неизданной трагедии г. Жандра «Венцеслав»: ³⁸

Отмщенья, государь! Отмщенья!
Паду к ногам твоим,
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Не привожу самих стихов, так как они уже напечатаны вполне. {...}

Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы «На смерть Пушкина» произвели в публике ³⁹, но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания Главного штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп, его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск; на меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастью, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы.

Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках, с помощью вина, печной сажки и спички, написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива»; «Я, мать божия, ныне с молитвою»; «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко».

Старушка бабушка была чрезвычайно поражена этим происшествием, но осталась в Петербурге, с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, а в особенности через Л. В. Дубельта и успела; менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре, по просьбе бабушки же, опять в лейб-гусарский полк. {...} ⁴⁰

Незадолго до смерти Пушкина, по случаю политической тревоги на Западе, Лермонтов написал пьесу вроде

известной «Клеветникам России», но, находясь некоторым образом в опале, никогда не хотел впоследствии напечатать ее, по очень понятному чувству. Так как пьеса эта публике совершенно неизвестна (если не помещена в последнем издании), то привожу и ее здесь:

Опять народные витии
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять, шумя, восстали вы!... <и т. д.> ⁴¹

По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского. Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много мелких лирических стихотворений, переделал в третий раз поэму «Демон», окончил драму «Маскарад», переделал давно написанную им поэму «Мцыри», и еще несколько пьес, которые теперь не упомяну; начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор произведениям, которые назначал к печати. Не могу опять с истинною сердечною горестию не пожалеть, что по смерти Лермонтова его сочинения издаются не с такою же разборчивостью.

Ужель (как сказал он сам) ребяческие чувства,
Нестройный, безотчетный бред,
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет ⁴².

Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем Варвара Александровна проездом за границу. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы

здесь живете?» — «Почему же это *вы*?» — «Потому, что я спрашиваю про двоих». — «Живем, как бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго, и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад.

В. А. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей «Ундины»⁴³ с собственноручною надписью. Один из членов царской фамилии пожелал прочесть «Демона», ходившего в то время по рукам, в списках более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и это единственный экземпляр полный и после которого «Демон» не переделывался⁴⁴. Экземпляр этот должен находиться у г. Алопеуса, к которому перешел от меня через Обухова, товарища моего по Артиллерийскому училищу. Есть еще один экземпляр «Демона», писанный весь рукой Лермонтова и переданный мною Дмитрию Аркадьевичу Столыпину.

Мы часто в последнее время говорили с Лермонтовым о «Демоне». Бесспорно, в нем есть прекрасные стихи и картины, хотя я тогда, помня Кавказ, как сквозь сон, не мог как теперь, судить о поразительной верности этих картин. Без сомнения, явясь в печати, он должен был иметь успех, но мог возбудить и очень строгую рецензию. Мне всегда казалось, что «Демон» похож на оперу с очаровательнейшею музыкой и пустейшим либретто. В опере это извиняется, но в поэме не так. Дельный критик может и должен спросить поэта, в особенности такого, как Лермонтов: «Какая цель твоей поэмы, какая в ней идея?» В «Демоне» видна одна цель — написать несколько прекрасных стихов и нарисовать несколько прелестных картин дивной кавказской природы, это хорошо, но мало. Идея же, смешно сказать, вышла такая, о какой сам автор и не думал. В самом деле, вспомните строфу:

И входит он, любить готовый,
С душой открытой для добра... и проч.

Не правда ли, что тут князю де Талейрану пришлось бы повторить небесной полиции свое слово: *surtout pas trop de zèle, Messieurs!* * Посланник рая очень некстати явился защищать Тамару от опасности, которой не существовало; этою неловкостью он помешал возрождению Демона и тем приготовил себе и своим в будущем пропасть хлопот, от которых они навек бы избавились, если бы посланник этот был догадливей. Безнравственной идеи этой Лермонтов не мог иметь; хотя он и не отличался особенно усердным выполнением религиозных обрядов, но не был ни атеистом, ни богохульником. Прочтите его пьесы «Я, мать божия, ныне с молитвою», «В минуту жизни трудную», «Когда волнуется желтеющая нива», «Ветка Палестины» и скажите, мог ли человек без теплого чувства в сердце написать эти стихи? Мною предложен был другой план: отнять у Демона всякую идею о раскаянии и возрождении, пусть он действует прямо с целью погубить душу святой отшельницы, чтобы борьба Ангела с Демоном происходила в присутствии Тамары, но не спящей; пусть Тамара, как высшее олицетворение нежной женской натуры, готовой жертвовать собой, переходит с полным сознанием на сторону несчастного, но, по ее мнению, кающегося страдальца, в надежде спасти его; остальное все оставить как есть, и стих:

Она страдала и любила,
И рай открылся для любви... —

спасает эпилог. «План твой, — отвечал Лермонтов, — недурен, только сильно смахивает на Элоу *Sœur des anges* ** Альфреда де Виньи. Впрочем, об этом можно подумать. Демона мы печатать погодим, оставь его пока у себя». Вот почему поэма «Демон», уже одобренная Цензурным комитетом, осталась при жизни Лермонтова ненапечатанною. Не сомневаюсь, что только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в вид, достойный своего таланта ⁴⁵.

Здесь, кстати, замечу две неточности в этой поэме:

Он сам властитель Синодала...

* Главным образом, не так много рвения, господа! (*франц.*).

** Сестра ангелов (*франц.*).



Е. А. Сушкова-Хвостова
Миниатюра на кости неизвестного художника

В Грузии нет *Синодала*, а есть *Цинундалы*, старинный замок в очаровательном месте в Кахетии, принадлежащий одной из древнейших фамилий Грузии, князей Чавчавадзе, разграбленный, лет восемь тому назад, сыном Шамиля.

Бсжали *робки* грузины...

Грузины не робки, напротив, их скорее можно упрекнуть в безумной отваге, что засвидетельствует вся кавказская армия, понимающая, что такое храбрость. Лермонтов не мог этого не знать, он сам ходил с ними в огонь, бежать могли рабы князя, это обмолвка.

Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса «На светские цепи»). Мне ни разу не случилось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и г. де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Vous profitez trop, Monsieur, de ce que nous sommes dans un pays où le duel est défendu». — «Qu'à ça ne tienne, Monsieur, — отвечал тот, — je me mets entièrement à votre disposition» *, и на завтра назначена была встреча; это случилось в среду на масленице 1840 года. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» — «Стрелялся». — «Как, что, зачем, с кем?» — «С французином». — «Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать: «Отправился я к Мунге⁴⁶, он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров⁴⁷, и поехали мы за Черную Речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром

* «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена». — «Это ничего не значит, — отвечал тот, — я весь к вашим услугам» (*франц.*).

снегу и начали; дело не кленлось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все».

История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец одна неосторожная барышня Б***⁴⁸, вероятно безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на страстной неделе получил казенную квартиру в третьем этаже с.-петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещен на арсенальную гаптвахту, что на Литейной. В ордонанс-гауз к Лермонтову тоже никого не пускали; бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтоб иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З(ахаржевского), чтоб он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своею ответственностию свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим Андре Шенье, Гейне и «Ямбы» Барбье, последние ему не нравились, из всей маленькой книжки он хвалил только одну следующую строфу, из пьесы «La Populaire»:

C'est la mer, c'est la mer, d'abord calme et sereine,
La mer, aux premiers feux du jour,
Chantant et souriant comme une jeune reine,
La mer blonde et pleine d'amour.

La mer baisant le sable et caressant la rive
Du beaume enivrant de ses flots,
Et berçant sur sa gorge, ondoyante et lassive,
Son peuple brun de matelots *.

Здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ординансаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери, я всегда около него ставил свою шпагу.

Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворения, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь, это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь, — сказал я Лермонтову, — взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб». Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарские офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: «Monsieur, les

* Море, море, вначале спокойное и светлое, море, при первых проблесках дня поющее и улыбающееся, как молодая царица, море светлое и полное любви. Море, что целует и ласкает берег опьяняющим бальзамом волны, море, что качает на своей утомленной и колеблющейся груди племя загорелых матросов (франц.).

bruits qui sont parvenus jusqu'à vous sont inexactes, et je m'empresse de vous dire, que je me tiens pour parfaitement satisfait» *.

После чего его посадили в карету и отвезли домой.

Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его *снова* на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько, поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк ⁴⁹, куда он отправился, а вслед за ним и бабушка поехала в деревню. Отсутствие их было непродолжительно; Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург ⁵⁰.

Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощение остались без успеха, ей сказали, что не время еще, надо подождать.

Лермонтов пробыл в Петербурге до мая; с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени», начатый еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург ⁵¹. В публике существует мнение, будто в «Герое нашего времени» Лермонтов хотел изобразить себя; сколько мне известно, ни в характере, ни в обстоятельствах жизни, ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым, кроме ссылки на Кавказ. Идеал, к которому стремилась вся праздная молодежь того времени: львы, львенки и проч. копитители неба, как говорит Гоголь, олицетворен был Лермонтовым в Печорине. Высший дендизм состоял тогда в том, чтобы ничему не удивляться, ко всему казаться равнодушным, ставить свое я выше всего; плохо понятая англоманья была в полном разгаре, откуда плачевное употребление богом дарованных способностей. Лермонтов очень удачно собрал эти черты в герое своем, которого сделал интересным, но все-таки выставил пустоту подобных людей и вред (хотя и не весь) от них для общества. Не его вина, если вместо сатиры многим угодно было видеть апологию.

* Слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным (*франц.*).

На святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье»; в то самое время, как он писал ее, мне удалось набросить карандашом его профиль. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов пред подлинником.

Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще неизданных, и составили связку. «Когда, бог даст, вернусь, — говорил он, — может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить». Бумаги эти я оставил у себя, остальные же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадешь, говорит пословица, — соломки бы подостлал; так и в этом случае: никогда не прощу себе, что весь этот хлам не отправил тогда же на кухню под плитку.

2 мая, к восьми часам утра, приехали мы в Почтамт⁵², откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слышал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». — «Какой ты еще дитя, — отвечал он. — Ничего, все перемелется — мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров».

Это были в жизни его последние слова ко мне; в августе мы получили известие о его смерти.

По возвращении моем с бабушкой в деревню, куда привезены были из Пятигорска и вещи Лермонтова, я нашел между ними книгу в черном переплете in 8°, в которой вписаны были рукой его несколько стихотворений, последних, сочиненных им. На первой странице значилось, что книга дана Лермонтову князем Одоевским с тем, чтобы поэт возвратил ее исписанною; приезжавший тогда в Петербург Николай Аркадьевич Столыпин, по просьбе моей, взял эту книгу с собой для передачи князю⁵³. Впоследствии, в 1842 году, в Кремен-

чуге встретился я со Львом Ивановичем Арнольди* и, по просьбе его, оставил ему на некоторое время связку черновых стихотворений, отобранных Лермонтовым в 1841 году в Петербурге⁵⁴. Не знаю, до какой степени бумаги эти служили при прежних изданиях его сочинений, в которых довольно и ошибок и пропусков, тем не менее желательно, чтобы будущие издатели сверили имеющиеся у них рукописи с находящимися у названных мною лиц, которые, вероятно, из уважения к памяти покойного поэта, в том препятствовать не будут. Только, ради создателя, для чего же все эти ученические тетради и стихи первой юности? Если бы Лермонтов жил долго и сочинения его, разбросанные по разным местам, могли бы доставить материал для многотомного собрания — дело другое; должно было бы соединить в одно место, в хронологическом порядке, если угодно, все, что поэтом было *издано* или *назначено* к посмертному изданию; в таком собрании действительно можно было бы следить за развитием и ходом дарования поэта. Но Лермонтову, когда его убили, не было и двадцати семи лет. Талант его не только не успел принести зрелого плода, но лишь начал развиваться; все, что можно читать с удовольствием из написанного им, едва ли доставит материал и на один том. Зачем же прибавлять к нему еще два, увеличивать их объем, предлагая публике творения ниже посредственности, недостойные славы поэта, которые он сам признавал такими и никогда не думал выпускать в свет? Не следовало.

Таково мое мнение, — выражаю его откровенно. Может быть, некоторые из Аристархов нашей литературы и назовут меня отсталым старовером, не понимающим современных требований ее истории и критики. Пусть так, заранее покоряюсь строгому приговору; по крайней мере, читатель, зевая над «Тетрадиями», не вправе будет пенять на Лермонтова за свою скуку.

В 1844 году, по выходе в отставку, пришлось мне поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних ему. Летом 1841 года собралось

* Я был в то время адъютантом у отца его, ныне сенатора, тогда же начальника полевой конной артиллерии Ивана Карловича Арнольди. (Прим. А. П. Шан-Гирея.)

в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними и Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозвание *Montagnard au grand poignard*; * оно было бы, кажется, и ничего, но когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля⁵⁵, вечером, собралось много в доме Верзилиных; общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «*Mlle Emilie, prenez garde, voici que s'approche le farouche montagnard*» **.

Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но, по несчастию, князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова *la farouche montagnard* раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:

— *M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes* ***.

— *Allons donc*, — отвечал Лермонтов, — *allez-vous vous fâcher sérieusement et me provoquer?* ****

— *Oui, je vous provoque* ***** , — сказал Мартынов и вышел.

На другой день, пятнадцатого, условились съехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать шагов. Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, пробила легкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал.

Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не заслуживающие упоминания, о них прежде и не слы-

* Горец с большим кинжалом (*франц.*).

** Мадемуазель Эмилия, берегитесь, вот приближается свирепый горец (*франц.*).

*** Г. Лермонтов, я много раз просил вас воздерживаться от шуток на мой счет, по крайней мере в присутствии женщины (*франц.*).

**** Полноте, — отвечал Лермонтов, — вы действительно сердитесь на меня и вызываете меня? (*франц.*)

***** Да, я вас вызываю (*франц.*).

хоть было; с какою целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и пистолет, из которого убит Лермонтов, находится не там, где рассказывают, — это кухонный рейтер № 2 из пары; я его видел у Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова⁵⁶.

Через год тело его, в свинцовом гробу, перевезено было в Тарханы и положено около могилы матери, близ сельской церкви в часовне, выстроенной бабушкой, где и она теперь покойся.

Давно все это прошло, но память Лермонтова дорога мне до сих пор; поэтому я и не возьмусь произнести суждение о его характере, оно может быть пристрастно, а я пишу не панегирик.

Да будет благосклонен ко мне читатель и не осудит, если неинтересная для него личность моя так часто является пред ним в этом рассказе. Единственное достоинство его есть правдивость; мне казалось необходимым для отклонения сомнений разъяснить, почему все, о чем я говорил, могло быть мне известно, и назвать поименно несколько лиц, которые могут обнаружить неточность, если она встретится. Прошу и их не взыскать, если по этой причине я дозволил себе, без их разрешения, выставить в рассказе моем имена их полностью.

*10 мая 1860 г.
Чембар.*

И. К. ШУГАЕВ

ИЗ КОЛЫБЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Село Тарханы лежит на восток от Чембара¹ в 14 верстах и полуверсте от почтовой дороги, идущей на станцию Воейково², Сызрано-Вяземской жел. дор., и Пензу. Расположено оно по обеим сторонам небольшой долины у истока небольшой речки Маралайки; основано в начале XVIII столетия г. Нарышкиным, крепостными крестьянами, выведенными им из московских и владимирских вотчин как бы в ссылку, отборными ворами, отчаянными головорезами, а также и закоснелыми до фанатизма раскольниками. Крестьяне здесь и до сих пор сохранили подмосковное наречие на о. Село в конце XVIII века было продано Нарышкиным за неплатеж оброка и вообще бездоходность его, а также и потому, что вся барская усадьба (в которой хотя владелец сам никогда и не был) на месте нынешней большой каменной церкви и все село сгорело вследствие того, что повар с лакеем бывшего нарышкинского управляющего вздумали палить живого голубя, который у них вырвался и полетел в свое гнездо, находившееся в соломенной крыше. Гнездо загорелось. Сгорело и все село до основания, кроме маленькой деревянной церкви, которая до 1835 года стояла на своем первоначальном месте, среди села на том самом месте, где в настоящее время стоит часовня с фамильным склепом Арсеньевых³. Этот управляющий Злынин был также в Тарханах во время нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли каких у кого жалоб на управляющего, но предусмотрительный

Злыгин, еще до прибытия отряда Пугачева, сумел убаготворить всех недовольных, предварительно раздавши весь почти барский хлеб, почему и не был повешен. Село Тарханы куплено Михаилом Васильевичем Арсеньевым в бытность его еще в Москве⁴ и притом вскоре после его свадьбы с Елизаветой Алексеевной за совершенный бесценнок. После свадьбы «молодые» тотчас же переехали на постоянное жительство в село Тарханы, где для развлечения Арсеньев устраивал разные удовольствия, выписал из Москвы маленького карлика, менее одного аршина ростом, более похожего на куклу, нежели на человека. Он, будучи в Тарханах в течение двух-трех месяцев, имел обыкновение спать на окне и был предметом любопытства не только Арсеньевой, но и всех соседей помещиков, не исключая крепостных.

Михаил Васильевич родился 8-го ноября 1768 г., женился на Елизавете Алексеевне в возрасте, когда ему было около 27 лет, то есть в конце 1794 или начале 1795 г., был среднего роста, красавец, статный собой, крепкого сложения; он происходил из хорошей старинной дворянской фамилии; супруга же его Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, родилась около 1760 года, происходила также из старинной, богатой дворянской семьи и была значительно старше своего супруга (лет на восемь)⁵, была не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа, а после рождения единственной своей дочери, Марьи Михайловны, то есть матери поэта, заболела женскою болезнью, вследствие чего Михаил Васильевич сошелся с соседкой по тарханскому имению, госпожой Мансыревой и полюбил ее страстно, так как она была, несмотря на свой маленький рост, очень красива, жива, миниатюрна и изящна; это была резкая брюнетка, с черными как уголь глазками, которые точно искрились; она жила в своем имении селе Онучине в 10 верстах на восток от Тархан; муж ее долгое время находился в действующей армии за границей, вплоть до известного в истории маскарада 2 января 1810 года, во время которого Михаил Васильевич устроил для своей дочери Машеньки елку. Михаил Васильевич посылал за Мансыревой послов с неоднократными приглашениями, но они возвращались без всякого ответа, посланный же Михаилом Васильевичем самый надежный человек и поверенный в

сердечных делах, первый камердинер, Максим Медвед, возвратившись из Онучина, сообщил ему на ухо по секрету, что к Мансыревой приехал из службы ее муж и что в доме уже огни потушены и все легли спать. Мансыреву ему видеть не пришлось, а вследствие этого на елку и маскарад ее ждать нечего.

Елка и маскарад были в этот момент в полном разгаре, и Михаил Васильевич был уже в костюме и маске; он сел в кресло и посадил с собой рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку, и начал им говорить как бы притчами: «Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой». Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали или почти не обратили на них внимания, приняв их скорее за шутку, нежели за что-нибудь серьезное. Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату, достал из шкафа пузырек с каким-то зелием и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол без чувств и из рта у него появилась обильная пена, произошел между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разъехаться по домам. С Елизаветой Алексеевной сделалось дурно; пришедши в себя, она тотчас же отправилась с дочерью в зимней карете в Пензу, приказав похоронить мужа, произнеся при этом: «Собаке собачья смерть». Пробыла она в Пензе шесть недель, не делая никаких поминовений...⁶

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов, был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив; супруга его, Марья Михайловна, была точная копия своей матери, кроме здоровья, которым не была так наделена, как ее мать, и замуж выходила за Юрия Петровича, когда ей было не более семнадцати лет. Хотя Марья Михайловна и не была красавицей, но зато на ее стороне были молодость и богатство, которым располагала ее мать, почему для Юрия Петровича Мария Михайловна представлялась завидной партией, но для Марьи Михайловны было достаточно и того, что Юрий

Петрович был редкий красавец и вполне светский и современный человек. Однако судьба решила иначе, и счастливой жизнью им пришлось не долго наслаждаться. Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к теще; вследствие этого Юрий Петрович завел интимные сношения с бонной своего сына, молоденькой немкой, Сесильей Федоровной, и кроме того, с дворовыми.

Бывшая при рождении Михаила Юрьевича акушерка тотчас же сказала, что этот мальчик не умрет своей смертью, и так или иначе ее предсказание сбылось; по каким соображением она руководствовалась — осталось неизвестно. После появления на свет Михаила Юрьевича поселена новая деревня, в 7 верстах на ю.-в. от Тархан и названа его именем «Михайловскою». Отношения Юрия Петровича к Сесилии Федоровне не могли ускользнуть от зоркого ока любящей жены, и даже был случай, что Марья Михайловна застала Юрия Петровича в объятиях с Сесилией, что возбудило в Марье Михайловне страшную, но скрытую ревность, а тещу привело в негодование. Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей Михайловной в гости к соседям Головинным, в село Кошкарево, отстоящее в 5 верстах от Тархан; едучи оттуда в карете обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать своего мужа в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упреками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых. С этого времени с невероятной быстротой развивалась болезнь Марьи Михайловны, впоследствии перешедшая в злейшую чахотку, которая и свела ее преждевременно в могилу. После смерти и похорон Марьи Михайловны, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, конечно, Юрию Петровичу ничего более не оставалось, как уехать в свое собственное небольшое родовое тульское имение Кропотовку, что он и сделал в скором времени, оставив своего сына, еще ребенком, на попечение его бабушке Елизавете Алексеевне, сосредоточившей свою любовь на внуке Мишеньке, который, будучи еще четырех-пятилетним ребенком, не зная еще грамоте, едва умея ходить и предпочи-

тая еще ползать, хорошо уже мог произносить слова и имел склонность к произношению слов в рифму. Это тогда еще было замечено некоторыми знакомыми соседями, часто бывавшими у Елизаветы Алексеевны. К этому его никто не приучал, да и довольно мудрено в таком возрасте приучить к разговору в рифмы.

Заботливость бабушки о Мишеньке доходила до невероятия; каждое слово, каждое его желание было законом не только для окружающих или знакомых, но и для нее самой. Когда Мишеньке стало около семи-восьми лет, то бабушка окружила его деревенскими мальчиками его возраста, одетыми в военное платье; с ними Мишенька и забавлялся, имея нечто вроде потешного полка, как у Петра Великого во времена его детства.

Для забавы Мишеньки бабушка выписала из Москвы маленького оленя и такого же лося, с которыми он некоторое время и забавлялся; но впоследствии олень, когда вырос, сделался весьма опасным даже для взрослых, и его удалили от Мишеньки; между прочим, этот олень паносил своими громадными рогами увечья крепостным, которые избавились от него благодаря лишь хитрости, а именно не давали ему несколько дней сряду корма, отчего он и пал, а лося Елизавета Алексеевна из боязни, что он заразился от оленя, приказала зарезать и мясо употребить в пищу, что было исполнено немедленно и в точности. Когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору. Иногда бабушка делалась жестокою и неумолимою к провинившимся девушкам: отправляла их на тяжелые работы, или выдавала замуж за самых плохих женихов, или даже совсем продавала кому-либо из помещиков... Все это 60—70 лет тому назад, в блаженные времена крепостного права, было весьма обычным явлением и практиковалось помещиками, имеющими крепостных крестьян, за весьма небольшими исключениями, да и то эти исключения если и бывали, то опять-таки по какой-либо уважительной причине, например: когда жила в имении бездетная вдова-помещица, или сам

помещик жил в Москве, Петербурге или за границей, да и то их правами в подобных случаях пользовались управляющие, бурмистры и тому подобные вотчинные начальники.

Михаил Юрьевич любил устраивать кулачные бои между мальчишек с. Тархан и победителей, нередко с разбитыми до крови носами, всегда щедро оделял сладкими пряниками, что главным образом и послужило темой для «Песни про купца Калашникова».

Уцелел рассказ про один случай, происшедший во время одного из приездов в Тарханы Михаила Юрьевича, когда он был офицером лейб-гвардии, приблизительно лет за пять до смерти. В это время, как раз по манифесту Николая I, все солдаты, пробывшие в военной службе не менее 20 лет, были отпущены в отставку по домам; их возвратилось из службы в Тарханы шесть человек, и Михаил Юрьевич, вопреки обычая и правил, распорядился дать им всем и каждому по $\frac{1}{2}$ десятины пахотной земли в каждом поле при трехпольной системе и необходимое количество строевого леса для постройки изб, без ведома и согласия бабушки; узнав об этом, Елизавета Алексеевна была очень недовольна, но все-таки распоряжения Мишеньки не отменила.

Заветная мечта Михаила Юрьевича, когда он уже был взрослым, это построить всем крестьянам каменные избы, а в особенности в деревне Михайловской, что он предполагал непременно осуществить тотчас по выходе в отставку из военной службы. Внезапная и преждевременная смерть помешала осуществлению проекта⁷.

Замечательно то обстоятельство, что ни дед, ни отец поэта, ни его мать деспотами над крепостными не были, как большинство помещиков того времени. Хотя Елизавета Алексеевна и была сурова и строга на вид, но самым высшим у нее наказанием было для мужчин обрить половины головы бритвой, а для женщин отрезание косы ножницами, что практиковалось не особенно часто, а к розгам она прибегала лишь в самых исключительных случаях. {...} Но зато все ее ближайшие родственники, а Столыпины в особенности, могли уже смело назваться даже и по тогдашнему времени первоклассными деспотами. Когда в Тарханах стало известно о несчастном исходе дуэли Михаила Юрьевича с Мартыновым, то по всему селу был неподдельный плач. Бабушке сооб-

шили, что он умер; с ней сделался припадок, и она была несколько часов без памяти, после чего долгое время страдала бессонницей, для чего приглашались по ночам дворовые девушки, на переменах, для сказывания ей сказок, что продолжалось более полугода. Тот образ спаса нерукотворенного, коим когда-то Елизавета Алексеевна была благословлена еще ее дедом, которому она ежедневно молилась о здравии Мишеньки, когда она узнала о его смерти, она приказала отнести в большую каменную церковь, произнеся при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки этому образу, а он все-таки его не спас». В большой каменной церкви этот образ сохранился и поныне; ему, говорят, самое меньшее лет 300.

Елизавета Алексеевна жила недолго после смерти своего внука: всего четыре года. Село Тарханы с деревней Михайловской по духовному завещанию она передала одному из родных своих братьев, Афанасию Алексеевичу Столыпину, после смерти которого это имение все перешло к единственному его сыну, Алексею Афанасьевичу Столыпину, проживающему в настоящее время, кажется, в Швейцарии. Фамилия же Лермонтовых со смертью Михаила Юрьевича совершенно прекратилась, так как он был единственный сын у отца, а отец умер ранее его.

Село Тарханы сохранило свой прежний вид во всех отношениях и по сие время, а барская усадьба в особенности. Тот старинный деревянный барский дом с мезонином и тремя балконами, под кровлей которого вырос и воспитался один из величайших русских поэтов, все в том же виде, кроме мебели, без малейших изменений; тот же вяз, растущий возле дома, под сению которого поэт любил мечтать и вдохновляться, успел уже превратиться в довольно огромное, с бочку толщиной, раскидистое дерево; по бокам его растут две липы, его современницы, и те же аллеи все в том же, но несколько запущенном виде...

Сельская площадь все в том же виде, на которой в праздничные дни Михаил Юрьевич ставил бочку с водой, и крестьяне села Тархан разделялись на две половины, наподобие двух враждебных армий, дрались на кулачки, стена на стену, а в это время, как современники передают, «и у Михаила Юрьевича рубашка

тряслась», и он был не прочь принять участие в этой свалке, но дворянское звание и правила приличий только от этого его удерживали; победители пили водку из этой бочки; побежденные же расходились по домам, и Михаил Юрьевич при этом всегда от души хохотал.

Большая каменная церковь во имя Михаила Архангела, празднуемого 8-го ноября, то есть святого, имя которого носил Михаил Юрьевич, сохранилась и поныне. Построена на средства Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в конце 30-х годов XIX века и освящена оригинальным образом: так, было приурочено, что в день ее освящения было окрещено 3 младенца, обвенчано три свадьбы и схоронено три покойника. В этой-то церкви и имеется тот образ спаса нерукотворенного, возле клироса на правой стороне, в вышину и ширину немного менее одного аршина, замечательной древней живописи и в не менее оригинальной и замечательной серебряной ризе, внизу которого золотыми буквами значится надпись на древнегреческом языке, в переводе означающая: «Святой с нами бог».

В алтаре, на правой стороне, имеется образ Василия Великого замечательно древней художественной работы, но без ризы, прежде принадлежавший, как мне передавали, еще отцу Михаила Васильевича Арсеньева, также пожертвованный Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Около левого клироса есть образ апостола Андрея Первозванного, без ризы, весьма древней и замечательной живописи, тоже пожертвованный Елизаветой Алексеевной.

Маленькая каменная церковь, отстоящая в 10 сажнях от барского дома на северо-запад, в саду, построена в 1817 году на месте бывшего барского дома, в котором скончались Михаил Васильевич Арсеньев и его дочь Марья Михайловна, после смерти которой Елизавета Алексеевна этот дом продала на слом и снос в село Владыкино (А. Н. Щетинину, ныне умершему), а на его месте выстроила вышеозначенную церковь. Дом в селе Владыкине сохранился. В этой церкви есть также замечательные иконы, писанные итальянскими художниками.

Дом же Елизавета Алексеевна немедленно построила новый, отступя 10 саж. на восток от церкви; этот дом сохранился и по сие время: все в том же виде, как и 80 лет назад. Из дома, несмотря на такое ничтожное

расстояние, Елизавету Алексеевну почти всегда возили вместо лошадей, которых она боялась, крепостные лакеи на двухколеске, наподобие тачки, и возивший ее долгое время крепостной Ефим Яковлев нередко вынимал чеку из оси, последствием чего было то, что Елизавета Алексеевна нередко падала на землю, но это Ефим Яковлев делал с целью из мести за то, что Елизавета Алексеевна в дни его молодости не позволила ему жениться на любимой им девушке, а взамен этого была сама к нему равнодушна. Он не был наказуем за свои дерзкие поступки, что крайне удивляло всех обывателей села Тархан.

Маленькая кладбищенская церковь, деревянная и вместе с тем самая старейшая, была построена Нарышкиным еще в начале XVIII века и стояла среди села, на площади, до 1835 года, на том самом месте, где в настоящее время стоит часовня, где находится фамильный склеп Арсеньевых. В склепе этом схоронены Михаил Васильевич Арсеньев, над гробом которого стоит памятник из светло-серого гранита, в виде небольшой колонны с следующей надписью: «М. В. Арсеньев скончался 2-го января 1810 года, родился 1768 года, 8 ноября».

Над гробом Марьи Михайловны стоит почти одинаковый памятник, как и над отцом, и совершенно рядом с ним с следующей надписью: «Под камнем сим лежит тело Марьи Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня, в субботу; житие ее было 21 год и 11 месяцев и 7 дней».

Несколько впереди этих двух памятников, то есть ближе к двери, в часовне стоит из прекрасного, черного, как уголь, мрамора и гораздо большего размера памятник в виде четырехсторонней колонны над гробом Михаила Юрьевича, с одной стороны которого бронзовый небольшой лавровый венок и следующая надпись: «Михайло Юрьевич Лермонтов»; с другой: «Родился 1814 г. 3-го октября», а с третьей: «Скончался 1841 года июля 15».

Все эти три памятника окружены невысокой железной решеткой. На стене, с левой стороны, в часовне прибита доска из белого мрамора с следующей надписью: «Елизавета Алексеевна Арсеньева скончалась 16 ноября 1845 г. 85 лет»⁸.

Насколько известно, Михаил Юрьевич весьма недурно рисовал не только тушью, карандашом и аква-

релью, но и масляными красками. Случайно при разговоре один мой знакомый, И. Ф. Л., спросил меня, правда ли, что я занимаюсь собиранием материалов, сведений и рукописей и всего относящегося до Белинского и Лермонтова; я отвечал в утвердительном смысле, и он мне посоветовал обратиться в одно место, где лет 20 тому назад он видел у одного из бывших своих учителей, доводившегося крестником Михаила Юрьевича и Елизаветы Алексеевны, портрет Лермонтова, писанный им самим с себя масляными красками, при помощи зеркала, штук 30 разных рисунков, набросков и этюдов карандашом, тушью и акварелью⁹, целую поэму «Мцыри» в подлиннике и много других стихотворений, писанных рукою поэта. Узнав об этом, я немедленно отправился в путь в указанное место и принялся за розыски, и что же оказалось: владелец этих сокровищ 8 лет тому назад уже умер, а имущество перешло к экономке, бывшей у него много лет в услужении. Не зная ее ни имени, ни фамилии, ни адреса, я принялся за тщательные розыски ее, но все было без успеха. Обращался я почти ко всем товарищам и сослуживцам покойного крестника Лермонтова, прося их указать точный адрес или, по крайней мере, фамилию этой старушки; все только сообщали, что ее давно уже не видят, и я был готов прекратить свои безуспешные розыски, а между тем все удоставляло то, что у нее действительно есть портрет Лермонтова и рукописи, писанные самим поэтом. Это только разожгло мое любопытство. После долгих невероятных усилий мне удалось ее найти, но оказалось, что рисунки и этюды Михаила Юрьевича частью изорваны и уничтожены ее сыном, когда он был еще ребенком, частью разобраны знакомыми, имена которых она припомнить не могла, так что от всей этой громадной коллекции у нее остался не изорванным ее сыном один лишь портрет поэта, и то лишь благодаря тому обстоятельству, что он писан не на бумаге, а на полотне и притом масляными красками и, кроме того, заключен в багетную рамку за стеклом. У нее его просили многие знакомые, но она воздержалась подарить его, так как слышала от покойного владельца о большой его ценности, и, кроме того, ей самой приходилось слышать, как за него предлагали большие суммы, но обладатель ни за что не хотел расстаться с портретом своего крестного отца, да

притом, он в средствах и не нуждался. Бумаги же, которых у нее было много, она большую часть продала без разбора калачнику — 3 пуда весом по 40 коп. за пуд, — два года тому назад, и они употреблены им для завертывания калачей и кренделей. А из оставшихся предложила разобрать и пересмотреть, указывая на русскую кухонную печь, где вместе с дровами, щепами и разным хламом действительно лежали кое-какие старые пожелтевшие от времени бумаги. Я, несмотря на ужасную пыль и хаос, забрался на эту печь и принялся за пересмотр бумаг. Большинство из них были писаны рукою крестника поэта и относились к высшей математике и астрономии, а также философии, но одна тетрадь, листов в 50 в $\frac{1}{4}$ долю листа писчей бумаги, в старинном переплете, совершенно пожелтевшая от времени, когда я ее взял в руки, оказалась наполненной стихотворениями Лермонтова¹⁰, но только они были писаны не рукою поэта и не рукой крестника. Начало, листов пять, было вырвано. Затем целиком в ней сохранились поэма «Боярин Орша», «Демон», «Завещание», «Бородино», «Прости», «Раскаяние», «Пленный рыцарь», «Парус» с множеством поправок и вставок, с пометками; внизу почти под каждой пьесой значился год их произведения. Я сверял даты с печатными и в некоторых местах нашел небольшие отступления, а в конце тетради небольшое, всего в 18 строк, но прекрасное стихотворение на чью-то смерть, внизу которого мелким почерком написано: «Стихотворение это встречено всеобщим одобрением и шумными рукоплесканиями». Кто был автор последнего стихотворения и кому оно посвящалось, а также где и когда было читано и покрыто рукоплесканиями, я еще не добрался, и мне оно в печати нигде не попадалось.

На портрете поэт изображен в красном лейб-гусарском мундире в возрасте, когда ему было не более 20 лет, с едва пробивающимися усами. Я показывал портрет многим лицам, лично знавшим поэта, и они все говорили, что Михаил Юрьевич изображен на портрете, как живой, в то время, когда он только что был произведен в офицеры. Вышина портрета 7 вершков, ширина $5\frac{1}{2}$ вершка. Года с два тому назад в Пензе в губернском статистическом комитете я видел прекрасный рисунок акварелью Михаила Юрьевича «Маскарад»,

вышиною около 6—7 вершков и шириною около 5, и в такой же точно рамке за стеклом, как и портрет ¹¹. Тут же были две старинные прекрасные фарфоровые вазы, прежде принадлежавшие поэту. Эти вещи, как мне сообщили, принесены в дар будущему пензенскому музею П. Н. Журавлевым. Кроме того, как мне передавала сестра Журавлева еще в 1884 году, ее братом подарены или проданы, с точностью не упомяну, любителю редкостей В. С. Турнер, живущему в настоящее время в Пензе, эполеты Михаила Юрьевича, которые были на нем во время несчастной дуэли с Мартыновым ¹². Они у него, как у большого любителя редкостей, вероятно, целы и по сие время.

А. КОРСАКОВ

ЗАМЕТКА О ЛЕРМОНТОВЕ

Кстати, о детских годах М. Ю. Лермонтова.

Автор вышеназванной статьи¹, любопытствуя об этом периоде жизни незабвенного поэта, обращался с расспросами об этом к какому-то старику капитану, в молодости бывшему в доме Е. А. Арсеньевой.

— Знали Лермонтова? — спрашивал он у капитана.

— Помню-с, — отвечал последний.

— А в доме его бабушки бывали в Тарханах, когда поэт еще был мальчиком?

— Бывал, и даже не однажды-с. Быв еще молодым офицером, лет двадцати пяти, в сообществе своих товарищей время там препровождал...

— Значит, Лермонтова знали еще с детства?

— Видал-с... но мало внимания обращал. Больше игра в карты нас занимала. Старуха Арсеньева была хлебосольная, добрая. Рота наша стояла недалеко, я и бывал-с. Помню, как и учить его начинали. От азбуки отбивался. Вообще был, баловень; здоровьем золотушный, жидкий мальчик; нянькам много от капризов его доставалось... Неженка, известно-с...

Больше этого ничего автор не узнал от капитана. Пополню этот пробел слышанным мною лет 30 тому назад и в то же время записанным рассказом двоюродного брата Лермонтова М. А. Пожогина-Отрашкевича, который по шестому году был взят в дом Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где он и провел несколько лет вместе с ее внуком. Не ручаюсь за достоверность

рассказанного, но Пожогин-Отрашкевич уверял меня, что он передает только то, что резко запечатлелось у него в памяти и чего почти 40 лет жизни не могли унести из нее; все остальное, что смутно и неясно удержала память, он оставляет в стороне.

По словам его, когда Миша Лермонтов стал подрастать, то Е. А. Арсеньева взяла к себе в дом для совместного с ним воспитания маленького сына одного из своих соседей — Д(авыдова)², а скоро после того и его, Пожогина. Все три мальчика были одних лет: им было по шестому году. Они вместе росли и вместе начали учиться азбуке. Первым учителем их, а вместе с тем и дядькою, был старик француз Жако³. После он был заменен другим учителем, также французом, вызванным из Петербурга, — Капэ. Лермонтов в эту пору был ребенком слабого здоровья, что, впрочем, не мешало ему быть бойким, резвым и шаловливым. Учился он, вопреки словам чембарского капитана, прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаруживался нрав добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость. Капэ имел странность: он любил жаркое из молодых галчат и старался приучить к этому лакомству своих воспитанников. Несмотря на уверения Капэ, что галчата вещь превкусная, Лермонтов, назвав этот новый род дичи *падалью*, остался непоколебим в своем отказе попробовать жаркое, и никакие силы не могли победить его решения. Другой пример его настойчивости обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Давыдову. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Давыдова что-то сделать. Давыдов отказывался исполнить его требование и услышал от Лермонтова слова: *хоть умри, но ты должен это сделать...*

В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову особенно нравились будто бы те, которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля. Охота с ружьем (?), верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также люби-

мыми упражнениями Лермонтова. Так проводили они время в Тарханах. В 1824 году Е. А. Арсеньева отправилась лечиться на Кавказ и взяла с собою внука и его двоюродного брата. Лермонтову было десять лет, когда он увидел Кавказ⁴. Проведя лето в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске, Арсеньева в октябре возвратилась в Тарханы.

В это время Пожогин-Отрашкевич должен был оставить дом Арсеньевой. В Тарханах ожидал его дядя (Юрий Петрович?) который и увез его в Москву для определения в тамошний кадетский корпус.

Лермонтов два года еще после того жил в Тарханах, но потом Арсеньева увезла его в Москву. Место Капэ заступил Винсон⁵. Через несколько времени Лермонтов поступил в университетский пансион.

М. Е. МЕЛИКОВ

ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА-ЖИВОПИСЦА

...Москва, Москва! родимый сердцу, высокочтимый мною по воспоминаниям город, где кончил жизнь блаженной памяти верный слуга царю и отечеству, герой бородинский, дядя мой, Павел Моисеевич Меликов.

Москва издревле умела оценивать и чтить защитников своих на поле брани, и не было в то время ни одного москвича, который не указал бы места жительства генерала Павла Моисеевича Меликова, не исключая уличного мальчика, который, проходя мимо его квартиры, не снимал бы шапку. В старину учили детей уважать заслуги отечеству.

Квартира дяди находилась на Мясницкой, в Армянском переулке близ армянской церкви и Лазаревского института, которого он был попечителем. У Красных ворот жили друзья его, семейство Мещериновых. Не в дальнем расстоянии жило семейство Багдадовых, тоже известное между армянами. По соседству с Мещериновыми жила родственница их по женской линии, Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, бабушка знаменитого поэта Лермонтова. Все эти лица были друзьями дядюшки, часто между собою виделись, и Павел Моисеевич, занявшись моим воспитанием и чувствуя недостаток женского материнского влияния, ввел меня в семейный круг неизменных друзей своих — Мещериновых. (...)

В доме дяди моего встречал я много знаменитостей того времени, в числе которых постоянным посетителем

бывал Алексей Петрович Ермолов, который называл дядю своим другом. {...}¹.

Петр Афанасьевич Мещеринов был сослуживцем дяди по л.-гв. Кирасирскому полку. По выходе в отставку в чине подполковника, он женился в Симбирске на помещице Елизавете Петровне, урожденной Собакиной, и для воспитания детей своих переехал на жительство в Москву.

Почти одновременно бабушка великого поэта Лермонтова Е. А. Арсеньева, о которой я уже упоминал, тоже переселилась в Москву, с целью дать воспитание знаменитому своему внуку. Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом.

Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А. Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя (старший) Мещеринов и Миша Лермонтов вместе поступили в 4-й класс пансиона.

Невольно приходит мне на ум параллель между вышеупомянутыми замечательными женщинами, которых я близко знал и в обществе которых под их влиянием вырос поэт Лермонтов. Е. А. Арсеньева была женщина деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей при том высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую. Е. П. Мещеринова, будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой, выделялась своей доступностью, снисходительностью и деликатностью души.

Не могу забыть, как, прощаясь с нами после ужина, она крестила и меня вместе с своими детьми, как старалась внушить мне тот огонь христианской любви и добра, которым горела святая душа ее.

Помню, что, когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска:² он вылепил, например, охотника с собакой и сцены

сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми; пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильно-стей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз).

В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком.

Помню характерную черту Лермонтова: он был ужасно прожорлив и ел все, что подавалось. Это вызвало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, к которым Лермонтов вообще был равнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками;³ он не разбирая начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку. Уехав из Москвы в С.-Петербург, я долго не встречался с Лермонтовым, который из участника моих игр, своенравного шалуна Миши, успел сделаться знаменитым поэтом, прославленным сыном отечества.

Во время последнего пребывания в С.-Петербурге мне суждено было еще раз с ним неожиданно встретиться в Царскосельском саду. Я был тогда в Академии художеств своекоштным пансионером и во время летних каникул имел обыкновение устраивать себе приятные прогулки по окрестностям Петербурга, а иногда ездить в ближние города и села неразлучно с портфелем. Меня особенно влекло рисование с натуры, наиболее этюды деревьев. Поэтому Царскосельский сад, замечательный по красоте и грандиозности, привлекал меня к себе с карандашом в руке.

Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь. Более мы с ним не виделись.

А. З. ЗИНОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

Бывши с 1826 до 1830 в очень близких отношениях к Лермонтову, считаю обязанностью сообщить о нем несколько сведений, относящихся к этому периоду, и вообще о раннем развитии его самостоятельного и твердого характера. В это время я, окончивши магистерский экзамен в Московском университете, служил учителем и надзирателем в университетском благородном пансионе, для поступления в который бабушка М. Ю. Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева привезла его в Москву. Осенью 1826 г. я, по рекомендации Елизаветы Петровны Мещериновой, близкого друга и, кажется, дальней родственницы Арсеньевой, приглашен был давать уроки и мне же поручено было пригласить других учителей двенадцатилетнему ее внуку¹. Этим не ограничивалась доверенность почтенной старушки; она на меня же возложила обязанность следить за учением юноши, когда он поступил через год прямо в 4-й класс университетского пансиона полупансионером, ибо нежно и страстно любившая своего внука бабушка ни за что не хотела с ним надолго расставаться. От нее же узнал я и главные обстоятельства ее жизни. Она вышла замуж по страсти и недолго пользовалась супружеским счастьем; недолго муж ее разделял с ней заботы о дочери, еще более скрепившей узы их брака. Он умер скорострительно среди семейного бала или маскарада. Елизавета Алексеевна, оставшись вдовой, лелеяла дочь свою с примерною материнскою нежностью, какую, можно сказать, описал автор «Notre-

Dame de Paris» * в героине своего романа. Дочь подросла и также по страсти вышла замуж за майора Лермонтова. Но, видно, суждено было угаснуть этой женской отрасли почтенного рода Столыпиных. Елизавета Алексеевна столь же мало утешалась семейной жизнью дочери и едва ли вообще была довольна ее выбором. Муж любит жену здоровую, а дочь Елизаветы Алексеевны, родивши сына Михайлу, впала в изнурительную чахотку и скончалась. Для Елизаветы Алексеевны повторилась новая задача судьбы в гораздо труднейшей форме. Вместо дочери, она, уже истощенная болезнями, приняла на себя обязанность воспитывать внука, свою последнюю надежду. Рассказывала она, что отец Лермонтов покушался взять к себе младенца, но усилия его были побеждены твердою решимостью тещи. Впрочем, Миша не понимал противуборства между бабушкой и отцом, который лишь по временам приезжал в Москву с своими сестрами, взрослыми девицами, и только в праздничные дни брал к себе сына. В доме Елизаветы Алексеевны все было рассчитано для пользы и удовольствия ее внука. Круг ее ограничивался преимущественно одними родственниками **, и если в день именин или рождения Миши собиралось веселое общество, то хозяйка хранила грустную задумчивость и любила говорить лишь о своем Мише, радовалась лишь его успехами. И было чем радоваться. Миша учился прекрасно, вел себя благородно, особенные успехи оказывал в русской словесности. Первым его стихотворным опытом был перевод Шиллеровой «Перчатки» ², к сожалению, утратившийся. Каким образом запало в душу поэта приписанное ему честолюбие, будто бы его грызшее; почему он мог считать себя дворянином незнатного происхождения, — ни достаточного повода и ни малейшего признака к тому не было. В наружности Лермонтова также не было ничего карикатурного ³. Воспоминанье о личностях обыкновенно для нас сливается в каком-либо обстоятельстве. Как теперь смотрю я на милого

* «Собор Парижской богоматери» (франц.).

** К ней ездил старик Анненков, Вадковские, Мещериновы, изредка Столыпины, подолгу гасчивал приезжавший с Кавказа Павел Петрович Шан-Гирей, женатый на племяннице Е. А. Арсеньевой, особенно пленявшей Мишу своими рассказами. (Прим. Зинovieва.)

моего питомца, отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского к Морю и заслужил громкие рукоплескания. Он и прекрасно рисовал, любил фехтованье, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: эго был коренастый юноша, обещававший сильного и крепкого мужа в зрелых летах⁴.

В начале 1830 года я оставил Москву, раза два писала мне о нем его бабушка; этим ограничились мои сношения, а вскоре русский наставник Миши должен был признать бывшего ученика своим учителем. Лермонтов всегда был благодарен своей бабушке за ее заботливость, и Елизавета Алексеевна ничего не жалела, чтобы он имел хороших руководителей. Он всегда являлся в пансионе в сопровождении гувернера, которые, однако, нередко сменялись. Помню, что Миша особенно уважал бывшего при нем француза Жандро, капитана наполеоновской гвардии⁵, человека очень почтенного, умершего в доме Арсеньевой и оплаканного ее внуком. Менее ладил он с весьма ученым евреем Леви, заступившим место Жандро⁶, и скоро научился по-английски у нового гувернера Винсона, который впоследствии жил в доме знаменитого министра просвещения гр. С. С. Уварова. Наконец и дома, и в унив. пансионе, и в университете, и в юнкерской школе Лермонтов был, несомненно, между лучшими людьми: — что же значит приписываемое ему честолюбие *выбраться в люди*? Где привился недуг этот поэту? Неужели в то время, когда он мог сознавать свое высокое призвание... и его славою дорожило избранное общество и целое отечество? Период своего брожения, наступивший для него при переходе в военную школу и службу, он слегка бравировал в стихотворении на стр. 194-ой первого тома, написанном, разумеется, в духе молодечества:

Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,
Хотя и дома был без дела;
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток

Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало
Что не касалось до него.
Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно,
И опрометчив был в делах:
Порою, трезвый — врал безбожно,
И молчалив был на пирах.
Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов...
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне — он был таков!

М(ихаил) Н(иколаевич) Ш(уби)н, один из умных, просвещенных и благороднейших товарищей Лермонтова по университетскому пансиону⁸ и по юнкерской школе, не оправдывая это переходное настроение, которое поддерживалось, может быть, вследствие укоренившихся обычаев, утверждает, что Лермонтов был любим и уважаем своими товарищами⁹.

Д. А. МИЛЮТИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Заведение это пользовалось в то время прекрасною репутацией и особыми преимуществами. Оно помещалось на Тверской¹ и занимало все пространство между двумя Газетными переулками (Старым и Новым, ныне Долгоруковским), в виде большого каре, с внутренним двором и садом. Пансион назывался университетским только потому, что в двух старших его классах, V и VI, преподавали большею частью университетские профессора; но заведение это имело отдельный законченный курс и выпускало воспитанников с правами на 14-й, 12-й и 10-й классы по чинопроизводству². Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназического. Так, в него входили некоторые части высшей математики (аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления, механика), естественная история, римское право, русские государственные и гражданские законы, римские древности, эстетика... Из древних языков преподавался один латинский; но несколько позже, уже в бытность мою в пансионе, по настоянию министра Уварова, введен был и греческий. Наконец в учебный план пансиона входил даже курс «военных наук»! — это был весьма странный, уродливый набор отрывочных сведений из всех военных наук, проходимый в пределах одного часа в неделю, в течение одного учебного года. Такой энциклопедический характер курса, конечно, не выдерживает строгой критики с нынешней точки зрения педагогики; но в те времена, когда гимназии у нас были



А. П. Шан-Гирей
Фотография

в самом жалком положении, Московский университетский пансион вполне удовлетворял требования общества и стоял наравне с Царскосельским лицеем. При бывшем директоре Прокоповиче-Антонском и инспекторе — проф. Павлове он был в самом блестящем состоянии. В мое время директором был Курбатов, а инспектором — Иван Аркадьевич Светлов, — личности довольно бесцветные, но добродушные и поддерживавшие, насколько могли, старые традиции заведения. {...}

Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой — тогда еще очень необширною. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина³, бредили романтическою школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева («Войнаровский»). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей⁴. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху), или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой журнал: «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания⁵. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии (Шенгелидзе, Семенюта и др.), мастерски отделывали заглавные листки, обложки и т. д. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления. По этой части одним из

главных участников сделался впоследствии мой брат Николай — страстный любитель театра. <...>

< 11 марта 1830 года>⁶ неожиданно приехал сам император Николай Павлович. <...> Это было первое царское посещение. Оно было до того неожиданно, непредвиденно, что начальство наше совершенно потеряло голову. На беду, государь попал в пансион во время «перемены», между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового сидения в классе. В эти минуты вся масса ребятишек обыкновенно устремлялась из классных комнат в широкий коридор, на который выходили двери из всех классов. Коридор наполнялся густою толпою жаждущих движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого рода. В эти моменты нашей школьной жизни предоставлялась полная свобода жизненным силам детской натуры: «надзиратели» если и появлялись в шумной толпе, то разве только для того, чтобы в случае надобности обуздывать слишком уже неудобные проявления молодечества.

В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. С своей же стороны толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошел вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не признанный, — и, наконец, вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла весьма комическая сцена: единственный из всех воспитанников пансиона, выдававший государя в Царском Селе, — Булгаков узнал его и, встав с места, громко приветствовал: «Здравия желаю вашему величеству!» — Все другие крайне изумились такой выходке товарища; сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему «генералу»... Озадаченный, разгневанный государь, не сказав ни слова, прошел далее в

6-й класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут, наконец, прибежали, запыхавшись, и директор и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретил их государь — мы не были уже свидетелями; нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом, кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше, и на нас с такою грозною энергией, какой нам никогда и не снилось. Пригрозив нам, он вышел и уехал, и мы все, изумленные, с опущенными головами, разошлись по своим классам. Еще больше нас опустило головы наше бедное начальство.

На другой же день уже заговорили об ожидающей нас участи; пророчили упразднение нашего пансиона. И действительно, вскоре после того последовало решение преобразовать его в «Дворянский институт», с приведением на уровень гимназии⁷.

В. С. МЕЖЕВИЧ

ИЗ СТАТЬИ О СТИХОТВОРЕНИЯХ ЛЕРМОНТОВА

С именем Лермонтова соединяются самые сладкие воспоминания моей юношеской жизни. Лет десять с лишком тому назад, помню я, хаживал, бывало, в Московский университет (я был в то время студентом) молодой человек, с смуглым, выразительным лицом, с маленькими, но необыкновенно быстрыми, живыми глазами: это был Лермонтов. Некоторые из студентов видели в нем доброго, милого товарища; я с ним не сходилась и не был знаком, хотя знал его более, нежели другие. Лермонтов воспитывался в Московском университетском пансионе и посещал университетские лекции как вольноприходящий слушатель. Между воспитанниками Университетского пансиона было у меня несколько добрых приятелей: из числа их упомяну о покойном С. М. Строеве. В то время (в 1828, 1829 и 1830 годах) в Москве была заметна особенная жизнь и деятельность литературная. Покойный М. Г. Павлов, инспектор Благородного университетского пансиона, издавал «Атеней»; С. Е. Раич, преподаватель русской словесности, издавал «Галатею»; пример наставников, искренно любивших науку и литературу, действовал на воспитанников — что очень естественно; по врожденной детям и юношам склонности подражать взрослым, воспитанники Благородного пансиона также издавали журналы, разумеется, для своего круга и рукописные; я помню, что в 1830 году в Университетском пансионе существовали *четыре* издания: «Арион», «Улей», «Пчел»

ка» и «Маяк». Из них одну книжку «Ариона», издававшегося покойным С. М. Строевым и подаренного мне в знак дружбы, берегу я и по сие время, как драгоценное воспоминание юности. Из этих-то *детских журналов*, благородных забав в часы отдохновения, узнал я в первый раз имя *Лермонтова*, которое случалось мне встречать под стихотворениями, запечатленными живым поэтическим чувством, и нередко зрелостью мысли не по летам. И вот что заставляло меня смотреть с особенным любопытством и уважением на Лермонтова, и потому более, что до того времени мне не случалось видеть ни одного русского поэта, кроме почтенного профессора, моего наставника, А. Ф. Мерзлякова.

Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова, но кажется, что ему принадлежат читанные мною отрывки из поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук» и переводы некоторых мелодий того же поэта (из них я очень помню одну, под названием «Выстрел») ¹.

Прошло несколько лет с того времени; имя Лермонтова не исчезло из моей памяти, хотя я нигде не встречал его печатно; наконец, если не ошибаюсь, в «Библиотеке для чтения» увидел я его в первый раз ² и, не будучи знаком с поэтом, обрадовался ему, как старому другу. После того в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появилось его стихотворение (без имени): «Песня про царя Иоанна Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» ³. Не знаю, какое впечатление произвело стихотворение это в Петербурге, но в Москве оно возбудило общее участие, и хотя имени автора под этим стихотворением подписано не было, однако ж оно скоро сделалось известно всем любителям литературы.

Е. А. СУШКОВА

1830-й ГОД

ГЛАВА ИЗ ЗАПИСОК

В Москве я свела знакомство, а вскоре и дружбу с Сашенькой Верещагиной¹. Мы жили рядом на Молчановке и почти с первой встречи сделались неразлучны; на водах, на гулянье, в театре, на вечерах, везде и всегда вместе. Александр Алексеев ухаживал за нею, а брат его Николай за мною², и мы шутя называли друг друга «*belle soeur*»^{*}.

Меня охотно к ней отпускали, но не для моего удовольствия, а по расчету: ее хотели выдать замуж за одного из моих дядей — вдовца с тремя почти взрослыми детьми, и всякий раз, отпуская меня к ней, приказывали и просили расхваливать дядю и намекать ей о его любви³.

Он для своих лет был еще хорош собою, любезен по-своему, то есть шутник (чего я никогда не терпела ни в ком) и всячески старался пленить Сашеньку, слывшую богатой невестой; но обе мы трунили над стариком, как говорится, водили его за нос, обе мы давали ему несбыточные надежды на успех, она из кокетства, а я из опасения, чтоб меня не разлучили с ней, и мы сообща все проволочки, все сомнения, все замедления сваливали на бессловесную старушку, мать ее.

У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-

^{*} свояченицы (*франц.*).

насмешливой улыбкой⁴. Он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: «Как Лермонтов влюблен в тебя!»

— Лермонтов! да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию.

— Перестань притворяться, перестань скрытничать, ты не знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?

— Право, Сашенька, ничего не знаю и в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне.

— Мишель,—закричала она,—поди сюда, покажись. Cathérine утверждает, что она тебя еще не рассмотрела, иди же скорее к нам.

— Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить вас,—сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову,—но мне ни разу не случилось слышать вашу фамилию, вот моя единственная вина, я считала вас, по бабушке, Арсеньевым.

— А его вина,—подхватила немилосердно Сашенька,—это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по ним, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени.

Мишель рассердился и на нее и на меня и опрометью побежал домой (он жил почти против Сашеньки); как мы его ни звали, как ни кричали ему в окно:

Revenez donc tantôt

Vous aurez du bonbon *,—

но он не возвращался. Прошло несколько дней, а о Мишеле ни слуху ни духу; я о нем не спрашивала, мне о нем ничего не говорила Сашенька, да и я не любопытствовала разузнавать, дуется ли он на меня или нет.

* Возвращайтесь же скорее, вы получите конфеты (франц.).

День ото дня Москва пустела, все разъезжались по деревням, и мы, следуя за общим полетом, тоже собирались в подмосковную, куда я стремилась с нетерпением, — так прискучили мне однообразные веселости Белокаменной. Сашенька уехала уже в деревню, которая находилась в полутора верстах от нашего Большакова, а тетка ее Столыпина жила от нас в трех верстах⁵, в прекрасном своем Средниково; у нее гостила Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком своим Лермонтовым. Такое приятное соседство сулило мне много удовольствия, и на этот раз я не ошиблась. В деревне я наслаждалась полной свободой. Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу, каждый день выдумывали разные *parties de plaisir*: * катанья, кавалькады, богомолья; то-то было мне раздолье!

В это памятное для меня лето я ознакомилась с чудными окрестностями Москвы, побывала в Сергиевской лавре, в Новом Иерусалиме, в Звенигородском монастыре. Я всегда была набожна, и любимым моим воспоминанием в прошедшем остались эти религиозные поездки, но впоследствии примешалось к ним, осветило их и увековечило их в памяти сердца другое милое воспоминание, но об этом после...

По воскресеньям мы езжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отраднее было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорой на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей; не нахвалится, бывало, им, не налюбуется на него; бабушка (мы все ее так звали) любила очень меня, я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике.

Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления,

* увеселительные прогулки (*франц.*).

хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первых поэтов.

Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напечь к чаю булочек с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроним Мишель не поморщась проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным.

Между тем его каникулы приходили к концу, и Елизавета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не решаясь расставаться со своим Венямином. Вся молодежь, и я в том же числе, отправились провожать бабушку с тем, чтоб из Москвы отправиться пешком в Сергиевскую лавру.

Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду; к нам подошел Мишель. Хотя он все еще продолжал дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев его; обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас. Сашенька пустилась за ним, я тоже встала и тут увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку, подняла ее, развернула, движимая наследственным любопытством прародительницы. Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом.

*Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.*

Вблизи тебя до этих пор
Я не слышал в груди огня;
Встречал ли твой волшебный взор —
Не билось сердце у меня.
И пламень звездочных очей,
Который вечно, может быть,
Останется в груди моей,
Не мог меня воспламенить.
К чему ж разлуки первый звук
Меня заставил трепетать?
Он не предвестник долгих мук,
Я не люблю! Зачем страдать?
Однако же хоть день, хоть час
Желал бы дольше здесь пробыть,
Чтоб блеском ваших чудных глаз
Тревогу мыслей усмирить.

*Средниково
12 августа 1830 г.*

Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умоляла ее не трунить над отроком-поэтом⁶.

На другой день мы все вместе поехали в Москву. Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со мною, как будто меня не было между ними, но не успела я войти в Сашенькину комнату, как мне подали другое стихотворение от него. Насмешкам Сашеньки не было конца, за то, что мне дано свыше вдохновлять и образовывать поэтов.

БЛАГОДАРИЮ

Благодарю!.. вчера мое признание
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!
В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей

Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:

Благодарю!

Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:

Благодарю!

О, пусть холодность мне твой взор укажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:

Благодарю!

*Средниково
12 августа⁷*

На следующий день, до восхождения солнца, мы встали и бодро отправились пешком на богомолье; путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка ехала впереди шагом, верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовить заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием.

На четвертый день мы пришли в Лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам бог счастье, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола, в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усажи-

ваясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи:

У врат обители святой
Стоял просящий подавня,
Бессильный, бледный и худой,
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою,
Так чувства лучшие мои
Навек обмануты тобою! ⁸

— Благодарю вас, Monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами.

— И сами собой, — подхватила Сашенька, — особенно первые, которые внушили тебе такие поэтические сравнения. Bravo, Мишель!

Лермонтов как будто не слышал ее и обратился ко мне:

— А вы будете ли гордиться тем, что вам первой я посвятил свои вдохновения?

— Может быть, более других, но только со временем, когда из вас выйдет настоящий поэт, и тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь, Monsieur Michel, пишите, но пока для себя одного; я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет, за него вы со временем будете меня благодарить.

— А теперь еще вы не гордитесь моими стихами?

— Конечно нет, — сказала я смеясь, — а то я была бы похожа на тех матерей, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость, и характер, а согласитесь, что и вы и стихи ваши еще в совершенном младенчестве.

— Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок.

— Да ведь это правда; мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете.

— Но когда перешагну, подадите ли вы мне руку помощи?

— Помощь моя будет вам лишняя, и мне сдается, что ваш ум и талант проложат вам широкую дорогу, и тогда вы, может быть, отречетесь не только от теперешних слов ваших, но даже и от мысли, чтоб я могла протянуть вам руку помощи.

— Отрекись! Как может это быть! Ведь я знаю, я чувствую, я горжусь тем, что вы внушили мне, любовью вашей к поэзии, желание писать стихи, желание их вам посвящать и этим обратить на себя ваше внимание; позвольте мне доверить вам все, что выльется из-под пера моего?

— Пожалуй, но и вы разрешите мне говорить вам неприятное для вас слово: благодарю!

— Вот вы и опять надо мной смеетесь; по вашему тону я вижу, что стихи мои глупы, нелепы, — их надо переделать, особливо в последнем куплете, я должен бы был молить вас совсем о другом, переделайте же его сами не на словах, а на деле, и тогда я пойму всю прелесть благодарности.

Он так на меня посмотрел, что я вспыхнула и, не находя, что отвечать ему, обратилась к бабушке с вопросом: какую карьеру изберет она для Михаила Юрьевича?

— А какую он хочет, матушка, лишь бы не был военным.

После этого разговора я переменяла тон с Лермонтовым, часто называла его Михаилом Юрьевичем, чему он очень радовался, слушала его рассказы, просила его читать мне вслух и лишь тогда только подсмеивалась над ним, когда он, бывало, увлекшись разговором, с жаром говорил, как сладостно любить в первый раз, и что ничто в мире не может изгнать из сердца образ первой страсти, первых вдохновений. Тогда я очень серьезно спрашивала у Лермонтова, есть ли этому предмету лет десять и умеет ли предмет его вздохов читать хотя по складам его стихи?

После возвращения нашего в деревню из Москвы, прогулки, катанья, посещения в Средниково снова возобновились, все пошло по-старому, но нельзя было не сознаться, что Мишель оживлял все эти удовольствия и что без него не жилось так весело, как при нем.

Он писал Сашеньке длинные письма, обращался часто ко мне с вопросами и суждениями и забавлял нас анекдотами о двух братьях Фее, и для отличия называл одного Fè-nez-long, другого Fè-nez-court; бедный Фенелон был чем-то в университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля.

В одном из своих писем он переслал мне следующие стихи, достойные даже и теперь его имени:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песни святой <и пр.> ⁹

О, как я обрадовалась этим стихам, какая разница с тремя первыми его произведениями, в этом уж просвечивал гений.

Сашенька и я, мы первые преклонились перед его талантом и пророчили ему, что он станет выше всех его современников; с этих пор я стала много думать о нем и об его грядущей славе.

В Москве тогда в первый раз появилась холера, все перепугались, принимая ее за что-то вроде чумы. Страх заразителен, вот и мы и соседи наши побоялись оставаться долее в деревне и всем караваном перебрались в город, следуя, вероятно, пословице: на людях смерть красна.

Бабушку Арсеньеву нашли в горе: ей только что объявили о смерти брата ее, Столыпина, который служил в персидском посольстве и был убит вместе с Грибоедовым ¹⁰.

Прасковья Васильевна была сострадательна и охотно навещала больных и тех, которые горевали и плакали. Я всегда была готова ее сопровождать к бедной Елизавете Алексеевне, поговорить с Лермонтовым и повидаться с Сашенькой и Дашенькой С., только что вышедшей замуж. Я давно знала Дашеньку; она была двумя

годами старше меня; я любила ее за ее доброту и наивность. Много ей, бывало, доставалось от нас. {...}

Всякий вечер после чтения затевались игры, но не шумные, чтобы не обеспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать всякому из присутствующих, в стихах или в прозе, что-нибудь такое, что бы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы, хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры.

Он начал с Сашеньки:

Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже,
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу все то же ¹¹.

Мы все одобрили à propos и были одного мнения с Мишелем.

Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда я их носила просто заплетенные в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову.

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи ¹².

Мишель, почтительно поклонясь Дашеньке, сказал:

Уж ты, чего ни говори,
Моя почтенная Darie,
К твоей постели одинокой
Черкес молодой и черноокой
Не крался в тишине ночной ¹³.

К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем; он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словом, Мишель скороговоркой проговорил ему:

— Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot et cependant vous n'êtes point Jean Jacques Rousseau * ¹⁴.

Еще была тут одна барышня, соседка Лермонтова по чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошайек и, чтоб отделаться от ее настойчивости, сказал:

— Ну хорошо, дайте лист бумаги, я вам выскажу правду.

Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал:

Три грации...

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула:

— Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу.

— Не тревожьтесь, будет правда, — отвечал он и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,
Родились вы... все три, а не четыре ¹⁵.

За такую сцену можно было бы платить деньги; злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспе-той и утешения «Jean Jacques», все представляло комическую картину...

Я до сих пор не дозналась, Лермонтова ли эта эни-грамма или нет.

Я упрекнула его, что для такого случая он не потру-дился выдумать ничего для меня, а заимствовался у Пушкина.

— И вы запрашиваетесь на правду? — спросил он.

— И я, потому что люблю правду.

— Подождите до завтрашнего дня.

Рано утром мне подали обыкновенную серенькую бу-мажку, сложенную запиской, запечатанную и с над-писью: «Ей, правда».

* Вы — Жан, вы — Жак, вы — рыжий, вы — глупый — и все же не Жан-Жак Руссо (франц.).

Когда весной разбитый лед
 Рекой взволнованной идет,
 Когда среди полей местами
 Чернеет голая земля
 И мгла ложится облаками
 На полуночные поля,
 Мечтанье злое грусть лелеет
 В душе неопытной моей.
 Гляжу: природа молодеет,
 Не молодеть лишь только ей.
 Ланит спокойных пламень алый
 С годами время унесет,
 И тот, кто так страдал, бывало,
 Любви к ней в сердце не найдет! ¹⁶

Внизу очень мелко было написано карандашом, как будто противуядие этой едкой, по его мнению, правде:

Зови надежду — сновиденьем,
 Неправду — истиной зови.
 Не верь хвалам и увереньям,
 Лишь верь одной моей любви!
 Такой любви нельзя не верить.
 Мой взор не скроет ничего,
 С тобою грех мне лицемерить.
 Ты слишком ангел для того! ¹⁷

Он непременно добивался моего сознания, что правда его была мне неприятна.

— Отчего же, — сказала я, — это неоспоримая правда, в ней нет ничего ни неприятного, ни обидного, ни непредвиденного; и вы и я, все мы состареемся, сморщимся, — это неминуемо, если еще доживем; да, право, я и не буду жалеть о прекрасных ланитах, но, вероятно, пожалею о вальсе, мазурке, да еще как пожалею!

— А о стихах?

— У меня старые останутся, как воспоминание о лучших днях. Но мазурка — как жаль, что ее не танцуют старушки!

— Кстати о мазурке, будете ли вы ее танцевать завтра со мной у тетушки Хигровой?

— С вами? Боже меня сохрани, я слишком стара для вас, да к тому же, на все длинные танцы у меня есть петербургский кавалер.

— Он должен быть умен и мил.

— Ну, точно смертный грех.

— Разговорчив?

— Да, имеет большой навык извиняться, в каждом туре оборвет мне платье шпорами или наступит на ноги.

— Не умеет ни говорить, ни танцевать; стало быть, он тронул вас своими вздохами, страстными взглядами?

— Он так кос, что не знаешь, куда он глядит, и пыхтит на всю залу.

— За что же ваше предпочтение? Он богат?

— Я об этом не справлялась, я его давно знаю, но в Петербурге я с ним ни разу не танцевала, здесь другое дело, он конногвардеец, а не студент и не *архивец*¹⁸.

И в самом деле, я имела неимоверную глупость прозевать с этим конногвардейцем десять мазурок сряду, для того только, чтобы мне позавидовали московские барышни¹⁹. Известно, как они дорожат нашими гвардейцами; но на бале, данном в собрании по случаю приезда в. к. Михаила Павловича, он чуть меня не уронил и я так на него рассердилась, что отказала наотрез мазурку и заменила его возвратившимся из деревни А(лексеевым), которого для этого торжественного случая представили официально Прасковье Михайловне под фирмою петербургского жителя и камер-юнкера.

Его высочество меня узнал, танцевал со мною, в мазурке тоже выбирал два раза и, смеясь, спросил: не забыла ли я Пестеля?

Когда Лермонтову Сашенька сообщила о моих триумфах в собрании, о шутках великого князя насчет Пестеля²⁰, я принуждена была рассказать им для пояснения о прежнем моем знакомстве с Пестелем и его ухаживаниях. Мишель то бледнел, то багровел от ревности, и вот как он выразился:

Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор,
А с ней и думы лучших дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,

Уж не придет — как прошлый час
На смех, подосланный судьбой.
Над мною посмеялась ты,
И я презреньем отвечал;
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой,
И сердце шепчет мне подчас:
«Я не могу любить другой!»
Я жертвовал другим страстям,
Но если первые мечты
Служить не могут больше нам,
То чем же их заменишь ты?
Чем ты украсишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю —
А может быть, и в небесах! ²¹

Я не видала Лермонтова с неделю, он накопил множество причин дуться на меня, он дулся за Пестеля, дулся, кажется, даже и за великого князя, дулся за от-каз мазурки, а более всего за то, что я без малейшей совести хвасталась своими волосами. За ужином у тетки Хитровой я побилась об заклад с добрым старичком, князем Лобановым-Ростовским, о пуде конфект, за то, что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове, и вот после ужина все барышни, в надежде уличить меня, принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колотить; я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу покрытая с головы до ног моей чудной косой. Все ахали, все удивлялись, один Мишель пробормотал сквозь зубы: «Какое кокетство!»

— Скажите лучше: какая жадность! Ведь дело идет о пуде конфект; утешьтесь, я поделюсь с вами.

Насущные стихи, на другой день, грозно предвещали мне будущее:

Когда к тебе молвы рассказ
Мое название принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить средь людей,

Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей:
Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при прощанье я сказал.
Увы! то были не мечты!
И если только наконец
Моя лишь грудь поражена,
То, верно, прежде знал творец,
Что ты страдать не рождена ²².

Вечером я получила записку от Сашеньки: она приглашала меня к себе и умоляла меня простить раскаявающегося грешника и, в доказательство истинного раскаяния, присылала новые стихи.

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так грусть — мой мрачный властелин —
Все будит старину,
И я твержу везде один:
«Люблю тебя, люблю!»
И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Минувшим я гоним.
И где б ни вздумал я искать
Под небом тишину,
Все сердце будет мне шептать:
«Люблю ее одну» ²³.

Я отвечала Сашеньке, что записка ее для меня загадочна, что передо мной никто не виноват, ни в чем не провинился и, следовательно, мне некого прощать.

На другой день я сидела у окошка, как вдруг к ногам моим упал букет из желтого шиповника, а в середине торчала знакомая серая бумажка, даже и шиповник-то был нарван у нас в саду.

Передо мной лежит листок
Совсем ничтожный для других,

Но в нем сковал случайно рок
Толпу надежд и дум монах.
Исписан он твоей рукой,
И я вчера его украл.
И для добычи дорогой
Готов страдать — как уж страдал! ²⁴

Изю всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита романическими идеями и как рано было развито в нем желание попасть в герои и губители сердец. Да и я, нечего лукавить, стала его бояться, стала скрывать от Сашеньки его стихи и блаженствовала, когда мне удавалось ее обмануть.

В то время был публичный экзамен в университетском пансионе. Мишель за сочинения и успехи в истории получил первый приз: весело было смотреть, как он был счастлив, как торжествовал ²⁵. Зная его чрезмерное самолюбие, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что он дурен, нескладен, не знатного происхождения, и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хотелось ему попасть *в люди*, а главное, никому в этом не быть обязану, кроме самого себя. Мечты его уже начали сбываться, долго, очень долго будет его имя жить в русской литературе — и до гроба в сердцах многих из его поклонниц.

В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или общее отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти, Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел.

Отец мой прискакал за мною, чтоб увезти меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой, а главное, я привыкла к золотой волюшке, привыкла располагать своим временем — и вот опять должна возвратиться под тяжелое ярмо Марьи Васильевны! ²⁶

С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной (это было мое последнее прощание с ней), с Сашенькой, с Мишелем; грустно, тяжело было мне! Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам:

Свершилось! Полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут — зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! Голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать... вспоминать!

1 октября 1830 г. ²⁷

Когда я уже уселась в карету и дверцы захлопнулись, Сашенька бросила мне в окно вместе с цветами и конфетами исписанный клочок бумаги, — не помню я стихов вполне:

Итак, прощай! Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! Шесть букв приносят столько мук,
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,
И может быть... как знать... в последний раз!²⁸

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ КНИГИ «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царско-сельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с лежаевской истории. {...}

...Опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, прихо-

дили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее. (...)

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские ассессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову, тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, — но и те молчали.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о маловской истории под угрозой прута, рассказывал ей кое-что. Нежная мать, *аристократка* и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как дока-

зательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять, — отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентаров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, — заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, — и буря поднялась; свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его! Pereat!» * Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом, и не мог, студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17—18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того винов-

* Да сгинет! (лат.)

ных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. *Vae victis* * с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него ¹.

Итак, дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал *à la lettre* **, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлага шинели принес от «лектура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. (...) Редактором был тогда Двигубский (...) он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив. (...) Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке — меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь: видно, меня не первого вели; когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова; князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по малов-

* Горе побежденным (лат.)

** в буквальном смысле (франц.).

скому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались, и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем. <...>

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание, его дело — поставить человека *à tête** продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны — и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

* дать ему возможность (франц.).

П. Ф. ВИСТЕНГОФ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружались, смотря по роду состояния, средствам к жизни, взглядам на вещи. Выделялись между нами и люди, горячо принявшие за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов. Оказались и такие, как и я сам, то есть мечтавшие как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни.

Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.

Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций¹. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были

приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впивались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.

Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, а некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.

Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.

— Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.

Не долго думая, я отправился.

— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без некоторого волнения.

Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее, — ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.

Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу, — она была английская.

Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и согласно ответам ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.

Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах².

Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изобразилось тогда на его строгом лице.

Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное московское благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали. (...)

Всем студентам была присвоена форменная одежда, наподобие военной: однобортный мундир с фалдами темно-зеленого сукна, с малиновым стоячим воротником и двумя золотыми петлицами, трехугольная шляпа и гражданская шпага без темляка; сюртук двубортный

также с металлическими желтыми пуговицами, и фуражка темно-зеленая с малиновым околышком. Посещать лекции обязательно было не иначе, как в форменных сюртуках. Вне университета, также на балах и в театре, дозволялось надевать штатское платье. Студенты вообще не любили форменной одежды и, относясь индифферентно к этой форме, позволяли себе ходить по улицам Москвы в форменном студенческом сюртуке, с высоким штатским цилиндром на голове.

Администрация тогдашнего университета имела некоторую свою особенность³.

Попечитель округа, действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын, богач, аристократ в полном смысле слова, был человек высокообразованный, гуманный, доброго сердца, характера мягкого. По высокому своему положению и громадным материальным средствам, он имел возможность делать много добра, как для всего ученого персонала вообще, так и для студентов (казеннокоштных) в особенности. Имя его всеми студентами произносилось с благоговением и каким-то особенным, исключительным уважением. Занимая и другие важные должности в государстве, он не знал, как бы это следовало, да и не имел времени усвоить себе своей прямой обязанности, как попечителя округа, в отношении всего того, что происходило в ученой иерархии; поэтому он почти всецело передал власть свою двум помощникам своим, графу Панину и Голохвостову. Эти люди были совершенно противоположных князю качеств. Как один, так и другой, необузданные деспоты, видели в каждом студенте как бы своего личного врага, считая нас всех опасною толпою, как для них самих, так и для целого общества. Они все добивались что-то сломить, искоренить, дать всем внушительную острастку.

Голохвостов был язвительного, надменного характера. Он злорадствовал всякому случайному, незначительному студенческому промаху и, раздув его до тахитим'а, находил для себя особого рода наслаждение наложить на него свою кару.

Граф Панин никогда не говорил со студентами, как с людьми более или менее образованными, что-нибудь понимающими. Он смотрел на них, как на каких-то мальчишек, которых надобно держать непременно в

ежовых рукавицах, повелительно кричал густым басом, командовал, грозил, страшал. И обоим этим личностям была дана полная власть над университетом. Затем следовали: инспектора, субинспектора и целый легион университетских солдат и сторожей в синих сюртуках казенного сукна с малиновыми воротниками (университетская полиция — городовые).

Городская полиция над студентами, как своекоштными, так и казеннокоштными, не имела никакой власти, а также и прав карать их. Провинившийся студент отсылался полицией к инспектору студентов или в университетское правление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета.

Инспектора казеннокоштных и своекоштных студентов, а равно и помощники их (субинспектора), имели в императорских театрах во время представления казенные бесплатные места в креслах, для наблюдения за нравственностью и поведением студентов во время сценических представлений и для ограждения прав их от произвольных действий полиции и других враждовавших против них ведомств. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку, и эта кара для студентов была гораздо целесообразнее и достойнее.

Как-то однажды нам дали знать, что граф Панин неистовствует в правлении университета. Из любопытства мы бросились туда. Даже Лермонтов молча потянулся за нами. Мы застали следующую сцену: два казеннокоштные студента сидят один против другого на табуретках, и два университетских солдата совершают над ними обряд бритья и стрижки. Граф, атлетического роста, приняв повелительную позу, грозно кричал:

— Вот так! Стриги еще короче! Под гребешок! Слышишь! А ты! — обращался он к другому. — Чище брей! Не жалея мыла, мыль его хорошенько!

Потом, обратившись к сидящим жертвам, гневно сказал:

— Если вы у меня в другой раз осмелитесь только подумать отпускать себе бороды, усы и длинные волосы на голове, то я вас прикажу стричь и брить на барабане, в карцер сажать и затем в солдаты отдавать. Вы ведь не дьячки! Передайте это там всем. Ну! Ступайте теперь!

Увидав в эту минуту нашу толпу, он закричал:

— Вам что тут нужно? Вам тут нечего торчать! Зачем вы пожаловали сюда? Идите в свое место!

Мы опрометью, толкая друг друга, выбежали из здания, проклиная Панина.

Иногда эти ненавистные нам личности, Панин и Голохвастов, являлись в аудиторию для осмотра, все ли в порядке. Об этом давалось знать всегда заранее. Тогда начиналась беготня по коридорам. Субинспектора, университетские солдаты суетились, а в аудиториях водворялась тишина.

Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам. (...)

В старое доброе время любили повеселиться. Прозвучали всевозможные удовольствия: балы, собрания, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одурачивающие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших. Наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих.

Рассеянная светская жизнь в продолжение года не осталась бесследною. Многие из нас не были подготовлены для сдачи экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а также греческий и латинский языки подкосили нас. Панин и Голохвастов, присутствуя на экзаменах, злорадствовали нашей неудаче. Последствием этого было то, что нас оставили на первом курсе на другой год; в этом числе был и студент Лермонтов.

Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет навсегда, отзываясь о профессорах, как о людях отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как равно и о тогдашней университетской нелепой администрации. Впоследствии мы узнали, что он, как человек богатый⁴, поступил на службу юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк.

А. М. МИКЛАШЕВСКИЙ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В ЗАМЕТКАХ ЕГО ТОВАРИЩА

Зная, насколько «Русская старина» интересуется подробными сведениями о знаменитых наших соотечественниках, я, как бывший товарищ Михаила Юрьевича Лермонтова, приведу здесь отрывок о нем из старых моих воспоминаний.

Во всех биографиях М. Ю. Лермонтова, сколько мне удавалось читать их, не упоминается, кажется, что, до поступления его в Московский университет, бабушка его, Арсеньева, определила его в Московский университетский благородный пансион. Сколько могу припомнить, кажется, он, хорошо, видно, дома подготовленный, поступил в пятый класс¹, откуда он, не кончив последнего, шестого класса, скоро вышел. Много было напечатано воспоминаний бывших учеников пансиона, а потому я ограничусь только сообщением о том времени, когда Лермонтов был в числе воспитанников.

Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, и я еще живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,

и проч.² —

и как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными,

неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову; но чрез несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только: «молодо, зелено», какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостоивались³. Все это было в 1829 или 1830 году, за давностью хорошо не помню. Нашими соучениками в то время были блистательно кончившие курс братья Д. А. и Н. А. Милютины⁴ и много бывших потом государственных деятелей.

В последнем, 6-м классе пансиона сосредоточивались почти все университетские факультеты, за исключением, конечно, медицинского. Там преподавали все науки, и потому у многих, во время экзамена, выходил какой-то хаос в голове. Нужно было приготовиться, кажется, из 36 различных предметов. Директором был у нас Курбатов. Инспектором, он же и читал физику в 6-м классе, М. Г. Павлов. Судопроизводство — старик Сандунов. Римское право — Малов, с которым потом была какая-то история в университете⁵. Фортификацию читал Мягков. Тактику, механику и проч. и проч. я уже не помню кто читал. Французский язык — Бальтус, с которым ученики проделывали разные шалости, подкладывали ему под стул хлопушки и проч.

Всем нам товарищи давали разные прозвища. В памяти у меня сохранилось, что Лермонтова, не знаю почему, — прозвали лягушкою. Вообще, как помнится, его товарищи не любили, и он ко многим приставал. Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в 6-м классе к концу курса он не был⁶. Все мы, воспитанники благородного пансиона, жили там и отпусались к родным по субботам, а Лермонтова бабушка ежедневно привозила и отвозила домой.

В 1832 году я снова встретился с Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Известно, что в школе он был юнкером л.-гв. Гусарского полка и вышел в тот же полк корнетом. Гвардейская школа помещалась тогда у Синего моста в огромном доме, бывшем потом дворце в. кн. Марии Николаевны. Мы, пехотинцы, помещались в верхнем этаже, кавалерия и классы — в среднем. Пехотные подпрапорщики

мало и редко сближались с юнкерами, которые называли нас «крупой». Иногда, в свободное время, юнкера заходили к нам в рекреационную небольшую залу, где у нас находился старый разбитый рояль.

В одной провинциальной газете («Харьковские ведомости», № 191, 28 июля 1884 г.) в статье «Обзор периодической печати» помещен отрывок из журнала «Русская мысль» П. Висковатова о пребывании Лермонтова в Школе гвардейских юнкеров⁷. Настоящая статья моя — воспоминание старика о М. Ю. Лермонтове — вызвана не совсем верным и точным сообщением г. Висковатова о нашем школьном времени.

В конце 1820-х и самом начале 1830-х годов для молодых людей, окончивших воспитание, предстояла одна карьера — военная служба. Тогда не было еще училища правоведения, и всех гражданских чиновников называли подьячими. Я хорошо помню, когда отец мой, представляя нас, трех братьев, великому князю Михаилу Павловичу, просил двух из нас принять в гвардию и как его высочество, взглянув на третьего, небольшого роста, сказал: «А этот в подьячие пойдет». Вот как тогда величали всех гражданских чиновников, и Лермонтов, оставив университет, поневоле должен был вступить в военную службу и просидеть два года в школе.

Обращение с нами в школе было самое гуманное, никакого особенно гнета, как пишет Висковатов, мы не чувствовали. Директором был у нас барон Шлиппенбах. Ротой пехоты командовал один из добрейших и милых людей, полковник Гельмерсен, кавалериею — полковник Стунеев, он был женат на сестре жены М. И. Глинки⁸. Инспектором классов — добрейшая личность, инженер, полковник Павловский. Дежурные офицеры обращались с нами по-товарищески. Дежурные, в пехоте и кавалерии, спали в особых комнатах около дортуаров. Утром будили нас, проходя по спальням, и никогда барабанный бой нас не тревожил, а потому, как пишет Висковатов, нервы Лермонтова от барабанного боя не могли расстроиваться. Дежурные офицеры были у нас: А. Ф. Гольтгоф, впоследствии генерал, князь Химшеев, Нагель, Андрей Федорович Лишен, впоследствии директор какого-то корпуса. Кавалеристов не помню, за исключением ротмистра л.-гв. Уланского полка Клерона, лихого француза, и все эти господа обращались с юн-

керами совершенно по-товарищески, и, может быть, это обращение с нами начальства было причиною, что, не желая огорчить кого-нибудь из любимых нами дежурных, в двухлетнее пребывание мое в школе я не помню, чтобы кто-нибудь подвергался взысканию. По субботам мы, бывало, отправлялись по очереди, по два, от пехоты и кавалерии, во дворец к великому князю Михаилу Павловичу и обедали за одним с его высочеством столом.

Профессор П. А. Висковатов в статье своей о пребывании Лермонтова в школе совершенно ошибочно передает: «Группировались в свободное время и около Вонлярлярского, который привлекал к себе многих неистощимыми, забавными рассказами. С ним соперничал Лермонтов, никому не уступавший в остротах и веселых шутках». Все это передано совсем неверно. Действительно, в одно время с ними был в школе, в пехоте, известный потом остряк-повеса Костя Булгаков. Константин Александрович Булгаков, сын бывшего московского почт-директора, бывший наш школьный товарищ, обладал многими талантами. Всегда веселый, остряк, отличный музыкант, он, в свободное время, действительно группировал около себя всех нас, и к нам наверх приходили Лермонтов и другие юнкера⁹. Во время пения, весьма часто разных скабрёзных куплетов, большею частью аккомпанировал Мишель Сабуров¹⁰, который, кажется, наизусть знал все тогдашние французские шансонетки и в особенности песни Беранже. Костя Булгаков, как мы его обыкновенно называли, был общий любимец и действительно примечательная личность. К сожалению, от слишком сильного разгула, он рано кончил жизнь. Шутки и остроты его не ограничивались только кругом товарищей, он часто забавлял ими великого князя Михаила Павловича. В то время много анекдотов передавали о похождениях Булгакова. Вот с этою-то личностью соперничал в остротах Лермонтов, а не с названною ошибочно Висковатовым. В романе Писемского «Масоны» фигурирует Булгаков и даже есть портрет его, но вовсе несхожий.

Третий и последний раз я встретился уже с Лермонтовым в 1837 году, не помню — в Пятигорске или Кисловодске, на вечере у знаменитой графини Ростопчиной. Припоминаю, что на этом вечере он был грустный и

скоро исчез, а мы долго танцевали. В это время, кажется, он ухаживал за M-lle Эмилиєю Верзилиной¹¹, прозванной им же, кажется: La Rose du Caucase *. Все эти подробности давно известны, и не для чего их повторять.

В Кисловодске я жил с двумя товарищами на одной квартире: князем Владимиром Ивановичем Барятинским, бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, тоже во цвете лет погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Мейером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает¹². Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались.

Вот мои заметки о бывшем моем товарище Михаиле Юрьевиче Лермонтове.

*10 августа 1884 г.
д. Вороня*

* Роза Кавказа (франц.).

И. В. АННЕНКОВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРОЙ ШКОЛЕ ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ И ЮНКЕРОВ. 1831-й ГОД

Я поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров юнкером л.-гв. в конный полк в начале 1831-го года — в то самое время, когда полки гвардии только что выступили в польский поход, который, между прочим, отозвался и на школе. Сначала было объявлено, что все юнкера пойдут в поход со своими полками, а когда они изготовились к выступлению, состоялось другое распоряжение, по коему в поход назначены были только юнкера первого класса¹, второму приказано было остаться в школе, а чтобы пополнить численность эскадрона, назначено было произвести экзамены и допустить прием в школу не в урочное время, то есть не в августе, как всегда было, а в январе. Я был в числе тех новичков, которые держали экзамен и поступили в школу в январе 1831 года.

Приемный экзамен, который мы держали для поступления в школу, производился в то время не тем порядком, который соблюдается теперь, то есть экзаменуемых не вызывали для ответов поодиночке, а несколько новичков в одно время распределялись по учителям, для которых в разных углах конференц-залы поставлены были столы и классные доски. Таким образом, каждый экзаменовался отдельно, и учитель, проэкзаменовав его, подходил к большому столу, который стоял посередине конференц-залы, и заявлял инспектору классов, сколько каждый экзаменующийся заслуживал баллов. <...>

Приступая к описанию обычной, ежедневной жизни юнкеров, я должен оговориться, что я имею в виду представить отдельно два периода внутреннего устройства школы. Первый период, с которого я начал свой рассказ, охватывает то время, когда командиром школы был Годейн, а эскадронным командиром Гудим-Левкович. Это время известно под названием старой школы, о которой все мы сохранили самую задушевную память и которая кончила свое существование с назначением в 1831-м году командиром школы Шлиппенбаха. Второй период, то есть время Шлиппенбаха, будет заключать в себе тяжкую для нас годину, когда строгости и крутые меры довели нашу школу до положения кадетского корпуса. Мы вынесли всю тяжесть преобразования или, иначе сказать, подтягивания нас, так что мне остается только пожалеть, что я не могу присоединить к моему рассказу третьего периода, когда Шлиппенбах почил на своих лаврах, то есть предался всецело карточной игре, и закваска старой школы всплыла опять наверх. Я уже не застал ее в школе. Считаю необходимым сделать и еще одну оговорку: учебную часть в школе я никак не мог подвести под это распределение периодов, потому что назначение Шлиппенбаха начальником школы, столь тяжело отозвавшееся для нас во всем другом, не имело никакого влияния на учебную часть. Шлиппенбах заходил в классы, собственно, для того, чтобы посмотреть, смирно ли мы сидим и не высунулась ли у кого из нас рубашка из-под куртки, а научная часть не только не занимала его, но он был враг всякой науке. Он принадлежал к той школе людей, которые были убеждены, что лицо, занимающееся науками, никогда не может быть хорошим фронтовым офицером. <...>

По существовавшему тогда обыкновению, входная дверь в эскадрон на ночь запиралась и ключ от нее приносился в дежурную комнату. Стало быть, внезапного ночного посещения эскадрона кем-либо из начальников нельзя было ожидать никоим образом, и юнкера, пользуясь этим, долго засиживались ночью, одни за вином, другие за чтением какого-нибудь романа, но большею частью за картами. Это было любимое занятие юнкеров и, бывало, когда ляжешь спать, из разных углов

долго еще были слышны возгласы: «Плне, угол, атанде». {...}

Нельзя не заметить, что школьные карточные сборища имели весьма дурной характер в том отношении, что игра велась не на наличные деньги, а на долговые записки, уплата по которым считалась долгом чести, и, действительно, много юнкеров дорого поплатилось за свою неопытность: случалось, что карточные долговые расчеты тянулись между юнкерами и по производстве их в офицеры. Для примера позволю себе сказать, что Бибииков, тот самый юнкер, хорошо приготовленный дома в науках, который ничему не учился в школе и вышел первым по выпуску, проиграл одному юнкеру десять тысяч рублей — сумму значительную по тому времени. Нужно заметить при этом, что распроигрался он так сильно не в самом эскадроне, а в школьном лазарете, который был в верхнем этаже и имел одну лестницу с эскадроном. Лазарет этот большей частью был пустой, а если и случались в нем больные, то свойство известной болезни не мешало собираться в нем юнкерам для ужинов и игры в карты. Доктор школы Гасовский известен был за хорошего медика, но был интересен и имел свои выгоды мирволить юнкерам. Старший фельдшер школы Ушаков любил выпить, и юнкера, зная его слабость, жили с ним дружно. Младший фельдшер Кукушкин, который впоследствии сделался старшим, был замечательный плут. Расторопный, ловкий и хитрый, он отводил заднюю комнату лазарета для юнкеров, устраивал вечера с ужинами и карточной игрой, следил за тем, чтобы юнкера не попались, и надувал их, сколько мог. Не раз юнкера давали ему потасовку, плачли-вались за это деньгами и снова дружились. Понятно при этом, что юнкера избрали лазарет местом своих сборищ, где и велась крупная игра. {...} Я сказал уже передсим несколько слов о курении, но желал бы возвратиться к этому предмету, потому что он составлял лучшее наслаждение юнкеров. Замечу, что папиросок тогда не существовало, сигар юнкера не курили, оставалась, значит, одна только трубка, которая, в сущности, была в большом употреблении во всех слоях общества. Мы щеголяли чубуками, которые были из превосходного черешневого дерева, такой длины, чтобы чубук мог уместиться в рукаве, а трубка была в размере на троих,

чтобы каждому пришлось затянуться три раза. Затяжка делалась таким образом, что куривший, не переводя дыхания, втягивал в себя табачный дым, сколько доставало у него духу. Это отуманивало обыкновенно самые крепкие натуры, чего, в сущности, и желали. Юнкера составляли для курения особые артели и по очереди несли обязанность хранения трубок. Наша артель состояла из Шигорина конной гвардии, Новикова тоже конной гвардии, Чернова конно-пионера и, наконец, меня. Мое дело состояло в том, чтобы стоять, когда закурят трубку, на часах в дверях между двух кирасирских камер, смотреть на дежурную комнату, а когда покажется начальник, предупредить куривших словами «Николай Николаевич». Лозунг этот был нами выбран потому, что вместе с нами поступил юнкер Пантелеев, которого звали этим именем и который до того был тих и робок, что никому и в голову не могла прийти мысль, чтобы он решился курить. Курение производилось большей частью в печке кирасирской камеры, более других прикрытой от дежурного офицера. Когда вся артель выполнит свое дело, я докуривал остальное, выколачивал трубку и относил ее в левом рукаве в свой шкафчик, где и закутывал в шинель, пропитавшуюся от того вместе с шкафчиком едким запахом табачного сока. Сколько я помню, я долго исполнял должность хозяйки², пока сам не вступил в права деятельного члена артели, причувившись и привыкнув курить до такой степени, что, долго спустя по выходе из школы, я не курил другого табаку, кроме известного под именем «двухрублевого Жукова».

Знакомство нас, новичков, с обычаями и порядками юнкеров продолжалось недолго, и госпитальное препровождение времени было первым, о котором мы узнали, чего, в сущности, и скрыть было невозможно. Затем познакомились мы с другой лазейкой, чрезвычайно удобной во многих отношениях, — с людскими комнатами офицерских квартир, отделенными широким коридором от господских помещений. Они находились в отдельном доме, выходящем на Вознесенский проспект. Оттуда посылали мы за вином, обыкновенно за портвейном, который любили за то, что был крепок и скоро отуманивал голову. В этих же притонах у юнкеров была статская одежда, в которой они уходили из школы,

потихоньку, разумеется. И здесь нельзя не сказать, до какой степени все сходило юнкерам безнаказанно. Эта статская одежда состояла из партикулярной только шинели и такой же фуражки; вся же прочая одежда была та, которую юнкера носили в школе; даже шпор, которые никак не сходились со статской одеждой, юнкера не снимали. Особенно любили юнкера надевать на себя лакейскую форменную одежду и пользовались ею очень часто, потому что в ней можно было возвращаться в школу через главные ворота у Синего моста.

Познакомившись с этими притонами, мы, новички, мало-помалу стали проникать во все таинства разгульной жизни, о которой многие из нас, и я первый в том числе, до поступления в школу и понятия не имели. Начну с тех любимых юнкерами мест, которые они особенно часто посещали. Обычными местами сходок юнкеров по воскресеньям были Фельет на Большой Морской, Гане на Невском, между двумя Морскими, и кондитерская Беранже у Синего моста. Эта кондитерская Беранже была самым любимым местом юнкеров по воскресеньям и по будням; она была в то время лучшей кондитерской в городе, но главное ее достоинство состояло в том, что в ней отведена была отдельная комната для юнкеров, за которыми ухаживали, а главное, верили им в долг. Сообщение с ней велось в школе во всякое время дня; сторожа непрерывно летали туда за мороженым и пирожками. В те дни, когда юнкеров водили в баню, этому Беранже была большая работа: из его кондитерской, бывшей наискось от бани, носились и передавались в окно подвального этажа, где помещалась баня, кроме съестного, ликеры и другие напитки. Что творилось в этой бане, считаю излишним припоминать, скажу только, что мытья тут не было, а из бани зачастую летали пустые бутылки на проспект. <...>

...Несмотря на возраст юнкеров (в школу могли поступать только лица, имевшие не менее 17 лет), между ними преобладали школьные, детские проказы, вроде того, например, чтобы подделывать другому юнкеру кровать, причем вся камера выжидала той минуты, когда тот ляжет на нее и вместе с досками и тюфяком провалится на землю, или, когда улягутся юнкера спать, протянуть к двери веревку и закричать в соседней камере: «Господа, из нашего окна виден пожар». Потеха

была, когда все кинутся смотреть пожар и образуют в дверях кучку. Эта школьная штука удалась нам один раз уже через меру хорошо. В кучке очутился дежурный офицер уланского полка Дризен, выбежавший из своей комнаты тоже посмотреть на пожар. Рассердился он сначала, да скоро обошелся. {...}

Как ни странным покажется, но справедливость требует сказать, что, несмотря на такое преобладание между юнкерами школьного ребяческого духа, у них был развит в сильной степени *point d'honneur** офицерских кружков. Мы отделяли шалость, школьничество, шутку от предметов серьезных, когда затрагивалась честь, достоинство, звание или наносилось личное оскорбление. Мы слишком хорошо понимали, что предметами этими шутить нельзя, и мы не шутили ими. В этом деле старые юнкера имели большое значение, направляя, или, как говорилось обыкновенно, вышколивая новичков, в числе которых были люди разных свойств и наклонностей. Тем или другим путем, но общество, или, иначе сказать, масса юнкеров достигала своей цели, переламеняя натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было сделать, потому что одной личности нельзя же было устоять противу всех. Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом, не всегда были мягки, и если весь эскадрон невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера, которые не присоединялись к товарищам, когда были между ними какие-нибудь соглашения, не любили также и тех, которые передавали своим родным, что делалось в школе, и это потому, что родные, в особенности маменьки, считали своею обязанностью доводить их жалобы до сведения начальства. Предметом общих нападок были вообще те, которые отделялись от общества с юнкерами или заискивали в начальстве, а также натуры вялые, хилые и боязливые. Более всего подвергались преследованию новички, не бывшие до поступления в школу в каком-нибудь казенном или общественном заведении и являвшиеся на службу прямо из-под маменькиного крылышка, в особенности если они, как тогда выражались, подымали нос. Нельзя не заметить при этом, что

* чувство чести (франц.).

школьное перевоспитание, как оно круто ни было, имело свою хорошую сторону в том отношении, что оно формировало из юнкеров дружную семью, где не было места личностям, не подходящим под общее настроение. <...>

Позволю себе несколько слов о бритье, которое играло в нашем туалете немаловажную роль. Все юнкера имели то убеждение, что чем чаще они будут бриться, тем скорее и гуще отрастут у них борода и усы, а желание иметь усы было преобладающей мечтою всего эскадрона. На этом основании все те, у кого не было еще и признаков бороды, заставляли себя брить по нескольку раз в сутки. Операцией этой занимался инвалидный солдат Байков, высокий худощавый мужчина, ходивший в эскадрон во всякое время и всегда с мыльницею и бритвами. Мы его любили за то, что он хотя и был ворчун, но выполнял наши требования. Случалось, что выйдешь за чем-нибудь из класса и, встретив его, скажешь: «Байков, брей», — и он на том же самом месте, где застал требование, намылит место для усов и выбреет. И это случалось по нескольку раз в день.

Чтобы покончить с туалетной частью, упомяну тех лиц, которые снабжали нас предметами обмундирования. Вот перечень наших поставщиков: белые фуражки без козырьков делал нам литаврищик конной гвардии Афанасьев, который один умел давать им чрезвычайно шикарный вид, сохраняя при этом форму; он до такой степени усовершенствовался в делании фуражек, что работал почти что на весь город. Каски наши с плоским гребнем делал замечательно красиво, с большим вкусом, еврей Эдельберг, не имевший на свое имя ни лавки, ни фирмы какой-нибудь, а был он просто личностью, таскавшейся в эскадрон, где служил потехою юнкеров. Ленивый разве его не тормозил и не таскал; он же делал нам и кирасы, тоже весьма щеголевато, и брал за все втридорога. Лосину заказывали одни у Френзеля, а другие у Хунгера, у первого лосина была лучше, но поверят ли теперь, что у него лосина стоила сто рублей; второй был попроще, работал недурно и брал человеческие цены; я платил у него за лосину с красными перчатками 25 руб. Рейтузы составляли для нас предмет первой важности, и трудно было приноровиться к нашим требованиям, которые состояли в

том, чтобы рейтузы выполняли, во-первых, главное свое назначение, то есть чтобы подходили под шаг, потом, чтобы от талии к коленам они немного суживались, а от колен книзу чтобы шли расширяясь. Один только портной умел удовлетворять эти требования и славился умением шить рейтузы, — это был дворовый человек юнкера Хомутова, по имени Иван. Колеты, шинели и куртки нам шили в школьной швальне. <...>

Учебный курс продолжался в школе два года; сначала поступали во второй класс, а потом переводили в первый, откуда уже юнкера выпускались в офицеры. Поступление мое в школу совпало с тем временем, когда первого класса не было, за уходом юнкеров этого класса в поход. Второй класс доканчивал курс и в мае месяце должен был держать переходные экзамены. Нам, новичкам, поступившим в феврале, предоставлено было право или присоединиться ко второму классу и с ним держать экзамен для перехода в 1-й класс (таких нашлось немного), или начать курс с начала его, то есть с 1-го августа (таких было большинство, и я в том числе). Таким образом, хотя мы и ходили до лагеря в классы, но ничем не занимались, да, в сущности, мало занимались и другие. Классы посвящались обыкновенно разговорам, чтению книг, которые прятались по приходе начальника, игре в орлянку на задней скамейке и шалостями с учителем.

В. И. АННЕНКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Между адъютантами великого князя я часто встречала Философова Алексея Илларионовича, Александра Грёссера, Шипова, Бакунина — и решила найти среди них мужа для семнадцатилетней хорошенькой кузины моего мужа, которую я вывожу на балы, спектакли и концерты. Это Аннет Столыпина¹, дочь старой тетушки Натальи Алексеевны Столыпиной. У этой старой тетушки есть сестра, еще более пожилая и слабая, чем она, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Это — бабушка Михаила Лермонтова, знаменитого поэта, которому в 1832 году было восемнадцать или девятнадцать лет.

Он кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянью бабушки, которая его обожает и балует, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков.

Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах. «Батюшка мой, Николай Николаевич! — говорит она моему мужу, — Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!»

Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим². Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю мате-

ринскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям.

Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны.

Мы отправились туда в тот же день на санях.

В первый раз я увидела будущего великого поэта Лермонтова.

Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно.

Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не благоволил при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить.

Мой муж обратился к нему со словами привета и представил ему новую кузину. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени.

Мы его больше не видели и совершенно потеряли из виду, так как скоро покинули Петербург, а когда мы туда вернулись, мы там его уже не нашли.

Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего «Героя нашего времени», где в лице Печорина изобразил самого себя.

На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базилевских (мадам Базилевская, рожденная Грёссер).

Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось — тот же

мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в «Горе от ума» в сцене бала.

У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела³ и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность.

Я знала того, кто имел несчастье его убить, — незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил. (...) Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина.

А. М. МЕРИНСКИЙ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ В ЮНКЕРСКОЙ ШКОЛЕ

Нередко приходится слышать от любителей русской литературы сетования о том, что в печати так мало сообщено биографических сведений о поэте Лермонтове; но их не могло много и быть: поэт наш так мало жил! — двадцать шесть лет и несколько месяцев. Собственно говоря, жизнь его в обществе началась с выпуска его из юнкерской школы и продолжалась шесть с половиною лет: он был произведен в офицеры в конце 1834 года¹, а 15 июля 1841 года был убит. Постараюсь передать немного, что помню из юнкерской жизни Лермонтова, с которым я в одно время находился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В 1832 году Михаил Юрьевич Лермонтов, определяясь в лейб-гвардии Гусарский полк, поступил в гвардейскую школу. В то время гвардейские юнкера не состояли при своих полках, а все находились в означенной школе, где должны были пробыть два года, по прошествии которых выдержавшие экзамен производились в офицеры. Поступали туда не моложе 17 лет.

Между товарищами своими Лермонтов ничем не выделялся особенно от других. В школе Лермонтов имел страсть приставать с своими острыми и часто даже злыми насмешками к тем из товарищей, с которыми он был более дружен. Разумеется, многие платили ему тем же, и это его очень забавляло. Редкий из юнкеров в школе не имел какого-либо прозвища; Лермонтова прозвали *Майшкой*, уменьшительное от Маё — название одного из действующих лиц бывшего тогда в моде романа «Notre-

Dame de Paris» *, Маё этот изображен в романе уродом, горбатым². Разумеется, к Лермонтову не шло это прозвище, и он всегда от души смеялся над ним. Лермонтов был небольшого роста, плотный, широкоплечий и немного сутуловатый. Зимой в большие морозы юнкера, уходя из школы, надевали шинели в рукава, сверх мундиров и ментиков; в этой форме он действительно казался неуклюжим, что и сам признавал, и однажды нарисовал себя в этой одежде в карикатуре. Впоследствии под именем Маёшки он описал себя в стихотворении «Монго». «Монго» — тоже школьное прозвище, данное Алексею Аркадьевичу Столыпину, юнкеру лейб-гвардии Гусарского полка. Столыпин был очень красив собой и очень симпатичен. Название «Монго» взято было также из какого-то французского романа, в то время бывшего в большом ходу, один из героев которого носил это имя.

Лермонтов не был из числа отъявленных шалунов, но любил иногда пошкольничать. По вечерам, когда бывали свободны от занятий, мы часто собирались вокруг рояля (который на зиму мы брали напрокат); на нем один из юнкеров, знавших хорошо музыку, аккомпанировал товарищам, певшим хором разные песни. Лермонтов немедленно присоединялся к поющим, прегромко запевал совсем иную песню и сбивал всех с такта; разумеется, при этом поднимался шум, хохот и нападки на Лермонтова. Певали иногда романсы и проч., которые для нашей забавы переделывал Лермонтов, применяя их к многим из наших юнкеров, как, например, стихотворение (ходившее тогда в рукописи), в котором говорится:

Как в ненастные дни
Собирались они
Часто... и проч.³.

Названия этого стихотворения не помню, переделанное же Лермонтовым слишком нескромного содержания и в печати появиться не может.

У нас был юнкер Ш(аховско)й, отличный товарищ; его все любили, но он имел слабость сердиться, когда товарищи трунили над ним. Он имел пребольшой нос, который шалуны юнкера находили похожим на ружей-

* «Собор Парижской богородицы» (франц.).

ный курок. Шаховской этот получил прозвище курка и князя носа. В стихотворении «Уланша» Лермонтов о нем говорит:

Князь-нос, сопя, к седлу прилег —
Никто рукою онемелой
Его не ловит за курок.

Этот же Шаховской был влюбчивого характера; бывая у своих знакомых, он часто влюблялся в молодых девиц и, поверяя свои сердечные тайны товарищам, всегда называл предмет своей страсти богинею. Это дало повод Лермонтову сказать экспромт, о котором позднее я слышал от многих, что будто экспромт этот сказан был поэтом нашим по поводу ухаживания молодого француза Баранта за одною из великосветских дам. Не знаю, может, это так и было, но, во всяком случае, это было уже повторение экспромта, сказанного Лермонтовым, чтобы посердить Шаховского для забавы товарищей. Сообщаю ниже этот экспромт, нигде не напечатанный; прежде же того позволю себе объяснить читателю, в чем дело. В юнкерской школе, кроме командиров эскадрона и пехотной роты, находились при означенных частях еще несколько офицеров из разных гвардейских кавалерийских и пехотных полков, которые заведовали отделениями в эскадроне и роте, и притом по очереди дежурили — кавалерийские — по эскадрону, пехотные — по роте. Между кавалерийскими офицерами находился штаб-ротмистр Клерон, уланского полка, родом француз, уроженец Страсбурга; его более всех из офицеров любили юнкера⁴. Он был очень приветлив, обходился с нами как с товарищами, часто метко острил и говорил каламбуры, что нас очень забавляло. Клерон посещал одно семейство, где бывал и Шаховской, и там-то юнкер этот вздумал влюбиться в гувернантку. Клерон, заметив это, однажды подшутил над ним, проведя целый вечер в разговорах с гувернанткой, которая была в восхищении от острот и любезности нашего француза и не отходила от него все время, пока он не уехал. Шаховской был очень взволнован этим. Некоторые из товарищей, бывшие там вместе с ними, возвратясь в школу, передали другим об этой шутке Клерона. На другой день многие из шалунов по этому случаю начали приставать с своими насмешками к Шаховскому. Лер-

монтов, разумеется, тоже, и тогда-то появился его следующий экспромт (надо сказать, что гувернантка, обожаемая Шаховским, была недурна собою, но довольно толста):

О, как мила твоя богиня!
За ней волочится француз, —
У нее лицо, как дыня,
Зато... как арбуз ⁵.

Надо заметить, что вообще Лермонтов не любил давать другим списывать свои стихотворения, даже и читать, за исключением шуточных и не совсем скромных, появлявшихся в нашем рукописном журнале. Составителями номеров этого журнала были все, желавшие и умевшие написать что-либо забавное в стихах или прозе для потехи товарищей. Выход этого школьного, рукописного журнала ⁶ (появлявшегося раз в неделю) недолго продолжался, и журнал скоро наскучил непостоянным повесам.

По вечерам, после учебных занятий, поэт наш часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться не замеченным товарищами. Иногда он занимался рисованием; он недурно рисовал и любил изображать кавказские виды и черкесов, скакавших по горам. Виды Кавказа у него остались в памяти после того, как он был там в первый раз еще будучи ребенком (12 лет) ⁷, с своей родной бабушкой Е. А. Арсеньевой. К этой всеми уважаемой старушке он бывал увольняем по праздникам из школы.

Кстати при этом замечу, что поэмы Лермонтова «Демон» и «Хаджи Абрек», в которых так поэтично изображены кавказские виды, были им написаны до его первой ссылки на Кавказ. Кто-то из наших критиков, не зная того, укорял поэта, что он описал и воспел то, чего не видал. Лермонтов, побывав во второй раз на Кавказе уже юношею, переделал и пополнил поэму «Демон», и потому-то есть две редакции этой поэмы ⁸. «Хаджи Абрек» написан был им в юнкерской школе.

Лермонтов был довольно силен, в особенности имел большую силу в руках, и любил состязаться в том с юн-

кером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач — он гнул шомполы и делал узлы, как из веревок. Много пришлось за испорченные шомполы гусарских карабинов переплатить ему денег унтер-офицерам, которым поручено было сбережение казенного оружия. Однажды оба они в зале забавлялись подобными *tours de force**, вдруг вошел туда директор школы, генерал Шлиппенбах. Каково было его удивление, когда он увидал подобные занятия юнкеров. Разгорячась, он начал делать им замечания: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети, что ли, вы, чтобы так шалить!.. Ступайте под арест». Их арестовали на одни сутки. После того Лермонтов презабавно рассказывал нам про выговор, полученный им и Карачинским. «Хороши дети, — повторял он, — которые могут из железных шомполов вязать узлы», — и при этом от души заливался громким хохотом.

Командиром нашего юнкерского эскадрона, в описываемое мною время, был лейб-гвардии кирасирского полка полковник Алексей Степанович Стунеев, женатый на старшей сестре жены знаменитого композитора М. И. Глинки, который был тогда еще женихом и целые дни проводил в доме Стунеевых, где жила его невеста. Часто по вечерам приглашались туда многие из юнкеров, разумеется, и Лермонтов тоже; но он редко там бывал и вообще неохотно посещал начальников и не любил ухаживать за ними.

В учебных и литературных занятиях, в занятиях по фрунтовой части и манежной езде, иногда в шалостях и школьничестве — так прошли незаметно для Лермонтова два года в юнкерской школе. В конце 1834 года он был произведен в корнеты. Через несколько дней по производстве он уже щеголял в офицерской форме. Бабушка его Е. А. Арсеньева поручила тогда же одному из художников снять с Лермонтова портрет. Портрет этот, который я видел, был нарисован масляными красками в натуральную величину, по пояс. Лермонтов на портрете изображен в вицмундире (форма того времени) гвардейских гусар, в корнетских эполетах; в руках треугольная шляпа с белым султаном, какие тогда носили кавалеристы, и с накинутой на левое плечо ши-

* проявлениями силы (*франц.*).

нелю с бобровым воротником. На портрете этом, хотя Лермонтов был немного польщен, но выражение глаз и турнюра его схвачены были верно⁹.

По производстве в офицеры юнкера приведены были к присяге, после чего школьным начальством представлены великому князю Михаилу Павловичу, который представил их государю Николаю Павловичу. Наконец вся новопроизведенная молодежь, расставшись с товарищами, разъехалась по разным полкам. Лермонтов уехал в Царское Село.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

Лермонтов был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с черными, как уголь, глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось.

В 1831 году, переехав из Москвы в Петербург, он начал готовиться к экзамену для вступления в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, куда и поступил в начале 1832 года (кажется, в марте)¹, в лейб-гвардии Гусарский полк*. Годом позднее Лермонтова, определяясь в гвардейские уланы, я поступил в ту же школу и познакомился с ним, как с товарищем. Вступление его в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз, после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком*, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, которая любила

* В то время юнкера, находившиеся в школе, считались в полках и носили каждый своего полка мундир. (Прим. А. М. Меринского.)

его до обожания. Добрая старушка, как она тогда была огорчена и сколько впоследствии перестрадала за нашего поэта. Все юнкера, его товарищи, знали ее, все ее уважали и любили. Во всех она принимала участие, и многие из нас часто бывали обязаны ее ловкому ходатайству перед строгим начальством. Живя каждое лето в Петергофе, близ кадетского лагеря, в котором в это время обыкновенно стояли юнкера, она особенно бывала в страхе за своего внука, когда эскадрон наш отправлялся на конные ученья. Мы должны были проходить мимо ее дачи, и всегда видели, как почтенная старушка, стоя у окна, издали крестила своего внука и продолжала крестить всех нас, пока длинную вереницею не пройдет перед ее домом весь эскадрон и не скроется из виду.

В юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить. Впоследствии и в свете он не оставил этой привычки, хотя имел за то много неприятностей и врагов. Между юнкерами он особенно дружен был с В. А. Вонлярлярским* (известным беллетристом, автором «Большой барыни» и проч.), которого любил за его веселые шутки. Своими забавными рассказами Вонлярлярский привлекал к себе многих. Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, «поболтать», рассказы Вонлярлярского были неистощимы; разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках.

Зимой, в начале 1834 года, кто-то из нас предложил издавать в школе журнал, конечно, рукописный. Все согласились, и вот как это было. Журнал должен был выходить один раз в неделю, по средам; в продолжение семи дней накапливались статьи. Кто писал и хотел помещать свои сочинения, тот клал рукопись в назначенный для того ящик одного из столиков, находившихся при кроватях в наших каморах. Желавший мог оставаться

* В то время Вонлярлярский тоже был юнкером лейб-гвардии Гусарского полка. Произведен офицером в гвардейские конно-пионеры. (Прим. А. М. Меринского.)

неизвестным. По середам вынимались из ящика статьи и сшивались, составляя довольно толстую тетрадь, которая вечером в тот же день, при сборе всех нас, громко прочитывалась. При этом смех и шутки не умолкали. Таких номеров журнала набралось несколько. Не знаю, что с ними случилось; но в них много было помещено стихотворений Лермонтова, правда, большею частью не совсем скромных и не подлежащих печати, как, например, «Уланша», «Праздник в Петергофе» и другие. «Уланша» была любимым стихотворением юнкеров; вероятно, и теперь, в нынешней школе, заветная тетрадка тайком переходит из рук в руки. Надо сказать, что юнкерский эскадрон, в котором мы находились, был разделен на четыре отделения: два тяжелой кавалерии, то есть кирасирские, и два легкой — уланское и гусарское. Уланское отделение, в котором состоял и я, было самое шумное и самое шаловливое. Этих-то улан Лермонтов воспел, описав их ночлег в деревне Ижорке, близ Стрельны, при переходе их из Петербурга в Петергофский лагерь. Вот одна из окончательных строф, — описание выступления после ночлега:

Заутро раннее светило
Взошло меж серых облаков,
И кровли спящие домов
Живым лучом позолотило.
Вдруг слышен крик: вставай, скорей!
И сбор пробили барабаны *,
И полусонные уланы,
Зевая, сели на коней.

В одной из тетрадей того же журнала было помещено следующее шутовское стихотворение Лермонтова «Юнкерская молитва»:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки

* Хотя при эскадроне были трубачи, но как в отряде, шедшем в лагерь, находились подпрапорщики и кадеты, то подъем делался по барабанному бою. (Прим. А. М. Меринского.)

Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алехин * глаз
Как можно реже
Там видит нас.
Еще моление
Позволь послать —
Дай в воскресенье
Мне опоздать!

То есть прийти из отпуска после зори, позже 9 часов и, разумеется, безнаказанно ².

Никто из нас тогда, конечно, не подозревал и не разгадывал великого таланта в Лермонтове. Да были ли тогда досуг и охота нам что-нибудь разгадывать, нам, юношам в семнадцать лет, смело и горячо начинавшим жизнь, что называется, без оглядки и разгадки. В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения; но только немногим и немного показывал из написанного. Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, основанный на истинном происшествии, по рассказам его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе; ³ в нем также описывалась первая любовь, не вполне разделенная, и встреча одного из лиц романа с женщиной с сильным характером, что раз случилось и с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал и о чем, кажется, намекает в одном месте записок Печорина. Печорин пишет, что один раз любил такую женщину, а перед тем говорит: «Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело?» Но и без характера женщина, прибавлю я от себя, не большая находка. На такую женщину нельзя полагаться. Да и сама она, ис-

* Бывший в то время командиром юнкерского эскадрона, покойный Алексей Степанович С<туне>ев, которого юнкера очень любили. (Прим. А. М. Меринского.)

пытывая невзгоды и огорчения любящей женщины с характером, не пользуется ее наслаждениями...

Роман, о котором я говорил, мало кому известен, и нигде о нем не упоминается; он не был окончен Лермонтовым и, вероятно, им уничтожен. Впрочем, впоследствии наш поэт замышлял написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), как говорит о том Белинский в своей рецензии второго издания «Героя нашего времени», в «Отечественных записках»⁴.

Поэма «Демон», не вполне напечатанная и всем известная в рукописи, была написана Лермонтовым еще в 30-м и 31-м годах, когда ему было не более семнадцати лет. Я имею первоначальную рукопись этой поэмы, впоследствии переделанной и увеличенной. В некоторых монологах «Демона» поэт уничтожил несколько стихов прекрасных, но слишком смелых. В юнкерской школе он написал стихотворную повесть (1833 г.) «Хаджи Абрек». Осенью 1834 года его родственник и товарищ, тоже наш юнкер Н. Д. Юрьев, тайком от Лермонтова, отнес эту повесть к Смирдину⁵, в журнал «Библиотеку для чтения», где она и была помещена в следующем 1835 году. Это, если не ошибаюсь, было первое появившееся в печати стихотворение Лермонтова, по крайней мере, с подписью его имени⁶.

В то время в юнкерской школе нам не позволялось читать книг чисто литературного содержания, хотя мы не всегда исполняли это; те, которые любили чтение, занимались им большею частью по праздникам, когда нас отпускали из школы. Всякий раз, как я заходил в дом к Лермонтову, почти всегда находил его с книгою в руках, и книга эта была: сочинения Байрона и иногда Вальтер Скотт, на английском языке, — Лермонтов знал этот язык. Какое имело влияние на поэзию Лермонтова чтение Байрона — всем известно; но не одно это, — и характер его, отчасти схожий с Байроновым, был причиной, что Лермонтов, несмотря на свою самобытность, невольно иногда подражал британскому поэту.

Наконец, в исходе 1834 года, Лермонтов был произведен в корнеты в лейб-гвардии Гусарский полк, и оставил юнкерскую школу. По производстве в офицеры он

начал вести рассеянную и веселую жизнь, проводя время зимой — в высшем кругу петербургского общества и в Царском Селе, в дружеских пирушках гусарских; летом — на ученьях и в лагере под Красным Селом, откуда, один раз, он совершил романическое путешествие верхом, сопровождая ночью своего товарища на одну из дач, лежащих по петергофской дороге. Путешествие это описано им в стихотворении «Монго» очень игриво, но не для печати.

Лермонтов, как сказано, был далеко не красив собою и, в первой юности, даже неуклюж. Он очень хорошо знал это и знал, что наружность много значит при впечатлении, делаемом на женщин в обществе. С его чрезмерным самолюбием, с его желанием *везде и во всем* первенствовать и быть замеченным, не думаю, чтобы он хладнокровно смотрел на этот небольшой свой недостаток. Знанием сердца женского, силою своих речей и чувства он успевал располагать к себе женщин, — но видел, как другие, иногда ничтожные люди легко этого достигали. Вот как говорит об этом один из его героев Лугин, в отрывке из начатой повести: «Я себя спрашивал: могу ли я влюбиться в дурную? Вышло нет: я дурен и, следовательно, женщина меня любить не может. Это ясно». Потом далее продолжает: «Если я умею подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне невероятных трудов и жертв; но так как я знал поддельность этого чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви: к моей страсти примешивалось всегда немного *злости*; все это грустно — а правда!..»

В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел добрую: как его товарищ, знавший его близко, я в том убежден. Многие его недоброжелатели уверяли в противном и называли его *беспокойным человеком*...

1837 год был несчастлив для нашего поэта, которого перевели из гвардии тем же чином в армию, в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Грузии. В то время Лермонтов написал стихотворение на смерть А. С. Пушкина, убитого тогда на дуэли. Не удовольствовавшись первоначальным текстом, он через несколько дней прибавил к нему еще шестнадцать окон-

чательных стихов, вызванных толками противной партии и имевших влияние на его участь...

Мне ничего не известно о пребывании его в Грузии и на Кавказе за этот год, в конце которого (или в начале следующего) он был возвращен снова в гвардию, сперва в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, а вскоре потом в прежний, где служил⁷. В феврале 1838 года, будучи еще в гродненских гусарах, при прощании с одним из своих товарищей того же полка М. И. Цейдлером, ехавшим на Кавказ для участия в экспедиции против горцев, Лермонтов написал ему на память восемь стихов. Вот они:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной, сталью
Мысли юноши полны.

В последнем двустишии есть очень милая игра слов; но я не имею право ее обнаружить⁸.

В начале 1840 года Лермонтова снова отправили на Кавказ, за дуэль его с молодым Барантом, сыном французского посланника. В апреле он уже был на пути из Петербурга в Ставрополь. Тогда-то, в дороге, он написал известное стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанник
С милого севера в сторону южную и проч.⁹

Прибыв в эту «сторону южную», он отправился в горы, в экспедицию против чеченцев. Впоследствии он описал одно из дел с горцами в своем стихотворении «Валерик». В то время как Лермонтов уезжал на юг, издан был в первый раз его роман «Герой нашего времени»; через год уже вышло второе его издание¹⁰. Также при жизни поэта напечатаны были в одной книге его мелкие стихотворения, самые безукоризненные, как выразился о них покойный Белинский. До появления

их вместе они помещаемы были почти исключительно в «Отечественных записках».

В конце 1840 года Лермонтову разрешен был приезд в Петербург на несколько месяцев. Перед окончанием этого отпуска и перед последним своим отъездом на Кавказ весною 1841 г. он пробыл некоторое время в Москве и с удовольствием вспоминал о том. «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве», — сказал он мне, встретясь со мной при проезде своем через Тулу. Эта встреча моя с ним была последняя. В Туле он пробыл один день, для свидания с своей родною теткой, жившей в этом городе. Вместе с ним на Кавказ ехал его приятель и общий наш товарищ А. А. С(толыпи)н. Они оба у меня обедали и провели несколько часов. Лермонтов был весел и говорлив; перед вечером он уехал. Это было 15 апреля 1841 года, ровно за три месяца до его кровавой кончины. По приезде в Ставрополь он был уволен, перед экспедициею, на несколько времени в Пятигорск. Покойный П. А. Гвоздев, тоже его товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова.

8-го июля он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа, — то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую — мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук¹¹.

Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого, при жизни своей, он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне П. А. Гвоздевым. 15-го июля, с утра еще, над городом Пятигорском и горою Машук собиралась туча, и, как нарочно, сильная гроза разразилась ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю*. Буря и ли-

* В 5 часу пополудни, «Одесский вестник», 1841, № 63, (Прим. А. М. Меринского.)

вень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж. Наконец его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услышав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все, там находившиеся, были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала! Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища:

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жадой мести,
Поникнув гордой головой...

1856 г. На Южном Буге.

В. В. БОБОРЫКИН

ТРИ ВСТРЕЧИ С М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ

Лермонтов, Лярский¹, Тизенгаузен, братья Череповы, как выпускные, с присоединением к ним проворного В. В. Энгельгардта, составляли по вечерам так называемый ими «Нумидийский эскадрон», в котором, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету легкокавалерийской камеры, сбивая с ног попадававшихся им навстречу новичков. Ничего об этом не зная и обеспокоенный стоячим воротником куртки и штрипками, я, ни с кем не будучи еще знаком, длинными шагами ходил по продолговатой, не принадлежащей моему кирасирскому отделению легкокавалерийской камере, с недоумением поглядывая на быстро скользящий мимо меня «Нумидийский эскадрон», на фланге которого, примыкающем к той стороне, где я прогуливался, был великан кавалергард Тизенгаузен. Эскадрон все ближе и ближе налетал на меня; я сторонился, но когда меня приперли к стоявшим железным кроватям и сперва задели слегка, а потом, с явно понятым мною умыслом, порядочно толкнули плечом Тизенгаузена, то я, не говоря ни слова, наотмашь здорово ударил его кулаком в спину, — после чего «Нумидийский эскадрон» тотчас рассыпался по своим местам, также не говоря ни слова, — и мы в 2 шеренги пошли ужинать. Строились по ранжиру, тяжелая кавалерия впереди, и я по росту был в первой фланговой паре. За ужином был между прочим вареный картофель, и когда мы, возвращаясь в камеры, проходили неосвещенную небольшую конференц-залу, — то я получил



В. А. Лопухина
Портрет работы Лермонтова

в затылок залп вареного картофеля и, так же не говоря ни слова, разделся и лег на свое место спать. Этот мой стоицизм, вероятно, выпускным понравился, так что я с этого первого дня был оставлен в покое, тогда как другим новичкам, почему-либо заслужившим особенное внимание, месяца по 2 и по 3, всякий вечер, засыпающим, вставляли в нос гусара, то есть свернутую бумажку, намоченную и усыпанную крепким нюхательным табаком. Этим преимущественно занимался шалун Энгельгардт, которому старшие не препятствовали.

Вот моя первая встреча с Лермонтовым.

Домашнее образование под руководством швейцарца и швейцарки, пропитанных духом энциклопедистов, сделало то, что русская литература была для меня *terra incognita* *, и я из нее знал только «Юрия Милославского», которого мы в Горном корпусе читали вслух во время летних каникул, проведенных в стенах корпуса. Что ж удивительного, что я даже не интересовался издаваемым в последние месяцы пребывания Лермонтова в школе рукописным журналом под названием: «Всякая всячина напечена», редактором коего был, кажется, конно-пионер Ляровский. {...}

Я жил во Владикавказе. {...} Однажды базарный пришел мне сказать **, что какой-то проезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где застал такую картину:

М. Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая: «*A moi la vie, à moi la vie, à moi la liberté*» ***.

Я до сих пор хорошо помню мотив этого напева, и если это кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а еще более озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжать рисовать, как бы с участием, но и не без скрываемого

* неизведанная земля (лат.).

** Так назывался приставленный к взятому для офицеров и проезжих дому унтер-офицер. (Прим. В. Боборыкина.)

*** Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, да здравствует свобода! (франц.)

высокомерия, стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне.

Мне в Лермонтове был только знаком шалун, руководивший «Нумидийским эскадроном», чуть не сбившим меня с ног в первый день моего вступления в юнкерскую школу, а потом закатившим мне в затылок залп вареного картофеля. О Лермонтове, как о поэте, я ничего еще не знал и даже не подозревал: таково было полученное мною направление. В краткое мое пребывание в полку, в Царском Селе, я, благодаря обратившему на меня внимание нашему полковому библиотечарю поручику Левицкому, прочитал Тьера, Байрона и еще кой-что, более или менее серьезное. Во Владикавказе читал, кроме «Русского инвалида» и «Пчелы», «Revue Britannique» и как-то случившиеся у Нестерова «Etudes de la Nature» Bernardin de St-Pierre². Все это, вместе с моею владикавказскою обстановкою, не могло не внушать мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорбленного тем покровительственным тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничась кратким ответом, что мне живется недурно, я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в 20—40 верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал *сгоқиis* * окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделявали и даже, кажется, иллюминировали эти очертания³.

На том разговор наш и кончился, — и я, пробыв несколько минут, ушел к себе, чтобы в третий раз встретиться с Лермонтовым уже в Москве, где я в 1840-м году находился в годовом отпуску. {...}

Простившись с Владикавказом, я {...} приехал жить в Москву {...}, тратя время на обеды, поездки к цыганам и загородные гулянья и почти ежедневные посещения Английского клуба, где играл в лото по 50 руб. асс. ставку и почти постоянно выигрывал. Грустно вспомнить об этом времени, тем более что меня постоянно преследовала скука и бессознательная тоска.

* наброски (франц.).

Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и так же скучавшие, как я. Между ними назову: князя А. Б(арятинского), барона Д. Р(озена), М(онго-Столыпина) и некоторых других⁴. И вот в их-то компании я не помню где-то в 1840 году встретил М. Ю. Лермонтова, возвращавшегося с Кавказа или вновь туда переведенного, — не помню. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора Михаила Юрьевича я и до сих пор забыть не могу: так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною его слова:

Печально я гляжу на наше поколение, —
Грядущее его иль пусто, иль темно...

Но хуже всего то, что в ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой, что мне, например, едва ли из нее было известно более, как «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», «Братья-разбойники» Пушкина и «Юрий Милославский» Загоскина, — и все это прочитанное, а отчасти наизусть выученное еще в Горном корпусе. В юнкерской школе нас интересовали только французские романсы Гризара и водевильные куплеты; в полку успел прочесть Тьера «Историю революции» и Байрона во французском переводе, а на Кавказе, кроме «Инвалида», «Études de la Nature» Bernardin de St-Pierre и изредка «Revue Britannique» и — ничего из современной литературы. Вот и сформировалось исключительно эпикурейское мировоззрение, основным фондом коего было существовавшее тогда во всей силе крепостное право.

Нужно было особое покровительство провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий, проникающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем.

Но об этом когда-нибудь в другой раз.

11 февраля 1885 года
с. Пысково

Н. Н. МАНВЕЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РИСУНКАМ ТЕТРАДИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Узнав из газет, что учрежденный в память Михаила Юрьевича Лермонтова музей собирает среди лиц, знавших поэта, и среди публики материалы, относящиеся к его жизни и художественному творчеству, я, как бывший воспитанник давишней Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которую поступил в 1833 году, то есть годом позже Лермонтова, и в течение одного года до производства Лермонтова в офицеры в 1834 году бывший товарищем его по школе, считаю себя счастливым, что могу с своей стороны принести музею в дар сохранившийся у меня экземпляр с собранием рисунков, составляющий ныне весьма, может быть, редкий памятник этого рода художественных дарований незабвенного поэта, доставшийся мне благодаря особой счастливой случайности.

Когда произведены были в офицеры юнкера выпуска 1834 года и в числе их и Лермонтов и приятель его Леонид Николаевич Хомутов, выпущенный в конногренадеры, то я, будучи назначен на место сего последнего старшим отделенным унтер-офицером 4-го уланского взвода, должен был занять и его койку в дортуаре, и находившийся при ней шкаф, приводя в порядок который я нашел завалившуюся между стенками выдвижного ящика и стенками самого шкафика тетрадку, виденную мною прежде у Лермонтова¹ и признанную товарищами как принадлежавшую Лермонтову, и так

как никто из товарищей моих в школе, ни кто-либо иной не заявлял прав на эту находку, то она так и осталась у меня и по сие время хранилась в имении моем, откуда я только недавно имел возможность ее выписать.

Приведу здесь, сколько помню, фамилии лиц, бывших в школе в качестве воспитанников или преподавателей одновременно с Лермонтовым и со мной в надежде, что одни из них могут, я полагаю, не только удостоверить о принадлежности рисунков этой тетради карандашу Лермонтова, но вместе с тем по собственным воспоминаниям о пребывании в школе одновременно с поэтом — разъяснить также значение тех весьма многих еще рисунков, сюжет которых я ныне, страдая расстройством зрения и не видя, не могу восстановить в своей памяти. Других же лиц я поименовываю ввиду того, что они послужили поэту предметом многих портретов и карикатур.

Так 1) Василий Васильевич Зиновьев, ныне генерал-адъютант (поступивший юнкером конной гвардии в 1832 году, одновременно с Лермонтовым, выпущенный в 1835 году, годом позже Лермонтова, пробыв по болезни одним годом больше курса), 2) Михаил Иванович Цейдлер², ныне генерал в отставке, проживающий, сколько мне известно, в г. Вильно (поступивший в школу и выпущенный в офицеры одновременно со мною (1833—1835 гг.) и 3) граф Петр Киприянович Крейц, ныне генерал от кавалерии, поступивший в школу также в 1833 году и выпущенный в 1835 г. в лейб-драгуны, да, вероятно, и многие другие, бывшие товарищи наши по школе, в числе которых упомяну еще о бывших моего уланского отделения: младшем унтер-офицере юнкере Меринском 1-м³ и ефрейторе-юнкере Камынине — признают лермонтовскую тетрадку, а может быть, дадут и свои указания о значении картинок с сюжетами из военной жизни и назовут лиц, послуживших оригиналами тех портретов и карикатур, которых, по сказанной выше причине, я тут не поясняю, но упомяну при этом мимоходом, что Лермонтов имел обыкновение рисовать всегда во время лекций. Полковник Алексей Степанович Стунеев, командир эскадрона кавалерийских юнкеров, — изображался Лермонтовым с бичом в руках среди манежа школы, в котором он производил

езду юнкеров, а на особой картинке, посвященной этому сюжету, кроме Стунеева, нарисованы: гусарский юнкер Вонлярлярский, бывший сосед Лермонтова по койке, вышедший в конно-пионеры, впоследствии литератор, и жалонерный унтер-офицер по фамилии Жолмир. Другого же юнкера, изображенного едущим подбоченья, достоверно назвать не могу, но полагаю, что в нем изображен уланский юнкер Поливанов, отличавшийся посадкою.

Затем на одном из очень памятных мне рисунков изображен юнкер князь Шаховской, сын бывшего командира гренадерского корпуса, а впоследствии председателя Генерал-аудиториата. Юнкер князь Шаховской, имевший огромный нос, получил прозвание «Курок» оттого, что наш общий товарищ юнкер уланского полка Сиверс, поступивший в 1832 г. и в следующем году умерший в школе, в виде шутки подкладывал свою согнутую у локтя руку под громадный нос Шаховского и командовал прием «под курок». Этот самый Шаховской изображался лежащим в постели в дортуаре школы с резко выдающимся на подушке носом, а неподалеку от него группа юнкеров товарищей у стола читала: «Историю носа Шаховского, иллюстрированную картами и политипажами», сочиненную товарищами и в числе их и самим Лермонтовым. Особый рисунок был посвящен характеристике бывшего нашего дежурного офицера и преподавателя кавалерийского устава штабс-ротмистра Кирасирского его величества полка (в черных латах) Владимира Ивановича Кноринга, известного в нашей среде своим романтическим характером. А из портретов очень похожих помню в тетради поясное изображение приятеля Лермонтова юнкера Леонида Николаевича Хомутова, нарисованного облокотившимся на руку и в шинели внакидку, который, как я уже сказал, был старшим отделенным унтер-офицером 4-го уланского взвода лермонтовского выпуска 1834 года.

Но, кроме портретов и карикатур, мне памяты по содержанию многие рисунки Лермонтова, отличавшие собственно интимное настроение его: его личные планы и надежды в будущем, или мечты его художественного воображения. К этой категории рисунков относятся многочисленные сцены из военного быта и преимуще-

ственно на Кавказе, с его живописною природою, с его типическим населением, с боевой жизнью в том крае и в ту пору русского воина, вдохновленные поэту чтением «Аммалат Бека» Марлинского, в числе коих была картинка, изображающая двух русских офицеров, сидящих на валу укрепления и рассматривающих клинок кинжала с девизом «Будь медлен на обиду, к отмщению будь скор!»⁴, по которому они в лежащем тут же с обвязанною рукой раненом узнают Аммалат Бека, который на другом рисунке изображен в папахе и бурке, гарцующим на коне перед русским укреплением, на которое нападают горцы. Мечтая же о своей будущности, Лермонтов любил представлять себя едущим в отпуск после производства в офицеры и часто изображал себя в дороге на лихой ли тройке, на перекладной, в коляске ли или на снях, причем весьма мне памятно, что ямщика своего он всегда изображал с засученными рукавами рубахи и в арзамасской шапке, а себя самого в форменной шинели и, если не в фуражке, то непременно в папахе.

Вообще, сколько помню, рисунки Лермонтова отличались замечательною бойкостью и уверенностью карандаша, которым он с одинаковым талантом воспроизводил как отдельные фигуры, так и целые группы из многочисленных фигур в различных положениях и движениях, полных жизни и правды. Поэтому встречающиеся в его тетради фигуры, не отвечающие тому отличительному характеру рисунков Лермонтова, следует, конечно, приписать кому-нибудь из его товарищей. Но вместе с бойкостью, без помарок эскизов нашего художника, изображавших преимущественно лошадей — которых он рисовал сперва иноходцами и, видимо, только впоследствии ради правды, одной чертою переменяя положение задних ног, — всадников, кавалеристов с безукоризненною посадкой и т. п., в числе его произведений были и весьма тонкие изящные фигуры или метко схваченные отличительные черты представленных им в карикатуре лиц, свидетельствующие о разносторонности этого, неизвестного в публике, таланта столь известного поэта.

По поводу обнаружившихся уже в школе художественных дарований Лермонтова припоминаю факт, рассказанный мне товарищами старшего, выпускного

класса, которым и заключу эти воспоминания мои о бывшем товарище. В год своего производства в офицеры Лермонтов представил нашему преподавателю русской словесности Плаксину — имя и отчество коего не помню — сочинение свое в стихах «Хаджи Абрек», по прочтении которого Плаксин тут же на своей кафедре, поднявшись со стула, торжественно произнес: «Приветствую будущего поэта России!»⁵

А. А. ЛОПУХИН

ПИСЬМО К А. А. БИЛЬДЕРЛИНГУ

Позвольте мне, бывшему воспитаннику Школы гвардейских подпрапорщиков и <кавалерийских> юнкеров, коего рождение воспето Лермонтовым («Ребенка милого рожденье...»), принести свой вклад в устроенный Вашим превосходительством Лермонтовский музей. Прилагаемое изображение рисовано рукою поэта при следующих обстоятельствах: покойный отец мой был очень дружен с Лермонтовым, и сей последний, приезжая в Москву, часто останавливался в доме отца на Молчановке, где гостил подолгу. Отец рассказывал мне, что Лермонтов вообще, а в молодости в особенности, постоянно искал новой деятельности и, как говорил, не мог остановиться на той, которая должна бы его поглотить всецело, и потому, часто меняя занятия, он, попадая на новое, всегда с полным увлечением предавался ему. И вот в один из таких периодов, когда он занимался исключительно математикой, он однажды до поздней ночи работал над разрешением какой-то задачи, которое ему не удавалось, и утомленный заснул над ней. Тогда ему приснился человек, изображенный на прилагаемом полотне, который помог ему разрешить задачу. Лермонтов проснулся, изложил разрешение на доске и под свежим впечатлением мелом и углем нарисовал портрет приснившегося ему человека на штукатурной стене его комнаты. На другой день отец мой пришел будить Лермонтова, увидел нарисованное, и Лермонтов рассказал ему, в чем дело. Лицо изображенное было настолько характерно, что отец хотел сохранить его и

призвал мастера, который должен был сделать раму кругом нарисованного, а самое изображение покрыть стеклом, но мастер оказался настолько неумелым, что при первом приступе штукатурка с рисунком развалилась. Отец был в отчаянии, но Лермонтов успокоил его, говоря: «ничего, мне эта рожа так в голову врезалась, что я тебе намалюю ее на полотне», что и исполнил. Отец говорил, что сходство вышло поразительное. Этот портрет приснившегося человека с тех пор постоянно висел в кабинете отца, от которого и перешел мне по наследству. К сожалению, я не могу определить, в каком году было написано это изображение, и в настоящее время за смертью всех лиц, домашних моего отца, которые могли бы дать мне эти сведения, это остается не разъясненным¹.

М. Н. ЛОНГИНОВ

ЗАМЕТКИ О ЛЕРМОНТОВЕ

Известно, какое сильное влияние имели Кавказ и Грузия на вдохновение Лермонтова. Ими внушены: «Хаджи Абрек», «Демон», «Измаил-Бей», «Мцыри», «Дары Терека», «Спор», «Валерик», «Тамара», «Свидание», «Казбеку», «Беглец», «Кавказ». Влияние это заметно и в «Казачьей колыбельной песне», «Кинжале», «Сне», в пьесах «Памяти Одоевского» и «Не плачь, не плачь, мое дитя». Прибавьте к этому «Героя нашего времени», и увидите, какую обильную дань принес он описанию этого края¹. Кавказ вдохновил двадцатидноголетнего Пушкина и двадцатидвухлетнего Лермонтова (он родился в 1815 году, в Москве, у Красных ворот, в доме, принадлежащем теперь купцу Бурову)². Первая его поездка в юности на Кавказ относится к началу 1837 года. Вторая происходила ровно три года спустя. Из нее он возвращался ненадолго в Петербург, в начале 1841 года, и, возвратясь на Кавказ, кончил там дни свои в том же году 15-го июля. Он очень любил этот дикий край, с которым успел свыкнуться. В стихотворении «Кавказ» три раза повторяется припев: «Люблю я Кавказ». И во многих других его произведениях высказывается не только восторжение красотами кавказской природы, но и особенная привязанность к этому краю, с которым поэт ознакомился с детства. Вспомните начало «Измаил-Бея».

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.

Основание этого поэтического обращения взято из действительности. В доказательство тому привожу свидетельство «Отечественных записок» Сви́шнина (1825 г., август, № 64). Там напечатан присланный издателем с Кавказских минеральных вод список посетителей и посетительниц, прибывших туда по июль 1825 года, и на стр. 260 под №№ 57, 58, 59, 60, 61 и 62 показаны: «Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова, поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермантов, родственник ее Михайло Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернерка Христина Ремер».

Лермонтов родился в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Мать Лермонтова, Марья Михайловна, была единственная дочь ее от супружества с Михайлом Васильевичем Арсеньевым. Выйдя замуж за Юрия Петровича Лермонтова, она прожила недолго, и после нее будущий поэт остался лет двух от роду. Нежность Елизаветы Алексеевны, лишившейся единственной дочери, перенеслась вся на внука, и Лермонтов до самого вступления в юнкерскую школу (1832) жил и воспитывался в ее доме. Она так любила внука, что к ней можно применить выражение: «не могла им надышаться», и имела горесть пережить его. Она была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности. Я знал ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня. Не знаю почти никого, кто бы пользовался таким общим уважением и любовью, как Елизавета Алексеевна. Что это была за веселость, что за снисходительность! Даже молодость с ней не скучала, несмотря на ее преклонные лета. Как теперь, смотрю на ее высокую, прямую фигуру, опирающуюся слегка на трость, и слышу ее неторопливую, внятную речь, в которой заключалось всегда что-нибудь интересное. У нас в семействе ее все называли бабушкой, и так же называли ее во всем многочисленном ее родстве. К ней относится следующий куплет в стихотворении гр. Ростопчиной «На дорогу М. Ю. Лермонтову», написанном в 1841 году, по случаю последнего отъезда его из Петербурга и напечатанном в «Русской беседе» Смирдина, т. II. После лишения лишений и опасностей, которым подвергается отъезжающий на Кавказ поэт, в стихотворении этом сказано:

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет:
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая.

К несчастью, предсказание не сбылось. Когда эти стихи были напечатаны, Лермонтова уже полгода не было на свете³.

* * *

Я узнал Лермонтова в 1830 или 1831 году, когда он был еще отроком, а я ребенком. Он привезен был тогда из Москвы в Петербург, кажется, чтобы поступить в университет, но вместо того вступил в 1832 году в юнкерскую школу лейб-гусарским юнкером, а в офицеры произведен в тот же полк в начале 1835 года⁴. Мы находились в дальнем свойстве с Арсеньевым, к роду которых принадлежали мать Лермонтова и моя прабабушка. Старинные дружеские отношения в течение нескольких поколений тесно соединяли всех членов многочисленного рода, несмотря на то что кровная связь их с каждым поколением ослабевала. В Петербурге жил тогда Никита Васильевич Арсеньев (род. 1775 г., ум. 1847), родной брат деда Лермонтова и двоюродный брат моей бабушки; Лермонтов был поручен его попечениям. У Никиты Васильевича, большого хлебосола и весельчака, всеми любимого, собирались еженедельно по воскресеньям на обед и на вечер многочисленные родные, и там часто видал я Лермонтова, сперва в полуфраке, а потом юнкером. В 1836 году на святой неделе я был отпущен в Петербург из Царскосельского лицея, и, разумеется, на второй или третий день праздника я обедал у дедушки Никиты Васильевича (так его все родные называли). Тут обедал и Лермонтов, уже гусарский офицер, с которым я часто видался и в Царском Селе, где стоял его полк. Когда Лермонтов приезжал в Петербург, то занимал в то время комнаты в нижнем этаже обширного дома, принадлежавшего Никите Васильевичу (в Коломне, за Никольским мостом). После обеда Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом — трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант). Как-то я по-

дошел к окну и увидел на нем тетрадь in-folio * и очень толстую; на заглавном листе крупными буквами было написано: «Маскарад, драма»⁵. Я взял ее и спросил Лермонтова: его ли это сочинение? Он обернулся и сказал: «Оставь, оставь; это секрет». Но потом подошел, взял рукопись и сказал, улыбаясь: «Впрочем, я тебе прочту что-нибудь; это сочинение одного молодого человека», — и действительно, прочел мне несколько стихов, но каких, этого за давностью лет вспомнить не могу.

Здесь не место входить в описание дальнейших сношений моих с Лермонтовым. Я хотел только определить время сочинения единственной вполне сохранившейся драмы его⁶. Из сказанного выше видно, что она написана была в первый период его авторства, когда один только «Хаджи Абрек» его был напечатан. Может быть, он и исправлял потом «Маскарад», который я видел тщательно переписанным в апреле 1836 года, но едва ли сделал в нем существенные перемены⁷, тем более что в позднейшее время он, кажется, вовсе не принимался за драматический род.

* * *

Когда Пушкин был убит, я лежал в постели, тяжело больной и едва-едва спасенный недавно от смерти заботами Арендта и попечительным уходом за мною доброй матушки. Мне не смели объявить сейчас же и прямо о смерти Пушкина. Я узнал о ней после разных приготовлений к такому объявлению. Тогда же получил я рукописные стихи на эту кончину, Губера⁸ и Лермонтова. Известно, что пьеса последнего произвела вскоре громкий скандал и автору готовилась печальная участь. Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до чего он довел его».

После дуэли Лермонтова с Барантом нужно было ожидать большой беды для первого, так как он уже во второй раз попадался. Можно вообразить себе горе «бабушки». Понятно также, что родные и друзья старались

* Формат в половину бумажного листа (лат.).

утешать ее, сколько было возможно. Между прочим, ее уверяли, будто участь внука будет смягчена, потому что «свыше» выражено удовольствие за то, что Лермонтов при объяснении с Барантом вступился вообще за честь русских офицеров перед французом. Старушка высказала как-то эту надежду при племяннике своем, покойном Екиме Екимовиче Хастатове, служившем адъютантом при гвардейском дивизионном начальнике Ушакове. Хастатов был большой чудак и, между прочим, имел иногда обыкновение произносить речи, как говорят, по-театральному, «в сторону», но делал это таким густым басом, что те, от которых он хотел скрыть слова свои, слышали их как нельзя лучше. Когда «бабушка» повторила утешительное известие, он обратился к кому-то из присутствовавших и сказал ему по-своему «в сторону»: «Как же! Напротив того, говорят, что упекут голубчика». Старушка услышала это и пришла в отчаяние.

Поединок с Барантом грозил Лермонтову тем более серьезными последствиями, что покойный государь долго не соглашался перевести его обратно в гвардию в 1837 г. Император разрешил этот перевод единственно по неотступной просьбе любимца своего, шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Граф представил государю отчаяние старушки «бабушки», просил о снижении к Лермонтову, как о личной для себя милости, и обещал, что Лермонтов не подаст более поводов к взысканиям с него, и наконец получил желаемое. Это было, если не ошибаюсь, перед праздником рождества 1837 года. Граф сейчас отправился к «бабушке». Перед ней стоял портрет любимого внука. Граф, обращаясь к нему, сказал, не предупреждая ее ни о чем: «Ну, поздравляю тебя с царскою милостию». Старушка сейчас догадалась, в чем дело, и от радости заплакала⁹. Лермонтова перевели тогда в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший на поселениях, близ Спасской Полести, в Новгородской губернии. Таково было тогда обыкновение: выписанные в армию переводились в гвардейские полки, расположенные вне Петербурга: так, Хвостов, Лермонтов (бывшие лейб-гусары), Тизенгаузен (бывший кавалергард) переведены были в гродненские гусары; Трубецкой, Новосильцев (бывшие

кавалергарды) — в кирасиры его величества, квартировавшие в Царском Селе. Впрочем, уже на святой неделе 1838 года Лермонтов опять поступил в лейб-гусарский полк, где и служил до второй ссылки в 1840 году.

* * *

Особенно дружен был Лермонтов с двоюродным братом своим Алексеем;¹⁰ они были вместе в школе и в гусарах, а также два раза (как помнится) на Кавказе: в 1837 году, когда первый был переведен туда за стихи на смерть Пушкина, последний же ездил туда охотником из гвардии, а затем в 1840—1841 гг., когда первый вторично был выслан туда за дуэль с Барантом, а последний, впоследствии той же дуэли, по внушению покойного государя, поступил из отставки (в которую недавно вышел) на службу капитаном в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе.

* * *

Алексей Столыпин вышел в офицеры лейб-гусарского полка из юнкерской школы в 1835 году. В 1837 году ездил охотником на Кавказ, где храбро сражался. В конце 1839 года, будучи поручиком, вышел в отставку. В начале 1840 года поступил на службу на Кавказ капитаном Нижегородского драгунского полка. В 1842 году вышел опять в отставку. В последнюю войну он, несмотря на немолодые уже лета, вступил на службу ротмистром в белорусский гусарский полк и храбро дрался под Севастополем, а по окончании войны вышел в отставку и скончался несколько лет тому назад. Это был совершеннейший красавец; красота его, мужественная и вместе с тем отличавшаяся какою-то нежностью, была бы названа у французов «proverbiale»*. Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна и, наконец, в одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать «Монгу-Столыпина» значит для лю-

* «вошедшая в поговорку (франц.).»

дей нашего времени то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов, и он умер уже не молодым, но тем же добрым, всеми любимым «Монго», и никто из львов не возненавидел его, несмотря на опасность его соперничества. Вымолвить о нем худое слово не могло бы никому прийти в голову и принято было бы за нечто чудовищное. Столыпин отлично ездил верхом, стрелял из пистолета и был офицер отличной храбрости.

Прозвище «Монго», помнится, дано было Столыпину от клички, памятной современникам в Царском Селе, собаки, принадлежавшей ему. Собака эта, между прочим, прибегала постоянно на плац, где происходило гусарское ученье, лаяла, хватала за хвост лошадь полкового командира М. Г. Хомутова и иногда даже способствовала тому, что он скоро оканчивал скучное для молодежи ученье¹¹.

В 1839—1840 годах Лермонтов и Столыпин, служившие тогда в лейб-гусарах, жили вместе в Царском Селе, на углу Большой и Манежной улиц. Тут более всего собирались гусарские офицеры, на корпус которых они имели большое влияние. Товарищество (*esprit de corps*) было сильно развито в этом полку и, между прочим, давало одно время сильный отпор не помню каким-то притязаниям командовавшего временно полком полковника С*. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого «*esprit de corps*», приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили. Влияния их действительно нельзя было отрицать; очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо, как оракул.

* * *

В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды, часу во втором, зашел я в известный ресторан

Леграна, в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лонгинов!» и направился ко мне; тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал мне об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с «бабушкой». Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau-monde»* встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро после бала, кажется, у графа С. С. Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкой», а что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещений таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении: «Я не хочу, чтоб свет узнал»...¹²

* * *

Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелких подробностей в обмундировании и исполнении обязанностей тогдашнего гвардейского офицера. Он частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал. Между прочим, помню, как однажды он жестоко приставал к арестованному вместе с ним лейб-гусару покойному Владимиру Дмитриевичу Бакаеву (ум. в 1871 г.). Весною 1839 г. Лермонтов явился к разводу с маленькою, чуть-чуть не игрушечною детскою саблею при боку, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же арестовал его за это,

* большой свет (франц.).

велел снять с него эту саблю и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, которых привели смотреть на развод¹³. В августе того же года великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царско-сельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского), в отплату за праздники, которые эти кавалеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо пострадался.

* * *

Госпожа Верзилина, в пятигорском доме которой произошла последняя ссора Лермонтова, была супруга храброго старого кавказца, радушно принимавшая служивших на Кавказе и приезжавших туда. У ней были дочери очень милостивые и любезные, по отзыву всех, кто был знаком с ними. Кажется, Лермонтов имел отчасти в виду это семейство, когда говорил комплимент кавказским дамам от лица Печорина.

* * *

Говорили, будто, рисуя некоторые черты характера Грушницкого (в «Княжне Мери»), Лермонтов имел в виду живое лицо, долго служившее на Кавказе, именно Н. П. К(олубакина)¹⁴.

* * *

Слышно было, будто при последнем поединке Лермонтова присутствовали не одни секунденты, а были еще некоторые лица, стоявшие в отдалении; но это было скрыто при следствии, без чего эти свидетели подвергнулись бы ответственности. Заношу этот слух в мои заметки, не отвечая нисколько за его достоверность¹⁵.

Публике долго был известен один только портрет Лермонтова, где он изображен в черкеске с шашкой. Я первый заявил о несходстве и безобразии этого портрета, о чем говорила и г-жа Хвостова. Г. Глазунов; так старательно издававший сочинения Лермонтова в последние годы, стал заботиться о приискании лучшего и достал у князя В. А. Меншикова (служившего прежде тоже в лейб-гусарах), портрет Лермонтова, впрочем также неудовлетворительный, изображающий его в гусарском сюртуке с эполетами. Тогда я указал г. Глазунову на поколенный, в натуральную величину, портрет Лермонтова, писанный масляными красками, сохранившийся в саратовском имении А. А. Столыпина Нееловке, где я его и видел. Тут Лермонтов изображен в лейб-гусарском вицмундире и накинутой поверх его шинели, с треугольною шляпой в руках¹⁶. Г. Глазунов приложил гравюру его к иллюстрированному изданию «Песни о купце Калашникове». Это лучший из известных мне портретов Лермонтова; хотя он на нем и очень польщен, но ближе всех прочих передает общее выражение его физиономии (в хорошие его минуты), особенно его глаза, взгляд которых имел действительно нечто чарующее, «fascinant», как говорится по-французски, несмотря на то что лицо поэта было очень некрасиво.

Д. А. СТОЛЫПИН и А. В. ВАСИЛЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. К. Мартынова)

Граф Алексей Владимирович Васильев сообщил мне некоторые из своих воспоминаний о встречах и совместной службе с Лермонтовым в лейб-гвардии Гусарском полку (ныне полк его величества) в первые годы по зачислении поэта в полк, то есть в 1834 и 1835 годах. Он знал Михаила Юрьевича еще в Школе гвардейских юнкеров и, по выпуске его в офицеры, очень интересовался им, тем более что слава поэта предшествовала появлению его в полку. Граф Васильев числился в полку старшим корнетом, когда Лермонтов был произведен в офицеры, и поэт, по заведенному порядку, после представления начальству явился и к нему с визитом. Представлял его, как старший и знакомый со всеми в полку, А. А. Столыпин. После обычных приветствий любезный хозяин обратился к своему гостю с вопросом:

— Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными произведениями?

Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:

— У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.

— Однако мы кое-что читали уже.

— Все пустяки! — засмеялся Лермонтов. — А впрочем, если вас интересует это, заходите ко мне, я покажу вам.

Но когда приходили к нему любопытствовавшие прочитать что-либо новое, Лермонтов показывал немного и, как будто опасаясь за неблагоприятное впечатле-

ние, очень неохотно. Во всяком случае, некоторые товарищи, как, например, Годаин и другие, чтили в нем поэта и гордились им.

Во время служения Лермонтова в лейб-гвардии Гусарском полку командирами полка были: с 1834 по 1839 год — генерал-майор Михаил Григорьевич Хомутов, а в 1839 и в 1840 годах — генерал-майор Николай Федорович Плаутин. Эскадронами командовали: 1-м — флигель-адъютант, ротмистр Михаил Васильевич Пашков; 2-м — ротмистр Орест Федорович фон Герздорф; 3-м — ротмистр граф Александр Осипович Витт, а потом — штабс-ротмистр Алексей Григорьевич Столыпин; 4-м — полковник Федор Васильевич Ильин, а затем — ротмистр Егор Иванович Шевич; 5-м — ротмистр князь Дмитрий Алексеевич Щербатов 1-й; 6-м — ротмистр Иван Иванович Ершов и 7-м — полковник Николай Иванович Бухаров¹. Корнет Лермонтов первоначально был зачислен в 7-й эскадрон, а в 1835 году переведен в 4-й эскадрон. Служба в полку была не тяжелая, кроме лагерного времени или летних кампаментов по деревням, когда ученье производилось каждый день. На ученьях, смотрах и маневрах должны были находиться все числящиеся налицо офицеры. В остальное время служба обер-офицеров, не командовавших частями, ограничивалась караулом во дворце, дежурством в полку да случайными какими-либо нарядами. Поэтому большинство офицеров, не занятых службою, уезжало в С.-Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требования начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу большей частью Годаин, любивший его, как брата².

В праздничные же дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как-то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, — гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно. Граф Васильев помнит даже такой случай. Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту³, назначить на утро полко-

вое ученье, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла»⁴, и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и ученье было отложено до следующего дня. Лермонтов жил с товарищами вообще дружно, и офицеры любили его за высоко ценившуюся тогда «гусарскую удаль». Не сходился только он с одними поляками, в особенности он не любил одного из наиболее чванных из них — Понятовского, бывшего впоследствии адъютантом великого князя Михаила Павловича. Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при встречах. <...>

Квартиру Лермонтов имел, по словам Д. А. Столыпина, в Царском Селе, на углу Большого проспекта и Манежной улицы, но жил в ней не с одним только Алексеем Аркадьевичем, как заявлено П. А. Висковатовым в биографии поэта; вместе с ними жил также и Алексей Григорьевич Столыпин, и хозяйство у всех троих было общее. Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь Парадёр считался одним из лучших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1 500 рублей, что, по тогдашнему времени, составляло на ассигнации около 6000 рублей. О резвости гусарских скакунов можно судить по следующему рассказу Д. А. Столыпина. Во время известной поездки Лермонтова с А. А. Столыпиным на дачу балерины Пименовой, близ Красного кабачка, воспетой Михаилом Юрьевичем в поэме «Монго», когда друзья на обратном пути только что выдвинулись на петергофскую дорогу, вдали показался возвращающийся из Петергофа в Петербург в коляске четверкою великий князь Михаил Павлович. Ехать ему навстречу значило бы сидеть на гауптвахте, так как они уехали из полка без спросу. Не долго думая, они повернули назад и помчались по дороге в Петербург, впереди великого князя. Как ни хороша была четверка великокняжеских коней, друзья ускакали и, свернув под Петербургом в сторону, рано утром вернулись к полку благополучно. Великий князь не узнал их, он видел только двух впереди его ускакавших гусар, но кто именно были эти гусары, рассмотреть не мог, и поэтому, приехав в Петербург, послал спросить полкового командира: все ли офицеры на ученье? «Все», — отвечал

генерал Хомутов, и действительно, были все, так как друзья прямо с дороги отправились на учебу. Гроза миновала, благодаря резвости гусарских скакунов.

В Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попок с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других — тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие; но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и уходил. О женщинах, приезжавших на кутежи из С.-Петербурга, он говаривал: «бедные, их нужда к нам загоняет», или: «на что они нам? у нас так много достойных любви женщин». Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган. В то время цыгане в Петербурге только что появились. Их привез из Москвы знаменитый Илья Соколов, в хоре которого были первые по тогдашнему времени певицы: Любаша, Стеша, Груша и другие, увлекавшие не только молодежь, но и стариков на безумные с ними траты. Цыгане, по приезде из Москвы, первоначально поселились в Павловске, где они в одной из слободок занимали несколько домов, а затем уже, с течением времени, перебрались и в Петербург. Михаил Юрьевич частенько наезжал с товарищами к цыганам в Павловск, но и здесь, как во всем, его привлекал не кутеж, а их дикие разудалые песни, своеобразный быт, оригинальность типов и характеров, а главное, свобода, которую они воспевали в песнях и которой они были тогда единственными провозвестниками. Все это он наблюдал и изучал и возвращался домой почти всегда довольный проведенным у них временем.

Д. А. Столыпин рассказывал мне, что он, будучи еще юнкером (в 1835 или 1836 году), приехал однажды к Лермонтову в Царское Село и с ним после обеда отправился к цыганам, где они и провели целый вечер. На вопрос его: какую песню он любит более всего? — Лермонтов ответил: «А вот послушай!» — и велел спеть. Начала песни, к сожалению, Дмитрий Аркадьевич припомнить не мог, он вспомнил только несколько слов ее: «А ты слышишь ли, мнлый друг, понимаешь ли...» и

еще: «Ах ты, злодей, злодей...». Вот эту песню он особенно любил и за мотив, и за слова.

Граф Васильев жил в то время в Царском Селе на одной квартире с поручиком Гончаровым, родным братом Натальи Николаевны, супруги А. С. Пушкина. Через него он познакомился с поэтом и бывал у него впоследствии нередко. А. С. Пушкин, живший тогда тоже в Царском, близ Китайского домика, полюбил молодого гусара и частенько утром, когда он возвращался с ученья домой, зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть не в прародительском костюме. «Ну, уж извините, — засмеялся поэт, пожимая ему руку, — жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах».

Он, по словам графа Васильева, не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами.

— Далеко мальчик пойдет, — говорил он⁵.

Между тем некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.

— Брось ты свои стихи, — сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживешь ты себе беды!

— Что я пишу стихи, — отвечал поэт, — государю известно было, еще когда я был в юнкерской школе, через великого князя Михаила Павловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил.

— Ну, смотри, смотри, — грозил ему шутя старый гусар, — не зарвись, куда не следует.

— Не беспокойтесь, господин полковник, — отшучивался Михаил Юрьевич, делая серьезную мину, — сын Феба не унижится до самозабвения.

Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.

Дмитрий Аркадьевич Столыпин (брат секунданта поэта в барантовской дуэли А. А. Столыпина) дал очень уклончивый отзыв о Мартынове. По его словам, он его знал вообще очень мало, встречался с ним, но близко никогда не сходиллся. С сестрами Мартынова Лермонтов был знаком в московский период его жизни, заезжал к ним и после, когда случалось быть в Белокаменной, но об ухаживании его за которой-нибудь из них, а тем более о близких дружественных отношениях, ни от кого — ни от самого Лермонтова, который был с ним дружен, ни от кого другого не слышал. О казусе с пакетом при жизни Лермонтова никакого разговора не было⁶. Это, вероятно, была простая любезность, желание оказать услугу добрым знакомым, и если поэт ее не исполнил, то потому, что посылка дорогой была украдена. Если он так заявил, то это, значит, так и было: он никогда не лгал, ложь была чужда ему. Во всяком случае, подобное обстоятельство причиной дуэли быть не могло: иначе она должна была состояться несколькими годами раньше, то есть в то же время, когда Мартынов узнал, что Лермонтов захватил письма его сестер. О кровавой развязке дуэли Д. А. Столыпин только однажды беседовал с Н. С. Мартыновым, который откровенно сказал ему, что он отнесся к поединку серьезно потому, что не хотел впоследствии подвергаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предлогом к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам.

Д. А. Столыпин, как близкий родственник и товарищ Михаила Юрьевича, частенько делил с ним досуги в последний приезд его с Кавказа в Петербург, в 1841 году, и вот что он говорил нам весною 1892 года, в Москве, относительно рукописи «Демона» и некоторых сопряженных с ней вопросов.

Рукопись «Демона» переписана начисто Лермонтовым собственноручно, еще на Кавказе. Это была тетрадь большого листового формата, сшитая из дести обыкновенной белой писчей бумаги и перегнута сверху до низу надвое. Текст поэмы написан четко и разборчиво,

без малейших поправок и перемарок на правой стороне листа, а левая оставалась чистой. Автограф этот поэт приготовил и привез с собою в Петербург, в начале 1841 г., для доставления удовольствия бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой прочитать «Демона» лично, за что она и сделала предупредительному внуку хороший денежный подарок. «Демон» читался неоднократно в гостиной бабушки, в интимном кружке ее друзей, и в нем тут же, когда поэт собирался отвезти рукопись к А. А. Краевскому, для снятия копии и набора в типографии, по настоянию А. Н. Муравьева, отмечен был чертою сбоку, как не отвечающий цензурным условиям тогдашнего времени, диалог Тамары с Демоном: «Зачем мне знать твои печали?». Рукопись «Демона» поэт еще раз просмотрел и исправил, когда ее потребовали для прочтения ко двору. Сделанные поэтом исправления были написаны на левой чистой стороне тетради, а замененные места в тексте зачеркнуты. Диалог Тамары с Демоном, и после последнего исправления, поэтом замаран не был, и хотя из копии, представленной для прочтения высоким особам, исключен, но в рукописи остался незамаранным, и напечатан в карлсруэском издании поэмы 1857 года⁷, следовательно, к числу отбросов, как уверяет г. Висковатов, отнесен быть не может. У Краевского «Демона» читал поэт сам, но не всю поэму, а только некоторые эпизоды, вероятно, вновь написанные. При чтении присутствовало несколько литераторов, и поэму приняли восторженно. Но относительно напечатания ее поэт и журналист высказались противоположно. Лермонтов требовал напечатать всю поэму сразу, а Краевский советовал напечатать эпизодами в нескольких книжках. Лермонтов говорил, что поэма, разбитая на отрывки, надлежащего впечатления не произведет, а Краевский возражал, что она зато пройдет полнее. Решили послать в цензуру всю поэму, которая, при посредстве разных влияний, хотя и с большими пометками, но была к печати дозволена. (Почему рукопись взята от Краевского и не попала в печать при жизни поэта — говорилось выше.)⁸ Поэму не одобрили В. А. Жуковский и П. А. Плетнев, как говорили, потому, что поэт не был у них на поклоне. Князь же Вяземский, князь Одоевский, граф Соллогуб, Белинский и многие другие литераторы хвалили поэму и предсказывали ей большой успех.

В обществе слава поэмы распространилась, когда список с нее был представлен, через А. И. Философова, ко двору. Ее стали читать в салонах великосветских дам и в кабинетах сановных меценатов, где она до высылки поэта на Кавказ и пользовалась большим фавором. Недаром еще Циллер говорил: «Искусство — роскошный цветок, растущий для людского блага и счастья».

Из тогдашних разговоров и отзывов о поэме Дмитрий Аркадьевич припомнил следующее.

— Скажите, Михаил Юрьевич, — спросил поэта князь В. Ф. Одоевский, — с кого вы списали вашего Демона?

— С самого себя, князь, — отвечал шутливо поэт, — неужели вы не узнали?

— Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного соблазнителя, — возразил князь недоверчиво.

— Поверьте, князь, — рассмеялся поэт, — я еще хуже моего Демона. — И таким ответом поставил князя в недоумение: верить ли его словам или же смеяться его ироническому ответу. Шутка эта кончилась, однако, всеобщим смехом⁹. Но она дала повод говорить впоследствии, что поэма «Демон» имеет автобиографический характер. И вот эту салонную шутку ныне г. Висковатов выдает за самостоятельное историческое исследование!..

Княгиня М. А. Щербатова, после чтения у ней поэмы, сказала Лермонтову:

— Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака¹⁰.

А красавица М. П. Соломпрская, танцуя с поэтом на одном из балов, говорила:

— Знаете ли, Лермонтов, я вашим Демоном увлекаюсь... Его клятвы обаятельны до восторга... Мне кажется, я бы могла полюбить такое могучее, властное и гордое существо, веря от души, что в любви, как в злобе, он был бы действительно неизменен и велик¹¹.

Вот как встречал свет не кающегося «грешника», а протестанта и соблазнителя «Демона». Но при дворе «Демон» не стяжал особой благосклонности. По словам А. И. Философова, высокие особы, которые удостоили поэму прочтения, отзывались так: «Поэма — слов нет, хороша, но сюжет ее не особенно приятен. Отчего Лермонтов не пишет в стиле «Бородина» или «Песни про

царя Ивана Васильевича»? ¹² Великий же князь Михаил Павлович, отличавшийся, как известно, остроумием, возвращая поэму, сказал:

— Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли — духа зла, или же дух зла — Лермонтова? ¹³

Во все продолжение времени, которое Михаил Юрьевич прожил в Петербурге, в начале 1841 года, всего около трех месяцев, он был предметом самых заботливых попечений о нем со стороны друзей, которые группировались вокруг него, и он, в ответ на это, дарил их своим доверием и братской откровенностью.

— Мы, — говорил Дмитрий Аркадьевич, — его близкие родственники и друзья интимные, знали все его шаги в свете, все шалости и увлечения, знали каждый день его жизни: где он был, что делал и даже с кем и что говорил он. Михаил Юрьевич сообщал нам свои мысли и предположения, делился с нами своим горем, тревогами и сомнениями, все, написанное им в это время, мы читали у него прежде, чем он выносил из дому автограф свой. Поэтому могли ли мы не знать, если бы он задумал переделать фабулу «Демона» так, как представляет теперь ее профессор Висковатов, а тем более, если бы он привел подобную мысль в исполнение? Но я смело утверждаю, что ничего подобного не только поэтом не сделано, но и в голове у него не было. Допустим даже мысль, что мы, то есть интимный кружок друзей поэта, не знали о том, что Михаил Юрьевич переделал сюжет поэмы. Но как же это могло укрыться от литературного кружка, в котором поэт вращался? Литературные друзья поэта интересовались всеми его работами, следовательно, его переделка поэмы не могла бы пройти ими незамеченною. Или же переделка совершена втайне от всех? Но для чего нужна была такая тайна? Ведь если бы поэт нашел бы почему-либо нужным переделать Демона — этого титана тьмы и злобы, зиждителя соблазна и греха, в кающемся грешника, он бы прежде всего сообщил об этом своим друзьям, чтобы подготовить к задуманной им переделке общественное мнение и обеспечить ее успех в свете. И мы, его друзья и живые свидетели тех немногих ясных дней, когда Михаил Юрьевич

озарял и наполнял собою общество, и все те кружки, среди которых он вращался, конечно, поддерживали бы в свете новую концепцию его поэмы. Но ничего подобного, повторяю, тогда не было, и никто нигде не слышал об этом. Каким же образом теперь мог появиться неизвестный в то время список кающегося «Демона»? Неужели поэт переделал поэму для того только, чтобы послать ее для прочтения г-же Бахметевой, а черновую рукопись бросить у переписчика? Но у Варвары Александровны находился список с настоящей рукописи, который, как известно, лег в основание карлсруэского издания «Демона». Следовательно, все разглагольствования на подобную тему не имеют никакого основания. А между тем им верят даже ученые люди. Г. Висковатов имеет особый дар: он беззаветно увлекается сам и других увлекает за собою.

В. П. БУРНАШЕВ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В РАССКАЗАХ ЕГО ГВАРДЕЙСКИХ ОДНОКАШНИКОВ

(Из «Воспоминаний В. П. Бурнашева, по его ежедневнику, в период времени с 15 сентября 1836 по 6-е марта 1837 г.»)

В одно воскресенье, помнится, 15-го сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм, в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына¹. {...} Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням, молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или, скорее, мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капюшоном своей распахнутой и почти распушенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные, как смоль, глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно

таким, какой французы называют *pez à la cousine*: * «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитом», — и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным; да еще, враг всяких фамильярностей, я внутренню нашел странную фамильярность его со мною, которого он в первый раз в жизни видел, как и я его. Под этим впечатлением я вошел к Сеницыну и застал моего доброго Афанасия Ивановича в его шелковом халате, надетом на палевую канаусовую с косым воротом рубашку, занятого прилежным смахиванием пыли метелкою из пестушких перьев со стола, дивана и кресел и выниманием окурков мансовых пахитосов, самого толстого калибра, из цветочных горшков, за которыми патриархальный мой Афанасий Иванович имел тщательный и старательный личный уход, опасаясь позволять слугам касаться до его комнатной флоры, покрывавшей все его окна, увешанные, кроме того, щеголеватыми проволочными клетками, в которых распевали крикуньи-канарейки и, по временам, заливались два жаворонка, датский и курский.

— Что это вы так хлопчете, Афанасий Иванович? — спросил я, садясь в одно из вольтеровских кресел, верх которого прикрыт был аптимакассаром, чтоб не испортил бы кто жирными волосами яркоцветной штофной покрывки, впрочем и без того всегда покрытой белыми коленкоровыми чехлами.

— Да, как же (отвечал Сеницын с несколько недовольным видом), я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю; а тут вдруг откуда ни возьмись влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих

* вздернутым носом (*франц.*).



А. А. Столыпин (Монго)
Портрет работы М. Ю. Лермонтова. 1841

проклятых трубуковос* в мои цветочные горшки, и при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишоны, тогда как самого-то бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов гусаров. А ведь стихи-то его — это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный товарищ! Вот даже сию минуту привез мне какие-то сто рублей, которые еще в школе занял у меня «Курок»...² Да, ведь вы «Курка» не знаете: это один из наших школьных товарищей, за которого этот гусарчик, которого вы, верно, сейчас встретили, расплачивается. Вы знаете, Владимир Петрович, я не люблю деньги жечь; но, ей-богу, я сейчас предлагал этому сумасшедшему: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов, о чем хочешь: охотно плачу тебе по рублю, по два, по три за стих с обязательством держать их только для себя и для моих друзей, не пуская в печать». Так нет, не хочет, капризный змееныш этакой, не хочет даже «Уланшу» свою мне отдать целиком и в верном оригинале, и теперь даже божился, греховодник, что у него и «Монго» нет, между тем Коля Юрьев давно у него же для меня подтибрил копию с «Монго». Прелесть, я вам скажу, прелесть, а все-таки не без пакостной барковщины. *S'est plus fort que lui!* ** Еще у этого постреленка, косолапого «Майошки», страстишка дразнить меня моею аккуратною обстановкою и приводить у меня мебель в беспорядок, сорить пеплом и, наконец, что уж из рук вон, просто сердце у меня вырывает, это то, что он портит мои цветы, рододендрон вот этот, и как нарочно выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакой, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыривает землю, да и хоронит. Ну далеко ли до

* Толстые пахитосы в маисовой соломе, вроде нынешних папиросов, явившихся в Петербурге только в конце сороковых годов. (Прим. В. П. Бурнашева.)

** Здесь: Он перед этим не может устоять! (франц.)

корня? Я ему резон говорю, а он заливается хохотом! Просто отпетый какой-то «Майошка», мой любезный однокашник.

И все это Афанасий Иванович рассказывал, стараясь как можно тщательнее очистить поверхность земли в горшке своего любезного рододендрона, не поднимая на меня глаз и устремив все свое внимание на цветочную землю и на свою работу; но, вдруг заметив, что и я курю мои соломинки-пахитосы, он быстро взглянул, стоит ли в приличном расстоянии от меня бронзовая пепельница. Вследствие этого не по натуре его быстрого движения, я сказал ему:

— Не опасайтесь, дорогой Афанасий Иванович, я у вас не насорю. Но скажите, пожалуйста, гость ваш, так вас огорчивший, ведь это тот молоденький гусар, что сейчас от вас вышел хохоча?

— Да, да, — отвечал Сеницын, — тот самый. И вышел, злодей, с хохотом от меня, восхищаясь тем, что доставил мне своим визитом работы на добрый час, чтоб за ним подметать и подчищать. Еще, слава богу, ежели он мне не испортил вконец моего рододендрона. {...}

...Я спросил Сеницына: «Кто же этот гусар? Вы называете его «Майошкой»; но это, вероятно, школьная кличка, *nom de guerre*?» *

— Лермонтов, — отвечал Сеницын, — мы с ним были вместе в кавалерийском отделении школы. {...}

— Вы говорили давеча, любезнейший Афанасий Иванович, — спросил я, почти не слушая служебных рассуждений моего собеседника, — вы говорили, что этот гусарский офицер, Лермонтов, пишет стихи?

— Да и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собою так и входят в память читающего их. Словно ария или соната! Когда я слушаю, как читает эти стихи хоть, например, Коля Юрьев, наш же товарищ, лейб-драгун, двоюродный брат Лермонтова, также недурной стихотворец, но, главное, великий мастер читать стихи, — то, ей-богу, мне кажется, что в слух мой

* прозвище (франц.).

так и льются звуки самой высокой гармонии. Я бешусь на Лермонтова, главное, за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает с своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную «барковщину». Раз как-то, в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов, под влиянием воспоминаний о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал целую маленькую поэмку из восточного быта, свободную от проявлений грязного вкуса. И заметьте, что по его нежной природе это вовсе не его жанр; а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удалства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар. И вот, эту-то поэмку у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузену Юрьеву. Завладев этою драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочел ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже вам говорил сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила. А та-то и беда, что никакая в свете цензура не может допустить в печать хотя и очаровательные стихи, но непременно с множеством грязнейших подробностей, против которых кричит чувство изящного вкуса.

— А, вот что, — заметил я, — так эта прелестная маленькая поэма «Хаджи Абрек», напечатанная в «Библиотеке для чтения» прошлого 1835 года, принадлежит этому маленькому гусарику, который сейчас почти закутал меня капюшоном своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно незнакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданскою тогою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жжёнкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант — принадлежность такого сорвиголовы!

— Ну, эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова, — засмеялся Синицын. — За тем-то он все

хороводится с Константином Булгаковым*, проделками которого нынче полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако, многоуважаемый Владимир Петрович, я с вами не согласен насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, сущих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове с страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его дивного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но, однако, в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.

— Не помните ли вы, Афанасий Иванович, — спросил я, — хоть нескольких стихов из этой поэмки? Вы бы прекрасно угостили меня, прочитав из нее хоть какой-нибудь отрывок.

— Как не знать, очень знаю, — воскликнул Синицын, — и не только десяток или дюжину стихов, а всю эту поэмку, написанную под впечатлениями лагерных стоянок школы в Красном Селе, где между кавалерийскими нашими юнкерами (из которых всего больше в этот выпуск случилось уланов) славилась своею красотою и бойкостью одна молоденькая красноселька. Главными друзьями этой деревенской Аспазии были уланы наши, почему в нашем кружке она и получила прозвище «Уланши». И вот ее-то, с примесью всякой скарроповщины³, воспел в шуточной поэмке наш «Майошка». Слушайте: я начинаю.

— Прежде чем начать, — перебил я, — скажите на

* Этот Булгаков Константин, служивший в л.-гв. Московском полку, хотя в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров числился в Преображенском полку, был знаменит своими разнообразными, иногда очень остроумными проказами, почему он был в милости у великого князя Михаила Павловича, снисходительно отнесившегося к шалостям молодежи, ежели шалости эти не проявляли ничего вредного. (Прим. В. П. Бурнашева.)

милость, почему юнкера прозвали Лермонтова «Майошкой»? Что за причина этого собрике? *

— Очень простая, — отвечал Синецын. — Дело в том, что Лермонтов маленько кривоног, благодаря удару, полученному им в манеже от раздраженной им лошади еще в первый год его нахождения в школе; да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, бог знает почему, всех горбунов зовут Маеуех и что под названием «Monsieur Maеuех» есть один роман Рикера, вроде Поль де Кока; так вот «Майошка» косолапый уменьшительное французского Маеуех ¹.

Дав мне это объяснение, Синецын прочел наизусть вслух, от первой строки до последней, всю поэмку Лермонтова. {...}

Я с большим удовольствием прослушал стихотворение, в котором нельзя не заметить и не почувствовать нескольких очень бойких стихов, преимущественно имеющих цель чисто живописательную. Тогда Синецын вынул из своего письменного стола тетрадку почтовой бумаги, сшитую в осьмушку, и сказал мне:

— По пословице: «Кормил до бороды, надо покормить до усов». Вам, Владимир Петрович, по-видимому, нравятся стишки моего однокашника, так я вам уж не наизусть, а по этой тетрадке прочту другие его стихи, только что вчера доставленные мне Юрьевым, для списка копии. Это маленькое стихотворение Лермонтова называется: «Монго» **.

— Вот странное название! — воскликнул я.

— Да, — отозвался Синецын, — странное и источник которого мне неизвестен. Знаю только, что это прозвище носит друг и товарищ детства Лермонтова,

* Насмешливое прозвище (от *франц. sobriquet*).

** Стихотворение это с некоторыми пропусками напечатано П. А. Ефремовым в «Библиографических записках», 1861 г., № 20, и перепечатано в «Собрании стихотворений Лермонтова» 1862 г., редакция Дудышкина, т. I, стр. 192. В 1871 г. М. И. Семевский с некоторыми дополнениями напечатал «Монго» в своих приложениях к «Запискам» Е. А. <Сушковой>-Хвостовой. Но и тут есть описка против того манускрипта, писанного рукою М. Ю. Лермонтова в 1836 году и с неделю находившегося у моего приятеля А. И. Синецына, позволившего мне списать тогда же верную копию. (Прим. В. П. Бурашев.)

теперешний его однополчанин, лейб-гусар же, Столыпин, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен весь петербургский beau-monde* и которого в придачу к прозвищу «Монго»⁵, зовут еще le beau** Столыпин и la coquecluche des femmes***. То стихотворение Лермонтова, которое носит это название и написано им на днях, имело soit dit entre nous****, основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского близ Царского Села на петергофскую дорогу, где в одной из дач близ Красного кабачка все лето жила наша кордебалетная прелестнейшая из прелестных нимфа, Пименова, та самая, что постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот писанный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство приезжего из Казани, некоего, кажется, господина Моисеева, чуть ли не из иерусалимской аристократии и принадлежащего, кажется, к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше черных глаз «Монго», с которым, однако, шалунья тайком видалась, и вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий отправились оба друга, то есть «Монго» с «Майошкой». Они застали красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в сторонке, думая о том, какое ужасное мученье (тут Синицын опустил глаза в тетрадку и стал читать):

Быть адъютантом на сраженьи
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонером*****
Или на бале быть танцором;
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз,
И думать: это не для нас!

* большой свет (франц.).

** красавец (франц.).

*** любимец женщин (франц.).

**** между нами говоря (франц.).

***** Солдат, поставленный для указания линии, по которой должна строиться воинская часть. (Прим. В. П. Бурнашова.)

Меж тем «Монго» горит и тает...
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж.
Девятиместная коляска,
И в ней пятнадцать седоков...
Увы! печальная развязка,
Неотразимый гнев богов!..
То был Мойсеев с своею свитой и проч.

— Можете представить смущение посетителей и хозяйки! — продолжал Синицын. — Но молодцы-гусары, не долго думая, убедились, что (он снова прочел по рукописи):

Осталось средство им одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно.
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сдержать им головы;
Но в них проснулся дух военный:
Прыг, прыг!.. И были таковы*.

— Вот вам вся драма этого милого, игривого, прелестного в своем роде стихотворения, которое я целиком сейчас вам прочту; извините, испортил эффект тем, что прочел эти отрывки.

* * *

В одно воскресенье, уже в конце поста, кажется на вербной, я обедал у Петра Никифоровича Беклемишева и встретился там с Афанасьем Ивановичем Синицыным, который тут говорил нам, что он был аудитором военного суда над кавалергардским поручиком Дантесом. В числе гостей, как теперь помню, был молодой, очень молодой семеновский офицер Линдфорс с золотым аксельбантом Военной академии. Этот молодой человек с восторгом говорил о Пушкине и в юношеском увлечении своем уверял, что непременно надо Дантеса за убийство славы России не просто выслать за границу, как это решили, а четвертовать, то есть предать такой

* Я намеренно привожу здесь эти стихи, потому что у М. И. Семевского по рукописи П. А. Ефремова изложение в них неправильное и недостает двух стихов, которые здесь напечатаны курсивом. (Прим. В. П. Бурнашева.)

казни, которая не существует с незапамятных времен, и пр. При этом он из стихов Лермонтова бойко и восторженно читал те несколько стихов, в которых так достается Дантесу. Затем он сказал, что Лермонтов написал еще 16 новых стихов, обращенных к нашей бездушной и эгоистичной аристократии, которые он, Линдфорс, знает наизусть. Я и некоторые другие, бывшие тут, молодые люди стали просить Линдфорса продиктовать нам эти стихи. Не успев хорошо заучить эти стихи, Линдфорс сбивался, и никто из нас не мог ничего записать толково. Само собою разумеется, что весь этот разговор и эти тирады читаемых рукописных стихов совершались не в гостиной и не в столовой, а до обеда, на половине молодого Беклемишева, Николая Петровича, тогда штаб-ротмистра Харьковского белого уланского полка (того самого, в котором служил и Глинка) и носившего аксельбант Военной академии. Дело в том, что в присутствии стариков, особенно такого придворного старика, каким был шталмейстер двора его величества Петр Никифорович Беклемишев, этого рода беседы считались «либеральною» контрабандою в те времена, когда либерализм, то есть маломальское проявление самобытности, считался на ряду с государственными преступлениями. Почтеннейшие старички в наивности своей и называли все это *un arrière-gout du décabrisme de néfaste mémoire**.

В то время как бесновался Линдфорс, Синицын, всегда спокойный и сдержанный, шепнув мне, что он имеет кое-что мне сказать наедине, вышел со мною в пустую тогда бильярдную и, чтоб никто не подумал, что мы секретничаем, предложил мне, проформы ради, шарокатствовать, делая вид, будто играем партию.

— Я с намерением, — сказал Синицын, — удалил вас от того разговора, какой там завязался между молодыми людьми, еще не знающими, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, помнится, в сентябре месяце вы встретили на моей лестнице. Дело в том, что он написал эти дополнительные шестнадцать стихов вследствие какого-то горячего спора с своим родственником. Стихи эти у меня будут сегодня вечером в верном списке, и я их

* отрыжкой злосчастной памяти декабризма (франц.).

вам дам списать даже сегодня же вечером, потому что здесь теперь нам долго гостить не придется: после обеда все разъедутся, так как хозяева званы на *soirée de clôture* * к Опочининым⁶. Мы же с вами, ежели хотите, поедem ко мне, и у меня вы и прочтете и спишете эти стихи, да еще и познакомитесь с автором их, добрейшим нашим «Майошкой», и с его двоюродным братом Юрьевым. Оба они обещали мне провести у меня сегодняшний вечер и рассказать про всю эту историю с этими шестнадцатью стихами, ходившими несколько уже времени по городу, пока не подвернулись под недобрый час государю императору, который так за них прогневался на Лермонтова, что, как водится у нас, тем же корнетским чином перевел его в нижегородские драгуны на Кавказ с приказанием ехать туда немедленно. Но старуха бабушка Лермонтова, всеми уважаемая Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожденная Столыпина), успела упросить, чтобы ему предоставлено было остаться несколько деньков в Петербурге, и вот вечер одного из этих дней, именно сегодняшний, «Майошка» обещал подарить мне. Стихи Лермонтова не только добавочные эти шестнадцать, но и все стихотворение на смерть Пушкина сделалось контрабандой и преследуется жандармерией, что, впрочем, не только не мешает, но способствует весьма сильному распространению копий. А все-таки лучше не слишком-то бравировать, чтоб не иметь каких-нибудь неудовольствий. Вот причина, почему я позволил себе отвлечь вас от того кружка из половины Николая Петровича.

Я дружески поблагодарил Афанасья Ивановича за его внимание, повторив пословицу: «Береженого бог бережет», — и мы вместе перешли в столовую, где какой-то сенатор с тремя звездами и с немецкою, выпавшеюся из моей памяти, фамилией, рассказывал очень положительно о разных городских новостях и, между прочим, о том, что один из гусарских офицеров, недовольный тем, что будто бы Пушкин пал жертвою каких-то интриг, написал «самые революционные стихи» и пустил их по всему городу; он достоин был за это надеть белую лямку⁷, но вместо всего того, что «сорванец этот» заслуживал, государь, по неисчерпаемому своему мило-

* заключительный вечер сезона (франц.).

сердию, только перевел его тем же чином в армию на Кавказ. Пылкий Линдфорс не утерпел и стал было доказывать превосходительному звездоносцу из немцев, что стихи вовсе не «революционные», и в доказательство справедливости своих слов задекламировал было:

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов, —

как вдруг почтенный Петр Никифорович, громко засмеявшись, остановил порыв юноши и вперил в него свои строгие глаза, хотя все лицо его для всех сохраняло вид веселости.

— Помилуй бог, — воскликнул он по-суворовски, — стихи, стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я, хозяин-хлебосол, люблю, чтобы гости кушали во здравие мою хлеб-соль так, чтобы за ушами пищало. А тут вдруг ты со стихами: все заслушаются и никто не узнает вполне вкуса этого фрикасе из перепелок, присланных мне замороженными из Воронежских степей.

И тотчас хозяин-хлебосол, перебив весь разговор о новостях и о контрабандных стихах, самым подробным образом стал объяснять трехзвездному сенатору и дамам все высокие достоинства перепелов и самый способ их ловли соколами с такими любопытными и живописными подробностями, что поистине гости все от мала до велика слушали с величайшим интересом и вниманием мастерской рассказ хозяина, по-видимому страстного степного охотника.

После кофе гости, большею частью все интимные (как всегда у Петра Никифоровича было), зная, что старик хозяин и его молоденькие дочери должны, до выезда в гости, он выпасться богатырски, а они заняться серьезно туалетом, — поразъехались. Мы с Синицыным также улетучились, и мигом его лихая пара рыжих казанок умчала нас в плетеных санках в конногвардейские казармы, где в квартире Афанасия Ивановича нас встретил товарищ его, однокашник по школе, прапорщик лейб-гвардии драгунского, расположенного в Новгородской губернии, полка Николай Дмитриевич Юрьев, двоюродный брат и закадычный друг Лермонтова, превосходный малый, почти постоянно проживавший

в Петербурге, а не в месте расположения своего полка, на скучной стоянке в Новгородских военных поселениях. Приезжая в столицу, Николай Дмитриевич обыкновенно нигде не останавливался, как у своего кузена и друга «Майошки», который, хотя и служил в царскосельских лейб-гусарах, но почти никогда не был в Царском, а пребывал постоянно у бабушки Елизаветы Алексеевны.

— А что же «Майошка»? — спросил Сеницын Юрьев, познакомив нас взаимно, после чего Юрьев отвечал:

— Да что, брат Сеницын, «Майошка» в отчаянии, что не мог сопутствовать мне к тебе: бабушка не отпускает его от себя ни на один час, потому что на днях он должен ехать на Кавказ за лаврами, как он выражается.

— Экая жалость, что «Майошка» изменничает, — сказал Сеницын. — А как бы хотелось напоследках от него самого услышать рассказ о том, как над ним вся эта беда стряслась.

— Ну, — заметил Юрьев, — ты, брат Сеницын, видно, все еще не узнал вполне нашего «Майошку»: ведь он очень неподатлив на рассказы о своей особе, да и особенно при новом лице. <...>

— А теперь, Юрьев, — приставал Сеницын, — идем к цели: рассказы нам всю суть происхождения со стихами, которые были причиною, что наш «Майошка» из лейб-гусаров так неожиданно попал в нижегородские драгуны тем же чином, то есть из попов в дьяконы, как говорится.

— К твоим услугам, — отозвался Юрьев, закуривая трубку на длинном чубуке, поданном ему казачком Сеницына, который сам, однако, никогда ничего не курил, но для гостей держал всегда табак и чубуки в отличном порядке, соблюдаемом этим 14-летним постреленком, прозванным чубукиши-паша.

— Дело было так, — продолжал Юрьев, затянувшись и обдав нас густым облаком ароматного дыма. — Как только Пушкин умер, Лермонтов, как и я, как я думаю, все мы, люди земли не немецкой, приверженец и обожатель поэзии Пушкина, имел случай, незадолго до этой роковой катастрофы, познакомиться лично с Александром Сергеевичем⁸, и написал известное теперь почти всей России стихотворение на смерть Пушкина, стихотворение, наделавшее столько шума и, несмотря

на то что нигде не напечатанное, поставившее вдруг нашего школьного поэта почти в уровень с тем, кого он в своих великолепных стихах оплакивал. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но все проявление могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным, из ряда вон. Князь Владимир Федорович Одоевский сказал в разговоре с бабушкой, где-то в реюньоне*, что многие выражают только сожаление о том, зачем энергия мысли в этом стихотворении не довольно выдержана, чрез что заметна та резкость суждений, какая слишком рельефирует самый возраст автора. Говорят (правда ли, нет ли, не знаю), это не что иное, как придворное повторение мнения самого императора, прочитавшего стихи со вниманием и сказавшего будто бы: «Этот, чего доброго, заметит России Пушкина!» На днях, еще до катастрофы за прибавочные стихи⁹, наш Шлиппенбах** был у бабушки и рассказывал ей, что его высочество великий князь Михаил Павлович отозвался в разговоре с ним о Лермонтове так: «Ce poète en herbe va donner de beaux fruits»***. А потом, смеясь, прибавил: «Упеку ж его на гауптвахту, ежели он взводу вздумает в стихах командовать, чего доброго!» В большом свете вообще выражалось сожаление только о том, что автор стихов слишком будто бы резко отозвался о Дантесе, выставив его не чем иным, как искателем приключений и почти *chevalier d'industrie*****.

За этого Дантеса весь наш бомонд, особенно же юбки. Командир лейб-гусаров, Х(омутов) за большим званым ужином сказал, что, не сиди Дантес на гауптвахте и не будь он вперед назначен к высылке за границу с фельдъегерем, кончилось бы тем, что как Пушкин вызвал его, так он вызвал бы Лермонтова за эти «ругательные стихи». А по правде, что в них руга-

* в обществе (от *франц. réunion*).

** Барон Константин Антонович Шлиппенбах, некогда директор гвардейской Школы подпрапорщиков и юнкеров, а потом директор 1-го кадетского корпуса. Умер генерал-лейтенантом в 1859 году здесь в Петербурге. (*Прим. В. П. Бурнашева.*)

*** Этот начинающий поэт обещает многое (*франц.*).

**** авантюристом (*франц.*).

тельного этому французишке, который срамил собою и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк¹⁰, в котором числился?

— Правду сказать, — заметил Синицын, — я насмотрелся на этого Дантесишку во время военного суда. Страшная французская бульварная сволочь с смазливой только рожицей и с бойким говором. На первый раз он не знал, какой результат будет иметь суд над ним, думал, что его, без церемонии, расстреляют и в тайном каземате засекут казацкими нагайками. Дрянь! Растерялся, бледнел, дрожал. А как проведал чрез своих друзей, в чем вся суть-то, о! тогда поднялся на дыбы, захорохорился, черт был ему не брат, и осмелился даже сказать, что таких версификаторов, каким был Пушкин, в его Париже десятки. Ведь вы, господа, все меня знаете за человека миролюбивого, недаром великий князь, с первого раза, окрестил меня «кормилицей Лукерьей»; но, ей-богу, будь этот французишка не подсудимый, а на свободе, — я так и дал бы ему плюху за его нахальство и за презрение к нашему хлебу-соли.

— Ну, вот же видишь, — подхватил с живостью Юрьев, — уж на что ты, Синицын, кроток и добр, а и ты хотел этого фанфарона наказать. После этого чего мудреного, что такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем нашем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцужено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он, всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел и, севши в них, не умел ловко управлять своенравными лошадами, мчавшими его и намчавшими, наконец, на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. С старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и

уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова уже не говорила при нем о светских толках; а эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже. Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерьяны; заехал друг всего Петербурга добрейший Николай Федорович Арендт и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своею беседой, рассказав ему всю печальную эпопею тех двух с половиною суток с двадцать седьмого по двадцать девятое января, которые претерпел раненый Пушкин. Он все, все, все, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передавая самые заветные слова Пушкина. Наш друг еще больше возлюбил своего кумира после этого откровенного сообщения, обильно и безыскусственно вылившегося из доброй души Николая Федоровича, не умевшего сдерживать своих слов.

Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Н(иколай) А(ркадьевич) С(толыпин), дипломат, служащий под начальством графа Нессельроде, один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем, джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил навестить об нем и вошел неожиданно в его комнату, минут десять по отъезде Николая Федоровича Арендта. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, Столыпин расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. *Honneur oblige!* * Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцузенный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не под-

* Честь обязывает (франц.).

нял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. Столыпин засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но «Майошка» наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро на нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем Столыпин, заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: «La poésie enfante!»; * потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: «Adieu, Michel!» ** — но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на Столыпина и бросил ему: «Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда». — Столыпин не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: «Mais il est fou à lier» ***. Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был Столыпин, и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь, начинаются словами: «А вы, надменные потомки!» и в которых так много силы.

— Я отчасти знаю эти стихи, — сказал Синицын, — но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти, «с чувством, с толком, с расстановкой», главное «с расстановкой», а мы с Владимиром Петровичем их спишем под твой диктант.

— Изволь, — отозвался Юрьев, — вот они.

Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов! <и т. д.>

* Поэзия разрешается от бремени (франц.).

** Прощай, Мишель (франц.).

*** Но ведь он просто бешеный (франц.).

Когда мы с Синецыным записали последний стих, то оба с неподдельным и искренним чувством выражали наш восторг к этим звучным и сильным стихам. Юрьев продолжал:

— Я тотчас списал с этих стихов, не выходя из комнаты Лермонтова, пять или шесть копий, которые немедленно развез к некоторым друзьям. Эти друзья, частью сами, частью при помощи писцов, написали еще изрядное количество копий, и дня через два или три почти весь Петербург читал и знал «дополнение к стихам Лермонтова на смерть Пушкина». Когда старушка бабушка узнала об этих стихах, то старалась всеми силами, нельзя ли как-нибудь, словно фальшивые ассигнации, исхитить их из обращения в публике; но это было решительно невозможно: они распространялись с быстротою, и вскоре их читала уже вся Москва, где старики и старухи, преимущественно на Тверской, объявили их чисто революционерными и опасными. Прочел их и граф Бенкендорф, но отнесся к ним как к поэтической вспышке, сказав Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания: тогда слава их скоро померкнет, ежели же мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей». Стихи эти читал даже великий князь Михаил Павлович и только сказал смеясь: «Эх, как же он расхотился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?» Даже до нас доходили слухи, что великий князь, при встрече с Бенкендорфом, шепнул ему, что желательно, чтоб этот «вздор», как он выразился, не беспокоил внимания государя императора. Одним словом, стихи эти, переписываемые и заучиваемые всеми повсюду, в высших сферах считались ребяческою вспышкою, а в публике, хотя и негромко, но признавались за произведение гениальное. Государь об них ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения, пока дней пять или шесть назад был раут у графа Ф(икельмона), где был и граф Бенкендорф в числе гостей. Вдруг к нему подходит известная петербургская болтуня и, как ее зовут, *la lèpre de la société**, Х(итрово)¹¹, разносительница новостей,

* язва общества (франц.).

а еще более клевет и пасквилей по всему городу и, подойдя к графу, эта несносная вестовщица вдруг говорит: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас и в которых la crême de la noblesse* отделаны на чем свет стоит?» — «О каких стихах вы говорите, сударыня?» — спрашивает граф. «Да о тех, что написал гусар Лермонтов и которые начинаются стихами: «А вы, надменные потомки!», то есть, ясно, мы все, toute l'aristocratie russe**». Бенкендорф ловко дал тотчас другое направление разговору и столько же ловко постарался уклониться от своей собеседницы, которую, как известно, после всех ее проделок, особенно после ее попрошайничеств, нигде не принимают, кроме дома ее сестры, графини Ф(икельмон), которая сама, бедняжка, в отчаянии от такого кровного родства. Однако после этого разговора на рауте граф Бенкендорф на другой же день, перед отправлением своим с докладом к государю императору, сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что будет, то будет, а после того, что Х(итрово) знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить об них государю». Когда граф явился к государю и начал говорить об этих стихах в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их, сейчас им полученный по городской почте, с гнусною надписью: «Воззвание к революции». Многие того мнения, что это работа de la lêgre de la société, которая, недовольная уклончивостью графа на рауте, чем свет послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец, причем, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но, естественно, не для жандармерии, которая имеет свое чутье. Как бы то ни было, государь был разгневан, принял дело серьезнее, чем представлял граф, и велел великому князю Михаилу Павловичу немедленно послать в Царское Село начальника штаба гвардии Петра Федоровича Веймарна для произведения обыска в квартире корнета Лермонтова. Веймарн нашел прежде всего, что квартира Лермонтова уже много дней не топлена, потому что сам хозяин ее проживает постоянно в

* сливки дворянства (франц.).

** вся русская аристократия (франц.).

Петербурге у бабушки. Начальник штаба делал обыск и опечатывал все, что нашел у Лермонтова из бумаг, не снимая шубы. Между тем дали знать Мише, он поскакал в Царское и повез туда с полною откровенностью весь свой портфель, в котором, впрочем, всего больше было, конечно, барковщины; но, однако, прискакавший из Царского фельдъегерь от начальника штаба сопровождал полкового адъютанта и жандармского офицера, которые приложили печати свои к бюро, к столам, к комодам в нашем апартаменте¹². Бабушка была в отчаянии; она непременно думала, что ее Мишеля арестуют, что в крепость усадят; однако все обошлось даже без ареста, только велено было ему от начальника штаба жить в Царском, занимаясь впредь до повеления прилежно царской службой, а не «сумасбродными стихами». Вслед за этим сделано по гвардии строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры всех загородных полков отнюдь не смели отлучаться из мест их квартирования иначе как с разрешения полкового командира, который дает письменный отпуск, и отпуск этот офицер должен предъявлять в ордонанс-гаузе и в гвардейском штабе. Просто история! Мне это также не по шерсти, ей-богу. И все это из-за стихов «Майошки». Однако несколько дней спустя последовал приказ: «Л.-гв. гус. полка корнет Лермонтов переводится прапорщиком в Нижегородский драгунский полк». Сначала было приказано выехать ему из Петербурга через сорок восемь часов, то есть в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма, да опять спасибо бабушке: перепросила, и кажется, наш «Майошка» проведет с нами и пасху. Теперь ведь вербная неделя, ждать не долго.

— Бедный, жаль мне его, — сказал Синицын, — а со всем тем хотелось бы видеть его в новой форме: куртка с кушаком, шаровары, шашка через плечо, кивер гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. Все это преуморительно сидеть будет на нем.

— Не уморительнее юнкерского ментика, — заметил Юрьев, — в котором он немало-таки времени щеголял в школе. Но страшно забавен в этой кавказской форме Костыка Булгаков!

— Как, разве и он угодил на Кавказ? — спросил Синицын, — для компании, что ли?

— О нет, он на Кавказ не назначен, — сказал Юрьев, — а только с этой кавказской формой Лермонтова удрал презабавную и довольно нелепую, в своем роде, штуку. Заезжает он на днях к нам и видит весь этот костюм, только что принесенный от портного и из магазина офицерских вещей. Тотчас давай примерять, на своей карапузой фигуре, куртку с кушаком, шашку на портупее через плечо и баранью шапку. Смотрится в зеркало и находит себя очень воинственным в этом наряде. При этом у него мелькает блажная мысль выскочить в этом переодеванье на улицу и, пользуясь отсутствием как Лермонтова, так и моим, глухой к убеждениям Вани*, садится на первого подвернувшегося у подъезда лихача и несется на нем по Невскому. Между тем «Майошка» ездил по своим делам по городу, и на беду наехал у Английского магазина, где кое-что закупал, на великого князя Михаила Павловича, который остановил его и, грозя пальцем, сказал: «Ты не имеешь права щеголять в этой лейб-гусарской форме, когда должен носить свою кавказскую: об тебе давно уж был приказ». — «Виноват, ваше высочество, не я, а тот портной, который меня обманывает. Между тем по делам, не терпящим отлагательства, необходимо было выехать со двора», — был ответ Лермонтова. «Смотри же, поторопи хорошенько твоего портного, — заметил великий князь, — он так неисполнителен, верно, потому, что, чего доброго, подобно тебе, шалуну, строчит какую-нибудь поэму или оду. В таком роде я до него доберусь. Но во всяком случае, чтоб я тебя больше не встречал в этой не твоей форме». — «Слушаю, ваше высочество, — рапортовал Лермонтов, — сегодня же покажусь в городе кавказцем». — «Сегодня, так, значит, экипировка готова?» — спросил великий князь. «Постараюсь, в исполнение воли вашего высочества, из невозможного сделать возможное», — пробарабанил Лермонтов, и его высочество, довольный молодецким ответом, уехал. Он отправлялся в Измайловские казармы, почему кучер его, проехав часть Невского проспекта (встреча с Лермонтовым была против Английского магазина), повернул за

* Камердинер М. Ю. Лермонтова, несколько помоложе его, всегда находившийся при нем в школе и носивший денщичью форму. (Прим. В. П. Бурнашева.)

Аничковым мостом на Фонтанку, и тут едва подъехали сани великого князя к Чернышеву мосту, от Садовой вперерез, мимо театрального дома, стрелой несутся сани, и в санях кавказский драгун, лорнирующий внимательно окна театральной школы. Великий князь, зная, что во всем Петербурге в это время нижегородского драгуна* не находится, кроме Лермонтова, и удивляясь быстроте, с которою последний успел переменить костюм, велел кучеру догнать быстро летевшего нижегородского драгуна; но куда! у лихача был какой-то двужильный рысак, который мог бы, кажется, премии выигрывать на бегах, и баранья шапка мигом скрылась из глаз. Нечего было делать: великий князь оставил перегонку и отправился в Измайловские казармы, где в этот день был какой-то экстраординарный смотр. После смотра великий князь подозвал к себе подпоручика Ф**** из наших подпрапорщиков и, спросив его, знает ли он квартиру Лермонтова, живущего у нашей бабушки Арсеньевой, велел ему ехать туда сейчас и узнать от него, как он успел так скоро явиться в новой кавказской форме близ Чернышева моста, тогда как не больше десяти минут его высочество оставил его у Полицейского моста; и о том, что узнает, донести тотчас его высочеству в Михайловском дворце. Измайловец к нам приехал в то время, как только Булгаков возвратился и, при общем хохоте, снимал кавказские доспехи, рассказывая, как благодаря лихому рысаку своего извозчика Терешки он дал утечку от великого князя. Вследствие всего этого доложено было его высочеству, что Лермонтов, откланявшись ему, полетел к своему неисправному портному, у которого будто бы были и все вещи обмундировки, и, напугав его именем великого князя, ухватил там все, что было готового, и поскакал продолжать свою деловую поездку по Петербургу, уже в бараньей шапке и в шинели драгунской формы. Великий князь очень доволен был исполнительностью Лермонтова, никак не подозревая, что он у Чернышева-то моста видел не Лермонтова, а шалуна Булгакова. (...)

— А вот, брат Синицын, — говорил Юрьев, — ты,

* Они в ту пору в Петербурге были очень редки, как и вообще все кавказцы, обращавшие на себя на улицах внимание публики. (Прим. В. П. Бурнашева.)

кажется, не знаешь о нашей юнкерско-офицерской проделке на Московской заставе в первый год, то есть в тысяча восемьсот тридцать пятом году, нашего с Лермонтовым производства в офицеры. Проделка эта названа была нами, и именно Лермонтовым, «*всенародною энциклопедиею имен*».

— Нет, не знаю, — отозвался Синицын, — расскажи, пожалуйста.

— Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного, — начал Юрьев, — а я был в городе, приехав, как водится, из моей скучной Новгородской стоянки. Бабушка соскучилась без своего Мишеля, пребывавшего в Царском и кутившего там напропалую в веселой компании. Писано было в Царское; но «Майошка» и ухом не вел, все никак не приезжал. Наконец решено его было оттуда притащить в Петербург *bon gré, mal gré* *. В одно прекрасное февральское утро честной масленицы я, по желанию бабушки, распорядился, чтоб была готова извозчицья молодецкая тройка с пошевнями, долженствовавшая мигом доставить меня в Царское, откуда решено было привезти *le déserteur* **, который, масленица на проходе, не пробовал еще у бабушки новоизобретенных блинов ее повара Тихоныча, да к тому же и прощальные дни близки были, а Мишенька все в письмах своих уверяет, что он штудирует в манеже службу царскую, причем всякий раз просит о присылке ему малых толик деньжат. В деньжатах, конечно, отказа никогда не было; но надобно же, в самом деле, и честь знать. Тройка моя уже была у подъезда, как вдруг швейцарский звон объявляет мне гостей, и пять минут спустя ко мне вваливается с смехом и грохотом и *cliquetis des armes* ***, как говорит бабушка, честная наша компания, предводительствуемая Костей Булгаковым, тогда еще подпрапорщиком Преображенского полка, а с ним подпрапорщик же лейб-егерь Гвоздев ****,

* хочет не хочет (*франц.*).

** беглеца (*франц.*).

***бряцанием оружия (*франц.*).

**** Павел Александрович Гвоздев, брат того Александра Александровича, который был впоследствии директором департамента общих дел министерства внутренних дел и погиб такою трагическою смертью, как говорили тогда, в припадке ипохондрии, под колесами вагона Николаевской железной дороги в 1862 году. Этот

да юнкер лейб-улан М(ерин)ский *. Только что они явились, о чем узнала бабушка, тотчас явился к нам завтрак с блинами изобретения Тихоныча и с разными другими масленичными снадобьями, а бабушкин камердинер, взяв меня в сторону, почтительнейше донес мне по приказанию ее превосходительства Елизаветы Алексеевны, что не худо бы мне ехать за Михаилом Юрьевичем с этими господами, на какой конец явится еще наемная тройка с пошевнями. Предложение это принято было, разумеется, с восхищением и увлечением, и вот две тройки, с нами четырьмя, понеслись в Царское Село. Когда мы подъехали к заставе, то увидели, что на офицерской гауптвахте стоят преображенцы, и караульным офицером — один из наших недавних однокашников, князь Н****, веселый и добрый малый, который, увидев между нами Булгакова, сказал ему: «Когда вы будете ехать все обратно в город, то я вас, господа, не пропущу через шлагбаум, ежели Костя Булгаков не в своем настоящем виде, то есть на шестом взводе, как ему подобает быть». Мы, хохоча, дали слово, что не один Булгаков, а вся честная компания с прибавкою двух-трех гусар, будет проезжать в самом развеселом, настоящем масленичном состоянии духа, а ему пред-

Гвоздев, даровитый, добрый и умный малый, но необыкновенно впечатлительный и вспыльчивый, из подпрапорщиков л.-гв. Егерского полка был в 1835 году переведен в армию юнкером же на Кавказ. Потом он вышел в отставку, служил по статской службе, при протекции брата и умер в молодых еще годах, то есть моложе 30 лет. Когда был в Петербурге шум и гвалт по поводу стихов графини Ев. Петр. Ростопчиной, напечатанных в «Сев. пчеле» Булгаринным, думавшим угодить ими правительству, не зная, что стихи эти, под названием «Барон», были направлены против императора Николая Павловича, — явилось следующее довольно бойкое четверостишие:

Шутить я не привык,
Я сам великий барин,
И за дерзкий свой язык
Заплатит... Булгарин.

(Стихи эти были написаны именно этим Пав. Ал. Гвоздевым).
(Прим. В. П. Бурнашева.)

* Ал. М. Меринский, ныне полковник в отставке, мой добрый знакомец. Он сообщил в печати некоторые замечательные подробности о Лермонтове, в приложениях к «Запискам» Е. А. Хвостовой. (Прим. В. П. Бурнашева.)¹³

ставит честь и удовольствие наслаждаться в полной трезвости обязанностями службы царю и отечеству. В Царском мы застали у «Майошки» пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременно жженой, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой эффекта ради были вынесены все свечи и карсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации, в которых перемешаны были *les rouges hussards, les bleus lanciers, les blancs chevaliers gardes, les magnifiques grenadiers, les agiles chasseurs* * со всяким невообразимым вздором, вроде *Mars, Paris, Apollon, Henri IV, Louis XIV, la divine Natasha, la suave Lisette, la succulente Georgette* ** и прочее, а «Майошка» изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарроновском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царско-сельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная, на ком сорвать свое отчаяние, велел отпороть двух или трех дворцовых истопников; словом, шла «гусарщина» на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки *sine qua non* ***. К нашему каравану присоединилось еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с пол-окороком, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги, никогда Шампаньи, конечно, не выдавшей.

* красные гусары, голубые уланы, белые кавалергарды, великолепные гренадеры, проворные егеря (франц.).

** Марс, Париж, Аполлон, Генрих IV, Людовик XIV, божественная Наташа, нежная Лизетта, аппетитная Жоржетта (франц.).

*** обязательным (лат.).

Перед выездом заявлено было «Майошкой» предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и пр. играли бы главную роль с переделкою характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу и объявил за себя, что он *marquis de Gloupignon* (маркиз Глупиньон). Его примеру последовали другие, и явились: дон Скотилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и, наконец, чистокровный российский дворянин Скот Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, «все-народной энциклопедии фамилий». На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из четырех троек, говорю четырех, потому что к нашим двум в Царском присоединилось еще две тройки гусар. Кучер объявил, что надо «сердечного» распречь и освежить снегом, так как у него «родимчик». Не бросить же было коня на дороге, и мы порешили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимою пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, то есть разместили там разные доски, какие нашли, на поленья и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено, в память нашего пребывания в этом балагане, написать на стене его, хорошо выбеленной, углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем чтоб каждый написал один стих. Нас было десять человек, и написано было десять нелепейших стихов, из которых я помню только шесть; остальные четыре вынарились из моей памяти, к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать тщету славы: их уничтожила новая штука-

турка в то время, когда балаган, пустой зимою, сделался временною лавочкою летом.

Гостями был полон балаган,
Болванешти, Молдаван
Стоял с осанкою воинской;
Болванопуло было Грек,
Чурбанов, русский человек,
Да был еще Поляк Глупчинский.

— Таким образом, — продолжал Юрьев, — ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте, в два почти часа ночи, предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки; но кто-то из нас, менее других служивших Вакху (как говаривали наши отцы), указал служивому обратную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше корнетского, были ясно прописаны.

«Но все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе». — «Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал преображенец и крикнул караульному у шлагбаума: — Бом-высь!» — и мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де Глупиньон.

А. Н. МУРАВЬЕВ

ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ

Не много уже времени оставалось Пушкину украшать отечественную словесность зрелыми плодами своего гения, когда появился другой необычайный талант, обещавший наследовать его славу, если бы и ему не предназначен был еще более краткий срок на литературном поприще и не ожидала его такая же роковая судьба, как и нашего великого поэта. Я хочу говорить о Лермонтове; он еще был тогда лейб-гусарским юнкером в гвардейской школе, и никто о нем не слышал. Однажды его товарищ по школе, гусар Цейдлер, приносит мне тетрадку стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самых стихах. Это была первая поэма Лермонтова «Демон»¹. Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил передать это неизвестному поэту. Тогда лишь, с его дозволения, решился он мне назвать Лермонтова, и когда гусарский юнкер надел эполеты, он не замедлил ко мне явиться. Таково было начало нашего знакомства. Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха, как бывало и у Хомякова, с которым во многом имел он сходство; не один раз просил я и того и другого «смеяться проще»². Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: «Отчего не изберет более высокого предмета для столь блистательного таланта?» Пришло ему на мысль напи-

сать комедию, вроде «Горе от ума»³, резкую критику на современные нравы, хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил убедить начальника сего Отделения, моего двоюродного брата Мордвинова⁴, быть снисходительным к его творению; но Мордвинов оставался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом.

Случилась несчастная дуэль Пушкина; столица поражена была смертью любимого поэта; народ толпился около его дома, где сторожила полиция, испуганная таким сборищем; впускали только поодиночке поклониться телу усопшего. Два дня сряду, в тесной его квартире, являлись, как тени, люди всякого рода и звания, один за другим благоговейно подходили к его руке и молча удалялись, чтобы дать место другим почитателям его памяти. Было даже опасение взрыва народной ненависти к убийце Пушкина. Если потеря его произвела такое сильное впечатление на народ, то можно себе представить, каково было раздражение в литературном круге. Лермонтов сделался его эхом и тем приобрел себе громкую известность, написав энергические стихи на смерть Пушкина; но себе навлек он большую беду, так как упрекал в них вельмож, стоявших около трона, за то, что могли допустить столь печальное событие. Ходила молва, что Пушкин пал жертвою тайной интриги, по личной вражде, умышленно возбуждившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества. Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого, потому что не слышал последнего четверостишия, которое возбуждало бурю против поэта. Стихи сии ходили в двух списках по городу, одни с прибавлением, а другие без него, и даже говорили, что прибавление было сделано другим поэтом, но что Лермонтов благородно принял это на себя. Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову, и на другой день я поехал к моему родичу. Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда с старыми вестями, — сказал он, — я давно читал эти

стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такою вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему, от слова до слова, то, что сказал мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. Долго ожидая меня, написал он, на том же листке, чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты цвела, где ты росла?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была? <и проч.> ⁵

Меня чрезвычайно тронули эти стихи, но каково было мое изумление вечером, когда флигель-адъютант Столыпин⁶ сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом. Случилось мне на другой день обедать у Мордвинова; за столом потребовали его к гр. Бенкендорфу; через час он возвратился и, с крайним раздражением, сказал мне: «Что ты на нас выдумал? ты сам будешь отвечать за свою записку». Оказалось, что когда Лермонтов был взят под арест, генерал Веймарн, исполнявший должность гр. Бенкендорфа за его болезнь, поехал опечатать бумаги поэта и между ними нашел мою записку. При тогдашней строгости это могло дурно для меня кончиться; но меня выручил из беды бывший начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубельт. Когда Веймарн показал ему мою записку, уже пришитую к делу, Дубельт очень спокойно у него спросил, что он думает о стихах Лермонтова, без конечного к ним прибавления. Тот отвечал, что в четырех последних стихах и заключается весь яд. «А если Муравьев их не читал, точно так же как и Мордвинов, который ввел его в такой промах?» — возразил Дубельт. Веймарн одумался и оторвал мою записку от дела. Это меня спасло, иначе я совершенно невинным образом попался бы в историю Лермонтова. Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью

читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения. <...>

Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было, действительно, где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов, ибо в то время это было единственное место ратных подвигов нашей гвардейской молодежи, и туда устремлены были взоры и мысли высшего светского общества. Юные воители, возвращаясь с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов, выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде; песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары. Мне случилось однажды, в Царском Селе, уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера⁷. Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг: так живо выхватил он, из ребр Кавказа, одну из его разительных сцен и облек ее в живые образы пред очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта.

Недолго суждено было Лермонтову пользоваться своею славой и наслаждаться блестящим обществом столицы. По своему заносчивому характеру, он имел неприятность с сыном французского посла, которая должна была кончиться дуэлью, и, для того чтобы развести соперников, молодого Баранта отправили в Париж,

а Лермонтова опять на Кавказ, с переводом в армейский полк. Видно, уже такова была его судьба, что не миновал ее даже и там, где хотели спасти его от поединка⁸. Он пал от руки приятеля, который всячески старался избежать дуэли, но был вынужден драться назойливостью самого Лермонтова, потому что он не давал ему нигде покоя колкими своими шутками⁹. Розно рассказывают причину столь странного поведения пылкого поэта, и трудно теперь узнать истину. Мне случилось в 1843 году встретиться в Киеве с тем, кто имел несчастье убить Лермонтова; он там исполнял возложенную на него эпитамию и не мог равнодушно говорить об этом поединке; всякий год, в роковой его день, служил панихиду по убиенному, и довольно странно случилось, что как бы нарочно прислали ему в тот самый день портрет Лермонтова; это его чрезвычайно взволновало. {...}

На Кавказе поклонился я уединенной могиле Грибоедова, на горе св. Давида, но мне не пришлось посетить могилы Лермонтова на водах¹⁰, в виду снежного Эльборуса, которого заоблачную беседу с Шат-горою столь поэтически он подслушал и передал нам в чудных стихах¹¹. Мир душе обоих великих поэтов! С одним встретился я на заре моей жизни, с другим же в знойный ее полдень, но их память доселе живет в моем сердце. Обоих осенил безмолвным своим величием Кавказ, на котором положили огненное свое клеймо Пушкин, Лермонтов и Марлинский; вдохновенными поэмами и рассказами они еще более его сроднили с русскою землею.

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Одно воспоминание влечет за собой другие. Говоря о Соколовском, я упомянул, что весь 1837 год я провел на Кавказе: лето на водах, а осень и зиму в Ставрополе. Этот год был замечателен разными встречами. Начнем с Белинского и Лермонтова. Ив. Ив. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге, у г. Краевского, в то время, когда Белинский принимал деятельное участие в издании Отечественных записок, то есть в 1839 или 1840 году. Это несправедливо¹. Они познакомились в 1837 г. в Пятигорске у меня². Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не *раскусил* Лермонтова.

Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах. Туда же и тогда же приехал Белинский и Лермонтов, первый из Москвы, лечиться, второй — из Нижегородского полка, повеселиться.

С Белинским я не был знаком прежде; но он привез мне из Москвы письмо от нашего общего приятеля К<етчера>;³ на этом основании мы скоро сблизились, и Белинский навещал меня ежедневно. С Лермонтовым мы встретились, как старые товарищи. Мы были с ним вместе в Московском университетском пансионе; но в 1831 году, после преобразования пансиона в Дворянский институт (когда-нибудь поговорим и об этом замеча-

тельном факте) и введения в него *розог*, вместе и оставили его⁴. Лермонтов тотчас же вступил в Московский университет и прямо наткнулся на историю профессора Малова, вследствие которой был исключен из университета и поступил в юнкерскую школу⁵. Я поступил в университет только на следующий год. На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его склонность подтрунивать и надоедать. «Пристанет, так не отстанет», — говорили об нем. Замечательно, что эта юношеская склонность привела его и к последней трагической дуэли!

В 1837 году мы встретились уже молодыми людьми, и, разумеется, школьные неудовольствия были взаимно забыты. Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим; Лермонтов, напротив, — пользовался всем здоровьем и вел светскую, рассеянную жизнь. Он был знаком со всем *водяным* обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках. Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями⁶. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера⁷.

Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «*Rauvre sire, pauvre talent!*» *

Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов; но зато охотно рассказывал о своих свежеских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими *любовями* и волокитствами.

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока

* Ничтожный человек, ничтожный талант! (*франц.*)



С. А. Раевский
Портрет работы М. Ю. Лермонтова. 1836

разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба — уроженцы города Чембара (Пензенской губ.)⁸.

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пусто-словием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с увлечением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шуточками.

— Да, я вот что скажу вам об вашем Вольтере, — сказал он в заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочем не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты⁹.

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

Белинский, с своей стороны, иначе не называл Лермонтова как *пошляком*, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот важность — написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком».

На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов»¹⁰.

Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга. <...>¹¹

По окончании курса вод я переехал в Ставрополь зимовать, чтобы воспользоваться ранним курсом 1838 года. Я поместился с доктором Майером. — Это был замечательный человек, как в физическом, так и в умственном отношении. В физическом отношении Майер был почти урод: одна нога была короче другой более чем на два вершка; лоб от лицевой линии выдавался вперед на невероятно замечательное пространство, так что голова имела вид какого-то треугольника; сверх этого он был маленького роста и чрезвычайно худощав. Тем не менее своим умом и страстностью он возбудил любовь в одной из самых красивейших женщин, г-же М(ансуровой). Я был свидетелем и поверенным этой любви. Майер, непривычный внушать любовь, был в апогее счастья! Когда она должна была ехать, он последовал за нею в Петербург, но увы! Скоро возвратился оттуда, совершенно убитый ее равнодушием.

Над г-жой Мансуровой эта любовь или, правильнее, шутка прошла, вероятно, бесследно; но на Майера это подействовало разрушительно: из веселого, остроумного, деятельного человека он сделался ленивым и раздражительным.

По вечерам собиралось у нас по несколько человек, большею частию из офицеров генерального штаба. <...> Из посещавших нас мне в особенности памятны Филиппсон и Глинка. Первый (бывший впоследствии попечителем С.-Петербургского университета, а ныне сенатор) был умный и благородный человек...¹²

Глинка был ниже Филиппсона своими умственными способностями, но интересовал нас более своим добродушием и пылкостью своего воображения. Он тогда был серьезно занят проектом завоевания Индии, — но эта фантазия не была в нем глупостью, а скорее оригинальностью; он много учился и много читал и [воображал] вытеснить англичан из Индии, доказывая фактами, которые не всегда можно было опровергнуть.

Постоянно посещали нас еще два солдата, два декабриста: Сергей Кривцов¹³ и Валериан Голицын¹⁴.

Первый — добрый, хороший человек, далеко ниже по уму и выше по сердцу своего брата Николая, бывшего воронежским губернатором. Второй — замечательно умный человек, воспитанник иезуитов; он усвоил себе их сосредоточенность и изворотливость ума. Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем.

Несмотря на свой ум, он, видимо, тяготился своею солдатскою шинелью, и ему приятно было, когда называли его князем. В этот же год произвели его в офицеры, и он не мог скрыть своего удовольствия — надеть снова тонкий сюртук, вместо толстой шинели.

Позднее, зимой, к нашему обществу присоединился Лермонтов, но — признаюсь — только помешал ему. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал, что наконец надоело всем. Белинский, как рассказывает Панаев, имел хотя раз случай слышать в ордонанс-гаузе серьезный разговор Лермонтова о Вальтере Скотте и Купере. Мне — признаюсь, несмотря на мое продолжительное знакомство с ним — не случалось этого. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал. Ложно понятый байронизм сбил его с обычной дороги. Пренебрежение к пошлости есть дело достойное всякого мыслящего человека; но Лермонтов доводил это до *absurdum**, не признавая в окружающем его обществе ничего достойного его внимания.

* до абсурда (лат.).

М. И. ЦЕЙДЛЕР

НА КАВКАЗЕ В 30-х ГОДАХ

18-го февраля 1838 года командирован был я в отдельный Кавказский корпус, в числе прочих офицеров Гвардейского корпуса, для принятия участия в военных действиях против горцев. <...>

По пути заехал я в полк проститься с товарищами и покончить с мелкими долгами, присущими всякому офицеру. Пробыв в полку сутки и распроставшись со всеми, я отправился уже окончательно в дальний путь. Товарищи, однако, непременно вздумали устроить, по обычаю, проводы. Хор трубачей отправлен был вперед, а за ним моя кибитка и длинная вереница саней с товарищами покатила к Спасской Полести, то есть на станцию Московского шоссе, в 10 верстах от полка. Станционный дом помещался в длинном каменном одноэтажном строении, похожем на огромный сундук. Уже издали видно было, что это казенное здание времен аракчеевских: оно более походило на казарму, хотя и носило название дворца. Все комнаты, не исключая так называемой царской половины, были блистательно освещены. Хор трубачей у подъезда встретил нас полковым маршем, а в большой комнате накрыт был стол, обильно уставленный всякого рода напитками. Меня усадили, как виповника прощальной пирушки, на почетное место. Не теряя времени, начался ужин, чрезвычайно оживленный. Веселому расположению духа много способствовало то обстоятельство, что товарищ мой и задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателью ее, почтен-

ному толстенькому немцу, Карлу Ивановичу Грау, немедленно вставить во все свободные подсвечники и пустые бутылки свечи и осветить, таким образом, без исключения все окна. Распоряжение Лермонтова встречено было сочувственно, и все в нем приняли участие; вставлялись и зажигались свечи; смех, суета сразу расположили к веселью. Во время ужина тосты и пожелания сопровождалась спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время потом, неизвестно кем записанный, попал даже в печать. Экспромт этот имел для меня и отчасти для наших товарищей особенное значение, заключаая в конце некоторую, понятную только нам, игру слов. Вот он:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны;
Но иной, не бранной, *сталью*
Мысли юноши полны¹.

Само собою разумеется, что ужин кончился обильным излиянием чувств и вина. Предшествоемый снова хором полковых трубачей, несомый товарищами до кибитки, я был наконец уложен в нее, и тройка в карьер умчала меня к Москве.

Не помню, в каком-то городе, уже днем, разбудил меня человек, предложив напиться чайку. Очнувшись наконец, я немало был удивлен, когда увидел, что кругом меня лежали в виде гирлянды бутылки с шампанским, — гусарская хлеб-соль на дорогу.

* * *

Сухопутное странствование наконец кончилось прибытием в Тамань. В то время, то есть в 1838 г., полвека тому назад, Тамань была небольшим, невзрачным городишком, который состоял из одноэтажных домиков, крытых тростником; несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами. Кое-где уст-

роены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни. Мне отвели с трудом квартиру, или, лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился. Далее, отдельно, стояли плетневый, смазанный глиной, сарайчик и какие-то клетушки. Все эти невзрачные постройки обнесены были невысокой каменной оградой. Однако домик мой показался мне приветливым: он был чисто выбелен снаружи, соломенная крыша выдавалась кругом навесом, низенькие окна выходили с одной стороны на небольшой дворик, а с другой — прямо к морю. Под окнами сделана была сбитая из глины завалина. Перед крылечком торчал длинный шест со скворешницей. Внутри все было чисто, смазанный глиняный пол посыпан польнью. Вообще, как снаружи, так и внутри было приветливо, опрятно и прохладно. Я велел подать самовар и расположился на завалинке. Вид на море для меня, жителя болот, был новостью. Никогда еще не случилось мне видеть ничего подобного: яркие лучи солнца, стоявшего над горизонтом, скользили золотою чешуею по поверхности моря; далее синеватые от набегающих тучек пятна то темнели, то снова переходили в лазуревый колорит. Керченский берег чуть отделялся розоватой полоской и, постепенно бледнея, скрывался в лиловой дали. Белые точки косых парусов рыбацких лодок двигались по всему взморью, а вдали пароходы оставляли далеко за собой черную струю дыма. Я не мог оторваться от этого зрелища. Хозяин мой, старый черноморец, уселся тоже на завалинке.

— А что, хозяин, — спросил я, — много ли приехало уже офицеров? И где собирается отряд?

— Нема́, никто́го не бачив.

Расспрашивать далее было нечего; флегматическая натура черноморца вся так и высказалась: его никогда не интересуют чужие дела.

— Погода буде, — сказал он, помолчав немного.

— А почему так? — спросил я.

— А бачь, птыця разыгралась, тай жабы заспывали.

Я взглянул вниз с отвесной горы на берег. Сотни больших морских чаек с криком летали у берега; то садились на воду, качаясь на волнах, то снова подымались с пронзительным криком и опять приседали ка-

чаться. Солнце окунулось в море. Быстро начало смеркаться; яркие отблески исчезли; вся даль потемнела, «зайчики», катившиеся до того к берегу друг за другом, превратились в пенистые волны и, далеко забегая на берег, с шумом разбивались о камни. Задул холодный ветер с моря; рыбацьи лодки спешили к пристани; все стемнело вдруг. Послышались далекие раскаты грома, и крупные капли дождя зашумели в воздухе. Надо было убираться в хату. Долго не спалось мне под шум бушующего моря, а крупные капли дождя стучали в дребезжащие окна. Буря бушевала недолго; налетевший шквал пронесся вместе с дождем, и все снова стихло. Мне послышалось где-то очень близко заунывное пение матери, баюкавшей свое дитя, и эта протяжная заунывная песня усыпила наконец и меня. (...)

...Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке; обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках; другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет 19-ти с грудным татарчонком на руках. Черты лица ее нисколько не походили на скуластый тип татар, но скорее принадлежали к типу чистокровному европейскому. Правильный античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные, длинные косы спадали по плечам из-под бархатной шапочки; шелковый бешмет, стянутый поясом, обрисовывал ее стройный стан, а маленькие ножки в желтых мештах выглядывали из-под широких складок шальвар. Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп, судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, золотых дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству в маленьком сарае, на одном со мной дворе; самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика,

соседка тихо запела свою заунывную песню, под звуки которой в бурную ночь, по приезде моем, заснул я так сладко. Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил порусски неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом.

Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь².

А. И. АРНОЛЬДИ

ИЗ ЗАПИСОК

1. ЛЕРМОНТОВ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГРОДНЕНСКОМ ГУСАРСКОМ ПОЛКУ

17-го августа 1837 года, темным вечером, после переправы на пароме чрез р. Волхов, на перекладной въехал я в 1-й Округ пахотных солдат Аракчеевского поселения, где расположен был тогда лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, принадлежавший к составу 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и в котором я прослужил 25 лет.

Многочисленные огоньки в окнах больших каменных домов и черные силуэты огромнейшего манежа, гауптвахты с превысокой каланчой, большого плаца с бульваром, обсаженным липами, на первый раз и впотьмах очень живописно представились моему воображению, и я мнил, что вся моя будущая жизнь будет хоть и провинциальная, но городская.

С светом все мои надежды рушились: я увидел себя в казармах, окруженного казармами, хотя, правду сказать, великолепными, так как на полуверстном квадратном пространстве полк имел все необходимое и даже роскошное для своего существования.

Огромный манеж (в длину устанавливалось три эскадрона в развернутом фронте) занимал одну сторону плаца и был расположен своим длинным фасом к р. Волхову на полугоре, на которой к реке были полковые огороды. На противоположном фасе квадратного плаца тянулись 5 офицерских флигелей, разделенных между собою садиками за чугунными решетками и

двумя отдельными домами по бокам, в которых помещались: в одном нестроевая рота, а в другом — наш полковой «Елисеев» — маркитант Ковровцев¹. На правом фесе, подъезжая от Волхова, были два дома для женатых офицеров или штаб-офицеров, гауптвахта с каланчою, о которой я упомянул выше, а на внутреннем дворе помещалась трубачевская команда; на левом фесе был дом полкового командира, такие же два дома с квартирами для женатых, временный деревянный дворец и дом для приезда начальствующих лиц; за ними влево, треугольником, построены были прекрасные деревянные конюшни на три дивизиона или 6 эскадронов. За гауптвахтой были полковые мастерские, кухня, конный лазарет и малый манеж с конюшнею верховых лошадей полкового командира. На концах полкового манежа были флигеля, причем в правом — цейхгаузы, швальни, шорная, лазарет, ванны и квартиры докторов, а в левом — казармы всех 6 эскадронов и дежурная комната.

Дух Аракчеева, года за два-три перед тем скончавшегося в своем имении Грузино, верстах в 30-ти от 1-го Округа, царил всецело над его созданием, и порядок, заведенный при нем, все еще сохранялся. Все дороги были шоссированы, дерн по аллеям поддерживался во всей свежести, деревья подсаживались, обрезались и также поддерживались; дома красились, и все имело привлекательный вид, а в особенности весной.

Могу смело сказать, что для пользы службы лучшего места для стоянки полка и сыскать было трудно, и от того, как мне кажется, служба во всех своих проявлениях нигде так исправно не шла, как в нашем полку, да и вообще в тех полках нашей дивизии, которые были расположены, подобно нам, в таких же казармах, тянувшихся по Волхову до Новгорода.

Не знаю, чему приписать отвращение, царствовавшее впоследствии к этому месту в нашем полку, когда он изменился в составе своих офицеров, но могу сказать, что в мое время, когда полк только что перешел из Варшавы, где простоял многие годы, составляя гвардию в. к. Константина Павловича и состоял почти исключительно из людей небогатых, офицеры были довольны стоянкою полка; мы жили чрезвычайно дружно, весело и довольствовались развлечениями в своем обществе, довольно значительном, так как было время, что у нас

в полку было до 13-ти человек женатых, где юные офицеры-товарищи мои проводили свои зимние вечера.

Можно было избирать себе кружки по своим вкусам, так как семейства женатых офицеров были, само собою разумеется, разнообразных сфер и каждый свободно переходил из самой аристократической гостиной жены полкового командира А. А. Эссена (бывшей фрейлины большого двора) в скромную какого-либо ротмистра Гродецкого, моего эскадронного командира, где царствовала вполне старинная патриархальность и где за чайным столиком нередко полдюжины маленьких детей его, с салфетками на шеях, зачастую надоедали нам донельзя тем, что чадолюбивая мать их, разливая чай, одному из мальчишек утрет нос, другому накрошит хлеба в молоко и нередко забывала своего юного гостя, но зато старик эскадронный командир сам лично набьет вам трубочку и подаст вам огонька. Повторяю, что общество наше жило чрезвычайно дружно, и нередко в первые годы моей службы у нас устраивались пикники, маскарады, танцы, карусели.

В полку была хорошая библиотека русских и французских книг; в окрестностях — неподобные места для охоты, подобных которым я во всю мою жизнь впоследствии и не видывал.

Еще в Спасской Полести, шестой станции от Петербурга на Московском шоссе, в очень хорошей гостинице, содержимой любекским уроженцем Карлом Ивановичем Грау, узнал я, что Н. А. Краснокутский, товарищ по Пажескому корпусу, вышедший за год до меня в Гродненский гусарский полк, живет в сумасшедшем доме, куда ямщик меня и привез². — Надобно знать, что сумасшедшим домом назывался правый крайний дом офицерских флигелей, потому что вмещал в себе до 20-ти человек холостых офицеров, большею частью юных корнетов и поручиков, которые и вправду проводили время как лишенные рассудка и в число которых, само собою разумеется, попадал невольно всякий новоприбывший.

Легко себе представить, что творилось в 20-ти квартирах 20-ти юношей, недавно вырвавшихся на свободу и черпающих разнообразные утехи жизни человеческой полными пригоршнями, и я полагаю, что Лесаж, автор «Хромононого беса», имел бы более материала, ежели б потруился снять крышу с нашего жилища и описать те

занятия, которым предавались мы часто по своим кельям³.

Были комнаты, где простая закуска не снималась со стола и ломберные столы не закрывались. В одних помещениях беспрестанно раздавались звуки или гитары, или фортепьяно, или слышались целые хоры офицерских голосов, в других гремели пистолетные выстрелы упражняющихся в этом искусстве, вой и писк дрессируемых собак, которые у нас в полку никогда не переводились, так как было много хороших охотников. Были между нами и люди-домоседы, много читавшие, и я положительно не понимаю, как они умудрялись заниматься этим делом среди такого содома. Во всякий час дня, в длинных коридорах верхнего и нижнего этажей, разделяющих дом пополам в длину, у каждой двери квартиры, вы всегда могли встретить какую-нибудь смазливую поселянку с петухом, клюквой, грибами, или крестьянина, поставляющего сено, или охотника, пришедшего оповестить о найденном им медведе на берлоге или обойденных им лосях. «Личарды» наши то и дело сновали по коридорам, исполняя поручения своих господ, лихне тройки с колоколами и бубенчиками постоянно откладывались и закладывались у нас во дворе, и он постоянно имел вид почтового двора.

Я не застал Краснокутского дома, но услужливый слуга его Петр вскоре его отыскал, и я тотчас же без дальних церемоний был введен им в одну из квартир товарища, штабс-ротмистра Поливанова, где застал почти весь контингент однополчан, в страшном табачном дыму, так как редко кто тогда не курил из длинных чубуков табак Жукова.

Было далеко за полночь, когда я, радушно принятый товарищами, после скромного ужина заснул на железной кровати своей посреди узкой комнаты квартиры Краснокутского. Утром по совету моего ментора и руководителя я должен был явиться ⟨к⟩ полковому, дивизионному и эскадронному командирам в полной парадной форме, всем женатым — в вицмундире, а остальным товарищам — в сюртуке, на что и употребил почти целый день. Полковой командир Антон Антонович Эссен принял меня любезно, назначил во 2-й эскадрон к ротмистру Гродецкому и, предуведомленный письмом моего отца, прочел мне несколько общих наставлений. ⟨...⟩

С первых же дней моего поступления я горячо принялся за службу, выучился 32-м или 36-ти кавалерийским сигналам у полкового штабтрубача, понял механизм поворотов и заездов строя, и ежедневно, вместе с такими же неучами ездоками, как и я, ездил верхом под руководством полкового командира, так что вскоре перешел в общую офицерскую смену, которые, в составе всех наличных офицеров, по субботам обыкновенно съезжались в великолепном огромном нашем манеже. Антон Антонович сам был отличный ездок, имел много хороших лошадей на своей конюшне, в том числе знаменитого «Фаворита», за которого было заплачено им 8000 р. Полковник Риземан, когда-то гейдельбергский студент, первый бретер, «питух», коронованный в знаменитой по величине своей бочке в Гейдельберге, был в то время старшим полковником, не только по старшинству чинов и своим летам, но и по тому авторитету, который успел приобрести. < ... >

Полковник Стааль фон Гольштейн (Александр Карлович) был вторым по старшинству и пользовался общим уважением и любовью целого полка. Очень красивый мужчина, он ловко сидел на лошади и был переведен к нам из конной гвардии, где, отличаясь своими джентльменскими манерами и изящными танцами, был постоянным кавалером императрицы Александры Федоровны на малых аничковских балах; жена его Софья Николаевна, дочь Шатилова, который, после долгой ссылки в Сибирь за участие в убийстве помещика Времева за карточным столом в Москве, жил у дочери в нашем полку⁴. Она была красавица в полном смысле этого слова, умна, кокетлива и сводила с ума весь наш полк и ко многим из нас, что греха таить, была любезна... хотя я не попал в число избранных, отчасти оттого, что был слишком стыдлив, робок, наивен и непредприимчив⁵.

Третьим дивизионером был полковник Адеркас, женатый также на красавице, разводе Лешерн, урожденной Берте: отец ее был камердинером или чем-то вроде церемониймейстера при скромном дворе Людовика XVIII у нас в Риге. < ... >

1-м эскадронам командовал ротмистр Иван Альбертович Халецкий, магометанин из польских татар, лихой эскадронный командир, впоследствии командир Киев-

ского гусарского полка, раненный в Крымскую кампанию под Инкерманом при отражении знаменитой атаки Кардигана; после восстания Польши в 1863-м году, будучи генерал-майором в отставке, бежал за границу и поступил на иждивение жонда.

2-м эскадроном, в который я был зачислен, командовал, как я сказал, ротмистр Гродецкий недолго, потом Абрамович (Геркулан Помпеевич, очень умный человек, получивший образование у иезуитов) и наконец Эдуард Штакельберг, при котором я был уже штабс-ротмистром и вскоре сам получил эскадрон.

3-м эскадроном командовал ротмистр Роман Борисович Берг. (...)

4-м эскадроном командовал Казимир Войнилович, маленький человек с огромными усами, командовавший впоследствии Веймарнским гусарским полком⁶.

5-м эскадроном командовал Готовский, а потом Высоцкий. Высоцкий, побочный сын генерал-адъютанта Трубецкого, был вполне русский человек и, несмотря на свои странности и плохое знание службы, был очень любим товарищами. (...)

6-м эскадроном командовал сначала Адеркас, потом Константин Штакельберг (вскоре он женился на дочери негоцианта Крамера и я был у него шафером). Он был произведен в генералы. 7-м запасным эскадроном — Готовский.

Вообще в нашем полку был сброд порядочный, так как полк, состоя в гвардии цесаревича в Варшаве, всегда комплектовался самым великим князем Константином Павловичем, и никто не знает, что руководило им при этой вербовке офицеров. Разные авантюристы изобиловали в полку и бог знает, каких только национальностей у нас не встречалось: кроме польских фамилий, как граф Рачинский, Гродецкий, Готовский, Абрамович, Гедройц-Юрага, попадались французы — Живон де Руссо, граф Лотрек де Тулуз, немцы — Берг, Бер, Герлах, Моллер, Лауниц, англичане — Мерфельд, польские татары — Халецкий и даже был один с мыса Доброй Надежды. С прибытием полка в Россию и с зачислением его в состав гвардейского корпуса он стал пополняться воспитанниками из юнкерской гвардейской школы и из пажей — отличнейшей молодежью: Моллер, Цейдлер, Бер, Кропотов, Ильяшевич, граф Тизенгаузен,

Безобразовы, Топорнин, Арсеньев, Девитт, Бедряга, Кисловский, Клодт, Лобанов-Ростовский и проч., которые хоть какому полку не сделали бы бесчестия. Много между ними было людей образованных, богатых, и мы весьма дружно жили одной братской семьей. С переменой доброго полкового командира Эссена на строгого князя Багратиона-Имеретинского многие, не соответствующие составу полка офицеры, сами оставили его, а многие были вынуждены к тому строгостью командира полка, что дало ему возможность довести Гродненский полк до возможного совершенства во всех отношениях. {...} ⁷

Итак, служба шла своим чередом, офицерская езда производилась новичкам ежедневно, а всем офицерам два раза в неделю, караулы отбывались поручиками и корнетами, дежурили по полку ротмистры, а по 3-м дивизионам все субалтерн-офицеры. Пешие по конному учения повторялись на неделе очень часто; все офицеры обязаны были присутствовать на езде своих эскадронов, производившейся через день, равно и при пешем ученье. Вечерами и в свободное время молодежь играла в карты по маленькой, ездила гурьбой в почтовую гостиницу Спасской Полести, в 9-ти верстах от нас, где выпивала изрядное количество шампанского, делая долги, конечно временные, так как Карл Иванович Грау, составив себе состояние, ни на кого из нас во всю жизнь свою не мог пожаловаться. Не быв по летам нашим и по привычкам монахами, мы, правду сказать, вели жизнь старогусарскую, в подражание былым гусарам, но ни разу кутеж наш не омрачился никакой историей или скандалом, а мало-помалу, можно сказать, и прекратился. {...}

Из товарищей полка помню очень хорошо полкового казначея Федора Ивановича Левентая, аккуратного лифляндца, который не раз выводил всех нас из денежного затруднения и никогда не отказывал мне в помощи; он успел сделать себе небольшое состояние и ныне служит генералом для поручений при шефе жандармов. Бывало, в кошельке пусто, а насущные потребности в платье, чае, кофе, сахаре, табаке напоминают о себе; идешь к Федору Ивановичу, у которого все это всегда находилось в запасе и отпускалось в кредит, отличное и дешевле. {...}

Евгений Петрович Рожнов был тогда полковым адъ-

ютантом, и я смело могу сказать теперь, что он был совершенно на своем месте. Чопорный, щеголь, с всегда вкрадчивым обычным своим «душа моя», он, кроме исполнения своей обязанности по ведению дел в полку, заведованию канцелярией и хором трубачей, всегда старался быть посредником между обществом офицеров и командиром полка, даже таким неукротимым, каким был наш Багратион, и умел согласить и свои обязанности и интересы товарищей. <...>

Кропотов и Ильяшевич, оба из гвардейской юнкерской школы, были славные ребята и оба имели большие состояния, а потому отличных лошадей, как верховых так и упряжных. <...>

Михаил Иванович Цейдлер, русский немец, как называл его поэт Лермонтов в экспромте, за стаканом шампанского, написанном, когда мы все провожали М. И. Цейдлера на Кавказ, был также красавец, большой любитель женщин и милейший человек, какого когда-либо можно встретить; он прекрасно лепил из воска и глины, удачно рисовал карикатуры, как на всех нас, так и на себя, и мастерски рассказывал и, конечно, более выдумывал анекдоты, в которых обыкновенно играл самую смешную и непривлекательную роль. По службе он никогда не отличался особенною ретивостью и впоследствии, командуя одновременно со мною эскадроном, только успевал удержаться на своем месте, а во фронте, по рассеянности, часто ошибался и заводил свою часть не туда, куда следовало. В 1857-м году, уже полковником, он был некоторое время полицеймейстером в Нижнем Новгороде, а затем состоял по особым поручениям при Потапове, Альбединском и прочих генерал-губернаторах виленских.

Два брата Безобразовы, Владимир и Александр, были душою общества нашего, имея хорошие материальные средства, и были как бы коноводами во всех наших собраниях и собраниях. С Александром я особенно сдружился и долго делил с ним и радости и горе свое. Шкатулки наши, ласки женщин — все у нас было общее. Владимир очень хорошо играл на гитаре и на фортепьяно, и оба брата премило пели. Зачастую у нас составлялся хор, и мы за картами, за скромным ужином или в гостинице Спасской Полести, или в лавке Малеева, коротали наши дни.

Я был с обоими братьями в артели и у них же в 38-м или 39-м году в первый раз увидел и познакомился с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, старинным знакомым их по Школе юнкеров и подпрапорщиков, когда он был переведен с Кавказа в наш полк.

Надобно сказать, что Гродненский полк, да и вообще 2-я гвардейская кавалерийская дивизия в прошедшее царствование императора Николая, вероятно по месту нашей стоянки, вдали от столицы и всех ее прелестей, считалась как бы местом ссылки или какого-то чистилища, так что Лермонтов — не единственное лицо из твардейских шалунов-офицеров, прощенных за разные проступки и возвращаемых в гвардию, из перебивавших у нас в полку. Несмотря на то что они садились (в отношении старшинства) на голову многим из нас, все они, будучи предобрými малыми, немало способствовали к украшению нашего общества. Так, у нас был прикомандирован князь Сергей Трубецкой, товарищ по Пажескому корпусу, из Кирасирского орденского полка, в который попал из кавалергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время стоянки Кавалергардского полка в Новой деревне. (Говорили тогда, что кавалергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимоумершему графу Борху.) За ним последовал Лермонтов, а вскоре и граф Тизенгаузен, служивший прежде также в кавалергардах и сосланный в армию за историю с Ардалионом Новосильцевым. Сергей Трубецкой, бывший в армии, соблазнил дочь генерала Мусина-Пушкина, фрейлину двора, был обвенчан с нею по приказанию государя Николая Павловича в Зимнем дворце, когда он стоял там во внутреннем карауле, и сделался отцом дочери, которая впоследствии вышла замуж за графа Морни. Трубецкой был красавец, и потому вовсе не мудрено, что в отставку уже и в летах увез г-жу Жадимировскую от живого мужа и был пойман и возвращен уже с персидской или турецкой границы, куда направлялся. Старший брат его Александр был женат на дочери известной танцовщицы Талиони и всю жизнь свою провел в Италии на своей вилле; младший брат их Андрей женился на моей племяннице Софии Николаевне Смирновой и живет поныне за границей. <...>

Лермонтов в то время не имел еще репутации увенчанного лаврами поэта, которую приобрел впоследствии и которая сложилась за ним, благодаря достоинству его стиха и тем обстоятельствам, которыми жизнь его была окружена, и мы, не предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него совершенно равнодушно.

Придя однажды к обеденному времени к Безобразовым, я застал у них офицера нашего полка, мне незнакомаго, которого Владимир Безобразов назвал мне Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Вскоре мы сели за скромную трапезу нашу, и Лермонтов очень игриво шутил и понравился нам своим обхождением. После обеда, по обыкновению, сели играть в банк, но вместо тех 50-ти или 100 руб., которые обыкновенно закладывались кем-либо из нас, Лермонтов предложил заложить 1000 и выложил их на стол. Я не играл и куда-то выходил. Возвратившись же, застал обоих братьев Безобразовых в большом проигрыше и сильно негодующих на свое несчастье. Пропустив несколько талей, я удачно подсказал Владимиру Безобразову несколько карт, и он с моего прихода стал отыгрываться, как вдруг Лермонтов предложил мне самому попытать счастья; мне показалось, что предложение это было сделано с такою ирониею и досадою, что я в тот же момент решил пожертвовать несколькими десятками и даже сотнями рублей для удовлетворения своего самолюбия перед зазнавшимся пришельцем, бывшим лейб-гусаром... Судьбе угодно было на этот раз поддержать меня, и помню, что на одном короле бубен, не отгибаясь и поставя кушем полуимпериал, я дал способ Безобразовым отыграться, а на свою долю выиграл 800 с чем-то рублей; единственный случай, что я остался в выигрыше во всю мою жизнь, хотя несколько раз в молодости играл противу тысячных банков.

Впоследствии мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших комнатах, разделенных общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов,

а также голова горца, которую он сделал в один присест * 8.

Кажется мне, что в это время с подстрочного перевода, сделанного Краснокутским, стансов Мицкевича Лермонтов тогда же облек их в стихотворную форму, а равно дописывал свои «Мцыри» и «Хаджи Абрека»⁹. Я часто заставлял его за работой и живо помню его грызущим перо с досады, что мысли и стих не гладко ложатся на бумагу.

Как и все мы, грешные, Лермонтов вел жизнь свою, участвуя во всех наших кутежах и шалостях, и я помню, как он в дыму табачном, при хлопании пробок, на проводах М. И. Цейдлера, отъезжавшего на Кавказ в экспедицию, написал известное:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где неверные гяуры
Вновь затеяли войну;
Едет он, томим печалью,
На кровавый пир войны,
Но иной, не бранной, сталью
Мысли юноши полны¹⁰ —

где в словах «не бранной сталью» шутит над бедным Цейдлером, влюбленным по уши в С. Н. Стааль фон Тольштейн, жену нашего полковника.

Лермонтов пробыл у нас недолго, кажется несколько месяцев, и по просьбе бабки своей Арсеньевой вскоре переведен был в свой прежний лейб-гусарский полк¹¹. Мы с ним встречались впоследствии, и мне довелось даже видаться с ним в 1841-м году в Пятигорске. {...}

2. ЛЕРМОНТОВ В ПЯТИГОРСKE В 1841 г.

Ревматизм, мною схваченный в 1840 году, разыгрался не на шутку, и я должен был подумать о полном излечении, а так как и сестре и мачехе понадобилось лечение минеральными водами, то и было решено всем

* В 1880 году обе картины подарены мною в школу гвардейских юнкеров (Николаевское Кавалерийское училище) в Лермонтовский музей. (Прим. А. И. Арнольди.)

нам, целой семьей ехать туда. В начале мая мы пустились в путь. <...>

Мы часто останавливались ночевать у станичников и продовольствовались как провизией, взятой с собой, так и моей охотой. <...> Подъезжая к Ставрополю, мы ехали часто с конвоем донских казаков, человек из трех-четырех состоящих, и я до сих пор не знаю, к чему это было нужно. В Ставрополе останавливались в изрядной гостинице Найтаки, отдохнули, освежились и чрез Георгиевск прибыли в Пятигорск в конце мая. <...>

Встреченные еще в слободке досужими десятскими, мы скоро нашли себе удобную квартиру в доме коменданта Умана, у подошвы Машука, и посвятили целый вечер хлопотам по размещению. Я сбегал на бульвар, на котором играла музыка какого-то пехотного полка, и встретил там много знакомых гвардейцев, приехавших для лечения из России и из экспедиции, как-то: Трубецкого, Тирана, ротмистра гусарского полка, Фитингофа, полковника по кавалерии, Глебова, поручика конной гвардии, Александра Васильчикова, Заливкина, Монго-Столыпина, Дмитревского, тифлисского поэта, Льва Пушкина и, наконец, Лермонтова, который при возникающей уже своей славе рисовался — и сначала сделал вид, будто меня не узнает, но потом сам первый бросился ко мне на грудь и нежно меня обнял и облобызал.

На дворе дома, нами занимаемого, во флигеле, поселился Тиран, по фасаду к Машуку подле нас жил Лермонтов с Столыпиным, а за ними Глебов с Мартыновым¹². С галереи нашей открывался великолепный вид: весь Пятигорск лежал как бы у ног наших, и взором можно было окинуть огромное пространство, по которому десятками рукавов бежал Подкумок. По улице, которая спускалась от нашего дома перпендикулярно к бульвару, напротив нас, поместилось семейство Орловой, жены казачьего генерала, с ее сестрами Идой и Поликсеной и m-me Рихтер (все товарки сестры моей по Екатерининскому институту), а ниже нас виднелась крыша дома Верзилиных, глава которого, также казачий генерал, состоял на службе в Варшаве, а семейство его, как старожилы Пятигорска, имело свою оседлость в этом захолустье, которое оживлялось только летом при наплыве страждущего человечества.

Семья Верзилиных состояла из матери, пожилой женщины, и трех дочерей: Эмилии Александровны, известной романической историею своею с Владимиром Барятинским¹³, — «le pouçik»*, как ее называли, бело-розовой куклы Надежды, и третьей, совершенно незаметной. Все они были от разных браков, так как т-те Верзилина была два раза замужем, а сам Верзилин был два раза женат. Я не был знаком с этим домом, но говорю про него так подробно потому, что в нем разыгралась та драма, которая лишила Россию Лермонтова.

В то время Пятигорские минеральные воды усердно посещались русскими, так как билет на выезд за границу оплачивался 500 рублями, а в 1841 году сезон был одним из самых блестящих и, сколько мне помнится, говорили, съехалось до 1500 семейств. Доктора Рожер, Норман, Конради и многие другие успешно занимались практикою, и я видел в Пятигорске многих людей, по-видимому неизлечимых, которые в конце курса покидали целительные воды совершенно здоровыми. (<...>)

Раз или два в неделю мы собирались в залу реставрации Найтаки и плясали до упаду часов до 12 ночи, что, однако, было исключением из обычной водяной жизни, потому что обыкновенно с наступлением свежих сумерек весь Пятигорск замирал и запирался по домам.

Помню приезжавших на время из экспедиций гвардейских офицеров: Александра Адлерберга I, кирасира Мацнева, которому я проиграл 500 рублей на 12 000 им заложенных и которые заманчиво разбросаны были в разных видах по столу в одной из комнат гостиницы, носившей название *chambre infernale***.

Тогда же я отыскал и, можно сказать, познакомился с дядею своим Николаем Ивановичем Лорером, который за 14-е декабря 1825 года был сослан в Сибирь, провел на каторге 8 лет, на поселении в Кургане 10 лет, а в описываемое время служил рядовым в Тенгинском пехотном полку, и в этот год был произведен в офицеры¹⁴. Дядя жил в слободке с Михаилом Александровичем Назимовым и Александром Ивановичем Вегелиным, товарищами своими по ссылке, и у него я часто

* мужик (франц.).

** роковой комнаты (франц.).

встречался с двумя братьями Беляевыми, также членами «тайного общества». Не знаю за что, только они все очень меня полюбили, обласкали, и я весело с ними проводил все свое время.

Начальник штаба Кавказской линии А. Траскин, Сергей Дмитриевич Безобразов, командир Нижегородского драгунского полка, и толстый Голицын (вечный полковник) оживляли от времени до времени пятигорское общество. {...}

Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «ну, этот ничего», — то и остался. Шалуны товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили¹⁵. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур: Cryptogram M-r la Launisse и проч., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то шутка, приправленная часто в обществе злым сарказмом неугомонного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размолвки, которая кончилась так печально для Лермонтова, помимо тех темных причин, о которых намекают многие, знавшие отношения этих лиц до катастрофы...¹⁶

В первых числах июля я получил, кажется от С. Трубецкого, приглашение участвовать в подписке на бал, который пятигорская молодежь желала дать городу; не рассчитывая на то, чтобы этот бал мог стоять очень дорого, я с радостью согласился. В квартире Лермонтова делались все необходимые к тому приготовления, и мы намеревались осветить грот, в котором хотели танцевать, для чего наклеили до 2000 разных цветных фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями, и мы исполнили эту работу на славу. Армянские лавки доставили нам персидские ковры и разноцветные шали для украшения свода грота, за прокат которых мы заплатили, кажется, 1500 рублей; ка-

зенный сад — цветы и виноградные лозы, которые я с Глебовым нещадно рубили; расположенный в Пятигорске полк снабдил нас красным сукном, а содержатель гостиницы Найтаки позаботился о десерте, ужине и вине¹⁷.

8 или 10-го июля бал состоялся, хотя не без недоумений с некоторыми подписчиками, благодаря тому что дозволялось привести на бал не всех, кого кто желает, а требовалось, чтобы участвующие на балу были более или менее из общих знакомых и нашего круга. Сколько мне помнится, разлад пошел из-за того, что князю Голицыну не позволили пригласить на бал двух сестер какого-то приезжего военного доктора сомнительной репутации. Голицын в негодовании оставил наш круг и не участвовал в общей затее¹⁸. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что Голицын, ровно через неделю после нашего бала, давал такой же на свои средства в казенном саду, где для этого случая была выстроена им даже галерея. В этот-то день, то есть 15-го июля, и случилась дуэль Лермонтова¹⁹, и бал Голицына не удался, так как его не посетили как все близкие товарищи покойного поэта, так и представительницы лучшего дамского общества, его знакомые...

Наш бал сошел великолепно, все веселились от чистого сердца, и Лермонтов много ухаживал за Идой Музиной-Пушкиной.

Мачеха моя с сестрой незадолго до этого времени переехали в Железноводск, верстах в 17-ти отстоящий от Пятигорска, и я навещал их изредка на неделе.

15-го июля погода была восхитительная, и я верхом, часу в 8-м утра, отправился туда. Надобно сказать, что дня за три до этого Лермонтов подъезжал верхом на сером коне в черкесском костюме к единственному открытому окну нашей квартиры, у которого я рисовал, и простился со мною, переезжая в Железноводск. Впоследствии я узнал, что ссора его с Мартыновым тогда уже произошла и вызов со стороны Мартынова состоялся...²⁰

Проехав колонию Шотландку, я видел пред одним домом торопливые приготовления к какому-то пикнику его обитателей²¹, но не обратил на это особого внимания, я торопился в Железноводск, так как огромная черная туча, грозно застилая горизонт, нагоняла меня

как бы стеной от Пятигорска и крупные капли дождя падали на ярко освещенную солнцем местность.

На полпути в Железноводск я встретил Столыпина и Глебова на беговых дрожках; Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьем через плечо имел пред собою что-то покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они отвечали мне, что на охоту, а я еще посоветовал им убить орла, которого неподалеку оттуда заметил на копне сена. Не подозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился. Несколько далее я встретил извозчицки дрожки с Дмитриевским и Лермонтовым²² и на скаку поймал прощальный взгляд его... последний в жизни.

Проведя день у мачехи моей, под вечер я стал собираться в Пятигорск и, несмотря на то что меня удерживали под предлогом ненастья, все-таки поехал, так как не хотел пропустить очередной ванны.

Смеркалось, когда я проехал Шотландку, и в темноте уже светились мне приветливые огоньки Пятигорска, как вдруг слева, на склоне Машука, я услышал выстрел; полагая, что это шалют мирные горцы, так как не раз слышал об этом рассказы, я приударил коня нагайкой и вскоре благополучно добрался до дома, где застал Шведе, упражнявшегося на фортепьяно. Раздевая меня, крепостной человек мой Михаил Судаков доложил мне, что по соседству у нас несчастье и что Лермонтова привезли на дрожках раненого...

Недоумевая, я поспешил к соседу, но, застав ставни и двери его квартиры на запоре, вернулся к себе. Только утром я узнал, что Михаил Юрьевич привезен был уже мертвым, что он стрелялся с Мартыновым на 10 шагах и, подобно описанному им фаталисту, кажется, далек был от мысли быть убитым, так как, не подымая пистолета, медленно стал приближаться к барьеру, тогда как Мартынов пришел уже к роковой точке и целил в него; когда Лермонтов ступил на крайнюю точку, Мартынов спустил курок, и тот пал, успев вздохнуть раз, другой и, как рассказывали, презрительно взглянул на Мартынова²³.

Я полагаю, что, кроме двух секундантов, Глебова и Александра Васильчикова, вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли,

полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помирятся²⁴.

Заключение это можно вывести из того, что будто бы А. Столыпин, как я тогда же слышал, сказал Мартынову: «Allez vous en, votre affaire est faite»*, когда тот после выстрела кинулся к распростертому Лермонтову, а также и потому, что только шуточная дуэль могла заставить всю эту молодежь не подумать о медике и экипаже на всякий случай, хотя бы для обстановки, что сделал Глебов уже после дуэли, поскакав в город за тем и другим, причем при теле покойного оставались Трубецкой и Столыпин. Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над Мартыновым, о чем он мог узнать стороной, заставило его мужаться и крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова?

Рассказывали в Пятигорске, что заранее было условлено, чтобы только один из секундантов пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между собою кидали жребий и тот выпал на долю Глебова, который в тот же вечер доложил о дуэли коменданту и был посажен им на гауптвахту. Так как Глебов жил с Мартыновым на одной квартире, правильная по законам чести дуэль могла казаться простым убийством, и вот для обеления Глебова А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог, где за свое участие и содержался.

Ранним утром на другой день я видел Лермонтова в его квартире на столе, в белой рубашке, украшенного цветами. Комната была пуста, и в углу валялась его канаусовая малиновая рубашка с кровавыми пятнами на левой стороне под сердцем.

Шведе по заказу Столыпина написал портрет с покойного и сделал мне такой же²⁵. Я нахожу его лучшим портретом Лермонтова, даже лучше того, которым сестра моя владеет и поныне (в молодых еще летах в гусарском ментике) и который он сам подарил моей мате²⁶. На портрете Шведе поэт наш коротко обстрижен, глаза полузакрыты и на устах играет еще злая насмешка. Тимм, издатель «Художественного листка»,

* Уходите, вы сделали свое дело (франц.).

поместил этот портрет на одном из своих прелестных листков художественного альбома и окружил его различными воспоминаниями о поэте, которые я дал ему из моего альбома. Там изображен дом Реброва в Кисловодске, который мы занимали вскоре после катастрофы, где происходит действие повести Лермонтова «Княжна Мери» (предполагают в героине сестру Мартынова), балкон дома в Пятигорске, где мы частенько сживали с покойным. Кавказский вид снеговых гор при закате солнца масляными красками, работы Лермонтова, который мне дал Столыгин уже после смерти своего друга, а также временная могила Лермонтова с видом на Машук, которую я срисовал несколько дней спустя... Я храню и доселе черкесский пояс с серебряной «жерничкой» покойного, который также получил на память о нем. Все эти вещи подарены мною генерал-майору А. А. Бильдерлингу в Лермонтовский музей, который им устроен в школе юнкеров как месте воспитания поэта.

Убитого на дуэли, по правилам нашим, священник не хотел отпевать, но деньги сделали свое дело, и на другой день после дуэли в сопровождении целого Пятигорска, священника и музыки мы отнесли Михаила Юрьевича на руках в последнее его жилище²⁷.

По странному стечению обстоятельств, на похоронах поэта случились представители всех тех полков, в которых служил покойный, так как там были С. Д. Безобразов, командир Нижегородского драгунского полка, Тиран — лейб-гусарского, я — Гродненского гусарского и дядя мой Н. И. Лорер — Тенгинского пехотного полков.

Дамы забросали могилу цветами, и многие из них плакали, а я и теперь еще помню выражение лица и светлую слезу Иды Пушкиной, когда она маленькой своей ручонкой кидала последнюю горсточку земли на прах любимого ею человека.

Сам не понимаю, как не попал я в эту историю, был так близок со всеми этими лицами и вращаясь постоянно в их кругу, и объясняю это разве только тем, что не был знаком с домом Верзилиных и ничего не знал о ссоре Мартынова с Лермонтовым. Глебов и Васильчиков долго содержались под арестом, потом прогуливались на водах в сопровождении часового, а впоследствии Глебов был обходим чинами, служа адъютантом князя Ворон-

цова, а Васильчиков не получил награды, к которой был представлен сенатором Ганом, с которым тогда находился на ревизии на Кавказе. Полагаю, что такая милостивая расправа с секундантами была следствием как ходатайства высокопоставленных лиц, так и некоторого нерасположения самого государя к Лермонтову, хотя я и далек от веры в те слова, которые будто бы вырвались у императора при известии о его кончине: «Собаке — собачья смерть»²⁸.

О происшествии этом много писали, но проверить его окончательно и вполне достоверно весьма трудно, так как многие свидетели и участники его покончили свое земное существование, а скоро не останется уже никого в живых. Трубецкой, Монго-Столыпин, Глебов, Дмитревский мирно покоятся, кто во Флоренции (Столыпин), а кто у нас на Руси. Мартынов молчит, а Васильчиков рассказывает в «Русском архиве» 1872 года о происшествии так, как оно сложилось людскою молвою²⁹.

И. С. ТУРГЕНЕВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш(аховск)ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год. У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М(усина)-П(ушкина) — рано погибшее, действительно прелестное создание¹. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо поглядывал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш(увалов)у, тоже гусару². В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не смеялись, когда

он смеялся» и т. д. — действительно, применялись к нему. Помнится, граф Шувалов и его собеседница внезапно засмеялись чему-то, и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Шувалова он любил, как товарища — и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втокнула судьба. — На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.³.

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), несмотря на то что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей *железный стих*,

Облитый горечью и злостью... —

он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно¹.

Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина»; но еще и до этого, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об его замечательном поэтическом таланте — и его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи².

Литературная критика обратила на него внимание после появления его повести о купце Калашникове в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», издававшихся под редакцию г. Краевского.

Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского³.

Наружность Лермонтова была очень замечательна.

Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза,

невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у г. Краевского моего приятеля М. А. Языкова... Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.

Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был общителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.

— Странно, — говорил мне один из его товарищей, — в сущности он был, если хотите, добрый малый: покурить, повеселиться — во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, — без этого он не мог быть покоен, — и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его.

Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю;⁴ но он был с ним довольно короток и даже говорил ему *ты*.

Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных записок», в 40 и 41 годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на ко-

торых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал и покроем которого был снят им у Одоевского, — разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на ты, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

— Ну, полно, полно... перестань, братец, перестань. Экой школьник...

Г. Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие⁵.

Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны.

Заговорив о Лермонтове, я выскажу здесь, кстати, все, что помню об нем, и читатель, верно, простит меня за нарушение в рассказе моем хронологического порядка.

Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Лермонтов привез ему свое стихотворение.

Есть речи — значенье

Темно иль ничтожно... —

прочел его и спросил:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! дивная вещь! — отвечал г. Краевский, — превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность...

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

Из пламя и света

Рожденное слово...



А. А. Краевский
Портрет художника К. Турчанинова. 1845

— Это неправильно, не так, — возразил г. Краевский, — по-настоящему, по грамматике надо сказать из *пламени* и света...

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался.

Так прошло минут пять. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...

В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разорвать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.

— Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою... — Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру⁶.

Вероятно, этот номер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте.

Я также встретился у г. Краевского с Лермонтовым в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге⁷. Лермонтов приехал после дуэли прямо к г. Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.

Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым⁸. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделялся шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно; но я ни разу не слышал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пусто-
тою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере — идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.

Когда он сидел в ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его;⁹ он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был в ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!! Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женить*, он меня... Что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решил пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте... «Я не люблю Вальтер Скотта, — сказал мне Лермонтов¹⁰, — в нем мало поэзии. Он сух», — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту

* Стеснять (от *франц. gêner*).

минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом...

В материалах для биографии, во 2-й части сочинений Лермонтова, г. Дудышкин говорит:

«В 1840 году, когда Лермонтов сидел уже под арестом за дуэль, он познакомился с Белинским. Белинский навестил его, и с тех пор *дружеские отношения их не прерывались*».

Это несправедливо. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более...

Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. «Что касается его таланта, — рассуждают так, — об этом и говорить нечего, но он был пустой человек и притом недоброго сердца».

И вслед за тем приводятся обыкновенно доказательства этого — различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку.

Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина — в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы. Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да

еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.

Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.

Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние — эти тупые мудрецы, важничающие своею дельностью и рассудочностью и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.

Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов вырос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ неприятно действовали на многих действительно серьезных людей и придавали Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения...

Появление Лермонтова в первых книжках «Отечественных записок», без сомнения, много способствовало успеху журнала.

А. А. КРАЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. А. Висковатова)

В начале февраля, на масленой, Михаил Юрьевич в последний раз приехал в Петербург. Бабушка, усиленно хлопотавшая о прощении внука, не успела в своем предприятии и добилась только того, что поэту разрешили отпуск для свидания с нею. Круг друзей и теперь встретил его весьма радушно. В нем заметили перемену. Период брожения пришел к концу. Поэтический талант креп, и сознательность суждений сказывалась все яснее. Он нашел свой жизненный путь, понял назначение свое и зачем призван в свет. Ему хотелось более чем когда-либо выйти в отставку и совершенно предаться литературной деятельности. Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок». «Мы должны жить своею самостоятельной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений»¹. Хотя Лермонтов в это время часто видался с Жуковским, но литературное направление и идеалы его не удовлетворяли юного поэта. «Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригиналь-

ное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их». {...}²

— Как-то вечером, — рассказывал А. А. Краевский, — Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом веселом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он, в буквальном смысле слова, катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходы — любил школьничать! Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание; взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира; спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель, надевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!»... Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! мне велят выехать в 48 часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

П. В. СТАНКЕВИЧУ¹

29 сентября — 8 октября 1839 г.

На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов; вот одно из его стихотворений:

Т Р И П А Л Ь М Ы
(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли... <и т. д.>

Какая образность! — так все и видишь перед собою, а увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина — так и блестит всею яркостью восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, отдельно взятом! Идя к Грановскому, нарочно захватываю новый № «Отечественных записок», чтобы поделиться с ним наслаждением — и что же? — он предупредил меня: «Какой чудак Лермонтов — стихи гладкие, а в стихах черт знает что — вот хоть его «Три пальмы» — что за дичь!» Что на это было отвечать? Спорить — но я уже потерял охоту спорить, когда нет точек соприкосновения с человеком. Я не спорил, но, как майор Ковалев частному приставу, сказал Грановскому, расставив руки: «Признаюсь, после таких с вашей стороны поступков, я ничего не нахожу»², — и вы-

шел вон. А между тем этот человек со слезами восторга на глазах слушал «О царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове».

В. П. БОТКИН

16—21 апреля 1840 г.

Кстати: вышли повести Лермонтова⁴. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз по-разговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта⁵, что в его романах больше глубины и больше художественной целостности. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина». Женщин ругает: одних за то, что (...), других за то, что не (...). Пока для него женщина и (...) — одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отраднее было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целостности своей. Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества. (...)

Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дуэт. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати: дуэль его — просто вздор, Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошел на конфир-

мацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где готовится какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более что он любит его не для него самого, а для женщин. {...} Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин — другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера.

Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его «Колыбельной казачьей песне». Ведь чудо!

* * *

17 марта 1842 г.

Стихотворение Лерм(онтова) «Договор» — чудо как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет; но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова? Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком; во всем этом он уступит даже Майкову (в его антологических стихотворениях); но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда*⁶ — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, «Боярину Орше» и т. п. (не говорю уже о «Демоне»): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, — нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и *взманиисто*. Львиная натура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими разнициами, — и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Трудно найти в нем и четыре стиха сряду, которых нельзя было бы окритиковать за неточность в

словах и выражениях, за натянутость в образах; с этой стороны «Демон» должен уступить даже «Эдде» Баратынского; но — боже мой! — что же перед ним все антологические стихотворения Майкова или и самого Анакреона, да еще в подлиннике? ⁷ Да, Боткин, глуп я был с моею художественностью, из-за которой не понимал, что такое содержание. Но об этом никогда довольно не наговоришься. Обращаюсь к «Договору»: эта пьеса напечатана не вполне; вот ее конец: ⁸

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный,
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои...

Сравнение как будто натянутое; но в нем есть что-то лермонтовское.

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Немного стихотворений осталось после Лермонтова. Найдется пьес десяток первых его опытов, кроме большой его поэмы — «Демон»; пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных записок» перед отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но драгоценное! «Отечественные записки» почтут священным долгом скоро поделиться ими с своими читателями. Лермонтов немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться,

в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества¹ (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из моги-кан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»... как вдруг —

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..²

Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк, которыми оканчивается в 63 № «Одесского вестника» статья г. Андреевского «Пятигорск»: «15 июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниєю и громом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался — лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта»...

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял!..³

М. Б. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

ИЗ ЗАПИСОК

〈Лермонтов〉 был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии; поэзии, насыщенной глубокой мыслью, пантенистически окрашенной, исполненной пламенных чувств, овеянных, однако, некоей грустью, отзвуком отчаяния и презрения, вошедших в привычку. Он также вскоре погиб на Кавказе, великолепно воспев его красоты. Там он еще больше проникся духом независимости и безграничной свободы, который почитается преступным в Петербурге и который послужил причиной изгнания его на Кавказ, где он погиб еще молодым в злополучном поединке, навеки оплакиваемый всеми, кто ценит в России талант. Он был некрасив и мал ростом, но у него было милое выражение лица, и глаза его искрились умом. С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки. Он не мог жить без того, чтобы не насмеяться над кем-либо; таких лиц было несколько в полку, и между ними один, который был излюбленным объектом его преследований. Правда, это был смешной дурак, к тому же имевший несчастье носить фамилию Тиран; Лермонтов сочинил песню о зоключениях и невзгодах Тирана, которую нельзя было слушать без смеха; ее распевали во все горло хором в уши этому бедняге¹.

Первое появление Лермонтова в свете произошло под покровительством одной очень оригинальной женщины. Это была отставная красавица лет за пятьдесят, сохранившая тем не менее следы прежней красоты, сверкающие глаза и плечи и грудь, которые она охотно выставляла напоказ. У нее была взрослая дочь, любимая фрейлина императрицы, неразлучная с ней.

К. В. БРАНИЦКИЙ

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «СЛАВЯНСКИЕ НАЦИИ»

В 1839 г. в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли, по числу его членов, кружком шестнадцати. Это общество составилось частью из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества¹.

Мы оба с вами принадлежали к этому свободному, веселому кружку — и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства², и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.

Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала всех их!

Лермонтов, сосланный на Кавказ за удивительные стихи, написанные им по поводу смерти Пушкина, погиб в 1841 г. на дуэли, подобно великому поэту, которого он воспел.

Вскоре таким же образом умер А. Долгорукий³. Не менее трагический конец — от пуль дагестанских горцев — ожидал Жерве и Фридерикса. Еще более горькую

утрату мы понесли в преждевременной смерти Монго-Столыпина и Сергея Долгорукого, которых свела в могилу болезнь. Такая же судьба позднее ожидала и Андрея Шувалова⁴.

Из оставшихся в живых некоторые оказали заметное влияние на современную политику. Но лишь один занимает видное место еще поныне; это — Валуев, принадлежавший к министерству, при котором совершилось освобождение крепостных, и про которого говорят в последнее время, что ему предстоит получить наследство князя Горчакова⁵.

Что касается нас обоих, то мы согласно с нашими убеждениями пошли другим путем — совершенно отличным от пути наших товарищей.

С. Т. АКСАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

Приблизился день именин Гоголя, 9 мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелось по саду, маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случился, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слышал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с осо-

бенным старанием, готовил жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говорил много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, К. А. Свербеева, К. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

А. ЧАРЫКОВ

К ВОСПОМИНАНИЯМ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

Зная, с каким живым интересом все почитатели нашего знаменитого поэта следят за каждым сведением из его кратковременной жизни, я решился написать несколько строк о мимолетных встречах с ним на Кавказе.

Я перешел на Кавказ из России, как тогда выражались, в 1840 году, поступив в 20-ю артиллерийскую бригаду, штаб которой находился в Ставрополе, почему мне довольно часто приходилось в нем бывать.

В один из этих приездов в дворянском собрании давали бал. Война тогда была в полном разгаре, и так как Ставрополь в то время был сборным пунктом, куда ежегодно стекалась масса военных для участия в экспедициях против горцев, то на бале офицерства было много множество и теснота была страшная; и вот, благодаря этой самой тесноте, мне привелось в первый раз увидеть нашего незабвенного поэта; пробираясь шаг за шагом в танцевальный зал, я столкнулся с одним из офицеров Тенгинского полка, и когда, извиняясь, мы взглянули друг на друга, то взгляд этот и глаза его так поразили меня и произвели такое чарующее впечатление, что я уже не отставал от него, желая непременно узнать, кто он такой. Случались со мною подобные столкновения и прежде и после в продолжение моей долгой жизни, но мне никогда не приходило в голову спрашивать о тех особах, с которыми я имел неудовольствие или удовольствие сталкиваться.

На другой день после бала я слышал следующий анекдот о Лермонтове: пригласил он на вальс графиню

Ростопчину. «Avec vous? — сказала она, — après; * но отмение не заставило себя долго ждать; в мазурке подводят ее к нему с другой дамой. «Мне с вами», — объявила графиня. «С вами? — после», — был ответ Лермонтова¹.

В Ставрополе, когда я там вращался, самыми популярнейшими лицами были барон Вревский и Николай Павлович Слепцов², они служили при штабе командующего войсками Кавказской линии и оба пользовались всеобщей любовью. Гостеприимные их двери были всегда раскрыты для приезжавшей военной молодежи.

В один прекрасный день мы, артиллеристы, узнали, что у барона на вечере будет Лермонтов, и, конечно, не могли пропустить случая его видеть. Добрейший хозяин, по обыкновению, очень радушно нас встретил и перезнакомил со своим дорогим гостем. Публики, как мне помнится, было очень много, и когда солидные посетители уселись за карточными столами, молодежь окружила Лермонтова. Он, казалось, был в самом веселом расположении духа и очаровал нас своею любезностью. Но, не прибегая к фантазии, которая вечно молода и игрива, не могу сообщить о нашем гениальном любимце всего, что говорилось и рассказывалось им, так как неумолимое время все это изгладило из моей памяти. Придерживаясь же в воспоминаниях одной строгой истины, могу рассказать единственный факт из этого памятного вечера.

Михаил Юрьевич роздал нам по клочку бумаги и предложил написать по порядку все буквы и обозначить их цифрами; потом из этих цифр по соответствующим буквам составить какой-либо вопрос; приняв от нас эти вопросы, он уходил в особую комнату и спустя некоторое время выносил каждому ответ; и все ответы до того были удачны, что приводили нас в изумление. Любопытство наше и желание разгадать его секрет было сильно возбуждено, и, должно быть, по этому поводу он изложил нам целую теорию в довольно длинной речи, из которой, к сожалению, в моей памяти остались только вступительные слова, а именно, что между буквами и цифрами есть какая-то таинственная связь; потом упоминал что-то о высшей математике. Вообще же

* С вами?.. после (франц.).

речь его имела характер мистический; говорил он очень увлекательно, серьезно; но подмечено было, что серьезность его речи как-то плохо гармонировала с коварной улыбкой, сверкавшей на его губах и в глазах. Затем ничего уже более не могу припомнить об этом знаменательном для меня вечере: тяжелая завеса времени затмила мою память.

В 1841 году, в первой половине июля, после весенней экспедиции, я прибыл из крепости Грозной для излечения от раны в Пятигорск, и здесь была моя последняя встреча с Лермонтовым. Припоминаю, что шел я как-то в гору по улице совсем еще тогда глухой, которая вела к Железноводску, а он в то же время спускался по противоположной стороне с толстой суковатой палкой, сюртук на нем был уже не с белым, а с красным воротником. Лицо его показалось мне чрезвычайно мрачным; быть может, он предчувствовал тогда свой близкий жребий. Злой рок уже сторожил свою жертву.

Когда страшная весть о его кончине пронеслась по городу, я тотчас же отправился разыскивать его квартиру, которой не знал. Последняя встреча помогла мне в этом; я пошел по той же улице, и вот на самой окраине города, как бы в пустыне, передо мною, в моей памяти, вырастает домик, или, вернее, убогая хижинка. Вхожу в сени, налево дверь затворенная, а направо, в открытую дверь, увидел труп поэта, покрытый простыней, на столе; под ним медный таз; на дне его алела кровь, которая за несколько часов еще сочилась из груди его.

Но вот что меня особенно поразило тогда: я ожидал тут встретить толпу поклонников погибшего поэта и, к величайшему удивлению моему, не застал ни одной души.

Впрочем, не стану отравлять свою память воспоминанием о легкомысленном тогдашнем обществе Пятигорска с его навек запятнанным героем, которому оно расточало в то время свои симпатии.

А. Д. ЕСАКОВ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

...Мне вспомнился 1840 г., когда я, еще совсем молодым человеком, участвовал в осенней экспедиции в Чечне и провел потом зиму в Ставрополе, и тут и там в обществе, где вращался наш незабвенный поэт. Редкий день в зиму 1840—1841 г. мы не встречались в обществе. Чаще всего сходились у барона Ипп. Ал. Вревского¹, тогда капитана Генерального штаба, у которого, приезжая из подгородней деревни, где служил в батарее, там расположенной, останавливался. Там, то есть в Ставрополе, действительно в ту зиму собралась, что называется, la fine fleur молодежи*. Кроме Лермонтова, там зимовали: гр. Карл Ламберт², Столыпин (Монго), Сергей Трубецкой³, генерального штаба: Н. И. Вольф⁴, Л. В. Россильон⁵, Д. С. Бибилов⁶, затем Л. С. Пушкин, Р. И. Дорохов и некоторые другие, которых не вспомню. Увы, всех названных пережил я. Вот это общество, раза два в неделю, собиралось у барона Вревского. Когда же случалось приезжать из Прочного Окопа (крепость на Кубани) рядовому Михаилу Александровичу Назимову (декабрист, ныне живущий в городе Пскове), то кружок особенно оживлялся. Несмотря на скромность свою, Михаил Александрович как-то само собой выдвигался на почетное место и все, что им говорилось, бывало выслушивается без прерывов и шалостей, в которые чаще других вдавался Михаил Юрьевич. Никогда

* цвет молодежи (франц.).

я не замечал, чтобы в разговоре с М. А. Назимовым, а также с И. А. Вревским Лермонтов позволял себе обычный свой тон *persiflage*'а*. Не то бывало со мной. Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл.

* насмешки (франц.).

К. Х. МАМАЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(В пересказе В. А. Потто)

«Я хорошо помню Лермонтова, — рассказывает Константин Христофорович, — и как сейчас вижу его перед собою, то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, с смуглым или загорелым лицом и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвующих вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были направлены. Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение; но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души. Он имел склонность и к музыке и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался — так это шахматною игрою, которой предавался с увлечением». Он искал, однако, сильных игроков, и в палатке Мамацева часто устраивались состязания между ним и молодым артиллерийским поручиком

Москалевым. Последний был действительно отличный игрок, но ему только в редких случаях удавалось выиграть партию у Лермонтова. Как замечательный поэт, Лермонтов давно оценен по достоинству, но как об офицере о нем и до сих пор идут бесконечные споры. Константин Христофорович полагает, впрочем, что Лермонтов никогда бы не сделал на этом поприще блистательной карьеры — для этого у него не доставало терпения и выдержки. Он был отчаянно храбр, удивлял своею удаleyю даже старых кавказских джигитов, но это не было его призванием, и военный мундир он носил только потому, что тогда вся молодежь лучших фамилий служила в гвардии. Даже в этом походе он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест, — и... находила их чаще всего у орудий Мамацева.

Чеченский поход начался 1-го мая движением в Аух и Салатавию, потом войска через Кумыкскую плоскость прошли на правый берег Сунжи и, наконец, перенесли военные действия в Малую Чечню, где встречи с неприятелем сделались чаще и битвы упорнее и кровопролитнее.

Первое горячее дело, в котором пришлось участвовать Мамацеву и которое составило ему репутацию лихого артиллерийского офицера, произошло 11 июля, когда войска проходили дремучий гойтинский лес. Мамацев с четырьмя орудиями оставлен был в арьергарде и в течение нескольких часов один отбивал картечным огнем бешеные натиски чеченцев. Это было торжество хладнокровия и ледяного мужества над дикою, не знающей препон, но безрассудною отвагою горцев. Под охраной этих орудий войска вышли наконец из леса на небольшую поляну, и здесь-то на берегах Валерика, грянул бой, составляющий своего рода кровавую эпопею нашей кавказской войны. Кто не знает прекрасного произведения Лермонтова, озаглавленного им «Валерик» и навеянного именно этим кровавым побоищем.

Выйдя из леса и увидев огромный завал, Мамацев с своими орудиями быстро обогнул его в фланга и принялся засыпать гранатами. Возле него не было никакого прикрытия. Оглядевшись, он увидел, однако, Лермонтова, который, заметив опасное положение артил-

лерии, подоспел к нему с своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами. Этот момент хорошо врезался в память Константина Христофоровича. После двухчасовой страшной резни грудь с грудью неприятель бежал. Мамацев преследовал его со своими орудиями — и, увлекшись стрельбой, поздно заметил засаду, устроенную в высокой кукурузе. Один миг раздумья — и из наших лихих артиллеристов ни один не ушел бы живым. Их спасло присутствие духа Мамацева: он быстро приказал зарядить все четыре орудия картечью и встретил нападающих таким огнем, что они рассеялись, оставив кукурузное поле, буквально заваленное своими трупами. С этих пор имя Мамацева приобрело в отряде широкую популярность.

До глубокой осени оставались войска в Чечне, изо дня в день сражаясь с чеченцами, но нигде не было такого жаркого боя, как 27-го октября 1840 года. В Автуринских лесах войскам пришлось проходить по узкой лесной тропе под адским перекрестным огнем неприятеля; пули летели со всех сторон, потери наши росли с каждым шагом, и порядок невольно расстраивался. Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия Мамацева, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос с своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий. Но этого не случилось. Мамацев подпустил неприятеля почти в упор и ударил картечью. Чеченцы отхлынули, но тотчас собрались вновь, — и начался бой, не поддающийся никакому описанию. Чеченцы через груды тел ломились на пушки; пушки, не умолкая, гремели картечью и валили тела на тела. Артиллеристы превзошли в этот день все, что можно было от них требовать; они уже не банили орудий — для этого у них недоставало времени, и только посылали снаряд за снарядом. Наконец эту страшную канонаду услышали в отряде,

и высланная помощь дала возможность орудиям выйти из леса. <...>

Не менее жаркий бой повторился 4-го ноября и в Алдинском лесу, где колонна лабинцев дралась в течение восьми с половиною часов в узком лесном дефиле. Только уже по выходе из леса попалась наконец небольшая площадка, на которой Мамацев поставил четыре орудия и принялся обстреливать дорогу, чтобы облегчить отступление арьергарду. Вся тяжесть боя легла на нашу артиллерию. К счастью, скоро показалась другая колонна, спешившая на помощь к нам с левого берега Сунжи. Раньше всех явился к орудиям Мамацева Лермонтов с своею командой, но помощь его оказалась излишнею: чеченцы прекратили преследование.

«Здесь 4-го ноября, — говорит Константин Христофорович, — было мое последнее свидание с поэтом. После экспедиции он уехал в отпуск в Петербург, а на следующий год мы с невыразимою скорбью узнали о трагической смерти его в Пятигорске».

Я. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда уже я был на третьем курсе, в 1831 году поступил в университет по политическому же факультету Лермонтов¹, неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому и я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня сидел на лекциях; тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта. Кстати, расскажу теперь все мои случайные встречи с этим знаменитым поэтом. На Кавказе, в 1841 году, находился я в Ставрополе, в штабе командующего войсками в то время генерала Граббе, где я, в должности старшего адъютанта, заведовал первым, то есть строевым, отделением штаба. Однажды входит ко мне в канцелярию штаба офицер в полной форме и рекомендуется поручиком Тенгинского пехотного полка Лермонтовым². В то время мне уже были известны его поэтические произведения, возбуждавшие такой восторг, и поэтому я с особенным волнением стал смотреть на него и, попросив его садиться, спросил, не учился ли он в Московском университете? Получив утвердительный ответ, я сказал ему мою фамилию, и он припомнил наше университетское с ним знакомство. После этого он объяснил мне свою надобность, приведшую его в канцелярию штаба: ему хотелось знать, что сделано по запросу об нем военного министра. Я как-то и не помнил этой бумаги, велел

писарю отыскать ее, и когда писарь принес мне бумагу, то я прочитал ее Лермонтову. В бумаге этой к командующему войсками военный министр писал, что государь император, вследствие ходатайства бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова (такой-то, не помню фамилии) об отпуске его в С.-Петербург для свидания с нею, приказал узнать о службе, поведении и образе жизни означенного офицера. «Что же вы будете отвечать на это?» — спросил меня Лермонтов. По обыкновению, в штабе, по некоторым бумагам, не требующим какой-либо особенной отписки, писаря сами составляли черновые отпуски, и вот в эту-то категорию попал как-то случайно и запрос министра о Лермонтове, и писарь начерпнул и ответ на него. «А вот вам и ответ», — сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен... Лермонтов расхохотался над такой аттестацией и просил меня несколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить.

После этого тотчас же был послан министру самый лестный об нем отзыв, вследствие которого и был разрешен ему двадцативосьмидневный отпуск в Петербург. Это было в начале 1841, рокового для Лермонтова года, зимою. В мае месяце я, по случаю болезни, отправился в Пятигорск для пользования минеральными водами. Вскоре приехал туда и Лермонтов, возвратившийся уже из Петербурга. В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым ограничивалось только несколькими словами при встречах. Сойтись ближе мы не могли.

Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, и скорее отталкивающая, нежели привлекающая, а главное, в то время, даже и на Кавказе, был особенный, известный род изяшных людей, людей светских, считавших себя выше других по своим аристократическим манерам и светскому образованию, постоянно говорящих по-французски, развязных в обществе, ловких и смелых с женщинами и высокомерно презирующих весь остальной люд, которые с высоты своего величия гордо смотрели на нашего брата армейского офицера и сходились с на-

ми разве только в экспедициях, где мы, в свою очередь, с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, и по характеру своему не любил дружить с людьми: он всегда был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в жизни³.

П. И. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда я возвратился из-за границы в 1840 году, Лермонтов в том же году приехал в Петербург. Он был чем-то встревожен, занят и со мною холоден. Я это приписывал Монго-Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел с Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании. Не помню, жили он у братьев Столыпиных или нет; но мы там еженощно сходились. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным: «Скучно здесь, поедem освежиться к Карамзиным». Под словом освежиться, *se rafraîchir*, он подразумевал двух сестер княжон О(боленских), тогда еще незамужних¹. Третья сестра была тогда замужем за кн. Мещерским. Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне: «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в императорской Публичной библиотеке². Летом, во время красносельских маневров, приехал из лагеря к Карамзиным флигель-адъютант полковник конногвардейского полка Лужин (впоследствии московский обер-полицеймейстер). Он нам привез только что полученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь сказал: «Собаке — собачья смерть»³.

А. П. АРАПОВА

Н. П. ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ

Нигде она (Наталья Николаевна Пушкина) так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.

Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прощанье со старыми друзьями. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, загладевав освободившимся около нее местом, с первых

слов завел разговор, поразивший ее своей необычностью.

Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним не повинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

— Прощать мне вам нечего, — ответила Наталья Николаевна, — но если вам жаль уехать с изменив-

шимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.

Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого.

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и друзей. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу.

В. А. СОЛЛОГУБ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — *Лермонтова*. С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу, — для бенефисов, для альбомов и т. п. «Тарантас» был написан текстом к рисункам князя Гагарина, «Аптекарьша» — подарком Смирдину¹. Я всегда считал и считаю себя не литератором *ex professo**, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой. Смерть Лермонтова, по моему убеждению, была не меньшею утратою для русской словесности, чем смерть Пушкина и Гоголя. В нем выказывались с каждым днем новые залогов необыкновенной будущности: чувство становилось глубже, форма яснее, пластичнее, язык самобытнее. Он рос по часам, начал учиться, сравнивать. В нем следует оплакивать не столько того, кого мы знаем, сколько того, кого мы могли бы знать. Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, — сказал он мне, — я чувствую, что

* по профессии (лат.).

во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал»². — Он уехал в ночь. Вскоре он был убит. {...}

Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины.

* * *

Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остался мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции петербургского общества, но он его любил, бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы, грешные... К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину-Пушкину³ и следовал за нею всюду, как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время, жаждал ссылки, притеснений, страданий, что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упаду на всех балах; но я все-таки несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ; вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чем не бывало кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему.

— Да что ты тут делаешь! — закричал я на него, — убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!

— Не арестуют у меня! — шурясь сквозь свой лорнет, вскользя проговорил граф Иван, проходя мимо нас.

В продолжение всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Его обуюла какая-то лихорадочная веселость; но по временам что-то странное точно скользило на его лице; после ужина он подошел ко мне.

— Соллогуб, ты куда поедешь отсюда? — спросил он меня.

— Куда?.. домой, брат, помилуй — половина четвертого!

— Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить!.. Нет, лучше здесь... Послушай, скажи мне правду. Слышишь — правду... Как добрый товарищ, как честный человек... Есть у меня талант или нет?.. говори правду!..

— Помилуй, Лермонтов, — закричал я вне себя, — как ты *смеешь* меня об этом спрашивать! — человек, который, как ты, который написал...

— Хорошо, — перебил он меня, — ну, так слушай: государь милостив; когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым⁴, ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобою станем издавать толстый журнал.

Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высокоэстетический дом. Едва я вошел в этот вечер в гостиную Карамзиных, как Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом:

— Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!

Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него «соскочила», он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да я давно написал эту вещь, — проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое, трое из гостей окружили его; он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане...⁵

И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить.

— C'est du Pouchkine cela *, — сказал кто-то из присутствующих.

— Non, c'est du Лермонтов, ce qui vaudra son Pouchkine! ** — вскричал я.

Лермонтов покачал головой.

— Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича, — сказал он, грустно улыбнувшись, — да и времени работать мало остается; убьют меня, Владимир!⁶

Предчувствие Лермонтова сбылось: в Петербург он больше не вернулся; но не от черкесской пули умер гениальный юноша, а на русское имя кровавым пятном легла его смерть.

* * *

Лермонтов, одаренный большими самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом. В таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия.

* * *

Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особенным талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевел на французский язык Лермонтов⁷.

* Это по-пушкински (*франц.*).

** Нет, это по-лермонтовски, одно другого стоит! (*франц.*)

И. П. ЗАБЕЛЛА

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Сказать, что я был знаком с Лермонтовым, было бы неточно, между нами существовала чересчур большая разница в годах, чтобы можно было говорить о знакомстве: мне только минуло тринадцать лет, когда двадцатисемилетний поэт пал на дуэли; но мне привелось незадолго до его преждевременной, трагической кончины видеть его два раза, слышать его разговор, говорить с ним, и черты лица его, как и вся наружность, остались навсегда запечатленными в моей памяти.

Покойная моя матушка была дружески знакома с бабкой Лермонтова, Елисаветой Алексеевной Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Нередко навещали они друг друга, зимой чередовались вечерами с любимым ими преферансом, были обе очень набожны, принадлежали к одному приходу Всех Скорбящих, так как Арсеньева жила на Шпалерной¹, а матушка — на Захарьевской. Больше же всего сближали их материнские заботы, одной о своем внуке, а другой о своих трех сыновьях, из которых младшим был я, учившийся тогда в пансионе г. Крылова, при Петропавловском училище.

Арсеньева, несмотря на свои шестьдесят лет, была очень бодрая еще старуха², годами двенадцатью старше моей матушки. Высокая, полная, с крупными чертами лица, как все Столыпины, она располагала к себе своими добрыми и умными голубыми глазами и была прекрасным типом, как говорилось в старину, степенной барыни. Матушка моя, недурно писавшая масляными красками, имела дар схватывать сходство и сняла

с Елисаветы Алексеевны портрет, поразительно похожий. Он много лет сохранялся у нас в семье.

При такой близости знакомства моей матушки с бабушкой Лермонтова я десятилетним еще мальчиком слышал подробности о ссылке ее внука на Кавказ за стихи на смерть Пушкина, знал, что его вернули оттуда и простили; прошло года два, и (я) опять услышал о ссылке его туда же за дуэль с Барантом. Все это сопровождалось горем и слезами бабушки, делившей их с моей матушкой, так же как радостное, наконец, известие в начале 1841 года, что Лермонтову дали отпуск в Петербург после того, как он был в экспедиции с горцами, отличился там, и есть надежда, что его скоро опять простят. Бабушка, усердно хлопотавшая за своего ненаглядного Мишу, сияла счастьем, и вскоре моя матушка мне сказала, что он приехал; она его видела.

В эту пору мне и самому уже захотелось его увидеть; я был уже в grossterции, то есть в пятом классе Петропавловского училища³, и, благодаря прекрасному учителю русской словесности, А. Т. Крылову, умевшему вселить в учениках своих любовь к своему предмету, знал множество стихов и в особенности Пушкина. Товарищами моими по классу, сидевшими на одной со мною скамейке, были два старших сына Н. А. Полевого, один из них знал наизусть всего «Онегина», и у нас с ним шло горячее соревнование. На Лермонтова нам указывал Крылов, как на прямого продолжателя Пушкина, не уступавшего ему в силе своего таланта, и он предсказывал молодому поэту великую будущность. «Хаджи Абрек», «Купец Калашников» и немало других мелких стихотворений Лермонтова, разбросанных тогда по различным изданиям, нам были знакомы, мы ими восторгались и тоже заучивали. Понятно после того, что, зная уже цену таланта Лермонтова, во мне с особенною силою сказалось желание увидеть самого поэта. Он рисовался в моем воображении чем-то идеально прекрасным, носящим на своем челе печать высокого своего призвания, и я стал приставать к матушке с просьбою устроить так, чтобы я его мог увидеть. Она с улыбкою отвечала мне, что это сделается само собою: бабушка, конечно, рассказала ему, насколько делила она с нею свое горе, и пришлет его к ней благодарить.

— Но когда же он приедет? Вероятнее всего, что в то время, как я буду в пансионе и его не увижу.

— Тогда я устрою иначе, — успокаивала меня матушка; но все это меня не удовлетворяло, и нетерпение мое росло.

Меня отпускали из пансиона по субботам, в воскресенье вечером я уже возвращался туда, и первым моим вопросом в следующую субботу было:

— Что Лермонтов?

— Был, — ответили мне, — в середу.

Это совсем меня опечалило, случай пропущен, когда я дождусь другого? С горя я даже не расспрашивал подробностей о визите. Матушка дала мне слово повезти меня самого к Арсеньевой в такой день, когда я непременно увижу там Лермонтова.

Да когда же это будет? Нужно все-таки ожидать, а Полевые тоже нетерпеливы, торопят меня распросами.

Печально настроенный, побрел я в воскресенье утром к обедне к Спасу Преображения, отстоял ее и направился уже к выходу, как меня остановила одна наша знакомая, Наталья Ивановна Запольская.

— Куда вы? Пойдемте ко мне, я вас угощу кофеем.

Не сразу решился я на то, говоря, что мне не позволено никуда заходить из церкви; но Наталья Ивановна настояла на своем, сказала, что берет на себя ответственность, и увлекла меня. С небольшим тридцати лет, бойкая, веселая, она за что-то разъехалась с мужем и жила в Петербурге для сына, моего ровесника, учившегося в артиллерийском училище. Квартира ее была на Шестилавочной, то есть на теперешней Надеждинской, в церкви же с нею была хорошенькая ее племянница, Унковская, очень мне нравившаяся, и это-то меня больше всего занимало.

Когда мы уже сидели в столовой и, попивая чудесный кофе со сливками и сдобными булочками, весело болтали, в передней раздался звонок, и через минуту вошел к нам офицер небольшого роста, коренастый, мешковатый, в какой-то странной, никогда не виданной мною армейской форме. Хозяйка стремительно бросилась к нему навстречу и, протягивая ему руку, сказала с тоном упрека:

— Наконец-то и меня вы вспомнили.

— Знаете, ведь это всегда так бывает, — отвечал он, целуя ее руку и усаживаясь возле нее. — Когда хочешь кого-нибудь увидеть поскорей, непременно увидишь нескоро. Сам к вам рвался, да мешали все эти неспособные обязательные визиты.

Разговор начался и шел у них все время по-французски. Я написал карандашом на клочке бумажки вопрос: «Кто это?» и передал бумажку Унковской. Она вернула мне ее с ответом: «Лермонтов».

Меня так и обожгло. Лермонтов! Боже! какое разочарование! Какая пропасть между моею фантазией и действительностью! Корявый какой-то офицер — и это Лермонтов! Я стал его разглядывать и с лихорадочною жадностью слушал каждое его слово.

Сколько ни видел я потом его портретов, ни один не имел с ним ни малейшего сходства, все они писаны были на память, и никому не удалось передать живьем его физиономии, как то сделал, например, Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов в наброске своем карандашом портрета Гоголя. Но из всех портретов Лермонтова приложенный к изданию с биографическим очерком Пыпина самый неудачный. Поэт представлен тут красавцем с какими-то колечками волос на висках и с большими, вдумчивыми глазами, в действительности же он был, как его метко прозвали товарищи по школе, «Маёшка», то есть безобразен.

Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрюмое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. я таких глаз никогда после не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума. Во все время разговора с хозяйкой с лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого, когда тот, разочарованный Москвою, бранил ее беспощадно. Передать всех мелочей я не в состоянии, но помню, что тут повально перебирались кузины, тетеньки, дяденьки говорившего и масса других личностей большого света, мне неизвестных и знакомых хозяйке. Она заливалась смехом и вызывала Лермонтова своими расспросами на новые сарказмы. От кофе он отказался, закурил

пахитосу и все время возился с своим неуклюжим кавказским барашковым кивером, коническим, увенчанным круглым помпоном⁴. Он соскакивал у него с колен и, видимо, его стеснял. Да и вообще тогдашняя некрасивая кавказская форма еще более его уродовала.

Визит Лермонтова продолжался с полчаса. Взглянув на часы, он заторопился, по словам его, ему много еще предстояло концов, опять поцеловал руку Натальи Ивановны, нас подарил общим поклоном и уехал. Хозяйка так усердно им занялась, что о нас позабыла и ему не представила.

Впечатление, произведенное на меня Лермонтовым, было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нем столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, я его струсил. И не менее того, увидеть его снова мне ужасно захотелось. Когда я все это передал матушке и настоятельно просил ее поскорее отвезти меня к Арсеньевой, она снова обещала и действительно выполнила свое обещание в следующую же субботу; как только я пришел из Peter-Schule, она взяла меня с собой ко всенощной в церковь Всех Скорбящих, там мы нашли старушку Елисавету Алексеевну и после окончания службы направились к ней.

Она жила в одноэтажном деревянном сереньком домике с подъездом посередине, с улицы, а в pendant * к нему и рядом с ним стоял такой же точно домик. Их разделяли ворота. В другом жила Кайсарова, тоже старушка, дочь с левой стороны графа Валериана Зубова, известного красавца, брата фаворита Екатерины II. Эти два домика-могикана существовали на Шпалерной еще лет двадцать тому назад, а теперь их стер с лица земли какой-то выступивший на их месте колосс в четыре или пять этажей. Так у нас нещадно исчезают все жилища людей, имеющих историческое значение. В этом домике много лет прожил Лермонтов с своей бабушкой.

Когда мы расселись в ее убранной по-старинному, уютной гостиной, увешанной фамильными портретами, она приказала подать чай и осведомилась: дома ли Михаил Юрьевич. Старый слуга, чисто выбритый, в сапогах без скрипу, доложил, что «они дома и изволят писать».

* Здесь: в пару (франц.).

— Да, он сегодня собирался работать, — сказала старушка. — Передай ему, что у меня знакомая ему гостья; когда он кончит заниматься, пусть пожалует к нам.

Слуга вышел.

— Вот говорят про него, что безбожник, безбожник, а я вам покажу, — обратилась она к моей матушке, — стихи, которые он мне вчера принес.

Она порылась в своем рабочем столике и, вынув их оттуда, передала моей матушке. Они были писаны карандашом, и я впервые прочитал тогда из-за спинки (кресла) матушки всем известную «Молитву»: «В минуту жизни трудную» и т. д.

Арсеньева позволила мне их списать, я унес их с собою вполне счастливый такою драгоценною ношею, а покуда, перечитав несколько раз, в то время, как старушки вели свою беседу, знал уже наизусть. Арсеньева между тем с грустью рассказала моей матушке, что срок отпуска ее внука приходит к концу, и, несмотря на усиленные ее хлопоты и просьбы, его здесь не оставляют, надо опять возвращаться ему на Кавказ, опять идти в экспедицию и подставлять лоб под черкесскую пулю. Правда, дают надежду в будущем, а покуда великий князь Михаил Павлович непреклонен; но будущее, в особенности для нее, старухи, гадательно: увидит ли она своего внука, доживет ли до того. И старушка расплакалась. Когда пробило уже одиннадцать часов, Лермонтов вошел в гостиную. На нем расстегнутый сюртук без эполет. Бабка меня ему представила, назвала своим любимцем и прибавила, что я знаю множество его стихов. Он приветливо протянул мне руку и, взглядевшись в меня, сказал:

— А я где-то вас видел.

— У Натальи Ивановны Запольской.

— Да, да, теперь припоминаю.

Матушка, к крайнему моему смущению, шутливо передала ему о давнишнем желании моем его увидеть, о печали моей, когда я узнал, что в моем отсутствии он был у нее, и что я учусь в пансионе при Петропавловской лютеранской церкви. Он слушал ее с улыбкою и спросил меня:

— И всему учат вас там по-немецки?

— Всему, кроме русской словесности и русской истории.

— Хорошо, что хоть и это оставили.

Разговор пошел у него затем со старушками. Лермонтов сидел в глубоком кресле, откинувшись назад, и я мог его прекрасно видеть. На этот раз он не казался мне таким странным, как прежде, да и лицо его было как бы иное, более доброе; сардоническое выражение его сменилось задумчивым и даже грустным. Говорили больше его собеседницы, а он изредка давал ответы и вставлял свое слово. В тоне его с бабушкой я заметил чрезвычайную почтительность и нежность.

Было уже поздно, когда матушка моя поднялась, чтобы уйти, и при прощанье Лермонтов опять приветливо пожал мне руку.

Вскоре затем он уехал на Кавказ. То было, как мне твердо помнится, в мае⁵ и совпадало с порою моих экзаменов, а подобная пора никогда не забывается даже и стариками. В конце июля пришло известие о мрачной кончине Лермонтова. Матушка знала о ней одна из первых в Петербурге и в минуты такого ужасного несчастья для бабки не покидала ее. В обществе смерть Лермонтова отозвалась сильным негодованием на начальство, так сурово и небрежно относившееся к поэту и томившее его из-за пустяков на Кавказе, а на Мартынова сыпались общие проклятия. В 1837 году, благодаря ненавистному иностранцу Дантесу, не стало у нас Пушкина, а через четыре года то же проделывает с Лермонтовым уже русский офицер; лишиться почти сразу двух гениальных поэтов было чересчур тяжело, и гнев общественный всею силою своей обрушился на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на него; никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокаженным, и лишь небольшой кружок людей, знавших лично его и Лермонтова, судили о нем иначе.

Двадцать лет спустя после кончины Лермонтова мне привелось на Кавказе сблизиться с Н. П. Колюбакиным, когда-то разжалованным за пощечину своему полковому командиру в солдаты и находившемуся

в 1837 году в отряде Вельяминова в то время, как туда же прислан был Лермонтов, переведенный из гвардии за стихи на смерть Пушкина. Они вскоре познакомились для того, чтобы скоро раззнакомиться, благодаря невыносимому характеру и тону обращения со всеми безвременно погибшего впоследствии поэта. Коллюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным. В «Герое нашего времени» Лермонтов в лице Грушницкого вывел Коллюбакина, который это знал и, от души смеясь, простил ему эту злую на себя карикатуру⁶. А с таким несчастным характером Лермонтову надо было всегда ожидать печальной развязки, которая и явилась при дуэли с Мартыновым.

Е. П. РОСТОПЧИНА

ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ДЮМА

27 августа/10 сентября 1858 г.

Лермонтов родился в 1814 или в 1815 году¹ и происходил от богатого и почтенного семейства; потеряв еще в малолетстве отца и мать, он был воспитан бабушкой, со стороны матери; г-жа Арсеньева, женщина умная и достойная, питала к своему внуку самую безграничную любовь, словом сказать, — любовь бабушки; она ничего не жалела для его образования. В четырнадцать или пятнадцать лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта. Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы и направление молодого человека, с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не признавая возможности нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который был тогда в моде. Дон-Жуан сделался его героем, мало того, его образцом; он стал бить на таин-

ственность, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении; вследствие того, что он представлял из себя Лара и Манфреда², он привык быть таким. В то время я его два раза видела на детских балах, на которых я прыгала и скакала, как настоящая девочка, которою я и была, между тем как он, одних со мною лет, даже несколько моложе, занимался тем, что старался вскружить голову одной моей кузине³, очень кокетливой; с ней, как говорится, шла у него двойная игра; я до сей поры помню странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, заgrimированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием. Кузина поверяла мне свои тайны; она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом; я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивы. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина; я сама пробовала заняться поэзией и написала оду на Шарлотту Корде, и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла. Наконец, я даже не имела желаний познакомиться с Лермонтовым, — так он мне казался мало симпатичным.

Он тогда был в Благородном пансионе, служившем приготовительным пансионом при Московском университете.

Впоследствии он перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков; там его жизнь и его вкусы приняли другое направление: насмешливый, едкий, ловкий — проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием: вместе с тем, полный ума, самого блестящего, богатый, независимый⁴, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был первым в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, во всем том, что составляет жизнь в эти годы.

По выходе из школы он поступил в гвардейский егерский полк⁵, один из самых блестящих полков и отлично составленный; там опять живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются

жаром и блестящей пылкостью автора. Он давал всем различные прозвища в насмешку; справедливость требовала, чтобы и он получил свое; к нам дошел из Парижа, откуда к нам приходит все, особый тип, с которым он имел много сходства, — горбатого Майе (Maueux) и Лермонтову дали это прозвище, вследствие его малого роста и большой головы, которые придавали ему некоторым образом фамильное сходство с этим уродцем⁶. Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность. Мне случалось слышать признания нескольких из его жертв, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским донжуанским подвигам. Помню, один раз он, забавы ради, решился заместить богатого жениха, и когда все считали уже Лермонтова готовым занять его место, родители невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их уговаривали изгнать Лермонтова из своего дома и в котором описывались всякие о нем ужасы. Это письмо написал он сам⁷, и затем уже более в этот дом не являлся.

Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй (*mauvaise*) партии нашего общества, которая восстанавливала друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее стихотворение, в котором он обращался прямо к императору⁸, требуя мщения. При всеобщем возбуждении умов, этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а затем переведен в полк на Кавказ. Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие

строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр постоянной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохновению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое; о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет уместно провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно в смысле поэта и писателя.

Пушкин — весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.

Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадает тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разных пьесах.

Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже и самой маленькой из его отдельных пьес.

Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие в голову, не зная сам, что он с ними сделает, а потом включал их в то или другое стихотворение, к которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта — живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, осознание своих сил и, так сказать, правильное использование своих различных способностей; по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти отправки — причина того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из

Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти самих себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова; это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему издателю, так что от нее у нас остались только первоначальные наброски стихотворений вполне законченных, которые в ней заключались.

На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения. В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург⁹, а так как талант, а равно и ссылка уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять.

Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника; последствием спора была дуэль, и в очень короткое время — вторая между русским и французом; некоторые женщины выболтали, и о поединке узнали до его совершения; чтобы покончить эту международную вражду, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ.

От времен второго пребывания в этой стране войны и величественной природы исходят лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году; тут уже находишь больше правды и добросовестности в отношении к самому себе; он с собою более ознакомился и себя лучше понимает; маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминаний об оставленных там привязанностях.

В начале 1841 года его бабушка, госпожа Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения; года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища, Лермонтов прибыл в

Петербург 7 или 8 февраля, и, горькою насмешкою судьбы, его родственница, госпожа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться по причине дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы.

Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой; одним днем более, чем с вами, любезный Дюма, а потому не ревнуйте. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром, и вечером; что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.

Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман, под заглавием: «Штос»¹⁰, причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранные сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен.

Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых сначала было отказано, а потом они были взяты штурмом, благодаря высокой протекции. Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия,

Наконец, около конца апреля или начала мая, мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути¹¹. Я одна из последних пожала ему руку. — Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну¹². Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки.

Прибыв на Кавказ, в ожидании экспедиции, Лермонтов поехал на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который с давних пор бывал жертвой его шуток и мистификаций. Он принялся за старое, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта. Однажды, увидев на Мартынове кинжал, а может быть, и два, по черкесской моде, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов, в присутствии дам, подошел к нему и, смеясь, закричал:

— Ах! Как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев!

Эта шутка переполнила чашу; последовал вызов, и на следующее утро два приятеля дрались на дуэли. Напрасно секунданты пытались примирить противников; от судьбы было не уйти. Лермонтов не хотел верить, что он будет драться с Мартыновым.

— Возможно ли, — сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет, — чтобы я в него целил?

Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.

Таким образом окончил жизнь в 28 лет¹³, и тою же смертью, поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами со смертью Пушкина.

Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку.

Фр. БОДЕНШТЕДТ

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕРМОНТОВА

Немногие поэты сумели, подобно Лермонтову, остаться во всех обстоятельствах жизни верными искусству и самим себе. Выросший среди общества, где лицемерие и ложь считаются признаками хорошего тона, Лермонтов до последнего вздоха остался чужд всякой лжи и притворства. Несмотря на то что он много потерпел от ложных друзей, а тревожная кочевая жизнь не раз вырывала его из объятий истинной дружбы, он оставался неизменно верен своим друзьям и в счастье, и в несчастье; но зато был непримирим в ненависти. А он имел право ненавидеть, имел его более, нежели кто-либо! {...}

Постоянные неудачи в жизни производят совершенно различное действие на твердые и слабые характеры, так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат¹. Характер Лермонтова был самого крепкого закала, и чем грознее падали на него удары судьбы, тем более становился он твердым. Он не мог противостоять преследовавшей его судьбе, но в то же время не хотел ей покориться. Он был слишком слаб, чтобы одолеть ее; но и слишком горд, чтобы позволить одолеть себя.

Вот причина того пылкого негодования, того бурного беспокойства во многих стихотворениях его, в которых отражаются — как в кипящем под грозой море, при свете молний, — и небо и земля.

Вот причина также и его раздражительности и желчи, которыми он в своей жизни часто отталкивал

от себя лучших друзей и давал повод к дуэлям. Первая из этих дуэлей привела его к долгому заточению², а последняя — к преждевременной смерти (умер 15/27 июля 1841).

Не берусь решить, что именно подало повод к этой последней дуэли; неосторожные ли остроты и шутки Лермонтова, как говорят некоторые, вызвали ее, или, как утверждают другие, то, что противник его г. Мартынов принял на свой счет некоторые намеки в романе «Герой нашего времени» и оскорбился ими, как касавшимися притом и его семейства³. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова, г. Глебова, который и закрыл глаза своему убитому другу.

Очень вероятно, что Лермонтов, обрисовавший себя немножко яркими красками в главного героя этого романа, списал с натуры и других действующих лиц, так что прототипам их не трудно было узнать себя. <...>

Чтобы дать хоть слабое понятие о том впечатлении, какое производила личность Лермонтова, я хочу рассказать о моих первых встречах с ним, насколько они сохранились у меня в памяти. К сожалению, мне редко удавалось вести правильный дневник во время моего пребывания в России; не удавалось, во-первых, потому, что я пишу кропотливо и тяжело, и мне нужно не мало досуга для собрания воедино впечатлений; во-вторых, потому, что моя — может быть, излишняя — осторожность оставляла в моей записной книжке лишь самую слабую помощь моей памяти, только имена и числа.

Зимой 1840—1841 года в Москве, незадолго до последнего отъезда Лермонтова на Кавказ, в один пасмурный воскресный или праздничный день мне случилось обедать с Павлом Олсуфьевым⁴, очень умным молодым человеком, во французском ресторане, который в то время усердно посещала знатная московская молодежь.

Во время обеда к нам присоединилось еще несколько знакомых и, между прочим, один молодой князь замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума⁵, но большой добряк. Он добродушно сносил все остроты, которые другие отпускали на его счет.

Легкая шутливость, искрящееся остроумие, быстрая смена противоположных предметов в разговоре, —

одним словом, французский *esprit** также свойственен знатным русским, как и французский язык.

Мы пили уже шампанское. Снежная пена лилась через край бокалов; и через край пенились из уст моих собеседников то плоские, то меткие остроты. В то время мне не исполнилось еще 22-х лет, я был толстошеким юнцом, довольно неловким и сентиментальным, и больше слушал, чем участвовал в разговоре, и, вероятно, казался несколько странным среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

«А, Михаил Юрьевич!» — вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!», а остальное общество коротким: «Здравствуйте!» У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости.

Гладкие, белокурые⁶, слегка выющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера⁷.

Очевидно, он был одет не в парадную форму. У него на шее был небрежно повязан черный платок; военный сюртук без эполет был не нов и не до верху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое белье.

Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев, говоря по-французски, представил меня вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя — это был Михаил

* остроумие (франц.).

Лермонтов — неприятно поразили меня. Эти выражения иностранец прежде всего научается понимать в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно; но ни один порядочный человек — за исключением грека или турка, у которых в ходу точь-в-точь такие выражения, — не решится написать их в переводе на свой родной язык.

После того как Лермонтов быстро отведал несколько кушаньев и выпил два стакана вина (при этом он не прятал под стол свои красивые, выхолненные руки), он сделался очень разговорчив, и, надо полагать, то, что он говорил, было остроумным и смешным, так как слова его несколько раз прерывались громким смехом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно быстро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что шпильки его часто переходили в личности; но, получив несколько раз резкий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее избирать мишенью своих шуток только молодого князя.

Некоторое время тот добродушно переносил остроты Лермонтова; но наконец и ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав этим, что, при всей ограниченности ума, он порядочный человек.

Казалось, Лермонтова искренне огорчило, что он обидел князя, своего друга молодости, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел.

Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота ближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу.

Я никогда не мог, может быть ко вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог простить шалости знаменитых и талантливых людей только во имя их знаменитости и таланта. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, сносным музыкантом, поэтом или писателем и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня пра-

вило основывать мнение о людях на первом впечатлении; но в отношении Лермонтова мое первое, неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.

Не далее как на следующий вечер я встретил его в гостиной г-жи Мамоновой, где он предстал передо мной в самом привлекательном свете, так как он вполне умел быть любезным.

Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, но это редко с ним случалось. В самых близких и дружественных отношениях находился он с остроумною графиней Ростопчиной, которой поэтому было бы легче всех дать верное представление о его характере⁸.

Людей же, недостаточно знавших его, чтобы прощать его недостатки за прекрасные качества, преобладавшие в его характере, он отталкивал, так как слишком часто давал волю своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть кроток и нежен, как ребенок; и вообще в его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение.

Серьезная мысль была главною чертою его благородного лица, как и всех значительнейших его произведений, к которым его легкие, шуточные стихотворения относятся, как насмешливое выражение его тонко очерченных губ к его большим, полным думы глазам.

Многие из соотечественников Лермонтова разделили его прометеевскую судьбу, но ни у одного страдания не вырвали столь драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни, а по смерти обвили венком славы его бледное чело.

Чтобы точнее определить значение Лермонтова в русской и во всемирной литературе, следует прежде всего заметить, что он выше всего там, где становится наиболее народным. И что высшее проявление этой народности (как «Песня о царе Иване Васильевиче») не требует ни малейшего комментария, чтобы быть понятою для всех. Это тем замечательнее, что описываемые в ней нравы и частности столь же чужды для нерусских, как и выбранный поэтом стихотворный размер стиха, сделавшийся известным в Германии только по некоторым моим переводным опытам, а в России имеющий почти то же значение, как у нас размер «Песни о Нибелунгах».

Поэма Лермонтова, в которой сквозит поистине гомеровская верность, высокий дух и простота, произвела сильнейшее впечатление во многих германских городах, где ее читали публично. <...>

Лермонтов имеет то общее с великими писателями всех времен, что творения его верно отражают его время со всеми его дурными и хорошими особенностями и всею его мудростью и глупостью и что они способствовали искоренению этих дурных особенностей и этой глупости.

Но наш поэт отличается от своих предшественников и современников тем, что дал более широкий простор в поэзии картинам природы, и в этом отношении он до сих пор стоит на недостигаемой высоте. Своими изображениями он решил трудную задачу — удовлетворить в одно и то же время и естествоиспытателя и любителя прекрасного.

Рисует ли он перед нами исполинские горы многовершинного Кавказа, где наш взор то теряется в снежных облаках, то тонет в безднах; или горный поток, то клубящийся по скале, на которой страшно стоять дикой козе, то светло ниспадающий, «как согнутое стекло», в пропасть, где, сливаясь с новыми ручьями, снова возникает в мутном потоке; описывает ли он горные аулы и леса Дагестана или испещренные цветами долины Грузии; указывает ли на облака, бегущие по голубому, бесконечному небу, или на коня, несущегося по синей, бесконечной степи; воспевает ли он священную тишину лесов или дикий шум битвы, — он всегда и во всем остается верен природе до малейших подробностей. Все эти картины предстают нам в отчетливых красках и в то же время от них веет какой-то таинственной поэтической прелестью, как бы благоуханием и свежестью этих гор, цветов, лугов и лесов⁹. <...>

Два замечательнейших ученых новейшего времени Александр Гумбольдт и Христиан Эрстед, первый в своем «Космосе» (ч. II, стр. 1—103), второй в своем рассуждении об отношении естествознания к поэзии (в «Духе природы», ч. II, стр. 1—52) указывают, как на настоятельное требование нашего времени, на более обширное приложение в области изящного современных открытий и исследований природы. <...>

Стоит прочесть целиком упомянутые сочинения, чтобы убедиться, что Лермонтов выполнил в своих стихотворениях большую часть того, что эти великие ученые признают потребностью нашего времени и чего так живо желают.

Пусть назовут мне хоть одно из множества толстых географических, исторических и других сочинений о Кавказе, из которого можно бы живее и вернее познакомиться с характеристической природою этих гор и их жителей, нежели из какой-нибудь кавказской поэмы Лермонтова. (. . .)

Поэтический гений Пушкина, о котором до сего времени появившиеся стихотворные переводы на немецкий язык могут дать лишь слабое представление, выразился в его зрелых произведениях с такою мощью и имел столь народный характер, что молодые поэты не могли не подчиниться его огромному влиянию, и оно было тем сильнее, чем даровитее была натура поэта, как, например, у Лермонтова.

Лермонтов явился достойным последователем своего великого предшественника; он сумел извлечь пользу для себя и для своего народа из его богатого наследства, не впадая в рабское подражание. Он выучился у Пушкина простоте выражения и чувству меры; он подслушал у него тайну поэтической формы. Некоторые из его ранних лирических стихотворений, — из которых я перевел одно, «Ветка Палестины», — невольно напоминают Пушкина; известное внешнее сходство с Пушкиным представляют и некоторые другие стихотворения, например «Казначейша». Но противоположности между характерами и творчеством обоих поэтов гораздо ярче и определеннее этого сходства. Сходство в них скорее случайное, внешнее, условное, тогда как то, в чем они расходятся, составляет самую сущность творческой индивидуальности каждого из них.

Поэтические средства Пушкина и Лермонтова были почти одинаковы, точно так же и обстоятельства, при которых они развивались; только само развитие было различно.

Оба поэта заплатили изгнанием за первый поэтический порыв, за их юношеское стремление к свободе. Пушкин вернулся из изгнания — Лермонтов умер в изгнании.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Через него (Павла Олсуфьева) я познакомился также с Лермонтовым, когда тот на своем последнем пути из Петербурга на Кавказ — в марте 1841 года¹, — уединившись в доме тетки графини Мамоновой, провел в Москве несколько дней. (. . .)

Хотя он еще не достиг тридцатилетнего возраста, но уже казался уставшим от жизни; он был среднего роста и ничем особенно не выделялся, если не считать высокого лба и больших, печально сверкающих глаз. В то время был в продаже лишь небольшой томик его стихов², а другими стихотворениями, ходившими по рукам в списках, меня снабдил Павел Олсуфьев. Этот небольшой томик, изданный очень скромно, был вскоре раскуплен, и прошло продолжительное время, пока появилось новое издание³. Критика отнюдь не была единодушна в признании его таланта. Казалось, не хотели сразу же после смерти Пушкина возвести на его трон преемника; и находили, что Лермонтов слишком своевольно и настойчиво плывет против течения и ведет себя как враждебно настроенный иностранец в своем отечестве, которому он всем обязан. Упрек в отсутствии у него истинной любви к родине и побудил его написать глубоко прочувственное стихотворение: «Родина». (. . .)⁴

В августе 1841 года пришло известие о смерти Лермонтова; он был застрелен на дуэли 15 июля Мартыновым, товарищем по полку, на склоне горы Машук, вблизи Пятигорска. Газеты коротко сообщали только о самом факте. Подробности я узнал позднее на Кавказе от секунданта Лермонтова Глебова и штабного врача доктора фон Ноодта. Мартынов счел себя задетым острым словом любившего пошутить Лермонтова и вызвал его на дуэль. Все попытки добиться примирения были тщетны, и Лермонтов пал на дуэли от первой пули, посланной ему в сердце твердой рукой Мартынова, который ненавидел его люто. В переведенном на немецкий язык романе «Герой нашего времени»⁵ Лермонтов описывает подобную дуэль — создается впечатление, что писатель, как бы предчувствуя, предсказал свою собственную судьбу. Во всяком случае, он мало дорожил той жизнью, какую должен был вести в России,

и поэтому он охотно ставил жизнь на карту не только в сражениях против много раз воспетых им горцев, но и при всех случаях, которые его волновали. Свое пре-
сыщение жизнью он сильнее всего запечатлел в неболь-
шом стихотворении, которое озаглавлено: «Благодар-
ность»⁶. <...>

Только после смерти Лермонтова, с изданием ранее
разбросанных его произведений, пришла к нему слава;
с тех пор она все возрастала, тем более что ему не на-
шлось достойного продолжателя.

В. И. КРАСОВ

ИЗ ПИСЬМА К А. А. КРАЕВСКОМУ

Июль 1841 г.

Что наш Лермонтов? В последнем № «Отечественных записок» не было его стихов. Печатайте их больше. Они так чудно-прекрасны! Лермонтов был когда-то короткое время моим товарищем по университету. Нынешней весной, перед моим отъездом в деревню за несколько дней — я встретился с ним в зале Благородного собрания, — он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его 10 лет — и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. — Он был грустен — и когда уходил из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, — у меня сжалось сердце — так мне жаль его было. — Не возвращен ли он? Вы бы засмеялись, если б узнали, отчего я особенно спрашиваю про его возвращение. Назад тому месяц с небольшим я две ночи сряду видел его во сне — в первый раз в жизни. В первый раз он отдал мне свой шлафрок какого-то огненного цвета, и я в нем целую ночь расхаживал по незнакомым огромным покоям; в другой раз я что-то болтал ему про свои любовные шашни, и он с грустной улыбкой и бледный, как смерть, качал головой. Проснувшись, я был уверен, что он возвращен. — И я почти был уверен, что он проехал уже мимо нас, потому что я живу на большой дороге от юга.

Ю. Ф. САМАРИН

ИЗ ДНЕВНИКА

31 июля <1841>.

Лермонтов убит на дуэли Мартыновым!

Нет духа писать!

Лермонтов убит. Его постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей: в ее поэтах. За что такая напасть... и что выкупают эти невинные жертвы.

Бедный Лермонтов. Он умер, оставив по себе тяжелое впечатление. На нем лежит великий долг, его роман — «Герой нашего времени». Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих¹.

В этом отношении участь Пушкина была завидна. В полном обладании всех своих сил, всеми признанный, беспорочен и чист от всякого упрека умчался Пушкин, и кроме слез и воспоминаний, на долю его переживших друзей ничего не осталось. Пушкин не нуждается в оправдании. Но Лермонтова признавали не все, поняли немногие, почти никто не любил его. Нужно было простить ему.

Да, смерть Лермонтова поражает незаменяемой утратой целое поколение. Это не частный случай, но общее горе, гнев божий, говоря языком писания, и как некогда при казнях свыше, посылаемых небом, целый народ облакался трауром, посыпая себя пеплом, и долго

молился в храмах, так мы теперь должны считать себя не безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя.

В первый раз я встретился с Лермонтовым на вечере на Солянке². Он возвращался с Кавказа. Я был в восторге от его стихов на смерть Пушкина. После двух или трех свиданий он пленил меня простым обращением, детскою откровенностью. После того я увидел его несколько лет спустя на обеде у Гоголя³. Это было после его дуэли с Барантом. Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, обрадовался; мы разговорились про Гагарина;⁴ тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсом. Ему понравился Хомяков. Помню его суждение о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе.

Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце. Встретились мы после того в его проезд с Кавказа у Россетти⁵. Молодежь собралась провожать его. Лермонтов сам пожелал меня видеть и послал за мной. Он имел обо мне выгодное мнение, как сказывал Р.⁶ Он очень мне обрадовался. Р. пенял мне, что я обошелся с ним холодно. Через 3 месяца он снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена⁷. Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой...⁸ Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: *Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir* *⁹.

* Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (франц.).



В. Г. Белинский
Портрет художника К. Горбунова. 1843

Вечером он был у нас. На другой день мы были вместе под Новинском¹⁰. Он каждый день посещал меня. За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских. Его занимала К. В. Потапова, тогда еще не замужем. Помню наш спор и ответ Лермонтова: «Ласковые глазки, теплые ручки, что ж больше». Одного утра, проведенного у Россетти, я никогда не забуду: Лермонтова что-то тревожило, и досада и желчь его изливались на несчастного Золотницкого¹¹. Тут он рассказал с неподражаемым юмором, как Левицкий дурачил Иваненко¹². Дуэль напоминала некоторые черты из дуэли «Героя нашего времени». Мы простились. Вечером, часов в 9, я занимался один в своей комнате. Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои стихи для «Москвитянина» — «Спор»¹³. Не знаю почему, мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговаривал с ним. Прежде того какая-то робость связывала мне язык в его (присутствии)¹⁴.

ИЗ ПИСЕМ К И. С. ГАГАРИНУ

19 июля 1840 г.

Сегодня 19 июля, мой дорогой друг; завтрашний день я проведу в Ясеневе, а сегодняшний вечер я хочу посвятить удовольствию беседы с вами. Я давно уже хотел писать вам; каждый раз, когда мне случится испытать какое-нибудь впечатление, живо постичь какой-нибудь занимающий меня предмет, у меня к радостному чувству движения вперед присоединяется желание поделиться с вами и знать ваше о нем мнение.

Вскоре после вашего отъезда я видел, как через Москву проследовала вся группа шестнадцати¹, направляющаяся на юг. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно

переносить. Первые мгновения присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой пронизательной силой и читает в моем уме, и в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишенного всякого участия, и потому чувствовать себя подавленным ему было унижительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами, и после того, как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаете оставаться для него чем-то чисто внешним, не имеющим права что-либо изменить в его существовании. В моем положении мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое².

Москва, 3 августа 1841 г.

Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мною известия. Лермонтов убит Мартиновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. *Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стреляя почти в упор.* Эта смерть после смерти Пушкина, Грибоедова и других наводит на очень грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала Лермонтова из неизвестности, и Лермонтов, в большинстве своих произведений, был отголоском Пушкина, но уже среди нового, лучшего поколения.

Он унес с собою более чем надежды. После своего романа «Герой нашего времени» он очутился в долгу перед современниками, и этот нравственный долг никто теперь не может за него уплатить. Только ему самому возможно было бы в этом оправдаться. А теперь у очень многих он оставляет за собою тяжелое и неутешительное впечатление, тогда как творчество его еще далеко не вполне расцвело. Очень мало людей поняли, что его роман указывал на переходную эпоху в его творчестве, и для этих людей дальнейшее направление этого творчества представляло вопрос высшего интереса.

Я лично тотчас же почувствовал большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, казалось, чувствовал ко мне дружбу. Это был один из тех людей, с которыми я любил встречаться, окидывая взором окружающих

меня. Он «присутствовал» в моих мыслях, в моих трудах; его одобрение радовало меня. Он представлял для меня лишний интерес в жизни. Во время его последнего проезда через Москву мы очень часто встречались. Я никогда не забуду нашего последнего свидания, за полчаса до его отъезда. Прощаясь со мной, он оставил мне стихи, его последнее творение. Все это восстает у меня в памяти с поразительной ясностью. Он сидел на том самом месте, на котором я вам теперь пишу. Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве.

Собираются печатать его посмертные произведения. Мы снова увидим его имя там, где любили его отыскивать, снова прочтем еще несколько новых вдохновенных творений, всегда искренних, но, как все последние его поэтические вещи, конечно, грустных и вызывающих особенно скорбное чувство при воспоминании, что родник иссяк.

П. И. МАГДЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

〈Весной〉 1841 года¹ я, в четырехместной коляске, с поваром и лакеем, в качестве ремонтера Борисоглебского уланского полка, с подорожною «по казенной надобности», катил с лихой четверней к городу Ставрополю. (В то время на Кавказе возили на почтовых превосходно, как нигде в России.) Мы остановились перед домом, в котором внизу помещалась почтовая станция, а во втором этаже, кажется, единственная тогда в городе гостиница. Покуда человек мой хлопотал о лошадях, я пошел наверх и, в ожидании обеда, стал бродить по комнатам гостиницы. Помещение ее было довольно комфортабельно: комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие растворенные окна дышали свежим, живительным воздухом. Было обеденное время, и я с любопытством озирался на совершенно новую для меня картину. Всюду военные лица, костюмы — ни одного штатского, и все почти раненые: кто без руки, кто без ноги; на лицах рубцы и шрамы; были и вовсе без рук или без ног, на костылях; немало с черными широкими перевязками на голове и руках. Кто в эполетах, кто в сюртуке. Эта картина сбора раненых героев глубоко запала мне в душу. Незадолго перед тем было взято Дарго. Многие из присутствовавших участвовали в славных штурмах этого укрепленного аула.

Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб- и обер-офицеры, тоже большею частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет, одного и того же полка, играли на

бильярде. Один из них, по ту сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на себя мое внимание. Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражающими каждого, симпатичными чертами, с широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкою костью всего остова, немного сутуловат, словом — то, что называется «сбитый человек». Такие люди бывают одарены более или менее почтенною физическою силой. В партнере его, на которого я обратил затем свое внимание, узнал я бывшего своего товарища Нагорничевского, поступившего в Тенгинский полк, стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. Он передал кий другому офицеру и вышел со мною в обеденную комнату.

— Знаешь ли, с кем я играл? — спросил он меня.

— Нет! где же мне знать — я впервые здесь.

— С Лермонтовым; он был из лейб-гусар за разные проказы переведен, по высочайшему повелению, в наш полк и едет теперь по окончании отпуска из С.-Петербурга к нам за Лабу.

Отобедав и распрощаясь с бывшим товарищем, я продолжал путь свой в Пятигорск и Тифлис. Чудное время года, молодость (мне шла 24-я весна) и дивные, никогда не снившиеся картины величественного Кавказа, который смутно чудился мне из описаний пушкинского «Кавказского пленника», наполняли душу волшебным упоением. Во всю прыть неслися кони, погоняемые молодым осетином. Он вгонял их на кручу, и когда кони, обессилев, останавливались, быстро соскакивал, подкладывал под задние колеса экипажа камни, давал им передохнуть и опять гнал и гнал во всю прыть. И вот, с горы, на которую мы взобрались, увидел я знаменитую гряду Кавказских гор, а над ними двух великанов: вершины Эльбруса и Казбека, в неподвижном величии, казалось, внимали одному аллаху. Стали мы спускаться с крутизны — что-то на дороге в долине чернеется. Приблизились мы, и вижу я сломавшуюся телегу, тройку лошадей, ямщика и двух пассажиров, одетых по-кавказски, с шашками и кинжалами. Придержали мы лошадей, спрашиваем: чьи люди? Люди в папахах и черкесках верблюжьего сукна отвечали просьбою сказать на станции господам их, что с ними случилось несчастье — ось сломилась. Кто господа ваши? «Лермонтов и Столыпин», — отвечали они разом.

Приехав на станцию, я вошел в комнату для проезжающих и увидел, уже знакомую мне, личность Лермонтова, в офицерской шинели с отогнутым воротником — после я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгнать воротник — и другого офицера чрезвычайно представительной наружности, высокого роста, хорошо сложенного, с низкоостриженною прекрасною головой и выразительным лицом. Это был — тогда, кажется, уже капитан гвардейской артиллерии — Столыпин². Я передал им о положении слуг их. Через несколько минут вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаной сумой на груди. Едва переступил он за порог двери, как Лермонтов с кликом: «а, фельдъегерь, фельдъегерь!» — подскочил к нему и начал снимать с него суму. Фельдъегерь сначала было заупрямился. Столыпин стал говорить, что они едут в действующий отряд, и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь утверждал, что он послан «в армию к начальникам»; но Лермонтов сунул ему что-то в руку, выхватил суму и выложил хранившееся в ней на стол. Она, впрочем, не была ни запечатана, ни заперта. Оказались только запечатанные казенные пакеты; писем не было. Я не мало удивлялся этой проделке. Вот что, думалось мне, могут позволять себе петербуржцы.

Солнце уже закатилось, когда я приехал в город или, вернее, только крепость Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно. Я решил остаться ночевать и, в ожидании самовара, пошел прогуляться. Вернувшись, я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мною, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель, на приказание Лермонтова запрягать лошадей, отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я, с своей стороны, тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому

же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными заботами, которые им в отряде, конечно, доступны не будут...

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии 40 верст, по тогдашнему — один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им — в другую.

Столыпин сидел задумавшись. «Ну что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?» — «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите». Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посоветился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:

«Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: — Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?»

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!» Люди, два дюжих татарина, узнав, в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. «Верно, — думал я, — нелегка пришлось бы им жизнь в отряде».

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку, — оно оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне.

Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице³ я услышал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому рок судил убить надежду русскую на поединке.

Я познакомился в Пятигорске со всеми людьми, бывавшими у Лермонтова; но весть о печальной кончине поэта нагнала меня уже вне Пятигорска.

М. Х. ШУЛЬЦ

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

(В пересказе Г. К. Градовского)

— Знаете ли, как я очутился на Кавказе? — спросил меня однажды Шульц.

— Будьте добры, расскажите.

— Был я молодым офицером, без связей, без средств. Но тогда все дворянство служило в войске и приобретало положение на военной службе. Служил я в Петербурге. Военному все двери были открыты... Познакомился я с одним семейством, где была дочь красавица... Конечно, я влюбился, но и я ей понравился. По тогдашнему обычаю, сделал предложение родителям девушки и получил *нос*. Они нашли меня недостаточно заслуженным и мало пригодным женихом... Тогда-то я и поехал на Кавказ, заявив, что буду или на щите, или под щитом. Она обещала *ждать*. Это обещание и горячая к ней любовь и окрыляли меня, смягчали горечь разлуки. На Кавказе в то время нетрудно было отличиться: в делах и экспедициях недостатка не было. Чины и награды достались на мою долю... В известном деле под Ахуль-то¹ я получил несколько ран, но не вышел из строя, пока одна пуля в грудь не повалила меня замертво... Среди убитых и раненых пролежал я весь день... Затем меня подобрали, подлечили, послали за границу на казенный счет для окончательной поправки. За это дело получил я георгиевский крест. За границей, уже на обратном пути в Россию, был я в Дрездене. Конечно, пошел в знаменитую картинную галерею... Подхожу и смотрю на Мадонну... Вдруг, чувствую, будто электрический

ток пробежал по мне, сердце застучало, как молот... Оглядываюсь и не верю своим глазам... Воображение или действительность?.. Возле меня, около той же картины, стоит *она*... Достаточно было одного взгляда, довольно было двух слов... Мы поняли друг друга и придали особое значение чудесному случаю, сведшему нас после долгих лет разлуки. Моя мадонна осталась верна мне. Родные уже не возражали, и мы обвенчались. Сама судьба соединила нас!

— Прелестный роман, — сказал я.

— Но вы не знаете, почему я рассказал вам эту старую историю. Дело в том, что так же, как вам, я рассказал ее Лермонтову... Давненько это было: вас и на свете тогда еще не было... Мы с ним встречались на Кавказе... Рассказал, и Лермонтов спрашивает меня: «Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?» — «Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе... Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених». Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает меня и говорит: «*Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?*» И он прочел мне свое известное стихотворение:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана... и т. д.

— Вот для чего я затронул эту древнюю историю... Мне суждено было, совершенно случайно, *вдохновить* такого поэта, как Лермонтов... Это великая честь, и мне думается, что вам приятно узнать происхождение этого стихотворения; известно, что оно положено на музыку и долго распевалось, а может быть, и теперь поется, как прелестнейший, трогательный романс².

Рассказ маститого генерала Шульца, правдивого воина, чуждого всякой хлестаковщины, хорошо запечатлелся в моей памяти, и мне даже на одно мгновение не приходило малейшее сомнение в истинности этого сообщения,

В. И. ЧИЛЯЕВ и Н. П. РАЕВСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(В пересказе П. К. Мартьянова)

Пятигорск в 1841 году, по рассказу В. И. Чилыева, был маленький, но довольно чистенький и красивый городок. Расположенный в котловине гор, при реке Подкумке, он имел десятка два прихотливо прорезанных в различных направлениях улиц, с двумя-тремя сотнями обывательских, деревянных, большей частью одноэтажных, домиков, между которыми там и сям выдвигались и гордо смотрели солидные каменные казенные постройки, как-то: ванны, галереи, гостиницы и др. В центре города, почти у самых минеральных источников, ютился небольшой, но уже хорошо разросшийся и дававший тень бульвар, на котором по вечерам играла музыка. Городок с мая до сентября переполнялся приезжавшей на воды публикой; у источников, в казино и на бульваре появлялась масса больных обоого пола и всех рангов, лет и состояний. Жизнь пробуждалась, и обыденную городскую скуку и сплетни сменяли веселье, шум и суета.

Н. П. Раевский иллюстрирует описание Пятигорска, но с своей отрицательной точки зрения. Каменных домов, — говорит он, — в городе почти не было, улиц и половины тех, что застроены впоследствии, — также. Лестницы, ведущей на Елисаветинскую галерею, тогда и в помине еще не было, а бульвар заканчивался полукругом, ходу с которого никуда не было. Но зато была беседка, где влюбленные засиживались до рассвета. За Елисаветинской галереей находилась общая ванна,

то есть бассейн, выложенный камнем, в котором купались без разбору лет, общественного положения и пола *. На Подкумке располагалась слободка, замечательная тем, что там, что ни баба — то капитанша. Баба — мужик мужиком, а чуть что: «Я — капитанша!» Так эта слободка и называлась «слободкой капитанш», но жить там из общества никто не жил, потому, во-первых, что капитанши были дамы амбициозные, а во-вторых, в ту сторону на ночь спускались все серные источники и дышать там было трудно. В павильоне на Машуке имелась «эолова арфа», ни при каком, впрочем, ветре не издававшая ни малейшего звука **, а на бульваре, около ванн, стоял грот *** с боковыми удобными выходами, где весь лермонтовский кружок частенько пировал и где Лермонтов устроил и свой последний праздник перед смертью.

Жилось в Пятигорске весело и привольно. Нравы были просты, как в Аркадии. Играет музыка на бульваре, заташат ее в гостиницу Найтаки, барышень запросят прямо с бульвара без нарядов — и бал устроится по вдохновению. Когда же начальство затевало настоящий бал, гостиница превращалась в Благородное собрание и танцевали парадно ****.

Но не одни танцы развлекали пятигорское «водяное» общество в сезон 1841 года; любимейшим его времяпрепровождением была картежная игра, не прекращавшаяся с утра до ночи и с ночи до утра. На воды приезжали не только больные, но и здоровые люди, которым некуда было девать времени и денег, — люди, любившие пожить и считавшие тот день потерянным, когда они не участвовали в игре. К числу последних принадлежали: два русских князя, ревельский барон, несколько богатых уральских заводчиков и наезжавший в Пяти-

* Эмилия Шан-Гирей возражает, что ей о существовании подобной ванны ничего не известно. Но мало ли что ей было неизвестно! (Прим. П. К. Мартянова.)¹

** Она же говорит, что звуки «эоловой арфы», напротив, далеко разносились в воздухе, а когда она была настроена, то и довольно гармоничные. Нужно думать, что первый ведет речь исключительно о лете 1841 года, а вторая, как давняя жительница Пятигорска, — вообще за время существования арфы.

*** Грот Дианы. (Прим. П. К. Мартянова.)

**** Н. П. Раевский. (Прим. П. К. Мартянова.)

торск неоднократно известный игрок того времени, полковник английской службы сэр Генри Мильс *.

На одной из пирушек Лермонтов охарактеризовал Пятигорск в следующем экспромте:

Очарователен Кавказский наш Монако!
Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;
В нем лихорадят нас вино, игра и драка,
И жгут днем женщины, а по ночам — клопы **.

Местная знать не отличалась ни числом, ни родовойностью, ни богатством. Она состояла из семейств лиц, выслужившихся или служивших еще на Кавказе, офицеров, чиновников и казаков. Немногие дома из этой знати, преимущественно те, где царили женщины — «хозяйки вод», как называл их Лермонтов, — открывали свои гостеприимные двери для именитых гостей города, золотой столичной молодежи и окуренных порохом ветеранов и светских представителей железных кавказских легионов.

Одним из таких домов в 1841 году считался дом бывшего наказного атамана кавказского казачьего войска, генерал-майора Петра Семеновича Верзилина. Сам генерал находился в то время на службе в Варшаве, но супруга его, Марья Ивановна, представительная дама польского происхождения, со своими двумя дочерьми: от первого брака с полковником Клингенбергом — Эмилией Александровной *** и прижитой с Петром Семеновичем — Надеждой Петровной, и дочерью Петра Семеновича от первого брака — Аграфеной Петровной, жила открыто и собирала в своем салоне лучшее приезжее общество. В кружках «водяной» молодежи дом Верзилиных назывался «храмом граций». При встречах между собой юноши обыкновенно обменивались такими фразами: «Где был?» — «У граций». — «Где будешь вечером?» — «Сперва, конечно, зайду к грациям, а потом

* Н. П. Раевский и В. И. Чилев. (Прим. П. К. Мартянова.)

** Сообщено поручиком Куликовским, исправлявшим в 1870 году должность пятигорского воинского начальника ².

*** Вышедшая впоследствии замуж за родственника Лермонтова Акима Павловича Шан-Гирея и известная своими тенденциозными статьями о М. Ю. Лермонтове, появившимися в восьмидесятых годах во многих журналах. (Прим. П. К. Мартянова.)

посмотрим»... — «С кем ты танцуешь мазурку?» — «С младшей грацией». Причиной тому был сам Петр Семенович, который на вопрос: «Сколько у него дочерей?» — отвечал: «У моей жены две дочери и у меня две, а всего — три... только три грации, а не четыре». Правда, верзилинские барышни, в особенности средняя, Эмилия Александровна, находившаяся тогда в полном расцвете молодости и красоты, по своей привлекательной внешности и светским манерам, могли с честью носить имя граций, но, как все провинциальные барышни, были жеманны и скучны. По крайней мере, они казались такими наиболее строгим и претендательным львам столичных гостиных. После одного из балов Лермонтов на вопрос: «Ну, как веселились вчера?» — отвечал: «Ах, как все ваши грации жеманны — мухи дохнут!» *

Вторым открытым домом считался дом генеральши Екатерины Ивановны Мерлини. По рассказу Н. П. Раевского, она была героиней защиты Кисловодска от черкесского набега в отсутствие ее мужа, коменданта крепости. Ей пришлось распорядиться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. Муж ее, генерал-лейтенант, числился по армии и жил в Пятигорске на покое. Екатерина Ивановна считалась отличной наездницей, ездила на мужском английском седле и в мужском платье, держала хороших верховых лошадей и участвовала в кавалькадах, устраиваемых молодежью **.

Далее следует дом Озерских, приманку в котором составляла премиленькая барышня Сашенька. Отец ее заведовал калмыцким улусом, был человек состоятельный и дал дочери хорошее образование. Но у них М. Ю. Лермонтов бывал очень редко, так как там принимали неразборчиво, а поэт не любил, чтобы его смешивали с толпою ***.

* В. И. Чиляев. (Прим. П. К. Мартянова.)

** Эмилия Шан-Гирей говорит, что Мерлини в 1841 году в кавалькадах не участвовала, предпочитала ездить одна. Но трудно допустить, чтобы молодая героиня чуждалась кавалеров и скакала по улицам Пятигорска или за городом одна. Возражение это вызвано, вероятно, какими-нибудь личными соображениями. (Прим. П. К. Мартянова.)

*** Н. П. Раевский. (Прим. П. К. Мартянова.)

В некоторых воспоминаниях упоминается еще о двух-трех домах, где бывала молодежь; но о домах этих я распространяться не стану, так как они стояли в стороне от роковых событий сезона 1841 года. Упомяну только, в виде исключения, о доме близкой соседки Верзилиных, тарумовской помещицы М. А. Прянишниковой, где гостила тогда ее родственница, девица Быховец, прозванная Лермонтовым за бронзовый цвет лица и черные очи «la belle poire» *. Она имела много поклонников из лермонтовского кружка и сделалась известной, благодаря случайной встрече с поэтом в колонии Каррас, перед самой его дуэлью.

В Пятигорск прибыл Михаил Юрьевич вместе с своим двоюродным дядей, капитаном Нижегородского драгунского полка Алексеем Аркадьевичем Столыпиным (13-го) мая³. На другой день они явились к пятигорскому коменданту, полковнику Ильяшенкову, представили медицинские свидетельства о своих болезнях (№№ 360 и 361) и получили от него разрешение остаться в Пятигорске.

О разрешении этом комендант донес начальнику штаба войск Кавказской линии и Черномории, флигель-адъютанту, полковнику Траскину, того же (14-го) мая за №№ 805 и 806. Штаб, имея в виду, что Пятигорский госпиталь переполнен уже больными офицерами, и находя, что болезни Лермонтова и Столыпина могут быть излечены и другими средствами, предписал пятигорскому коменданту отправить их в свои части или же в Георгиевский госпиталь. На данные им вследствие сего предписания отправиться по назначению Лермонтов и Столыпин донесли от 18-го июня: первый за № 132, а второй за № 51, что они имеют от полковника Траскина предписания, разрешающие им лечиться в Пятигорском госпитале, с тем чтобы они донесли об этом своим полковым командирам и отрядному дежурству. И так как они начали уже пользование минеральными водами и приняли Лермонтов 23, а Столыпин 29 серных ванн и с перерывом курса лечения могут подвергнуться совершенному расстройству здоровья, то и просили полковника Ильяшенкова исходатайствовать им разрешение остаться в Пятигорске до окончания курса лечения.

* Прекрасная смуглянка (франц.).

При рапортах были приложены дополнительные медицинские свидетельства курсового врача Баркляя-де-Толли за №№ 29 и 30 о необходимости им продолжать лечение минеральными водами, — и начальство сдалось: на представление о сем коменданта от 23-го июня, за № 1118, ответа из штаба не последовало, и Лермонтов со Столыпиным остались на водах в Пятигорске*.

О явке Лермонтова и Столыпина коменданту имеется следующий характерный рассказ В. И. Чилева.

Первую ночь по приезде в Пятигорск они ночевали в гостинице Найтаки. На другой день утром, часов в девять, явились в комендантское управление. Полковник Ильяшенков, человек старого закала, недалекий и боязливый до трусости, находился уже в кабинете. По докладе плац-адъютанта⁴ о том, что в Пятигорск приехал Лермонтов со Столыпиным, он схватился за голову обеими руками и, вскочив с кресла, живо проговорил:

— Ну, вот опять этот сорвиголова к нам пожаловал!.. Зачем это?

— Приехал на воды, — ответил плац-адъютант.

— Шалить и бедокурить! — вспыхнул старик, — а мы отвечаем потом!.. Да у нас и мест нет в госпитале, нельзя ли их спровадить в Егорьевск?.. а?.. Я даже не знаю, право, что нам с ними делать?

— Будем смотреть поостроже, — проговорил почтительно докладчик, — а не принять нельзя, у них есть разрешение начальника штаба и медицинские свидетельства о необходимости лечения водами.

— Ну, позовите их, — махнул рукой комендант, и Столыпин с Лермонтовым были введены в кабинет.

— А, здравствуйте, господа, — приветствовал их нахмуренный представитель власти, сделав шаг вперед, — зачем и надолго ли пожаловали?

— Болезнь загнала, господин полковник, — начал было речь Лермонтов, но Ильяшенков, желая выказать строгость, перебил его словом: «позвольте!» и, обратясь к Столыпину, сказал:

— Вы — старший, отвечайте.

* Выписано из дела Пятигорского комендантского управления, 1841 года, № 88. (Прим. П. К. Мартянова.)

Столыпин объяснил причину прибытия и подал медицинское свидетельство и рапорт о дозволении лечиться в Пятигорске. Его примеру последовал и Лермонтов.

Комендант, прочитав рапорты, передал их плац-адъютанту с приказанием представить их в штаб, а молодым людям, пожав руки, сказал:

— Хотя у меня в госпитале и нет мест, ну, да что с вами делать, оставайтесь! Только с уговором, господа, не шалить и не бедокурить! В противном случае вышлю в полки, так и знайте!

— Больным не до шалостей, господин полковник, — отвечал с поклоном Столыпин.

— Бедокурить не будем, а повеселиться немножко позвольте, господин полковник, — поклонился в свою очередь почтительно Лермонтов. — Иначе ведь мы можем умереть от скуки, и вам же придется хоронить нас.

— Тыфу, тыфу! — отплюнулся Ильяшенков, — что это вы говорите! Хоронить людей я терпеть не могу. Вот если бы вы, который-нибудь, женились здесь, тогда бы я с удовольствием пошел к вам на свадьбу.

— Жениться!.. тыфу, тыфу! — воскликнул с притворным ужасом Лермонтов, пародируя коменданта. — Что это вы говорите, господин полковник, да я лучше умру!

— Ну вот, ну вот! я так и знал, — замахал руками Ильяшенков, — вы неисправимы, сами на себя беду накликаете. Ну, да идите с богом и устраивайтесь!.. а там что бог даст, то и будет.

И он откланялся. Аудиенция кончилась. В канцелярии зашел разговор о квартире, Чиляев предложил флигель в своем доме; добавив, что квартира в старом доме занята уже князем А. И. Васильчиковым.

— Поедем, посмотрим! — сказал Лермонтов.

— Пожалуй, — отвечал Столыпин, — только не сейчас, нужно заехать в гостиницу переодеться; скоро полдень, что за приятность в жару разъезжать по городу в парадной форме.

Часа в два-три дня они приехали к Чиляеву. Осмотрев снаружи стоявший на дворе домик и обойдя комнаты, Лермонтов остановился на балконе, выходившем в садик, граничивший с садом Верзилиных, и погружился в раздумье. Между тем Столыпин обошел еще раз комнаты, сделал несколько замечаний насчет

поправок и, осведомившись о цене квартиры, вышел также на балкон и спросил Михаила Юрьевича:

— Ну, что, Лермонтов, хорошо?

— Ничего, — отвечал поэт небрежно, как будто недовольный нарушением его заветных дум, — здесь будет удобно... дай задаток!

Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру. Вечером в тот же день они переехали.

Домик, где жил Лермонтов, цел и доньше. Но, перейдя в руки лиц, не имеющих понятия о его значении для интеллигентного русского общества, находится, как сообщали корреспонденты в 1891 г., в запущении. Я его осматривал в 1870 году, когда В. И. Чилиев был еще жив. Он сам водил меня по комнатам и дал нужные объяснения о меблировке и том положении, в котором находился домик в сезон 1841 года.

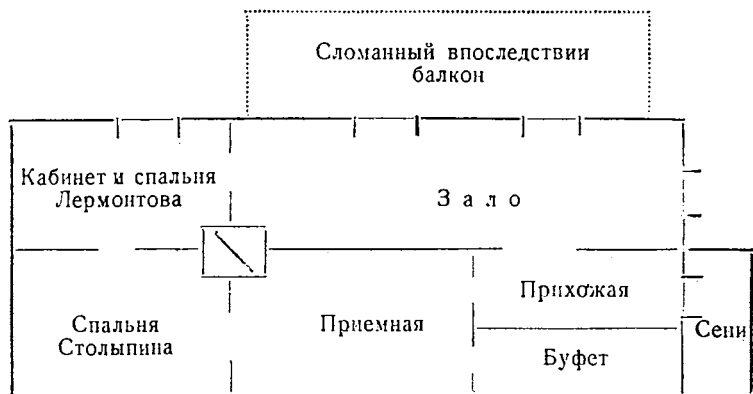
Вот описание его, сделанное мною тогда же, в присутствии домовладельца, им проверенное и одобренное*.

Наружность домика самая непривлекательная. Одноэтажный, турлучный, низенький, он походит на те постройки, которые возводят отставные солдаты в слободках при уездных городах. Главный фасад его выходит на двор и имеет три окна, но все три различной меры и вида. Самое крайнее с левой стороны фасада окно, вроде итальянского, имеет обыкновенную раму о 8 стеклах и по бокам полурамы, каждая с 4 стеклами, и две наружные ставни. Второе окно имеет одну раму о 8 стеклах и одну ставню. Наконец, третье — также в одну раму о 8 стеклах окно, но по размеру меньше второго на четверть аршина и снабжено двумя ставеньками. Сбоку домика с правой стороны пристроены деревянные сени с небольшим о двух ступенях крылечком. Стены снаружи обмазаны глиной и выбелены известкой. Крыша тростниковая с одной трубой.

В сенях ничего, кроме деревянной скамейки, не имеется. Из сеней налево дверь в прихожую. Домик разделяется капитальными стенами вдоль и поперек и образует четыре комнаты, из которых две комнаты левой долевой (западной) половины домика обращены окнами

* Для большей наглядности прилагается план внутреннего расположения домика. (Прим. П. К. Мартынова.)

на двор, а другие две правой (восточной) половины — в сад. Первая комната левой половины, в которую ведет дверь из сеней, разгорожена вдоль и поперек перегородками и образует, как широковещательно определил В. И. Чилиев, прихожую, приемную и буфет.



Прихожая — небольшая полутемная комнатка с дверями: прямо — в приемную, направо — в зал. Мебели в прихожей никакой нет. В приемной окно на двор и две двери: одна — прямо в спальню, другая же в противоположной перегородке — в буфет. По левую сторону под окном стол, по стенам несколько стульев, а в углу часть поставленной в центре дома большой голландской печи. Далее спальня Столыпина с большим 16-стекольным окном и дверью в кабинет Лермонтова. В спальне под окном стол с маленьким выдвижным ящичком и два стула, у противоположной, ко входу из приемной, стены кровать и платяной шкаф; направо в углу между дверями часть голландской печи. В кабинете Лермонтова такое же 16-стекольное окно, как и в спальне Столыпина, и дверь в зал. Под окном простой, довольно большой стол с выдвижным ящичком, имеющим маленькое медное колечко, и два стула. У глухой стены, против двери в зал, прикрытая двумя тоненькими дощечками, длинная и узкая о шести ножках кровать (3 $\frac{1}{4}$ арш. длины и 14 вершков ширины) и трехугольный столик. В углу между дверями печь, по сторонам дверей четыре стула.

Зало имеет два 8-стекольных окна — налево в сад и одно прямо к сениям на двор. Слева, при выходе из кабинета, складной обеденный стол. В простенке между окнами — ломберный стол, а над столом — единственное во всей квартире зеркало; под окнами по два стула. Направо в углу печь. У стены маленький, покрытый войлочным ковром диванчик и перед ним переддиванный об одной ножке стол.

Общий вид квартиры далеко не представительен. Низкие, приземистые комнаты, стены которых оклеены не обоями, но просто бумагой, окрашенной домашними средствами: в приемной — мелом, в спальне — голубоватой, в кабинете — светло-серой и в зале — искрасна-розовой клеевой краской. Потолки положены прямо на балки и выбелены мелом, полы окрашены желтой, а двери и окна синеватой масляной краской. Мебель самой простой, чуть не солдатской, работы и почти вся, за исключением ясеневоего ломберного стола и зеркала красного дерева, окрашена темной, под цвет дерева, масляной краской. Стулья с высокими в переплет спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем.

Все в домике: и его внешний вид, и внутреннее его расположение, и убранство, по удостоверению В. И. Чилиева, было сохранено им до 1870 года в том виде, как оно обреталось во время квартирования Лермонтова в 1841 году. Только в зале, вместо окна у дверей в кабинет, в то время был выход на балкон, обветшалый и отнятый впоследствии, да спальня Столыпина имела другую окраску, именно, бланжевого цвета. Перемена же в мебели заключается в том, что вместо дивана под ковром стоял в зале диван, обитый клеенкой⁵.

В наше комфортабельное время, конечно, многим покажется странным, что такие интеллигентные, состоятельные люди, как Столыпин и Лермонтов, могли квартировать в подобном мизерном помещении. Но если Пятигорск и теперь, спустя 50 с лишком лет, не представляет надлежащих удобств для жизни приезжающим на лето туристам и больным, то тем более тогда и это помещение считалось одним из лучших, доказательством чему может служить то обстоятельство, что кн. А. И. Васильчиков с князем С. В. Трубецким занимали в большом доме Чилиева только три комнаты,

а Н. С. Мартынов, М. П. Глебов, Н. П. Раевский и А. К. Зельмиц (последний с семейством), жившие в на-дворном флигеле Верзилиных, имели первые трое — по одной, а последний — две комнаты. Все они благодарили судьбу, что устроились по возможности довольно еще сносно, а то были случаи, что приезжавшие на воды поздно, то есть в самый разгар сезона, должны были довольствоваться чердачными светелками, чуланами и садовыми беседками!

Образ жизни Лермонтова в Пятигорске, по рассказу В. И. Чилиева, был самый обыкновенный и простой. Ничто не напоминало в нем поэта, а скорее помещика-офицера с солидной для кавказца обстановкой. Квартира у него со Столыпиным была общая, стол держали они дома и жили дружно. Заведовал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. В домике, который они занимали, комнаты, выходящие окнами на двор, назывались столыпинской половиной, а выходящие в сад — лермонтовской. Михаил Юрьевич работал большей частью в кабинете, на том самом письменном столе, который стоял тут и в 1870 году. Работал он при открытом окне, под которым стояло черешневое дерево, сплошь осыпанное в тот год черешнями, так что, работая, он машинально протягивал руку, срывал черешни и лакомился ими. Спал Лермонтов на кровати, стоявшей до 1870 года в кабинете, и на ней был положен, когда привезли тело его с места поединка. Кровать эта освящена кровью поэта, так же как и обеденный стол, на котором он лежал после анатомирования до положения в гроб. Хозяйство его велось представительно. На конюшне он держал двух собственных верховых лошадей. (Красавца-скакуна серого «Черкеса» он купил тотчас по приезде в Пятигорск.) Штат прислуги его состоял из привезенных с собой из Петербурга четырех человек, из коих двое было крепостных: один камердинер, бывший дядька его, старик Иван Соколов, и конюх Иван Вертюков, и двое наемных — помощник камердинера гуриец Христофор Саникидзе и повар, имя которого не сохранилось. Дом его был открыт для друзей и знакомых, и если кто к нему обращался с просьбой о помощи или одолжении, никогда и никому не отказывал, стараясь сделать все, что только мог. Вставал он неодинаково, иногда рано, иногда спал часов до 9-ти и даже более. Но это случа-

лось редко. В первом случае, тотчас, как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай, во втором же — прямо с постели садился за чай, а потом уходил из дому. Около двух часов возвращался домой обедать, и почти всегда в обществе друзей-приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось четыре-пять блюд, по заказу Столыпина, мороженое же, до которого Лермонтов был большой охотник, ягоды или фрукты, подавались каждодневно. Вин, водок и закусок всегда имелся хороший запас. Обедало постоянно четыре-пять, а иногда и более приглашенных или случайно приходивших знакомых, преимущественно офицеров. После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике, а некоторые спускались в сад полежать на траве, в тени акаций и сирени. Около 6 часов подавался чай, и затем все уходили. Вечер, по обыкновению, посвящался прогулкам, танцам, любезничанью с дамами или игре в карты.

Необходимо заметить, что «благородные» спектакли, живые картины, литературные вечера и концерты тогда еще не пользовались правом гражданства в «водяном» обществе; поэтому все свободное время (а его было не мало) молодежь употребляла на пикники, прогулки и «плясы», плясы без конца, где только возможно: у «хозяек ли вод», или на импровизированных балах и вечерах в гостинице Найтаки и других благодатных уголках. Но порой (и даже весьма нередко) ухаживанье за дамами сменялось искательством благосклонности более доступных и ветреных особ — дам червонных, бубновых и пиковых. Молодежь перекочевывала к Найтаки и там, в задних номерах, а когда зало было свободно, то и в самом зале, которое завсегдатаями иначе и не называлось, как «казино», на зеленых столах, за грудами золота, серебра и ассигнаций, — «резалась», сколько хотела.

Лермонтов тоже играл, но редко, с соблюдением известного расчета и выше определенной для проигрыша нормы не зарывался. Однажды даже была у него игра в квартире. Весь лермонтовский кружок, несколько товарищей кавказцев и два-три петербургских туза, собрались в один из прелестных июньских вечеров и от нечего делать метнули банчишко. В. И. Чиляев был тоже в

числе приглашенных, и вот что записал он об этом вечере. «Я не играл, но следил за игрою. Метали банк по желанию. Если банк разбирали или срывали, банкомет оставлял свое место и садился другой. Игра шла оживленная, но не большая: ставились рубли и десятки, сотни редко. Лермонтов понтировал. Весьма хладнокровно ставил он понтерки, гнул и загибал: «на пе», «углы» и «транспорты», и примазывал «куши». При проигрыше бросал карты и отходил. Потом, по прошествии некоторого времени, опять подходил к столу и опять ставил. Но ему вообще в этот вечер не везло. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта А. С. Пушкина, бывший в то время на водах. Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, где сидели в то время не игравшие в карты, князь Владимир Сергеевич Толицын, с которым еще поэт не расходился в то время, князь Сергей Васильевич Трубецкой, Сергей Дмитриевич Безобразов, доктор Барклай-де-Толли, Глебов и др., перекинулся с ними несколькими словами, закурил трубку и, подойдя к Столыпину, сказал ему: «Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник!» Столыпин подал. Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выброся одну, накрыл ее бумажником и с увлечением продекламировал:

В игре, как лев, силен
Наш Пушкин Лев,
Бьет короля бубен,
Бьет даму треф.
Но пусть всех королей
И дам он бьет:
«Ва-банк!» — и туз червей
Мой — банк сорвет!

Все маленькое общество, бывшее в тот вечер у Лермонтова, заинтересовалось ставкой и окружило стол. Возгласы умолкли, все с напряженным вниманием следили и ждали выхода туза. Банкомет медленно и неуверенно метал. Лермонтов курил трубку и пускал большие клубы дыма. Наконец возглас «бита!» разрешил состязание в пользу Пушкина. Лермонтов махнул рукой и, засмеявшись, сказал: «Ну, так я, значит, в дуэли

«счастливи!» Несколько мгновений продолжалось молчание, никто не нашелся сказать двух слов по поводу легкомысленной коварности червонного туза, только Мартынов, обратившись к Пушкину и ударив его по плечу рукой, воскликнул: «Счастливичик!» Между тем Михаил Юрьевич, сняв с карты бумажник, спросил банкмета: «Сколько в банке?» — и пока тот подсчитывал банк, он стал стирать бумажник, с серебряным в полуполтинник замком с нарезанным на нем циферблатом из десяти цифр, на одну из которых, по желанию, замок запирался. Повернув раза два-три механизм замка и видя, что он не отпирается, Лермонтов с досадой вырвал клапан, на котором держался запертый в замке стержень, вынул деньги, швырнул бумажник под диван* и, поручив Столыпину рассчитаться с банкметом, вышел к гостям, не игравшим в карты, на балкон. Игра еще некоторое время продолжалась, но как-то неохотно и вяло, и скоро прекратилась совсем. Стали накрывать стол. Лермонтов как ни в чем не бывало был весел, переходил от одной группы гостей к другой, шутил, смеялся и острил. Подойдя к Глебову, сидевшему в кабинете в раздумье, он сказал:

Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись.
Но на Наде**,
Христа ради,
Не женись!

* Наутро, когда люди убирали комнаты, камердинер Лермонтова, Иван Соколов, поднял порванный бумажник и принес его Михаилу Юрьевичу. «На кой он мне черт без денег! — отозвался проигравшийся поэт и, рассмеявшись, прибавил: — Если нравится он тебе, возьми его себе!» — и бумажник перешел к Соколову, у которого после смерти Лермонтова и купил его В. И. Чиляев. Почти тридцать лет хранил его Василий Иванович, да двадцать с лишком лет, после перехода его в мои руки, лежал он у меня и сберегался в том же виде, как вышвырнут был Лермонтовым, то есть с вырванным клапаном и заперт на той же цифре, которую в игре позабыл поэт. Бумажник довольно уже ветх, подкладка в нем вся истерта и записной книжки при нем не имеется. Но таким я получил его, таким и передал в Лермонтовский музей в апреле 1892 г. (Прим. П. К. Мартянова.)

** Надежде Петровне Верзилиной, за которой Глебов слегка ухаживал. (Прим. П. К. Мартянова.)

А Мартынова, жаловавшегося на жару, подарил таким экспромтом:

Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый!

Когда сели за стол, князь С. В. Трубецкой повел разговор на тему «о пире жизни» и высказал мысль, что пир этот надо уметь продолжить как можно дольше и окончить, когда вино все будет выпито. Лермонтов покрутил ус и ответил на это:

Смело в пире жизни надо
Пить фиал свой до конца,
Но лишь в битве смерть — награда,
Не под стулом, для бойца.

Иногда по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом «Черкесе» за город, уезжал рано и большей частью вдруг, не предупредив заблаговременно никого: встает, велит оседлать лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, как головоломная джигитовка по необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого наездника-джигита, в чем неоспоримо и преуспел, так как все товарищи его, кавалеристы, знатоки верховой езды, признавали и высоко ценили в нем столь необходимые, по тогдашнему времени, качества бесстрашного, лихого и неутомимого ездока-джигита. Знакомые дамы приходили в восторг от его удалости и неустрашимости, когда он, сопровождая их на прогулках в кавалькадах, показывал им «высшую школу» наездничества, а верзилинские «грации» не раз даже рукоплескали, когда он, проезжая мимо, перед их окнами, ставил на дыбы своего «Черкеса» и заставлял его чуть не плясать «лезгинку».

Н. И. ЛОРЕР

ИЗ ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА

В Ставрополе познакомился я с очень ученым, умным и либеральным доктором Николаем Васильевичем Мейером¹, находившимся при штабе Вельяминова... Он был очень дружен с Лермонтовым, и тот целиком описал его в своем «Герое нашего времени», под именем Вернера, и так верно, что кто только знал Мейера, тот сейчас и узнавал. Мейер был в полном смысле слова умнейший и начитанный человек и, что более еще, хотя медик, истинный христианин. Он знал многих из нашего кружка и помогал некоторым и деньгами и полезными советами. Он был друг декабристам.

* * *

В это же время, в одно утро явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, Александры Осиповны Смирновой², письмо и книжку «Imitation de Jesus Christ»³ в прекрасном переплете. Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени» и другие его сочинения вышли позже⁴. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему вы-

сокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он казался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпленных от правительства. До сих пор не могу отдать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка, явиться начальству, и весною собирался на воды в Пятигорск. Это второй раз, что он ссылагается на Кавказ: в первый, за немножко вольные стихи, написанные им на смерть Пушкина Александра Сергеевича, а теперь — говорят разное, — но, кажется, за дуэль (впрочем, не состоявшуюся) с сыном французского посла в Петербурге, Барантом⁵.

* * *

При захождении солнца я приехал в Пятигорск. За несколько верст от городка вы чувствуете, что приближаетесь к водам, потому что воздух пропитан серой. Первою заботою моею было найти себе помещение поуютнее и подешевле, и я вскоре нашел себе квартиру по вкусу в так называемой «солдатской слободке» у отставного унтер-офицера, за 50 рублей на весь курс. Квартира моя состояла из двух чистеньких горенок и нравилась мне в особенности тем, что стояла у подошвы обрыва, а окнами выходила на обширную зеленую равнину, замыкавшуюся Эльборусом, который при захождении солнца покрывается обыкновенно розовым блеском.

Устроившись немного, я начал приискивать себе доктора, чтобы, посоветовавшись с ним, начать пить какие-нибудь воды. По рекомендации моего товарища, вскоре явился ко мне молодой человек, доктор, по имени Барклай-де-Толли⁶. Я тогда же сказал моему эскулапу: «Ежели вы такой же искусник воскрешать человечество, каким был ваш однофамилец — уничтожать, то я поздравляю вас, и наперед твердо уверен, что вылечусь». К сожалению, мой доктор себя не оправдал впоследствии, и, вероятно, не поняв моей болезни, как бы ощупью, беспрестанно заставлял меня пробовать разные воды. Наконец опыты эти мне надоели, и я с ним простился.

На третий день моего пребывания в Пятигорске я сделал несколько визитов. А вечером ко мне пришёл Александр и артист Шведе⁷, любовались видом и из моих окон, положили его на полотно, а Шведе впоследствии снял с меня портрет масляными красками.

Мне сказали, что полковник Фрейтаг, командир Куринского полка, жестоко раненный в шею, привезен из экспедиции и желает со мной видиться. Я поспешил исполнить его желание, и он объявил мне печальную весть о том, что товарищ мой по Сибири, Лихарев, убит в последнем деле⁸. После него остались некоторые бумаги на разных языках и портрет красивой женщины превосходной работы, который Фрейтаг, зная мою дружбу с покойным, хотел мне передать. Я узнал портрет жены его, рисованный Изабе в Париже. Я посоветовал полковнику отправить все эти драгоценности к родным покойного и дал адрес.

Лихарев был один из замечательнейших людей своего времени. Он был выпущен из школы колонновожатых, основанной Муравьевым⁹, в Генеральный штаб, и при арестовании его, как члена общества, состоял при графе Витте. Он отлично знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его была несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но, что (труднее), отдавать свое последнее. К сожалению, он страстно любил карточную игру, и вообще рассеянную жизнь. В последнем деле, где он был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле и часто, в жару спора, неосторожно останавливались¹⁰. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навалет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не успели на выручку останков товарища-солдата. Где кости сибирского товарища моего? Подобною смертью погиб бесследно и Александр Бестужев¹¹.

Я очень был рад познакомиться с храбрым, славным Фрейтагом, и мы в частых беседах наших вспоминали

про бедного Лихарева. Фрейтаг, после этого, не долго оставался на Кавказе, вскоре, выздоровев, произведен был в генералы и назначен генерал-квартирмейстером к Паскевичу в Варшаву.

Кто не знает Пятигорска из рассказов, описаний и проч.? Я не берусь его описывать и чувствую, что перо мое слабо для воспроизведения всех красот природы. Скажу только, что в то время съезды на Кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах? Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде, — и большею частью справедливой, — исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников с своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой (стакан) в колодец, казак с нагайкой через плечо, — обыкновенною принадлежностью, бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Легко больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диету, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии два славных поросенка и велел их обоих изжарить к обеду своему.

Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов: лорнеты и хлыстики их заменяют. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них, и с удовольствием вспоминаю теперь имена их: Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненный в ключицу; Тиран, лейб-гусар; Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного

командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей¹² и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу. Часто любовались они моею палкою из виноградной лозы, которая меня никогда не оставляла и с которой я таскался по трущобам Кавказа в цепи застрельщиков, — мой верный Антонов, отличный стрелок, как я уже сказал, за меня отстреливался. В одном деле он в моих глазах положил двух горцев, и мы после ходили на них смотреть. Я просил своего полкового командира наградить моего телохранителя георгиевским крестом из числа присылаемых в роты, но, оставив в то время отряд, не знаю, получил ли мой Антонов тот крестик, за который кавказский солдат делает часто чудеса молодечества, храбрости, отваги.

Товарищ мой по Сибири Игельстром¹³ все пребывание свое на Кавказе провел в этой охоте за людьми в цепи... В белом кителе, с двухствольным ружьем, вечно, бывало, таскается он по кустам и отыскивает своих жертв. В одном деле и ему удалось положить на месте двух горцев. Генерал Раевский¹⁴, делая представление об отличившихся, велел написать в донесении своем, что рядовой саперной роты такой-то убил пятерых горцев. Лишь только Игельстром узнал об этом, то отправился к генералу и объяснил ему неверность слухов, дошедших до него, и что он, застрелив только двух, не берет на себя того, чего не сделал. Тогда Раевский, засмеявшись, сказал ему: «Пожалуйста, подари мне этих троих в счет будущего...» Донесение пошло, и Игельстром произведен был в офицеры.

Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в майоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен, — уж такая натура! Он свел меня с Дмитриевским, нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитриевский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говаривал обыкновенно: «После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза».

Дмитревскому везло, как говорится, и по службе; он назначен был вице-губернатором Кавказской об-

ласти, но, к сожалению, недолго пользовался этими благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф его «Карих глаз».

* * *

Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, а Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы, но для меня они были слишком шумны, и я не пользовался ими часто. В это же время приехал из Тифлиса командир Нижегородского драгунского полка, полковник Сергей Дмитриевич Безобразов, один из красивейших мужчин своего века, и много прибавил к веселью блестящей молодежи. Я знал его еще в Варшаве, когда он был адъютантом в. к. Константина Павловича. В то время его смело можно было назвать Аполлоном Бельведерским, а при его любезности, ловкости, умении танцевать, в особенности мазурку, не мудрено было ему сводить всех полек с ума. В 1841 году я нашел Безобразова уже не тем, и время взяло свое, хотя еще оставило следы прежней красоты.

В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике, которая более или менее, само собою (разумеется), была между собою знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллей у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более 2500 разноцветных фонарей... Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных знаменитостей не жили слух очарованных гостей, бальная музыка стояла в аллее.

Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана была шальями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было огромное зеркало в серебряной оправе, щетки, гребни, духи, помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бежали туда для того только, чтоб полюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим желанием и настроением, выказала себя в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К 8 часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и веселящихся счастливцев.

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил:

— Видите ли вы даму Дмитревского?.. Это его «карие глаза»... Не правда ли, как она хороша?

Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и, в самом деле, нашел ее красавицей. Она была в белом платье какой-то изумительной белизны и свежести. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны, а из-за уха только спускались красивыми локонами на ее плечи; единственная нитка крупного жемчуга красиво расположилась на лебединой шее этой молодой женщины как бы для того, чтобы на ее природной красоте сосредоточить все внимание наблюдателя. Но главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Красавица, как бы не зная, что глаза ее прелестны, иногда прищуривалась, а обращаясь к своему кавалеру, вслед за сим скромным движением, обдавала его таким огнем, что в состоянии была бы увлечь и, вероятно, увлекала не одного своего поклонника. Я не любопытствовал узнать, кто она, боясь разочароваться тою обстановкой, которою она

может быть окружена. Я не хотел знать даже, замужем ли она, опасаясь, что мне назовут и укажут какого-либо уродливого мужа-грузина, армянина или казачьего генерала. На другой день бала она уехала из Пятигорска, а счастливый Дмитревский полетел за ней¹⁵.

Бал продолжался до поздней ночи или, лучше сказать, до самого утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться. Я говорю «расходиться», а не «разъезжаться», потому что экипажей в Пятигорске нет, да и участницы бала жили все недалеко, по бульвару. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва заметной утренней зари.

Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк: «и тихо край земли светлеет, и вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день»¹⁶, а я все еще сидел, погруженный в мои мечты, устремив взоры мои в величественный Машук, у подошвы которого тогда находился. Медленными шагами добрал я до своего жилища, и хотя вся долина спала еще в синем тумане, но Эльборус горел уже розовым атласом. При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанет для многих или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление?

В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут, и потом растались, а я и не предчувствовал, что вижу его в последний раз... Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и (15) июля он был убит.

Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ, в линейный казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и, когда Лермонтов позволил себе неуместные

шутки в обществе дам, называя Мартынова «*homme à poignard*» *, потому, что он, в самом деле, носил одежду черкесскую и ходил постоянно с огромным кинжалом у пояса, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды снова сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал остерить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозы никих не боится, а поведения своего не переменит.

Наутро враги взяли себе по секунданту, Мартынов — Глебова, а Лермонтов — А. Васильчикова ¹⁷. Товарищи обоих, находя, что Лермонтов виноват, хотели помирить противников и надеялись, что Мартынов смягчится и первым пожелает сближения. Но судьба устроила иначе, и все переговоры ни к чему не повели, хотя Лермонтов, лечившийся в это время в Железноводске, и уехал туда по совету друзей. Мартынов остался непреклонен, и дуэль была назначена. Антагонисты встретились недалеко от Пятигорска, у подошвы Машука, и Лермонтов был убит наповал — в грудь под сердце, на-вылет.

На другой день я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вигелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

— Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. «Когда? Кем?» — мог я только воскликнуть.

Мы оба с Вигелиным пошли к квартире покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головой к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стал тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами... Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на

* человек с кинжалом (франц.).

всех аллеях, только и было разговоров что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно¹⁸.

Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова — в острог, и следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Траскин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.

Со смертью Лермонтова отечество наше лишилось славного поэта, который мог бы заменить нам отчасти покойного А. С. Пушкина, который так же, как и Грибоедов, и Бестужев, и Одоевский, все умерли в цветущих летах, полные сил душевных, умственных и телесных, и не своею смертью.

На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнею почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я — от Тенгинского пехотного, Тиран — от лейб-гусарского и А. Арнольди — от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатоости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.

Через год тело Лермонтова по просьбе бабки его перевезено было в родовое имение его, кажется, Пензенской губернии.

* * *

На другой день я переехал в Железноводск, где находилась и половина семейства Арнольди. (...) Однажды явился ко мне казак с известием, что губернатор

Хомутов приехал и просит меня в Пятигорск. Я собрался и приехал. При выезде из Железноводска урядник останавливает моих лошадей.

— Что это значит? — спросил я его.

— При захождении солнца не велено никого выпускать.

— Но, помилуй, солнце еще высоко.

— Никак нельзя, ваше благородие.

— Вот тебе, любезный, двугривенный, пусти меня, и (я) успею засветло переехать благополучно в Пятигорск.

— Извольте ехать, ваше благородие, солнце и впрямь еще не село, — сказал мне соблазненный часовой, и я поехал.

На другой день я прощатался с Хомутовым и племянницей его по Пятигорску, а вечер провел на бульваре, в толпе гуляющих, при звуке музыки полковой, которая особенно часто тешит публику любимым *Augore-valse* *.

— Чем кончится судьба Мартынова и двух секундантов? — спросил я одного знакомого.

— Да ведь царь сказал: «туда ему и дорога», узнав о смерти Лермонтова, которого не любил, и, я думаю, эти слова послужат к облегчению судьбы их, — отвечал он мне.

И в самом деле, в то время, когда дуэли так строго преследовались, с убийцею и секундантами обошлись довольно снисходительно. Секундантам зачли в наказание продолжительное содержание их под арестом и велели обойти чином, а Мартынова послали в Киев на покаяние на 12 лет. Но он там скоро женился на прехорошенькой польке и поселился в своем собственном доме в Москве.

* вальсом Авроры (франц.).

Э. А. ШАН-ГИРЕЙ

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли М. Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно, и письменно; даже печатно принуждена была опровергать ложное обвинение, будто я была причиною дуэли. Но, несмотря на все мои заявления, многие до сих пор признают во мне *княжну Мери*.

Каково же было мое удивление, когда я прочла в биографии Лермонтова в последнем издании его сочинений:¹ «Старшая дочь ген. Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, отдавая преимущество последнему, чем и возбудила в них ревность, что и подало повод к дуэли».

В мае месяце 1841 года М. Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи. Он нисколько не ухаживал за мной; а находил особенное удовольствие *me taquiner**. Я отделялась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез; я вспыхнула и сказала, что ежели бы я была мужчиной, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из

* дразнить меня (*франц.*).

терпения, просил прощения, и мы помирились, конечно, ненадолго. Как-то раз ездили верхом большим обществом в колонку Каррас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари à discrétion*, что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

В начале июля Лермонтов и компания устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шелковыми материями, в виде персидской палатки, пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебнo-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство.

Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости; бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили всей толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: «пишите!» И написал он шутку-экспромт.

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежно
Над шейкою нежной...
На поясе нож.
C'est un vers qui cloche! ** 2

* По усмотрению выигравшего (франц.).

** Вот стих, который хромает (франц.).

Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью курда. Все это цело и теперь у дочери ее.

Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13-го июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее³. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «Mlle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la dernière fois de ma vie»*. — «Ну уж так и быть, в последний раз, пойдемте». — Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык à qui mieux**.

Несмотря на мои предостережения, удерживать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «montagnard au grand poignard»*** (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал.) Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard**** раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «язык мой враг мой», Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis»*****. Танцы продолжались, и я думала, что тем

* Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни (франц.).

** наперебой (франц.).

*** горец с большим кинжалом (франц.).

**** кинжал (франц.).

***** Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями (франц.).

кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да», и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах.

15-го июля пришли к нам утром кн. Васильчиков и еще кто-то, не помню, в самом пасмурном виде; даже татап заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем князя Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас прийти на горку смотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий. Собираться в сад должны были в 6 часов; но вот с четырех начинает накрапывать мелкий дождь; надеясь, что он пройдет, мы принарядились, а дождь все сильнее да сильнее и разразился ливнем с сильнейшей грозой: удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать *этих господ* всех сюда и устроить свой бал; не успел он закончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: «*Один наповал, другой под арестом!*» Мы бросились к нему — что такое, кто наповал, где? «*Лермонтов убит!*» Такое известие и столь внезапное до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли ее успокоить. От Дмитревского узнали мы подробнее, что случилось. Вот что он нам сообщил.

Когда назначили день, то условились так: Лермонтов и Столыпин выедут верхом из Железноводска; а Васильчиков, Глебов, Мартынов и Трубецкой к ним навстречу из Пятигорска. В колонке Каррас Лермонтов и

Столыпин нашли m-lle Быховец и ее больную тетку, ехавших в Железноводск лечиться; вместе обедали, и Лермонтов выпросил у Быховец bandeau* золотое, которое у нее было на голове, с тем, что на другой же день оно будет возвращено ей, ежели не им самим, то кем-нибудь из его товарищей. Не придавая большого значения этим словам, она дала ему bandeau, которое и нашли у него в кармане, что подало повод думать, не была ли причиною дуэли m-lle Быховец; конечно, скоро в этом разуверились, а bandeau было возвращено ей⁴. Выехав из колонки, Лермонтов, Столыпин и прочие свернули с дороги в лес, недалеко от кладбища, и остановились на первой полянке, показавшейся им удобной: выбирать было и трудно под проливным дождем. Первый стрелял Мартынов, а Лермонтов будто бы прежде сказал секунданту, что стрелять не будет, и был убит наповал, как рассказывал нам Глебов.

Когда мы несколько пришли в себя от такого тревожения, переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором; позднее провели Глебова под караул на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провел ужасных три ночи в сообществе двух арестантов, из которых один все читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии. К 9-ти часам все утихло. Вечер был чудный, тишина в воздухе необыкновенная, луна светила как день. Роковая весть быстро разнеслась по городу. *Дуэль* неслыханная вещь в Пятигорске! Многие ходили смотреть на убитого поэта из любопытства; знакомые же его из участия и желания узнать о причине дуэли спрашивали нас, но мы и сами ничего не знали тогда верного. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шепотом, точно боялись, чтобы их слова не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта, спавшего уже непробудным сном. На бульваре и мюзика два дня не играла.

На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным

* обруч, который носили на голове (франц.).

и неотступным просьбам кн. Васильчикова и других, но с условием, чтобы не было музыки и никакого парада. Наконец приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр, тотчас повернул назад; музыку мгновенно отравили, но зато много усилий употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище; гроб несли товарищи; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало: ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами.

Похоронили и положили небольшой камень с надписью: *Михаил*, как временный знак его могилы (потому что весной 1842 года его увезли; мы были, когда вынули его гроб, поставили в свинцовый, помолились и отправили его в путь). Во время панихиды мы стояли в другой комнате, где лежал его окровавленный сюртук, и никому тогда не пришло в голову сохранить его. Несколько лет спустя мне случилось быть в Тарханах и удалось поклониться праху незабвенного поэта; над могилою его выстроена маленькая часовня, в ней стоит один большой образ (какого святого, не помню) и *ветка Палестины*, подаренная ему А. Н. Муравьевым, в ящике под стеклом. Рядом с Михаилом Юрьевичем похоронена и бабушка его Арсеньева. Тарханы опустели, и что стало теперь с часовней!

Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха (ей тогда было всего 16 лет). Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом, а потом и совсем всех троих освободили; тогда они бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии.

Глебов предложил мне карандашик в камышинке, который Лермонтов постоянно имел при себе, записывал и рисовал им что приходилось, и я храню его в память о поэте, творениями которого я всегда восторгалась.

Глебов рассказывал мне, какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях — темно, кони привязанные ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром непрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хотел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим, и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру.

Не знаю, насколько займет читающую публику мое воспоминание давно минувшего, но я сказала все, что было в продолжение двухмесячного моего знакомства с Лермонтовым. Надеюсь, что наконец перестанут видеть во мне княжну Мери и, главное, опровергнут несправедливое обвинение за дуэль,

Н. Ф. ТУРОВСКИЙ

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ В 1841 ГОДУ

Между пяти гор: Бештау, Машука, Змеиной, Лысой и Железной, — лежит небольшой, красивенький городок Пятигорск. <...>

Съезд нынешнего курса невелик и очень незамечателен. Дам мало, да и те... Только в последний месяц явление хорошенькой генеральши Ор(ло)вой с хорошенькими сестрами М. П., наделало шуму; в честь их кавалеры дали роскошный *bal champêtre** в боковой аллее бульвара. В 39 году съезд дам был тоже невелик и мало интересен; но тогда блистала графиня Ростопчина, которая везде и в скромной беседе, и в шумном собрании, и в поэтических мечтаниях, — везде мила, везде завлекательна.

Мужчины — большею частью пехотные жалкие армейцы, которых сперва выставляют черкесам, как мишень, а потом калеклами присылают лечить на воды. Есть и гвардейцы: им или *вреден север*¹, или нужен крестик; также встретите интересных петербуржцев, искателей новых сил для новых соблазнов столичной жизни: один из них В. В. Дж. остался мне постоянно приятным знакомым. Но самые занимательные из посетителей — это помещики в венгерках, с усами и без причесок; они пожаловали так, — от нечего делать: поиграть в карты и отведать кахетинского.

20 июня. Несносна жизнь в Пятигорске. Отдавши долг удивления колоссальной природе, остается только

* сельский бал (франц.).

скучать однообразием; один воздух удушливый, серный отвратит всякого. Вот утренняя картина: в 5 часов мы видим — по разным направлениям в экипажах, верхом, пешком тянутся к источникам. Эти часы самые тяжелые; каждый обязан проглотить по несколько больших стаканов гадкой теплой воды до 10 и более: такова неприменная метода здешних медиков. Около полудня все расходится: кто в ванны, кто домой, где каждого ожидает стакан маренового кофе и булка; обед должен следовать скоро и состоять из тарелки *Wassersuppe* и *deux oeufs à la coque** со шпинатом. В 5 часов вечера опять все по своим местам — у колодцев с стаканами в руках. С 7 до 9 часов чопорно прохаживаются по бульвару под звук *музыки полковой*; тем должен заключиться день для больных. Но не всегда тем кончается, и как часто многие напролет просиживают ночи за картами и прямо от столов как тени побредут к водам; и потом они же бессовестно толкуют о бесполезности здешнего лечения.

По праздникам бывают собрания в зале гостиницы, и тутошние очень веселятся.

21 июня. Нынешняя почта насмешила меня; петербургские знакомцы завидуют мне, проказники. Они там слушают Олебуля и на огне² разъезжают по узорчатым дачам, а я здесь, от нечего делать, карабкаюсь по горам. Не дальше как вчера чуть было головы не сломил, въезжая верхом на Машук; и для чего же? Чтобы взглянуть на свое имя и возле 1839 г. поставить 1841. Вид отсюда в ясную погоду очаровательный, единственный в природе. У самой подошвы горы белеются Пятигорск и Горячеводск; между ними узкой лентой вьется Подкумок; влево (в 40 в.) Георгиевск как на ладони; по сторонам в разных расстояниях клумбами разбросаны станицы и аулы; далее донебесные великаны, простираясь амфитеатром, оканчиваются снежною цепью гор, между которыми Эльбрус, как бы в серебряных волнах, сливается с Казбеком.

На самой вершине Машука, на небольшой площадке, возвышается столб; на нем множество имен, надписей, стихов; тут же простодушная надпись Хозрев-Мирзы: «Добрая слава, оставленная по себе человеком,

* Каша на воде и два яйца всмятку (нем. и франц.).

лучше золотых палат» и пр. Как нежно рассуждают эти звери, а спосить бы у правоверных братьев: не болят ли у них пятки.

Лучшая, приятная для меня прогулка была за 18 верст в Железноводск; самое название говорит, что там железные ключи; их много, но самый сильный и употребительный № 8, который, вместе с другими, бьет в диком лесу; между ними идет длинная, прорубленная аллея. Здесь-то в знойный день — истинное наслаждение: чистый ароматический воздух, и ни луча солнечного. Есть несколько источников и на открытом месте, где выстроены казенные домики и вольные для приезжающих. Виды здешние не отдалены и граничат взор соседними горами; но зато сколько жизни и свежести в природе. Как нежна, усладительна для глаз эта густая зелень, которою, как зеленым бархатом, покрыты горы.

На половине пути лежит немецкая колония, называемая Шотландкой; она крестообразно пересечена двумя улицами; на самой середине, под навесом стоит пушка и боевой ящик, так что если бы вздумалось заглянуть сюда черкесам, как то и было, то одной пушкой по всем направлениям можно их засыпать картечью. В колонии вы найдете дешевый и вкусный обед.

Армяне господствуют в Пятигорске; вся внутренняя торговля в их руках: армянин и в лавках, и в гостинице, и в мастерских. Но главное их занятие — серебряные изделия с чернью, как-то: обделка седел, палок, трубок, колец, наперстков и пр.; все это чрезвычайно дорого и вовсе не изящно; но раскупается с большой жадностью; каждый посетитель как бы обязан вывезти что-нибудь на память с надписью: «Кавказ, такого-то года».

Есть несколько хороших лавок персидских с коврами и азиатскими материями.

Жизненные припасы дешевы до крайности; их поставляют колонисты и мирные черкесы из соседних аулов.

18 июля. Лермонтова уже нет, вчера оплакивали мы смерть его. Грустно было видеть печальную церемонию, еще грустней вспомнить: какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас — лучшего поэта. Вот подробности несчастного происшествия,

«Язык наш — враг наш». Лермонтов был остер, и остер иногда до едкости; насмешки, колкости, эпиграммы не щадили никого, ни даже самых близких ему; увлеченный игрою слов или сатирической мыслью, он не рассуждал о последствиях: так было и теперь.

15-го числа утро провел он в небольшом дамском обществе (у Верзилиных) вместе с приятелем своим и товарищем по гвардии *Мартыновым*, который только что окончил службу в одном из линейных полков и, уже получивши отставку, не оставлял ни костюма черкесского, присвоенного линейцам, ни духа лихого *джигита*, и тем казался действительно смешным. Лермонтов любил его, как *доброе малое*; но часто забавлялся его странностью; теперь же больше, нежели когда. Дамам это нравилось, все смеялись, и никто подозревать не мог таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду.

«Оставь свои шутки — или я заставлю тебя молчать» — были слова его, когда они возвращались домой. *Готовность всегда и на все* — был ответ Лермонтова, и через час-два новые враги стояли уже на склоне Машука с пистолетами в руках³.

Первый выстрел принадлежал Лермонтову, как вызванному; но он опустил пистолет и сказал противнику: *«Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь»*...

Ожесточение не понимает великодушия: курок взведен, паф, и пал поэт бездыханен.

Секунданты не хотели, или не сумели затушить вражды (кн. Васильчиков и конногв. офицер Глебов); но как бы то ни было, а Лермонтова уже нет, и новый глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую.

В продолжение двух дней теснились усердные поклонники в комнате, где стоял гроб.

17-го числа, на закате солнца, совершенно погребение. Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождавших выразили потерю общую, незаменимую.

Как недавно, увлеченные живою беседой, мы переносились в студенческие годы; вспоминали прошедшее, разгадывали будущее... Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг и возвратиться к

удовольствиям севера; я не утаил надежд *наших*, — *литературных*, и прочитал на память одно из лучших его произведений. Черные большие глаза его горели; он, казалось, утешен был моим восторгом и в благодарность декламировал несколько стихов, которые и теперь еще звучат в памяти моей.

Вот они:

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —

Такая пустая и глупая шутка...

Так провел я в последний раз незабвенные два часа
с незабвенным Лермонтовым.

Е. Г. БЫХОВЕЦ

ИЗ ПИСЬМА

Пятигорск, 1841 г., августа 5-го, понедельник.

Как же я весело провела время. Этот день молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шаями; колонны обвиты цветами, и люстры все из цветов: танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер очаровательный, небо было так чисто; деревья от освещения необыкновенно хороши были, аллея также освещена и в конце аллеи была уборная прехорошенькая; два хора музыки. Конфет, фрукт, мороженого беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали; после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов, как *cousin*, предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил.

Мы с ним так дружны были — он мне правнучатый брат — и всегда называл *cousine*, а я его *cousin* и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем *charmante cousine** Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.

* очаровательная кузина (франц.).

Этот пикник последний был; ровно чрез неделю мой добрый друг убит, а давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!

Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры (на него) его беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом; он его назвал при дамах *m-g le poignard* и *Sauvage*’ом *. Он (Мартынов) тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним.

Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупый вызвал Лермонтова. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел, (они) не могли его видеть — и тут еще любовь: он был страстно влюблен в В. А. Бахметьеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был ¹.

Чрез четыре дня он поехал на Железные; был (в) этот день несколько раз у нас и все меня упрашивал приехать на Железные; это 14 верст отсюда. Я ему обещала и 15-го (июля) мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной ² в коляске, а Дмитревский и Бенкендорф и Пушкин — брат сочинителя ³ — верхами.

На половине дороги в колонке мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же, уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез (он меня) благодарил, что я приехала, умаливал,

* Господин кинжал и дикарь (франц.).

чтоб я пошла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.

В колонке обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:

— Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов, а (в) 8 пришли сказать, что он убит. Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков⁴, которых они заставили поклясться, что никому не скажут; они так и сделали.

Лермонтову так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навывлет! Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила, я и теперь не могу его вспомнить.

Прощай, мой милый друг, грустно и пора на почту. Сестра и брат вам кланяются. Я тебя и детишек целую бесчисленно раз. Не забывай верного твоего друга и обожающую тебя сестру

Катю Быховец.

Сейчас смотрела на часы, на почту еще рано, и я еще с тобою поговорю. Дмитриевский меня раздосадовал ужасно: бандо мое, которое было в крови Лермонтова, взял, чтоб отдать мне, и потерял его; так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест. Я была на похоронах: с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть.

Он мертвый был так хорош, как живой. Портрет его сняли,

ПОЛЕВОДИН

ИЗ ПИСЬМА

Июля 21-го 1841 г. Пятигорск.

Плачьте, милостивый государь, Александр Кононович, плачьте, надевайте глубокий траур, нашивайте плёрезы, опепелите Вашу главу, берите из Вашей библиотеки «Героя нашего времени» и скачите к Лёренцу, велите переплести его в черный бархат, читайте и плачьте. Нашего поэта нет, — Лермонтов 15-го числа текущего месяца в 7 часов пополудни убит на дуэли отставным майором Мартыновым. Неисповедимы судьбы твои, господи! И этот возрождающийся гений должен погибнуть от руки подлеца: Мартынов — чистейший сколок с Дантеса. Этот Мартынов служил прежде в кавалергардах, по просьбе переведен в Кавказский корпус капитаном¹, в феврале месяце отставлен с чином майора, — и жил в Пятигорске, обрил голову, оделся совершенно по-черкесски и тем пленял, или думал пленять, здешнюю публику. Мартынов никем не был терпим в кругу, который составлялся из молодежи гвардейцев. Лермонтов, не терпя глупых выходок Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над Мартыновым, желая, вероятно, тем заметить, что он ведет себя неприлично званию дворянина. Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться — сердился, Лермонтов более и более над ним смеялся; но смех его был хотя едок, но всегда деликатен, так что Мартынов никак не мог к нему придрататься. В одно время Лермонтов с Мартыновым и прочею молодежью были у В(ерзилиных) (семейство казацкого ге-

нерала). Лермонтов, в присутствии девиц, трунил над Мартыновым целый вечер, до того, что Мартынов сделался предметом общего смеха, — предложением к тому был его, Мартынова, костюм. Мартынов, выйдя от Верзилиных вместе с Лермонтовым, просил его на будущее время удержаться от подобных шуток, а иначе он заставит его это сделать. На это Лермонтов отвечал, что он может это сделать завтра и что секундант его об остальном с ним условится. На другой день, когда секунданты (прапорщик конногвардейский Глебов и студент князь Васильчиков)² узнали о причине ссоры, то употребили все средства помирить их. Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов никак не соглашался. Приехав на место, назначенное для дуэли (в двух верстах от города на подошве горы Машука, близ кладбища), Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желанию Мартынова, но стрелять в него ни в каком случае не будет. Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходитьсь. Лермонтов весьма спокойно подошел первый к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взглядом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, в душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит свое слово, и радуясь, что тот не стреляет, прицелился в Лермонтова. В это время Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать и *потупили очи долу* (все это сказание секундантов). У Мартынова опустился пистолет. Потом он, собравшись с духом и будучи подстрекаем презрительным взглядом Лермонтова, прицелился, — выстрел... Поэта не стало! После выстрела он не сказал ни одного слова, вздохнул только три раза и простился с жизнью. Он ранен под грудь навывлет. На другой день толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и усыпали его оными, некоторые делали прекраснейшие венки и клали близ тела покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. 17-го числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб его до самого кладбища несли штаб- и обер-офицеры и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаления и ропот публики не умол-

кали ни на минуту. Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь 6-й день после этого печального события, но ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмертного поэта, весьма убит смертью Лермонтова, он был лучший его приятель. Лермонтов обедал в этот день с ним и прочею молодежью в Шотландке (в 6-ти верстах от Пятигорска) и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться чрез час. Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести. <...>

Лермонтов похоронен на кладбище, в нескольких саженях от места поединка³. Странная игра природы. За полчаса до дуэли из тихой и прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря; весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть. Буря утихла, и чрез пять минут пошел проливной дождь. Секунданты говорят, что как скоро утихла буря, то тут же началась дуэль, — и лишь только Лермонтов испустил последний вздох, — пошел проливной дождь. Сама природа плакала об этом человеке. Много бы еще подробностей я мог Вам сообщить о жизни его здесь на Кавказе, но лист оканчивается. <...>

Больно вспомнить, что Кавказ в самое короткое время лишил нас трех прекраснейших писателей — Марлинского, Веревкина⁴ и Лермонтова.

А. П. СМОЛЬЯНИНОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

9 августа 1841 г. Что сделать с тем, который, гнозясь все священное, презрев всеми чувствами, попрал, затоптал стыд, совесть, честь, который, унизившись до степени животного, отымают у бедного, умирающего голодную смертью, последний кусок, единственную надежду его — и все для того, чтобы удовлетворить свой каприз, сделать по-своему? Или что сделать с тем, кто, удовлетворяя своим глупым страстям, позорит, развращает невинную девушку, губит ее навек, и потом через короткое время сам же покидает ее на произвол судьбы? Суд людской определит ли наказание, достойное этих двух преступников? Глас божий разразится ли над ними?.. Теперь другой вопрос: как поступить с убийцею нашей славы, нашей народной гордости, нашего Лермонтова, причислить ли его к категории первых двух преступников или глядеть на него еще хуже — тем более что он русский... нет, он не русский после этого, он недостойн этого священного имени... — Увы, Лермонтова нет, к несчастью, это верно — хотя мы и желаем, чтобы это были неверные слухи — он убит — убит подлым образом — рукою Мартынова — дуэль была за М-е Steritch¹. Секунданты были со стороны Лермонтова — Глебов, а со стороны того — Васильчиков — сын Иллариона Васильевича² — председателя Государственного совета — и государь сказал ему, что его седины не спасут сына. — Кавказ, блаженный Кавказ был свидетелем Его смерти, он счастлив, по крайней мере, в этом отношении, а мы несчастные, мы бедные, лишены даже и

трупа этого гения нашего века. Рано последовал он Пушкину, рано скрылся от нас. — Поступок Мартынова подл, низок, ему, конечно, не следовало отказываться от вызова и не следовало также пользоваться счастьем — первым выстрелом, он должен был разрядить его на воздух — в этом случае я скорей бы самим собой пожертвовал — мне было бы счастье погибнуть от руки Лермонтова — и честь моя была бы ограждена. — Не так поступил Мартынов, он низок в моих глазах; дайте мне право, дайте мне власть, я бы выдумал для него достойное наказание; но я пока простой человек, я ничто, — я раздражен и жестоко раздражен — уста мои одни только в движении, они поминутно лепечут: *сага vendetta, сага vendetta* *. Да, это не пустые звуки, не простые слова — они осуществляются со временем. Две тени, две милые дорогие тени³ зывают ко мне, требуют мщения, я отвечу им — заплачу должное должным — будет время, будет мщение *сага, сага, vendetta, vendetta*.

2 октября 1841 г. Кстати о Лермонтове: я должен загладить мою оговорку, должен описать действительную причину его смерти, а не ту, которая была мною рассказана 9-го августа, а мне передана в искаженном виде. — Итак, была иная причина смерти Лермонтова, — и эта иная причина достоверна, потому что почерпнута мною из письма из Пятигорска (где погиб поэт) барона Розена к брату одного из моих товарищей⁴, который сам читал мне это письмо. Печальное это событие происходило в Пятигорске, где Лермонтов лечился. — Из числа молодежи тамошнего водяного общества находился некто Мартынов, отставной артиллерист⁵, редкий стрелок. Едва показался он в том краю, как своими странными манерами, неуместными выходками и, как видно, даже ограниченностью ума навлек какое-то особое чувство на душу поэта, который сначала начал тайно, а потом уж и явно над ним насмехаться, давал ему разные эпитеты, как напр., «*Montagnard au grand poignard*» **, и это было не без причины, Мартынов носил на себе всегда бурку и имел пистолет. — 14 июля⁶ Лермонтов был в каком-то особенном распо-

* сладкая месть, сладкая месть (*итал.*).

** Горец с большим кинжалом (*франц.*).

ложении духа, — видно было, что он был чем-то недоволен, и в эту минуту нужен был ему человек, над которым бы он мог излить свое неудовольствие. Является Мартынов, чего лучше, шутки и колкие сатиры начинаются. — Мартынов мало обращал на них внимания или, лучше, не принимал их на свой счет и не казался обиженным. — Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже прямо адресуется к Мартынову с вопросом, читал ли он «Героя нашего времени»? — «Читал», — был ответ. — «А знаешь, с кого я списал портрет Веры?» — «Нет». — «Это твоя сестра»? Не знаю, что было причиною этого вопроса, к чему сказаны эти слова: «Это твоя сестра», которые стоили Лермонтову жизни, а нас лишили таланта, таланта редкого, — следствием этих слов был, конечно, вызов со стороны Мартынова. — Благородно он поступил, всякий бы сделал то же на его месте, но одно его не оправдывает, это именно то, что зачем он стрелял не на воздух — и удар его был так верен, что был нацелен и попал прямо в сердце, — и пуля тогда только достигла своего назначения, когда Лермонтов сам подымал руку и наводил на противника пистолет. В дополнение выпишу статью г-на Андриевского, помещенную в 63-м № «Одесского вестника»⁸. Вот она: «Пятигорск. — 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта...»

En ce cas je fais ce que font les femmes qui mettent en P. S. ce qui les intéresse le plus*.

* В этом случае я поступаю так, как поступают женщины, которые помещают в постскрипуме то, что их больше всего интересует (*франц.*).

Т. А. БАКУНИНА

ИЗ ПИСЬМА К Н. А. БАКУНИНУ

Пятница, утро, 25 или 26 сентября не знаю, а знаю, что год 1841...

⟨Ржевский⟩¹ сейчас рассказывал про Лермонтова, он видел его убитого, он знал его и прежде; почти поневоле шел он на дуэль, этот страшный дуэль, и там уже на месте сказал М⟨артынову⟩, что отдает ему свой выстрел, что причина слишком маловажна, слишком пуста, и что он не хочет стреляться с ним. Но Мартынов непременно требовал, оба прицелились, Лермонтов повернул пистолет в сторону, а тот убил его.

Невыносимо это, всю душу разрывает, так погибнуть, погибнуть поневоле лучшей надежде России; горе во мне, какое бы ни было, как-то худо облегчается временем, напротив, это все увеличивающаяся боль, которую я все сильнее, все мучительнее чувствую, покуда она не обхватит всю меня и я как будто потеряюсь в ней.

Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного сделал, — но не все же забудут, и по себе чувствую, что скорбь об нем не может пройти, он будет жить, правда не для многих, но когда же толпа хранила святое или понимала его.

Мне кажется, я слышу, как все эти умные люди рассуждают, толкуют об Лермонтове, одни обвиняют, другие с важностью извиняют его, просто противно. Если же не противно, так уморительно смешно. Мне кажется, «Московский вестник» очень верное выражение этого общества, его ничтожества и чванно-натянутой важности²,

А. Я. БУЛГАКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

Странную имеют судьбу знаменитейшие наши поэты, большая часть из них умирает насильственной смертью. Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского (Бестужева)... Теперь получено известие о смерти Лермонтова. Он был прекрасный офицер и отличнейший поэт, иные сравнивают его даже с самим Пушкиным. Не стало Лермонтова! Сегодня (26 июля) получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах; он был убит, убит не на войне, не рукою черкеса или чеченца, увы, Лермонтов был убит на дуэли — русским! Вот как рассказывают это печальное происшествие. Молодой Мартынов Николай (сын покойного Соломона Михайловича Мартынова, известного только потому, что он разбогател от московских винных откупов), служивший прежде в кавалергардском полку, перешедший оттуда в какой-то казачий линейный полк, а потом оставивший совершенно службу, поехал на Кавказ лечиться. Там съехался он с Лермонтовым, с коим некогда вместе служил. Мартынов показывался всякий день на водах в каком-то необыкновенном костюме и волочился за одною дамою, и довольно неудачно. Лермонтов сочинил на него какие-то стихи, к коим присовокупил и нарисованный им очень похожий портрет Мартынова в странном его костюме. Все это он поднес самому Мартынову, первому ему показал сам — но Мартынов не принял это как шутку, а выйдя из себя, требовал сатисфакции за то, что называл обидою. Тщетны были все усилия Лермонтова, ему сделалось наконец невозможным отклонить настояния своего противника.

Назначен день, час дуэли, выбраны секунданты. Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна только шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. «Стреляй! Стреляй!» — был ответ испугленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце¹. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный, храбрый офицер, Мартынов поступил как убийца. Он посажен в острог, а секунданты на гауптвахту. Одно обстоятельство еще более умножает вину Мартынова. Убив Лермонтова и страшась ожидавшей его судьбы, он хотел бежать... бежать, и куда же? К чеченцам, нашим неприятелям. Он был пойман на дороге и отдан военному начальству². Армия закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера, а Россия одного из лучших своих поэтов. Не знают, что будет с бедною его бабкою Арсеньевой. Она взяла к себе Лермонтова еще в колыбели, дала ему отличное воспитание, накопила ему прекрасное состояние, для него одного жила и долго противилась нелепому его желанию ехать на Кавказ учиться военному ремеслу на самом деле. Наконец должна была согласиться на желание внука своего!³ Я не знал Лермонтова, но как не пожалеть об нем?! — хоть и говорят, что он был нрава сварливого и имел уже подобного рода историю с сыном французского посла барона Баранта за жену нашего консула в Гамбурге, известную красавицу⁴.

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

31 июля 1841. Москва.

Не знаю, известно ли уже у вас о смерти Лермонтова. Он убит — и убит не черкесом, не чеченцем, а убит русским на дуэли. Сообщу тебе подробности, кои мне известны и кои слышал от Путяты¹, а он знает их по письму князя Владимира Голицына к жене². Съехались в Пятигорске Лермонтов с Мартыновым, сыном Соломона, нашего здешнего покойного Соломона Михайловича³. Этот сын служил в кавалергардах, перешел в линейные казаки, наконец вышел в отставку и поехал лечиться на Кавказ. Он приволачивался за какою-то дамою, не очень успешно. Лермонтов сделал стихи и маленькую карикатурку, в коей Мартынов представлен в своей странной одежде, и все это посвятил ему же, Мартынову, с коим, бывало, служил вместе, но Мартынов принял это иначе, вспыхнул, не могли его урезонить, драться, да и полно. Нельзя было Лермонтову отказать. Судьба ему предоставляла первый выстрел. Он объявил Мартынову, что не имел в виду его оскорбить, что все была одна шутка, и что он ему же все первому показал, чтобы вместе посмеяться, но что ежели он не так это принимает, то он, Лермонтов, при всех тотчас же готов просить у него прощение, но ответ был: Стреляй! — Я буду стрелять, но только не в тебя, — сказал Лермонтов и выстрелил на воздух — конечно, справедливость и благородство требовали, чтобы Мартынов сказал своему сопернику (ежели уже хотел непременно драться): этак неразумно, заряжай пистолет вновь, и целься получше, потому что я буду искать убить тебя — вместо того Мартынов подошел к самому Лермонтову, выстрелил ему *à bout portant** прямо в сердце. Смерть была скоропостижна, как выстрел. Удивительно, что секунданты допустили такой бесчеловечный поступок. Слышно также, что Мартынов хотел бежать в Одессу, а другие говорят: к горцам, как будто Одесса не та же Россия⁴. Секунданты на гауптвахте, а Мартынов посажен в острог. Это было 15 июля. Все чрезмерно жалеют о Лермонтове, одну имел смерть с Пушкиным, а жаль необычный талант, так много его имел. Жаль!

* в упор (франц.).

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ ПИСЬМА К А. Я. БУЛГАКОВУ

4 августа 1841 г. Царское Село.

Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвиг-Филиппа¹. Второй раз не дают промаха. Грустно!..

Сейчас получаю и письмо твое². Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова, особенно когда он сознавался в своей вине³.

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

В одно время с выпискою из письма Жуковского дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участях¹. Тут есть, однако, какой-то отпечаток провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. — Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удач-

нее, чем в Людвиг-Филиппа: во второй раз, что не дают промаха. — По случаю дуэли Лермонтова кн. Александр Николаевич Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит и не совсем правильно, по крайней мере так в городе говорили, и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке².

А. И. ВАСИЛЬЧИКОВ

ПИСЬМО К Ю. К. АРСЕНЬЕВУ

Пятигорск, 30 июля <1841 г.>

Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев¹, что так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется по крайней мере без кровопролития. С первого выстрела Лермонтов упал и тут же скончался.

Н. В. Перевернув страницу, я заметил, что она уже исписана; ленюсь переписывать и продолжаю, читай как умеешь.

Мы состоим под арестом, и производится следствие. Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с Столыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым. В Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как в степи. Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета... Но, что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной мучительной болезни². А Лермонтов, по крайней мере, без страданий. Жаль его! Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а может быть, и с

славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости.

Ничего не умею тебе сказать нового о водах и водяном обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему. Эмилия все так же и хороша и дурна; Наденька не выросла; Груша³ не помолодела. Дома Ребровы стоят на том же месте. В гостинице в окошках стекла вставлены. По вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей участи.

Напиши мне, где Долгорукий⁴. Не уехал ли он за границу. Кланяйся всем знакомым.

Скучно! Грустно!

Твой преданный *Александр Васильчиков.*

**НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И О ДУЭЛИ ЕГО
С Н. С. МАРТЫНОВЫМ**

За последнее время появилось несколько статей и отрывочных рассказов о смерти Лермонтова, в коих мое имя было упомянуто в числе свидетелей дуэли. В приложениях к Запискам г-жи Хвостовой помещено заявление Н. С. Мартынова, который прямо ссылается на мои показания. В тех же приложениях к Запискам г-жи Хвостовой и в статье журнала «Всемирный труд» сообщается много подробностей, столько же интересных, сколько и неверных¹.

Это вынуждает меня прервать 30-летнее молчание, чтобы восстановить факты и описать это горестное происшествие, которому я действительно имел несчастье быть свидетелем на 22 году моей жизни. Молчал же я по сие время потому, что не считал себя вправе, по смерти одного из противников, без уполномочия другого, живого, излагать мое мнение о событии, в свидетели коего я был приглашен по доверенности обеих сторон. Но 30-летняя давность, посмертная слава Лермонтова и, наконец, заявление Мартынова, напечатанное в «Русской старине»² и вызывающее меня к сообщению подробностей, все это побудило меня сказать несколько слов в ответ на неточные и пристрастные отзывы.

В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом, А. А. Столыпиным³ и тяжело раненным М. П. Глебовым⁴ возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск⁵. Я с ними встретился, и мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры.

Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живет в этом беззаботном возрасте, 20—25 лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова.

В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых.

К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий⁶, декабрист М. А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками.

Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубоко-мысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни.

Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями,

какие могут прийти в голову разве только 15-летнему школьному мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре, между прочим, сказал, что он едет из России и везет с собой бочонок свежепросоленных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, наемкнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца.

Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расплзлась, и несчастные служители вынимали из логана вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.

Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного, игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности⁷. Но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши 30-х годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14-го декабря, он глубоко и горько созна-

вал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколение», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах;⁸ при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, «*что туда ему и дорога*»⁹. Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.

Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придилок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность.

Однажды на вечере у генеральши Верзилиной, Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «*А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения*». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение 3-х дней наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова

«потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.

На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в 6—7 вечера мы поехали на роковую встречу; но и тут, в последнюю минуту, мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать.

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню)¹⁰, темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау.

Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни назад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненные или ушибленные.

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие.

Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка, по случаю дурной погоды (шел проливной

дождь), они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.

Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.

Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом¹¹. Как теперь, помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сиденье в поле при трупe Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости гг. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался...¹² Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и, чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезненный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.

Наконец, часов в 11 ночи, явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры.

Вот и все, что я могу припомнить и рассказать об этом происшествии, случившемся 15-го июля 1841 года и мною описываемом в июле 1871 года, ровно через 30 лет. Если в подробностях вкрались ошибки, то я прошу единственного оставшегося в живых свидетеля Н. С. Мартынова их исправить. Но за верность общего очерка я ручаюсь.

Нужно ли затем возражать на некоторые журнальные статьи, придающие, для вящего прославления Лермонтова, всему этому несчастному делу вид злонамеренного, презренного убийства? Стоит ли опровергать рассказы вроде того, какой приведен в статье «Всемирного труда» (1870 года № 10), что будто бы Мартынов, подойдя к барьеру, закричал: «Лермонтов! Стреляйся, а не то убью», и проч., проч.; наконец, что должно при-

знать вызовом, слова ли Лермонтова «потребуй у меня удовлетворения» или последовавшее затем и почти вынужденное этими словами самое требование от Мартынова.

Положа руку на сердце, всякий беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что он не мог его не вызвать¹³.

Я, как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею судить так утвердительно, как посторонние рассказчики и незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для назидания потомства обвинять кого-либо в преждевременной его смерти. Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (*point d'honneur*), которое удерживало его от всякого шага к примирению.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ОПРАВДАНИЕ ЛЕРМОНТОВА ОТ НАРЕКАНИЙ г. МАРКЕВИЧА

В одном из последних номеров журнала «Русский вестник» мы прочли в повести г. Маркевича «Две маски»¹ следующую невероятную фразу: *«и Лермонтов, скажу мимоходом, был прежде всего представитель тогдашнего поколения гвардейской молодежи»*. Это столько же верно, как если б мы написали, что Пушкин был представитель придворной молодежи, потому что носил камер-юнкерский мундир, как Лермонтов лейб-гусарский. Так как из знакомых и друзей поэта я остаюсь едва ли не один из последних в живых и на меня пал жребий быть свидетелем последних его дней и смерти, то я считаю своим долгом восстанавливать истинное понятие о нем, когда оно нарушается такими грубыми искажениями, как вышеприведенное заявление г. Маркевича. Впрочем, может быть, что в тех видах, в коих редактируется «Русский вестник», требуется именно представить Лермонтова и Пушкина типами великосветского общества, чтобы облагородить описание этого общества и внушить молодому поколению, не знавшему

Лермонтова, такое понятие, что гвардейские офицеры и камер-юнкеры тридцатых годов были все более или менее похожи на наших двух великих поэтов по своему высокому образованию и образу мыслей. Но это не только неверно, но совершенно противоположно правде, и фразу г. Маркевича надо переделать так, что Лермонтов был *представитель направления, противного тогдашнему поколению великосветской молодежи*, что он отделился от него при самом своем появлении на поприще своей будущей славы известными стихами «А вы, надменные потомки», что с того дня он стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса, убийцы Пушкина, и что даже в том полку, где он служил, его любили немногие.

В статье моей о смерти Лермонтова, напечатанной в «Русском архиве»², я позволил себе сделать легкий очерк тогдашнего настроения высшего петербургского общества: парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6-го декабря, в Новый год и в пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями которого были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту и, не зная куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума, предавались буйному разгулу, — разгулу, погубившему многих из них; лучшие из офицеров старались вырваться из михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и к придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.

Эта-то пустота окружающей его светской среды, эта ничтожность людей, с которыми ему пришлось жить и знаться, и наложили на всю поэзию и прозу Лермонтова печальный оттенок тоски бессознательной и бесплодной: он печально глядел «на толпу этой угрюмой» молодежи, которая действительно прошла бесследно, как и предсказывал поэт, и ныне, достигнув зрелого воз-

раста, дала отечеству так мало полезных деятелей; «ему некому было руку подать в минуту душевной невзгоды», и, когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского³, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходилась, их глубоко уважал, и один из них, еще ныне живущий, М. А. Назимов мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к которому принадлежал⁴.

К сожалению, Лермонтов прожил весь свой короткий век в одном очень тесном кружке и прочие слои нашего русского общества знал очень мало⁵. Поэтому его описания и относятся почти исключительно к высшему кругу великосветского общества, в коем он вращался и который изучил верно и глубоко. Но он не был представителем этого общества, а, напротив, его обличитель и противник, и он очень бы оскорбился, а может быть, и посмеялся, если б кто-нибудь *«мимоходом назвал его представителем гвардейской молодежи тогдашнего поколения»*.

М. А. НАЗИМОВ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС»

Милостивый государь, по слабости зрения моего, я, к крайнему моему сожалению, только на днях узнал, что в фельетоне № 15-го «Голоса» помещена статья князя А. И. Васильчикова, озаглавленная: «Несколько слов в оправдание Лермонтова против г. Маркевича»¹. Статья эта была вызвана следующим выражением, помещенным в повести последнего «Две маски»² («Русский вестник»). «Лермонтов — *скажу мимоходом* — был, *прежде всего*, представителем тогдашнего поколения гвардейской молодежи». Читавшие статью, вероятно, еще помнят силу, с которою уважаемый автор ее опровергает вышеприведенный отзыв нашего беллетриста. Чтоб показать всю его несостоятельность, князь Васильчиков представляет в ярком и истинном свете коротко известное ему направление своего друга-поэта, его серьезное отношение к жизни вообще и к современной русской жизни в особенности. Вместе с тем, в подтверждение сказанного им, он ссылается на небольшой кружок тех, которым поэт открывал свою душу, и в числе их на меня, как могущего засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором Лермонтов описывает ничтожество того поколения, к которому принадлежал. Спешу подтвердить истину этого показания. Действительно, так не раз высказывался Лермонтов мне самому и другим, ему близким, в моем присутствии. В сарказмах его слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества. Это

чувство души его отразилось на многих его стихотворениях, которые останутся живыми памятниками приниженности нравственного уровня той эпохи. При таком критически-серьезном отношении к светской молодежи его общественной среды, может ли быть сколько-нибудь применим к нему отзыв г. Маркевича и особенно выдающиеся в нем слова: *прежде всего* был представителем... и проч. Можно ли говорить о такой личности, как Лермонтов, *мимоходом*, и чем объяснить появление в нашей беллетристике, особенно в таком видном журнале, как «Русский вестник», такого легкомысленно-бесцеремонного и лишённого всякого основания отзыва о нашем знаменитом поэте, успевшем еще в молодых летах проявить столько пытливого, наблюдательного ума, оставить столько драгоценных произведений своего поэтического творчества и память которого дорога всем, умеющим ценить сокровища родного языка, а особенно тем, которые близко знали и любили Лермонтова? ³

А. В. ДРУЖНИН

ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА»

Во всей истории русской литературы, за исключением личности Пушкина, с каждым годом и с каждым новейшим исследованием становящейся ближе и ближе к сердцу нашему, мы не находим фигуры более симпатичной, чем фигура поэта Лермонтова. Загадочность, ее облекающая, еще сильнее приковывает к Лермонтову помыслы наши, уже подготовленные к любви и юностью великого писателя, и его безвременною кончиною, и страдальческими тонами многих его мелодий, и необыкновенными чертами всей его жизни. Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приятнью, говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того, чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре. Жизнь Лермонтова, до сей поры еще никем не рассказанная, известна нам лишь весьма поверхностно, а между тем она изобилует фактами, говорящими в пользу поэта красноречивее всех дружеских панегириков. Лермонтов умел быть сме-

лым в то время, когда прямая и смелая речь вела к великим бедам, — он заявил свою преданность русской музе в ту пору, когда эта муза могла лишь подвергать своих поклонников гонению и осуждению света. Когда погиб Пушкин, перенесший столько неотразимых обид от общества, еще не дозревшего до его понимания, — мальчик Лермонтов в жгучем, поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека. Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество. Вместо того чтоб тосковать в чужом крае и тосковать о столичной жизни, так привлекательной в его лета, — он привязался к Кавказу, сердцем отдаваясь практической жизни, и мало того, что приготовил себя самого к разумной военной деятельности, — но с помощью своего великого дарования сделал для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным. Когда быстрая и ранняя литературная слава озарила голову кавказского изгнанника, наш поэт принял ее так, как принимают славу писатели, завоевавшие ее десятками трудовых годов и подготовленные к знаменитости. Вспомним, что Байрон, идол юноши Лермонтова, возился со своей известностью как мальчик, обходился со своими сверстниками как турецкий паша, имел сотни литературных ссор и вдобавок еще почти стыдился звания литератора. Ничего подобного не позволил себе Лермонтов даже в ту пору, когда вся грамотная Россия повторяла его имя. Для этого насмешливого и капризного офицера, еще так недавно отличавшегося на юнкерских попойках или кавалерийских маневрах под Красным Селом, мир искусства был святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы, которая, нечего скрывать, в то время представляла много искушений и много путей к дурному. События последнего, самого великого, самого плодovitого года в жизни знаменитого юноши почти неизвестны. Как человек, Лермонтов, может быть, в эту пору был незамечателен, а временами

и грешен, — но как поэт, он, видимо, переживал эпоху необыкновенную (и, по всей вероятности, имевшую влияние на его характер). Он зрел с каждым новым произведением, он что-то чудное носил под своим сердцем, как мать носит ребенка, мотивы невыразимой, подавляющей скорби вырывались у его музы и смешивались с другими восторженно-сладкими звуками. Опыт веков, история литературы всех народов показывают с ясностью, что природа никогда не тратит сил своих попустому, не дает писателю, предназначенному на скромную деятельность, — языка и замашек поэта великого. А в 1841 году, за самое короткое время от преждевременной смерти, Лермонтов показал нам все частные особенности поэта истинно великого. Лорд Байрон с гордостью подписал бы свое имя под иными строфами «Сказки для детей», самые возвышенные из песен Гейне не имели в себе столько силы и грусти, как многие из предсмертных песен русского двадцатилетнего писателя. Общеευропейская, общечеловеческая физиономия поэта Лермонтова еще не успела высказаться, определиться с ясностью, но все признаки и задатки мирового поэта тут были — начиная с формы стиха, до сих пор недостижимой по совершенству, до удивительного проникновения в жизнь природы, выразившегося множеством картин, мастерства первоклассного. Не говорим уже о разнообразии и всесторонности последних пьес Лермонтова, о глубине мысли, проникавшей многие из них, о богатырских порывах к недостижимому миру, какими они наполнены.

Да, тысяча восемьсот сорок первый год — последний год в жизни поэта нашего — есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на наше восторженное сочувствие. Просмотрите со вниманием оглавление книжки, изданной г-м Дудышкиным¹, и вы убедитесь в справедливости слов наших. И до этого года поэт был первенствующим деятелем в нашей литературе, — вся его заслуженная слава была основана на творениях предыдущих годов (особенно на «Герое нашего времени»), но потрудитесь взглянуть на список стихотворений, относящихся к последнему году жизни Лермонтова, — и вы увидите, что почти все написанное им прежде, за исключением трех или четырех стихотво-

рений *, и «Герой нашего времени», в свое время сводивший с ума читающую Россию, — все померкнет перед творчеством означенного года. В числе тридцати шести стихотворений, принадлежащих к 1841 году, есть три или четыре заимствованных, даже слабых («Вид гор из степей Козлова», «Кинжал»), но если мы исключим их без сожаления, все-таки количество вещей, написанных в 1841 году, будет равно всему, что было прежде написано Лермонтовым². О внутреннем же достоинстве и говорить нечего. Много поэтов в мире погибало раньше срока — все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать, — но никогда еще судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею же возбужденными, никогда она так безвременно не похищала существа, в такой степени украшенного присутствием гения. Последний, загадочный год в жизни Лермонтова, весь исполненный деятельности, — сокровище для внимательного ценителя, всегда имеющего склонность заглядывать в «лабораторию гения», напряженно следить за развитием каждой великой силы в мире искусства. Тут на всяком шагу виден новый порыв в сокровеннейшие тайники творчества, — новый шаг к той неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена, вот будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца миллионов людей... все пророчит победу, кажется, одна только минута отделяет нас от новой силы и нового слова, — и вдруг все становится мрачно, все ожидания падают, как здание, выстроенное на песке. Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину, невольная злоба наполняет душу нашу, — злоба на общество, не сумевшее оградить своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на мерзавцев, осме-

* Замечательна правильная прогрессивность в развитии таланта Лермонтова. У него нет блистательных начинаний, за которыми следуют периоды вялости, бездействия или слабого творчества. Чем ближе к 1841 году, тем более силы и гениальных задатков. Мы видим только один перерыв, в 1838 году, но этот год был очень хлопотливым по служебным делам Лермонтова, и сверх того, в этом году задуман им «Герой нашего времени», (Прим. А. В. Дружинина.)

лившихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества. И только после долгого озлобления, после долгих уверений самого себя в невозвратимости утраты дух наш успокаивается. Мы принимаем то, что дано нам, снова дивимся песням безвременно погибшего юноши и, проклиная лиц, допустивших его гибель, — все-таки с гордостью убеждаемся, что «не бездарна та природа, не погиб еще тот край», где при стечении самых неблагоприятных случайностей, при полной неспособности общества ценить людей, его возвеличивающих, — все еще появляются личности, подобные поэту Лермонтову.

В издании, принадлежащем С. С. Дудышкину и теперь нами разбираемом, нет биографии Лермонтова, нет даже материалов для его биографии. В этом отношении винить издателя невозможно, для полного жизнеописания еще не пришло время, материалов же готовых слишком мало, неизданных же, может быть, и довольно, но все они раскиданы по рукам людей, весьма мало заботящихся о литературе. Жизнь Лермонтова не была скупа событиями, но многие слишком интимные ее подробности, касаясь людей живых или еще недавно умерших, не могут принадлежать печати. Поэт имел, как говорят люди, его знававшие, небольшое число страстных привязанностей, имевших решительное влияние на его жизнь, касаться их невозможно, когда еще живы женщины, ценимые им выше всего на свете. Умея любить, Лермонтов был и тем, что Байрон называет a good hater, то есть человек, умевший ненавидеть глубоко. Друзей имел он мало и с ними редко бывал общителен, может быть, вследствие детской привычки к сосредоточенной мечтательности, может быть, потому, что их интересы совершенно рознились с его собственными. На переписку был он ленив, и хотя, соприкасаясь (со) всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца. Не надо забывать и влияния Байрона, и многих афоризмов из «Героя нашего времени» — для оценки Лермонтова как человека. По натуре своей горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был честолюбив и скрытен.

Эти качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное, — но при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности нрава. Вот причина противоречащих отзывов о Лермонтове как о человеке и, может быть, той неохоты писать о нем, какую не раз мы сами подмечали в лицах, имевших кое-что сказать о Лермонтове. Между всеми теми, которых мы в разное время вызывали на сообщение нам воспоминаний о поэте, мы помним только одного человека, говорившего о нем охотно, с полной любовью, с решительным презрением к слухам о дурных сторонах частной жизни поэта, — но и он все-таки решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами. Мы должны прибавить, что последняя причина была уважительна, наш приятель собирался в экспедицию, где и положил свою голову³. Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны. За день до своего выступления из города (Пятигор)ска, где мы сошлись случайно, — он, укладываясь в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежавшие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно). Картинки карандашом изображали по большей части сцены кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и т. д. Кой-где между ними были еще стихи — отрывки из известных уже произведений да опять шуточные двустишия и четверостишия, относящиеся к каким-то неизвестным лицам и не имеющие другого значения⁴.

Так как, пользуясь правами рецензента, мы намерены передать читателям кое-что из изустных рассказов приятеля Лермонтова, — то не мешает предварительно сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей охоте. Чин у него был небольшой, хотя на лицо

мой знакомый казался очень стар и издержан, — товарищи его были в больших чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза, — об этом спрашивать казалось неловко). Должно признаться, что знакомец наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и приятный в сношениях, — был все-таки человеком из породы, которая странна и даже невозможна в наше время, из породы удалцов, воспитанных Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, его прославляли бы как рубаку и, может быть, за самые шалости его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире и тишине дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо этих периодических отклонений от общепринятой стези, Д(орохо)в был человеком умным, занимательным и вполне достойным заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов. Во все время пребывания поэта на Кавказе приятели видались очень часто, делали вместе экспедиции и вместе веселились на водах. С годами, — когда подробные рассказы о последних годах поэта будут возможны в печати, — мы передадим на память несколько особенных приключений, а также подробности о последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и общих рассуждений о его характере.

«Лермонтов, — рассказывал нам его покойный приятель, — принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не понравился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг, не охотник, его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всеми, что терлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу, — впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся

над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность*. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, — мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо⁵. То, что он был трезвее меня, — совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил, сколько следует, только, как впоследствии оказалось, — на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому, он был порядочным ребенком.

Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе, а так как эти люди знали его еще дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению. Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя с молодежью, попадающей на Кавказ за какую-нибудь историю, и даже снисходительно обращается с виновными более важными. Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание исполнялось, — но ни несправедливости, ни обиды другим через это не делалось. В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье».

Итак, по необходимости — все, что могут биографы сказать о жизни поэта Лермонтова, и все, что можем сказать мы сами, имевшие случай сходитья с небольшим числом лиц, его хорошо знавших, до сих пор ограничивается одними общими соображениями. Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе, — историей его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими подробностями, — мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло время. Примиримся же с необходимостью и расскажем, по край-

ней мере, тот бедный запас фактов, который теперь может быть рассказан.

Изо всей жизни Лермонтова, взятой с внешней точки зрения, только начало и конец заключают в себе нечто благоприятное поэтическому развитию его таланта. Детей он жил в деревне с старым домом и запущенным садом, смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности. Лучше всех анекдотов о детстве Лермонтова, живее всех рассказов о его ученических годах является его бессмертная элегия, задуманная на бале, дописанная в невольном уединении и подписанная тысяча восемьсот сороковым годом. Элегия эта, — «Первое января», по справедливости считающаяся жемчужиной в поэтическом венце Лермонтова. Тут история его детских дум и радостей, тут сведены в одном фокусе все лучи, кидавшие свет ранней поэзии на целое детство истинного поэта.

...памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом.

И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листья
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей создание
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Мы не можем не заметить от себя при этом случае, что все рассказы о детстве Лермонтова, в разное время слышанные нами и иногда от людей вовсе не поэтических по натуре, — словно почерпнуты из этого стихотворения. Во всех ребенок Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов. К наукам, особенно к наукам точным, мальчик Лермонтов расположения не имел, да и вообще не подавал блестящих надежд в будущем, отчасти потому, что учился понемногу, как все русские мальчики, отчасти и по развитию поэтического элемента в ущерб прочим. Читал он, конечно, много, хотя по большей части лишь произведения изящной литературы, — поэзия Пушкина и знакомство с иностранными языками ограждали его от слишком неразборчивого чтения. О том, когда и как начал писать Лермонтов, многого говорить не сможем, потому что в произведениях его детства нет особенных залогов будущего совершенства⁶, и в этом роде они далеко ниже лицейских стихотворений Пушкина.

С поступлением мальчика или, скорее, молодого человека в учебное заведение (в старую Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров принимались воспитанники не моложе 16 лет) внешняя обстановка жизни Лермонтова становится не только не поэтической, но даже антипоэтической. Дошедшие до нас школьные произведения поэта, острые и легко написанные, хотя по содержанию своему неудобные к печати, оставляют в нас чувство весьма грустное. Всякая молодость имеет свой разгул, и от семнадцатилетних гусаров никто не может требовать катонских доблестей, но самый снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодежи лермонтовского времени был разгулом нехорошим. Даже старый Бурцев, забияка и ёра, не одобрил бы своих мальчиков-потомков, не одобрил бы и среды,

в которую они были поставлены. Гусар Бурцев никак не понял бы этих полузатворнических, полуудалых нравов, этих ребяческих кутежей, основанных не столько на потребности веселья, сколько на моде и подражании взрослым. Нам кажется, что если бы семнадцатилетнего Бурцева посадили в закрытое заведение, он или удрал бы из него для того, чтоб пойти солдатом в настоящие гусары, или выдержал бы искуc, скрепя сердце, не роняя достоинства молодости, не увлекаясь полупроказами и полуудальством воспитанника. В юношеских стихах, относящихся ко времени затворничества Лермонтова, мы не встречаем и тени протеста в бурцевском отношении. Он доволен своим «пестрым эскадроном»^{*7}, восхищается своими удалыми сверстниками, а в товарищах, едва вышедших из ребяческого возраста, выхваляет то, что едва спускалось герою Денису, прославившему себя в бою и честно послужившему родине. Понятно, что, при таком направлении жизни, речи не могло быть о науке, о дельном чтении, даже об основательном изучении военного ремесла, к которому Лермонтов готовился. К счастью, срок юнкерского воспитания был не долг, и Лермонтов не замедлил проститься с бытом не то офицерским, не то кадетским, и, во всяком случае, — для него ничего не давшим⁸.

Жизнь молодого поэта в столице как военного и светского человека тоже не во многом была радостна. Лермонтов принадлежал к тому кругу петербургского общества, который составляет какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним, и потому и не имеет прочных корней в обоих. По роду службы и родству он имел доступ всюду, но ни состояние, ни привычки детских лет не позволяли ему вполне стать человеком большого света. В тридцатых годах, когда разделение петербургских кругов было несравненно резче, чем теперь, или когда, по крайней мере, нетерпимость между ними проявлялась сильнее, такое положение имело свои большие невыгоды. Но в смягчение им, оно давало поэту, по крайней мере, досуг, мешало ему слишком часто вращаться в толпе и тем поперечить своим врожденным наклонностям. Сверх того, служба

* В старой школе юнкера носили мундир своих полков, а не один общий, как в настоящее время. (Прим. А. В. Дружинина.)

часто требовала присутствия Лермонтова в окрестностях Петербурга, где поневоле все располагало его к трудам, чтению, пересмотру его заброшенных было тетрадок. Нужно ли говорить о том, что скоро к другим побуждениям высказаться — присовокупилась страсть, самая горячая и самая способная возвысить душу славолюбивого юноши? Как бы то ни было, но период первой службы Лермонтова, довольно бесцветный по событиям, принес ему с собою охоту к труду. Уже силы были испробованы в печати, наступал довольно заметный перелом в направлении новых стихотворений, влияние Пушкина как образца сменило собою рабское увлечение Байроном, — не повредив, однако же, страсти Лермонтова к байроновской поэзии, захватившей собой всю душу талантливого юноши почти что с детского возраста⁹.

ПРИЛОЖЕНИЯ

С. А. РАЕВСКИЙ

ОБЪЯСНЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ РАЕВСКОГО О СВЯЗИ ЕГО С ЛЕРМОНТОВЫМ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ СТИХОВ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Бабка моя Киреева во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных, с девицею Е. А. Столыпиною, впоследствии по мужу Арсеньевой (дамой 64-х лет, *родною бабушкою корнета Лермонтова*, автора стихов на смерть Пушкина).

Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила меня в г. Пензе в 1809 году и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому — и потому что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся — предложены были в доме их стол и квартира.

Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние 3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал.

В генваре Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял), — то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами:

И на устах его печать.

Среди их слова: *«не вы ли знали его свободный чудный дар»* означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами:

И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар.

Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал от отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю наследнику и что он изъявил высокое свое одобрение.

Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову — из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением 12 стихов¹, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих русскому суду — дипломатов (и) иностранцев, а происхождение их есть, как я убежден, следующее:

К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин². Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностию, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями и что затем об его строптивости мы не должны уже судить.

Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, — и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккери, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому.

Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «если над ними нет закона

и суда земного, если они палачи Гения, так есть божий суд».

Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом, по неосторожности, объявлено об его существовании и дано для переписывания; чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры.

Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковывать по желанию, но сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил им, — положили, что, стало быть, можно было бранить врагов Пушкина, оставили было идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями потому, что бабушку его Арсеньеву, и не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы о ее внуке, и что она этого пожелала.

Вот все, что по совести обязан я сказать об этом деле.

Обязанный дружбою и одолжениями Лермонтову и видя, что радость его очень велика от соображения, что он в 22 года от роду сделался всеизвестным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры.

Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову, по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим именем могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, мы оба русские душою и еще более верноподданные: вот еще доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя.

Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование противу французской безнравственности, их палат

и т. п., сравнивая государя императора с благороднейшими героями древними, а журналистов — с наемными клеветниками, оканчивает словами:

Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда с триумфом шел Фабриций,
И раздавался по столице
Народа благодарный клнк, —
Бежал за светлой колесницей
Один *наемный клеветник* ³.

Начала стихов не помню — они писаны, кажется, в 1835 году — и тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием.

Губернский секретарь РАЕВСКИЙ И.

21 февраля 1837.

А. Х. БЕНКЕНДОРФ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕРМОНТОВА «СМЕРТЬ ПОЭТА» С РЕЗОЛЮЦИЕЙ НИКОЛАЯ I

Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермантова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать.

А. Бенкендорф.

РЕЗОЛЮЦИЯ НИКОЛАЯ I

Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону.

НИКОЛАЙ I

ИЗ ПИСЬМА К ИМПЕРАТРИЦЕ ОТ 12/24 ИЮНЯ 1840 г.

Я прочел «Героя» до конца и нахожу вторую часть отвратительною, вполне достойною быть в моде. Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которое находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер. Потому что, хотя подобную вещь читаешь с досадой, все же она оставляет тягостное впечатление, ибо в конце концов привыкаешь думать, что свет состоит только из таких индивидуумов, у которых кажущиеся наилучшими поступки проистекают из отвратительных и ложных побуждений. Что должно явиться последствием? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего пребывания на земле? Ведь и без того есть склонность стать ипохондриком или мизантропом, зачем же поощряют или развивают подобными изображениями эти склонности? Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора. Характер капитана прекрасно намечен. Когда я начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего времени, потому что в этом классе есть гораздо более настоящие люди, чем те, кого обыкновенно так называют. В кавказском корпусе есть много подобных людей, но их слишком редко узнают; но в этом романе капитан появляется, как надежда, которая не осуществляется. Господин Лермонтов был неспособен провести до конца этот благородный и простой характер и заме-



Э. А. Клингенберг и Н. П. Верзилина
Портрет художника Г. Гагарина

няет его жалкими, очень малопривлекательными личностями, которые, если бы они и существовали, должны были быть оставлены в стороне, чтобы не возбуждать досады. Счастливого пути, господин Лермонтов; пусть он очистит свою голову, если это возможно, в сфере, в которой он найдет людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана, предполагая, что он вообще в состоянии его схватить и изобразить.

Н. С. МАРТЫНОВ

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

В 18(32) г. поступил юнкером в лейб-гусары, в эскадрон гвардейских юнкеров, М. Ю. Лермонтов. Наружность его была весьма невзрачна; маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное. Обыкновенное выражение глаз в покое несколько томное: но как скоро он воодушевлялся какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте, зрачки же передвигались справа налево с одного на другого, и эта безостановочная работа производилась иногда по несколько минут сряду. Ничего подобного я у других людей не видал. Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей. Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного выше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг. Как я уже говорил, он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади; но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен

дурно, не мог быть красив на лошади, — поэтому он никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не посылали¹. Если я вхожу в эти подробности, то единственно потому, чтобы объяснить, как смотрело на него наше ближайшее начальство, то есть эскадронный командир. К числу физических упражнений следует также отнести маршировку, танцы и фехтование (гимнастике у нас тогда не учили). По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, как и в конном строю, но еще усугубленные, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику. Эскадронный командир сильно нападал на него за пеший фронт, хотя он тут ни в чем виноват не был.

Странное обстоятельство, которое я припоминаю только теперь.

По пятницам у нас учили фехтованию; класс этот был обязательным для всех юнкеров, и оставалось на выбор каждому рапира или эспадрон. Сколько я ни пробовал драться на рапирах, никакого толку из этого не выходило, потому что я был чрезвычайно щекотлив, и в то время, как противник меня колет, я хохочу и держусь за живот. Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей, потому что борьба на эспадронах всегда оживленнее, красивее и занимательнее неприметных для глаз эволюций рапиры. Танцевал он ловко и хорошо.

Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой. В числе товарищей его был Василий Вонлярлярский, человек тоже поживший, окончивший курс в университете и потом не знаю вследствие каких обстоятельств добровольно променявший полнейшую свободу на затворническую жизнь в юнкерской школе. В эпоху, мною описываемую, ему было уже 22 или 23 года. Эти два человека, как и

должно было ожидать, сблизилась. В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой «Женитьбы» у Гоголя), большую часть дня лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла.

Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словесностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие, но с любовью он относился только к этим двум предметам. Курс в юнкерской школе для получения офицерского звания был положен двухлетний, но вряд ли из этих двух лет ему довелось провести с нами полных шесть месяцев. {...}

МОЯ ИСПОВЕДЬ

15 июля 1871 года, село Знаменское.

Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли. Трудно поверить! Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памяты малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть открытым признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события. Для полного уяснения дела, мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел.

Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека. Как писатель, действительно, он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод и как мало окружающая его обстановка способствовала к серьезным занятиям, то становится

едва понятным, как он мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде и в таких ранних годах. Перейдем к его характеру. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякий порыв нежного чувства он старался так же тщательно в себе заглушать и скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные пороки. Приведу в пример его отношения к женщинам. Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь женщину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что сохранил уважение к любимой женщине: в его глазах все это было романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа.

Я стал знать Лермонтова с юнкерской школы, куда мы поступили почти в одно время. Предыдущая его жизнь мне была вовсе неизвестна, и только из печатных о нем биографий узнал я, что он воспитывался прежде в Московском университетском пансионе; но, припоминая теперь личность, характер, привычки этого человека, мне многое становится понятным нынче из того, что прежде я никак не мог себе уяснить.

По существовавшему положению в юнкерскую школу поступали молодые люди не моложе 16 лет и 8 месяцев и в большей части случаев прямо из дому; исключения бывали, но редко. По крайней мере, сколько я помню, большинство юнкеров не воспитывались прежде в других заведениях. По этой причине школьничество и детские шалости не могли быть в большом ходу между нами. У нас держали себя более серьезно. Молодые люди в семнадцать лет и старше этого возраста, поступая в юнкера, уже понимали, что они не дети. В свободное от занятий время составлялись кружки; предметом обыкновенных разговоров бывали различные кутежи, женщины, служба, светская жизнь. Все это, положим, было очень незрело; суждения все отличались увлечением, порывами, недостатком опытности; не менее того, уже зародыши тех страстей, которые присущи были отдельным личностям, проявлялись и тут и наглядно показывали склонности молодых людей. Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школя-

ром в полном смысле этого слова. В общественных заведениях для детей существует почти везде обычай подвергать различным испытаниям или, лучше сказать, истязаниям вновь поступающих новичков. Объяснить себе этот обычай можно разве только тем, как весьма остроумно сказано в конце повести Пушкина «Пиковая дама», что Лизавета Ивановна, вышед замуж, тоже взяла себе воспитанницу; другими словами, что все страдания, которые вынесли новички в свое время, они желают выместить на новичках, которые их заменяют. В юнкерской школе эти испытания ограничивались одним: новичку не позволялось в первый год поступления курить, ибо взыскания за употребление этого зелья были весьма строги, и отвечали вместе с виновными и начальники их, то есть отделенные унтер-офицеры и вахмистры. Понятно, что эти господа не желали подвергать себя ответственности за людей, которых вовсе не знали и которые ничем еще не заслужили имя хороших товарищей. Но тем и ограничивалась разница в социальном положении юнкеров; но Лермонтов, как истый школьник, не довольствовался этим, любил помучить их способами более чувствительными и выходящими из ряда обыкновенно налагаемых испытаний. Прodelки эти производились обыкновенно ночью. Легкокавалерийская камера была отдельная комната, в которой мы, кирасиры, не спали (у нас были свои две комнаты), а потому, как он распоряжался с новичками легкокавалеристами, мне неизвестно; но расскажу один случай, который происходил у меня на глазах, в нашей камере, с двумя вновь поступившими юнкерами в кавалергарды. Это были Эмануил Нарышкин (сын известной красавицы Марьи Антоновны) и Уваров. Оба были воспитаны за границей; Нарышкин по-русски почти вовсе не умел говорить, Уваров тоже весьма плохо изъяснялся. Нарышкина Лермонтов прозвал «французом» и не давал ему житья; Уварову также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню. Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей камере; один на другого садились верхом; сидящий кавалерист покрывал и себя и лошадь свою простыней, а в руке каждый всадник держал по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл «Нумидийским эскадроном»¹. Выжидали время, когда обре-

ченные жертвы заснут, по данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавалерия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою камеру. Можно себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с головы до ног и не имеющего под рукой белья для перемены.

Надобно при этом прибавить, что Нарышкин был очень добрый малый, и мы все его полюбили, так что эта жестокость не имела даже никакого основательного повода, за исключением разве того, что он был француз. Наша камера пришла в негодование от набегов нумидийской кавалерии, и в следующую ночь несколько человек из нас уговорились блистательно отомстить за нападение. Для этого мы притворились все спящими, и когда ничего не знавшие об этом заговоре нумидийцы собрались в комплект в нашу комнату, мы разом вскочили с кроватей и бросились на них. Кавалеристы принуждены были соскочить со своих лошадей, причем от быстроты этого драгунского маневра и себя и лошадей препорядочно облили водой, затем легкая кавалерия была изгнана со стыдом из нашей камеры. Попытки обливать наших новичков уже после этого не возобновлялись.

Хотя курс юнкерской школы был двухлетний, Лермонтов едва ли и несколько месяцев провел между нами. При строгостях, тогда существовавших для всех юнкеров безразлично, подобное исключительное положение требует разъяснения. У Лермонтова была бабушка старуха Арсеньева, которая любила его без памяти и по связям своим имела доступ к нашему высшему начальству. Генерал Шлиппенбах, начальник школы...²

ПРИМЕЧАНИЯ

Мемуарная литература о Лермонтове стала появляться лишь после смерти его гонителя — Николая I. В 1857—1861 годах печатаются воспоминания Е. А. Сушковой (Хвостовой), А. М. Меринского, Е. П. Ростопчиной, М. Н. Лонгинова, И. И. Панаева, Фридриха Боденштедта. В 1869 году в «Вестнике Европы» публикуются «Записки» Е. А. Сушковой (Хвостовой), а в 1870 году М. И. Семевский издает их отдельной книгой, перепечатав в приложении воспоминания А. М. Меринского, М. Н. Лонгинова и др. Это была первая попытка собрать воедино известные в печати воспоминания о Лермонтове.

С 1871 по 1913 год было опубликовано свыше двух десятков воспоминаний о поэте, которые значительно расширили представление о жизненном пути Лермонтова. В 1872 и 1875 годах появились воспоминания А. И. Васильчикова, а двадцать лет спустя, в 1893 году, — мемуарные записи Н. С. Мартынова. Написанные под давлением передовой части русского общества, эти воспоминания были попыткой убийцы и секунданта поэта уйти от моральной ответственности за трагическую гибель Лермонтова. С 1881 года в различных журналах и газетах («Новое время», «Нива», «Север», «Русский архив» и др.) выступает со своими воспоминаниями о дуэли и смерти Лермонтова непосредственная свидетельница последних дней жизни поэта Э. А. Шан-Гирей, падчерица Верзилина, в доме которого произошло столкновение между Лермонтовым и Мартыновым. В 1890 году в журнале «Русское обозрение» появляются одни из наиболее содержательных воспоминаний о Лермонтове, написанные его родственником и другом А. П. Шан-Гиреем еще в 1860 году, но пролежавшие под спудом тридцать лет и опубликованные посмертно.

В 1891 году выходит в свет первая критическая биография поэта, написанная П. А. Висковатовым, «Михаил Юрьевич Лермонтов.

Жизнь и творчество». П. А. Висковатов застал в живых многих лиц, знавших поэта (С. А. Раевского, А. З. Зиновьева, А. А. Краевского, М. А. Назимова, С. М. Соллогуб, А. М. Веневитинову, А. И. Васильчикова), и включил их устные рассказы в свой труд. Это делает монографию П. А. Висковатова ценным и сейчас сводом первоисточников.

В 1913 году вышел пятый том академического издания сочинений Лермонтова (под редакцией Д. И. Абрамовича), в котором был помещен обзор биографических источников с характеристикой почти всех мемуаров, известных в то время, а два года спустя, в 1915 году, в шестом томе собрания сочинений Лермонтова (в издании «Печатник») было перепечатано свыше тридцати воспоминаний современников о поэте.

После Великой Октябрьской социалистической революции, широко раскрывшей исследователям многие недоступные ранее архивы, в научный оборот было введено большое количество новых мемуаров о Лермонтове.

В 1923 году вышла в свет книга «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников и его письмах», подготовленная к печати С. В. Шуваловым. Мемуарная часть сборника представлена была в предельно кратких извлечениях из первоисточников. В 1928 году Ю. Г. Оксман, издавая критически проверенный и широко комментированный текст «Записок» Е. А. Сушковой (Хвостовой), включил в качестве дополнения к ним воспоминания А. П. Шан-Гирея, Е. П. Ростопчиной, Е. А. Ладыженской, Э. А. Шан-Гирей и др. В 1929 году вышла «Книга о Лермонтове» (вып. I и II) П. Е. Щеголева (при участии В. А. Мануйлова), в которой в обширных выдержках была использована и мемуарная литература.

Наряду с изданием подобных сборников, начиная с середины тридцатых годов стали появляться публикации новых мемуаров о Лермонтове. Архивные поиски И. Л. Андроникова, Н. Л. Бродского, Э. Г. Герштейн, В. А. Мануйлова, А. Н. Михайловой, Ю. Г. Оксмана выявили неизвестные ранее воспоминания о поэте — за последнюю четверть века мемуарная литература о Лермонтове обогатилась важнейшими материалами (воспоминаниями учителя и воспитателя Лермонтова А. З. Зиновьева; флигель-адъютанта М. Б. Лобанова-Ростовского; однополчанина поэта по Гродненскому гусарскому полку А. И. Арнольди; чиновника И. П. Забеллы).

В 1960 году в Пензенском книжном издательстве вышел сборник «Лермонтов в воспоминаниях современников» (составители В. А. Мануйлов и М. И. Гиллельсон), в котором были представлены не только наиболее существенные мемуарные источники из числа уже бывших ранее в печати, но и некоторые новые материа-

лы, обнаруженные советскими литературоведами за последние годы.

Настоящий сборник значительно расширен по сравнению с пензенским: в него включены воспоминания Е. А. Сушковой, Ксаверия Браницкого, А. П. Араповой, Н. Ф. Туровского, записи А. В. Дружинина, генерала М. Х. Шульца; сведения о Лермонтове в письмах В. И. Красова, Т. А. Бакуниной, А. Я. Булгакова, Николая I, докладная записка А. Х. Бенкендорфа о стихотворении «Смерть Поэта», с резолюцией царя. Некоторые мемуары печатаются более полно, чем в предыдущем сборнике. Значительно обновлен и расширен комментарий.

Основной фонд воспоминаний современников о Лермонтове к настоящему времени можно считать уже установленным. Но это, конечно, не означает, что дальнейшее пополнение этого фонда невозможно. Так, например, еще в 1902 году Н. Мердер в статье, опубликованной в журнале «Исторический вестник», утверждала, что она была хорошо знакома с В. И. Анненковой-Бухариной и читала ее мемуары, в которых шла речь и о Лермонтове. Спустя шестьдесят лет И. Л. Андроникову удалось найти эти воспоминания, они частично опубликованы в его книге: «Лермонтов. Исследования и находки», М. 1964.

Хотя настоящее издание и не дает полного свода мемуарной литературы о Лермонтове, все же оно является самым богатым по своему содержанию и критически проверенным собранием воспоминаний о поэте. В списке, составленном О. В. Миллер (стр. 574 наст. издания), указаны мемуары и записи устных рассказов о Лермонтове, которые были в свое время опубликованы в периодической печати, но не включены в настоящее издание.

В сборник воспоминаний современников о Лермонтове, выпускаемый к 150-летию со дня рождения поэта, не включены рассказы о дуэли Лермонтова с Мартыновым, написанные через несколько десятилетий после этих трагических событий В. Желиховской, Филипповым, Б. Ф. Эргардтом и др. Это не значит, что в поздних отголосках пятигорской драмы пытливый исследователь не обнаружит отдельных крупиц истины и заслуживающих внимания характерных мелочей, но включение в настоящий сборник подобного материала, в основном недостоверного, едва ли было бы целесообразно.

Не включены в сборник мнимые письма и записки Омэр де Гелль, опубликованные П. П. Вяземским в «Русском архиве», 1887, ч. III, кн. 9, и выпущенные в 1933 году издательством «Academia». В них сообщалось о знакомстве Лермонтова во второй половине августа — начале сентября 1840 года на Кавказских минеральных водах с женой известного французского геолога-путешественника

Жанной-Аделью Омэр де Гелль и о поездке Лермонтова в Крым для встречи с нею в октябре того же года. В «Книге о Лермонтове» П. Е. Щеголева (1929, вып. II) уже было обращено внимание на несовпадение фактов и дат в этих «письмах» Омэр де Гелль с достоверными фактами и датами жизни Лермонтова, а также с изданными в Париже в 1860 году записками Омэр де Гелль, в которых нет упоминаний о ее встречах с Лермонтовым. В настоящее время можно считать установленным, что письма Омэр де Гелль о Лермонтове являются произведением П. П. Вяземского и никакого документального значения не имеют*.

Отдельные портретные зарисовки и характеристики Лермонтова, встречающиеся в письмах, дневниках и мемуарных записях современников, не включенные в настоящий сборник, использованы во вступительной статье и в примечаниях к воспоминаниям других авторов.

Материалы сборника воспроизводятся по журнальным публикациям или другим печатным источникам. В тех случаях, когда сохранились рукописи, печатные тексты сверены с автографами.

Составители сборника приносят благодарность Ю. Г. Оксману, предоставившему для настоящего издания тексты воспоминаний Е. А. Сушковой (Хвостовой), А. И. Арнольди и М. И. Цейдлера, сопровадив их новыми данными о мемуаристах; И. Л. Андроникову, разрешившему воспроизвести в настоящем сборнике разысканные им воспоминания В. И. Анненковой-Бухариной и письмо Т. А. Бакуниной; А. Н. Михайловой, обнаружившей и подготовившей к печати воспоминания И. П. Забеллы,

* См. статьи: П. С. Попов, Мистификация (Лермонтов и Омэр де Гелль). — «Новый мир», 1935, № 3; Л. Каплан, П. П. Вяземский — автор «Писем и записок» Омэр де Гелль; П. Попов, Отклики иностранной печати на публикацию «Писем и записок» Омэр де Гелль, — ЛН, т. 45—46, М., 1948, стр. 761—775.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Белинский* — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, М. 1953—1957.
- Бродский* — Н. Л. Бродский, М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. 1814—1832 гг. Гослитиздат, М. 1945.
- Висковатов* — М. Ю. Лермонтов, Сочинения. Под ред. П. А. Висковатова, т. 6, М. 1891.
- ГБЛ* — Рукописный отдел Государственной Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (Москва).
- ГИМ* — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва).
- ГПБ* — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
- Известия ОРЯС* — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, 1896—1927.
- ИРЛИ* — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом, Ленинград).
- Лермонтов* — М. Ю. Лермонтов, Сочинения в шести томах, изд. АН СССР, М. 1954—1957.
- ЛН* — Литературное наследство, Москва, изд. АН СССР.
- Сборник ИМЛИ* — Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. I. Гослитиздат, М. 1941 (АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького).
- Семинарий* — В. А. Мануйлов, М. И. Гиллельсон, В. Э. Вазуро, М. Ю. Лермонтов. Семинарий, Учпедгиз, Л. 1960.
- ЦГАДА* — Центральный государственный архив древних актов (Москва).
- ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
- ЦГАОР* — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

А. П. Шан-Гирей

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
(Стр. 33)

Аким Павлович Шан-Гирей (1818—1883) — троюродный брат Лермонтова. Его мать Мария Акимовна, рожденная Хастатова, была дочерью Екатерины Алексеевны, родной сестры бабушки Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

После встречи летом 1825 г. в Горячеводске с Е. А. Арсеньевой и одиннадцатилетним Лермонтовым, семилетний Аким был взят на воспитание в Тарханы и провел там вместе с Лермонтовым два года. В 1828 г. А. П. Шан-Гирей, вслед за Лермонтовым, переезжает в Москву, где также живет в доме Арсеньевой. И в последующие годы он следует за Лермонтовым, как младший брат и верный спутник. Лермонтов переезжает в Петербург в конце лета 1832 г., а в начале 1834 г. туда же прибывает А. П. Шан-Гирей и поселяется в квартире Арсеньевой.

В это время в квартире Арсеньевой жил и С. А. Раевский. Близость с Лермонтовым и С. А. Раевским наложила явный отпечаток на весь духовный облик Шан-Гирея.

Шан-Гирей принадлежал к числу тех немногих друзей Лермонтова, которые были посвящены в его творческие замыслы. Так же как и С. А. Раевскому, Лермонтов часто диктовал Шан-Гирею свои произведения, перечитывал с ним и обсуждал написанное. До нас дошли страницы «Княгини Лиговской», писанные рукой Шан-Гирея и Раевского. У Шан-Гирея было много рукописей Лермонтова и списков его произведений.

Когда весной 1842 г. прах Лермонтова был перевезен из Пятигорска в Тарханы для вторичного погребения, туда же были доставлены вещи и рукописи поэта. Шан-Гирей сопровождал Е. А. Ар-

сеньеву в Тарханы и ему было поручено разбирать вещи Лермонтова. Все книги, рукописи и письма Лермонтова, находившиеся в Тарханах и прибывшие туда из Пятигорска, А. П. Шан-Гирей вскоре после смерти поэта, по всей вероятности во второй половине 1842 г., передал в Публичную библиотеку в Петербурге. Так свидетельствовала его дочь Е. А. Шан-Гирей. Попытки разыскать в Публичной библиотеке следы личной библиотеки Лермонтова пока не дали положительного результата.

До нас не дошла переписка Лермонтова с Шан-Гиреем, но в сохранившемся письме поэта, писанном с Кавказа в 1841 г., встречается характерное упоминание о друге: «Скажите Екиму Шан-Гирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее». Несколько лет спустя А. П. Шан-Гирей, последовав совету Лермонтова, переехал на Кавказ. В конце 1845 г. он купил Ново-Столыпиновку, в пятидесяти верстах от Пятигорска, и вышел в 1846 г. в отставку.

В 1851 г. Шан-Гирей женился на Эмили Александровне Клингенберг, падчерице генерала Верзилина, в доме которого в Пятигорске произошла роковая размолвка между Лермонтовым и Мартиновым.

В период крестьянской реформы Шан-Гирей был мировым посредником и горячо защищал интересы крестьян.

Летом 1881 г. в день сорокалетия смерти Лермонтова, Аким Павлович выступал в Пятигорске со своими воспоминаниями о поэте. В то же лето на Северный Кавказ приезжал П. А. Висковатов. Он останавливался у Шан-Гирея, читал ему вслух свою биографию Лермонтова и вносил в нее многочисленные поправки, прислушиваясь к замечаниям Акима Павловича.

8 декабря 1883 г. в Тифлисе А. П. Шан-Гирей скоропостижно скончался от разрыва сердца на шестьдесят шестом году жизни.

Воспоминания А. П. Шан-Гирея о Лермонтове датированы «10 мая 1860 г. Чембар». 8 мая 1860 г. С. А. Раевский писал Шан-Гирею: «Друг Аким Павлович! Наконец исполняется постоянное мое желание, — ты решаешься записать твои воспоминания о незабвенном Михаиле Юрьевиче. Ты был его другом, преданным с детства, и почти не расставался с ним; по крайней мере, все значительные изменения в его жизни совершились при тебе, при теплом твоём участии, и редкая твоя память порукою, что никто вернее тебя не может передать обществу многое замечательное об этом человеке, гордости нашей литературы...» («Русское обозрение», 1890, кн. 8, стр. 742—743). Именно эта осведомленность автора в мельчайших деталях жизни поэта определяет их ценность, А. П. Шан-Гирею

не было суждено увидеть в печати свои воспоминания о Лермонтове: впервые они были напечатаны в журнале «Русское обозрение» в 1890 г.

В воспоминаниях А. П. Шан-Гирея не все может удовлетворить современного читателя. Примитивна характеристика Печорина, сделанная мемуаристом. Вряд ли заслуживают внимания и неоднократные высказывания А. П. Шан-Гирея о неуместности печатания юношеских произведений Лермонтова — нам дорога каждая строчка, написанная гениальным поэтом. Но отдельные недостатки воспоминаний А. П. Шан-Гирея не умаляют их значения как первостепенного мемуарного источника.

Более подробно о А. П. Шан-Гирее см. статью В. А. Мануйлова и С. И. Недумова «Друг Лермонтова А. П. Шан-Гирей» («М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов», Ставропольское книжное изд-во, 1960, стр. 251—270).

В настоящем издании мемуары А. П. Шан-Гирея печатаются по тексту журнала «Русское обозрение», 1890, кн. VIII, стр. 724—754, с пропуском писем А. М. Верещагиной к Лермонтову и письма Лермонтова к С. А. Раевскому, которые были впервые введены в научный оборот А. П. Шан-Гиреем и затем неоднократно воспроизводились в сочинениях Лермонтова.

¹ Речь идет о публикации С. С. Дудышкина «Ученические тетради Лермонтова» в журнале «Отечественные записки» за 1859 г., т. СХХV, № 7, стр. 1—62; СХХVII, № 11, стр. 245—270, и об издании: «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным», СПб. 1860, т. I—II.

² Ошибка: Лермонтов родился в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 г. *.

³ Лермонтову было два с половиной года, когда 24 февраля 1817 г. умерла его мать Мария Михайловна. Со слов тарханских старожил П. А. Висковатов писал о матери Лермонтова: «Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием. Передраги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-служугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, — помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена

* Все даты жизни Лермонтова даются по старому стилю,

душою музыкальною. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепьяно, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою» (Висковатов, стр. 15).

⁴ Кристина Осиповна Ремер.

⁵ *Граник* — река в Малой Азии, на берегах которой в 334 г. до н. э. Александр Македонский победил персидскую армию. В сражении при Арбеллах в 331 г. Александр Македонский нанес поражение персам. О занятиях Лермонтова лепкой см.: А. Ю. Вейс, Затерянные восковые фигуры работы Лермонтова. — В кн.: Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, II, М. Ю. Лермонтов, изд. АН СССР, М. — Л. 1953, стр. 331—336.

⁶ Интересные подробности о детстве Лермонтова в Тарханах сообщает П. А. Висковатов, записавший их со слов С. А. Раевского: «Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Зимую устраивалась гора, на ней катали Михаил Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженные из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» — и ребенок делал ему подробное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К пасхе заготавливались крашеные яйца в громадном количестве. Начиная с светлого воскресенья зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большою радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

— Бабушка, я выиграл!

— Ну, слава богу, — отвечала Елизавета Алексеевна. — Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, — рассказывают тархановские старушки, — так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила.

А летом опять свои удовольствия. На троицу и семик ходили в лес со всею дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было страсть, — на всех закуску готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее бабень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежного возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол — стол» или «кошка — окошко» ему ужасно нравились и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нем и чертить мелом» (Висковатов, стр. 18—19).

⁷ О круге чтения Лермонтова см.: Н. В. Здобнов, Книга в жизни М. Ю. Лермонтова. — «Советская библиография», 1940, № 1 (№ 18), стр. 38—54.

⁸ «Индианка» — не дошедшее до нас произведение Лермонтова.

⁹ Шан-Гирей ошибся — «Московский наблюдатель» (1835—1839) в то время еще не выходил. «Московский телеграф» (1825—1834) — журнал, издававшийся Н. А. Полевым.

¹⁰ О московских квартирах Лермонтова см.: Т. Иванова, Москва в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. «Московский рабочий», 1950.

¹¹ Речь идет об элегии Жуковского «Море», напечатанной впервые в альманахе «Северные цветы на 1829 год».

¹² Знакомство Лермонтова с семейством Лопухиных относится к 1827 г. или к началу 1828 г. Далее Шан-Гирей упоминает детей Александра Николаевича Лопухина и его жены Екатерины Петровны (урожд. Верещагиной): Марию, Алексея, Варвару и Елизавету. О В. А. Лопухиной см. прим. 1 на стр. 515—516 наст. изд.

¹³ Архивные материалы о политическом надзоре за воспитателем Лермонтова Ж.-П. Жандро см.: Ф. Ф. Майский, Юность Лермонтова. — Труды Воронежского университета, т. XIV, вып. II, 1947, стр. 187—190.

¹⁴ О воспитателе Ф. Ф. Винсоне некоторые биографические данные опубликованы Т. А. Ивановой — см. ее книгу: Четыре лета. Лермонтов в Середниково, Детгиз, М. 1959, стр. 40—41.

¹⁵ Отношение Лермонтова к английской литературе и, в частности, к поэзии Байрона неоднократно привлекало внимание исследователей. Литературу на эту тему см.: Семинарий, стр. 379.

¹⁶ Полемизируя с этим утверждением мемуариста, И. Л. Андроников справедливо заметил, что Лермонтов, будучи старше А. П. Шан-Гирея на четыре года, не посвятил его в историю своих отношений с Н. Ф. Ивановой, разрыв с которой придал мрачный характер ряду юношеских стихотворений Лермонтова (Ираклий

Андроников, Лермонтов, «Советский писатель», М. 1951, стр. 5). И. Л. Андроникову удалось получить собственноручную запись внучки Н. Ф. Ивановой — Н. С. Маклаковой об этом юношеском романе Лермонтова: «Что Михаил Юрьевич Лермонтов был влюблен в мою бабушку — Наталью Федоровну Обрескову, урожденную Иванову, я неоднократно слышала от моей матери Натальи Николаевны и еще чаще от ее брата Дмитрия Николаевича и его жены, — рассказывала Маклакова. — У нас в семье известно, что у Натальи Федоровны хранилась шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его посвященными ей стихами и что все это было сожжено из ревности ее мужем Николаем Михайловичем Обресковым. Со слов матери знаю, что Лермонтов и после замужества Натальи Федоровны продолжал бывать в ее доме. Это и послужило причиной гибели шкатулки. Слышала также, что драма Лермонтова «Странный человек» относится к его знакомству с Н. Ф. Ивановой. Почему имя Ивановой никогда не было раскрыто в собраниях стихотворений Лермонтова и почему в биографии Лермонтова нет никаких упоминаний о ней — не знаю. Думаю, что из-за ревности мужа Лермонтов сознательно не обозначал ее имени в своих стихах к ней, тем более что отношение к ней могло компрометировать Наталью Федоровну. У нас в семье всегда знали, что Лермонтов был влюблен в бабушку, но не могу сказать, отвечала ли она ему взаимностью или нет» (там же, стр. 19—20).

¹⁷ А. П. Шан-Гирей имеет в виду воспоминания Е. А. Сушковой-Хвостовой, опубликованные впервые без имени автора в «Русском вестнике», 1857, т. XI (сентябрь), стр. 396—408.

¹⁸ Alexandrine W. — А. М. Верещагина.

¹⁹ Catherine S. — Е. А. Сушкова.

²⁰ Кузиной Е. А. Сушковой была поэтесса Е. П. Ростопчина, скончавшаяся в 1858 г. Ее мемуарное письмо о Лермонтове к Александру Дюма-отцу см. на стр. 286 наст. изд.

²¹ Лермонтов был принят в Московский университет в начале сентября 1830 г.

²² Первая редакция «Демона» относится к 1829 г.

²³ Речь идет о новогодних эпиграммах Лермонтова 1831 г.

²⁴ В примечании к этому месту Шан-Гирей приводит письмо А. М. Верещагиной к Лермонтову от 18 августа 1835 г. (см. Лермонтов, т. VI, стр. 467).

²⁵ Поэмы «Боярин Орша» и «Беглец» написаны позднее, в Петербурге во второй половине 30-х годов.

²⁶ Не совсем точно: Лермонтов выехал из Москвы в Петербург в конце июля — начале августа 1832 г. Шан-Гирей имеет в виду историю с проф. Маловым, описанную Герценом (см. стр. 105—106).

наст. изд.). Однако Лермонтов не пострадал во время «маловской» истории. Он покинул университет год спустя.

²⁷ В настоящее время на этом месте — здание Исполкома Ленинградского городского Совета.

²⁸ Текст начала поэмы «Уланша», приведенный А. П. Шан-Гиреем, имеет незначительные разночтения с копией журнала «Школьная заря», являющейся источником для публикаций поэмы. Впервые «Уланша» была напечатана в заграничном издании: «Стихотворения М. Ю. Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его сочинений» (Берлин, 1862), однако А. П. Шан-Гирей, писавший свои воспоминания в 1860 г., еще не мог пользоваться этим изданием и приводил отрывок из «Уланши» по имевшемуся, видимо, у него списку.

²⁹ Лафа — Николай Иванович Поливанов (1814—1874) — друг Лермонтова по Московскому университету и юнкерской школе; окончив вместе с Лермонтовым школу, Поливанов был выпущен в л.-гв. Уланский полк. Ему посвящено стихотворение Лермонтова «Послушай! вспомни обо мне...». Под прозвищем Лафа он упоминается также в юнкерской поэме Лермонтова «Гошпиталь».

³⁰ Мауеих — популярный персонаж французских карикатур, созданный художником Шарлем Травье (особенно часто они появлялись в парижском листке «Charivari»). Этот образ широко использовался и во французской литературе 1830—1848 гг. Историю литературного типа «Мауеих» проследил П. Н. Сакулин, пришедший к заключению, что эту кличку могли дать Лермонтову в силу общего сходства: «Бравурное настроение, которое так шокировало русских приюдомов, неутомимый задор даровитого юноши, его меткое остроумие, выливавшееся то в стихотворных эпиграммах, то в крылатых словечках, то в колких анекдотах, смелый цинизм если не дела, то по крайней мере слова и, наконец, резкость суждений по всем вопросам жизни, не исключая и общественно-политических, — вот из чего слагался для его молодых друзей образ Лермонтова-Маешки, автора не только «Сашки» и «Монго», но и «Горбача Вадима». Они брали, так сказать, психологический субстрат типа Мауеих и переносили его на своего бурного товарища» (Известия ОРЯС, 1910, т. XV, кн. 2, стр. 71—72).

³¹ Лермонтов был произведен в корнеты 22 ноября 1834 г.

³² Поэма Лермонтова «Хаджи Абрек» была опубликована в журнале «Библиотека для чтения», 1835, т. XI, отд. I, стр. 81—94.

³³ Андрей Иванович Соколов, камердинер Лермонтова.

³⁴ Из стихотворения Гете «Певец».

³⁵ Начальные строки из поэмы Лермонтова «Монго» (1836),

³⁶ По-видимому, имеется в виду незавершенный роман Лермонтова «Княгиня Лиговская».

³⁷ Шан-Гирей ошибается: «Арбенни» — поздняя редакция «Маскарада». «Песня о купце Калашникове» написана в 1837 г., «Тамбовская казначейша» датируется 1837—1838 гг.

³⁸ «Венцеслав» — вольный перевод трагедии французского писателя Ротру, сделанный А. Жандром, приятелем Грибоедова. В настоящее время стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» печатается без эпиграфа, так как современные исследователи считают, что он приписан позднее с целью смягчить ожидаемое наказание.

³⁹ О политическом значении стихотворения «Смерть Поэта» и его идейной связи с поэзией Пушкина см.: И. Боричевский, Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 323—362.

⁴⁰ Далее Шан-Гирей приводит письмо Лермонтова к С. А. Раевскому от второй половины ноября — начала декабря 1837 г.

⁴¹ Отрывок этого стихотворения был опубликован в 1854 г. в «Современнике» (т. 45, № 5), и в 1859 г. полностью оно появилось в «Библиографических записках» (т. 2, № 1).

⁴² Из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель».

⁴³ Отдельное издание: «Ундина, старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ламотт Фуке, на русском в стихах В. Жуковским, с рис. Г. Майделя», СПб. 1837.

⁴⁴ Есть еще одно свидетельство о поступлении «Демона» в цензуру при жизни Лермонтова: см. стр. 171 наст. изд., а также: П. К. Мартынов, Дела и люди века, т. II, СПб. 1893, стр. 124. По сведениям современных исследователей, «Демон» был передан в цензуру после смерти Лермонтова и запрещен к печатанию (см. прим. 45).

⁴⁵ Творческая история «Демона» и вопрос о его окончательном тексте до сего времени полностью не прояснены. Кроме комментария к академическому изданию сочинений Лермонтова, о поэме «Демон» см.: А. Михайлова, Последняя редакция «Демона». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 11—22; Д. А. Гиреев, Поэма Лермонтова «Демон». Творческая история и текстологический анализ, Сев.-Осетинское книжное изд-во, Орджоникидзе, 1958; Т. А. Иванова, Что говорят рукописи и книги (Об основном тексте «Демона»). — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 2, стр. 176—186.

⁴⁶ *Мунго*, или Монго — прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина. О нем см.: Воспоминания М. Н. Лонгинова на стр. 160—161 наст. изд. и прим. 10 на стр. 457.

⁴⁷ Марка дуэльных пистолетов.

⁴⁸ Речь, по-видимому, идет о Терезе фон Бахерахт, жене секретаря русского консульства в Гамбурге Р.-И. фон Бахерахта.

⁴⁹ О мотивах поединка Лермонтова с Барантом см.: Э. Герштейн, Дуэль Лермонтова с Барантом. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 389—432.

⁵⁰ В 1841 г. Лермонтов вернулся с Кавказа в начале февраля и пробыл в Петербурге до середины апреля.

⁵¹ Неверно: «Герой нашего времени» вышел в свет первым изданием в апреле 1840 г.

⁵² В 1841 г. Лермонтов в последний раз выехал из Петербурга в середине апреля. Ошибка А. П. Шан-Гирея понятна: в 1840 г. Лермонтов действительно покинул Петербург в первых числах мая.

⁵³ Альбом В. Ф. Одоевского хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

⁵⁴ Эти автографы хранятся в настоящее время в Государственном Историческом музее в Москве.

⁵⁵ Ссора в доме Верзилиных произошла 13 июля.

⁵⁶ Рисунок Р. К. Шведе «Лермонтов в гробу» и его картина, сделанная по этому рисунку, находятся ныне в музее Института русской литературы (Ленинград). Впервые был воспроизведен в «Рус. худож. листке», 1862, № 7, стр. 28. О Шведе и о его портретах Лермонтова на смертном одре см.: Н. П. Пахомов, Лермонтов в изобразительном искусстве, изд. АН СССР, М.—Л. 1940, стр. 53—54; ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 465 и 474.

И. К. Шугаев

ИЗ КОЛЫБЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

(Стр. 57)

Воспоминания тарханских старожиллов, записанные Петром Кирилловичем Шугаевым (1855—1917), раскрывают яркие страницы семейной хроники Лермонтова и быта, окружавшего поэта в детстве. Возможно, что кое-какие подробности, сообщаемые Шугаевым, не полностью соответствуют действительности. Однако в своей основе материалы, приводимые Шугаевым, по-видимому, достоверны.

Запись Шугаева правдиво воспроизводит уродливые стороны крепостнического быта, которые наблюдал в детстве Лермонтов. Ценность фактов, сообщаемых Шугаевым, несколько снижается тем, что он не сообщает имена людей, которые давали ему сведения о Лермонтове.

В настоящем издании записи П. К. Шугаева печатаются в сокращении по тексту журнала «Живописное обозрение», 1898, № 25, стр. 499—504.

¹ *Чембар* — ныне город Белинский Пензенской обл.

² *Станция Воейково* — ныне станция Белинская.

³ Шугаев всюду вместо Арсеньевы ошибочно пишет Арсентьевы. Мы исправляем эту ошибку.

⁴ Купчая на приобретение Тархан М. В. Арсеньевым датирована 13 декабря 1794 г.

⁵ Неверно: Елизавета Алексеевна родилась в 1773 г. и была на пять лет моложе своего мужа.

⁶ П. А. Висковатов, со слов близких к Мансыревой лиц, сообщал, что Арсеньев перед смертью исполнял в домашнем спектакле роль могильщика в V действии «Гамлета» Шекспира (Висковатов, стр. 8—9).

⁷ Заботливое отношение Лермонтова к крестьянам широко отразилось в народных рассказах о поэте, записанных в советское время В. Корниловым, П. Вырыпаевым и Г. Похвисневым. См.: В. Корнилов, Тарханы, Музей-усадьба М. Ю. Лермонтова. Государственный литературный музей, М. 1948 (гл. III, «Предания о Михаиле Юрьевиче Лермонтове», стр. 55—71); П. Вырыпаев, Лермонтов и крестьяне. — ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 441—446; П. Вырыпаев, Г. Похвиснев, Музей М. Ю. Лермонтова, Пензенское книжное изд-во, 1956, стр. 26—28; П. Вырыпаев, Кругом родные все места, Пензенское книжное изд-во, 1963, стр. 91—101.

⁸ Как явствует из сохранившихся документов, в надгробной надписи продолжительность жизни Е. А. Арсеньевой указана неверно: она умерла семидесяти двух лет.

⁹ О рисунках Лермонтова см. исследование Н. Пахомова, «Живописное наследство Лермонтова». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 55—222.

¹⁰ Местонахождение этой тетради в настоящее время неизвестно.

¹¹ Акварель Лермонтова «Маскарад» до нас не дошла. Портрет поэта, о котором пишет П. К. Шугаев, также не сохранился. О возможной копии с этого портрета, которая в настоящее время хранится в Музее-квартире А. С. Пушкина (Ленинград), см.: А. Ю. Вейс и Е. А. Ковалевская, Неизвестный портрет Лермонтова. — Описание материалов Пушкинского дома. II. М. Ю. Лермонтов, изд. АН СССР, М.—Л. 1953, стр. 317—323.

¹² П. К. Шугаев ошибается: в Тарханах находились эпoletы Лермонтова-корнета; эти эпoletы в настоящее время хранятся в Институте русской литературы (Ленинград).

А. Корсаков

ЗАМЕТКА О ЛЕРМОНТОВЕ

(Стр. 69)

А. Корсаков восстановил воспоминания двоюродного брата Лермонтова М. А. Пожогина-Отрашкевича (сына Авдотьи Петровны — родной сестры Юрия Петровича Лермонтова). Кроме Михаила Пожогина-Отрашкевича, в Тарханах воспитывались: его брат Николай, два брата Юрьевых, Николай и Петр Максютовы и другие. Одно время в доме Арсеньевой жили до десяти мальчиков. На их воспитание бабушка Лермонтова тратила большие деньги.

В настоящем издании заметка А. Корсакова печатается по тексту журнала «Русский архив», 1881, кн. 3, стр. 456—458.

¹ Имеется в виду публикация Н. Рыбкина «Материалы к биографии Белинского и Лермонтова» («Исторический вестник», 1881, т. VI, октябрь, стр. 365—378). Заметка А. Корсакова написана вскоре после появления материалов Н. Рыбкина и пополняет некоторые их пробелы.

² *Давыдов* Николай Гаврилович — сын владельцев Пачелмы, Г. П. и М. Я. Давыдовых. В 1828 г. против М. Я. Давыдовой было возбуждено судебное дело об истязании до смерти беременной женщины, ее крепостной. Подробнее об этом см.: А. Храбровицкий, Дело помещицы Давыдовой. К истории юношеских драм Белинского и Лермонтова. — ЛН, т. 57, М. 1951, стр. 243—247.

³ Ни в каких других материалах имя Жако не встречается; после смерти воспитателя Капэ Е. А. Арсеньева уже в Москве пригласила к внуку француза Жандро.

⁴ А. Корсаков ошибается. В детстве Лермонтов был на Кавказе в 1818, 1820 и 1825 гг. Болезненность Лермонтова, а не нездоровье Арсеньевой было главной причиной ее поездок с внуком на Кавказ.

⁵ Винсон занимался с Лермонтовым английским языком и был приглашен в дом к Арсеньевой еще при Капэ.

М. Е. Меликов

ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА-ЖИВОПИСЦА

(Стр. 72)

Художник Моисей Егорович Меликов (р. 1818) познакомился с Лермонтовым в Москве в 1827 г. В то время Меликов учился в пансионе Боргарда; затем — в Лазаревском институте восточных языков, в Артиллерийском училище и, наконец, в Академии художеств, куда он поступил осенью 1837 г. вольноприходящим,

В настоящем издании воспоминания М. Е. Меликова печатаются в сокращении по тексту журнала «Русская старина», 1896, т. 86, стр. 645—649.

¹ Впервые об А. П. Ермолове Лермонтов-мальчик мог слышать от П. М. Меликова или П. А. Мещерянова и П. П. Шан-Гирея, служивших под начальством Ермолова.

Алексей Петрович *Ермолов* (1772—1861) — выдающийся боевой генерал, популярный среди декабристов. В 1816—1827 гг. был главнокомандующим на Кавказе, командовал Кавказским корпусом; после разгрома восстания декабристов он оказался в опале и был вынужден выйти в отставку.

Образ Ермолова нарисован Лермонтовым в стихотворении «Спор»:

И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Видимо, Лермонтов и лично встречался с Ермоловым, — известно, что генерал П. Х. Граббе в первой половине января 1841 г. переслал с Кавказа через Лермонтова письмо к Ермолову. Подробнее об этом см.: С. А. Андреев-Кривич, Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. — Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института, вып. I, Нальчик, 1946, стр. 260; Ираклий Андроников, Лермонтов в Грузии в 1837 году, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1958, стр. 202—207.

Известен отзыв А. П. Ермолова о гибели Лермонтова:

«Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный; таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» («Русский вестник», 1864, кн. 8, стр. 229).

² См. об этом в воспоминаниях А. П. Шан-Гирея на стр. 35 наст. изд.

³ См. об этом в воспоминаниях Е. А. Сушковой-Хвостовой на стр. 89 наст. изд.

А. З. Зиновьев

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

(Стр. 76)

Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801—1884) в 20-е годы был преподавателем латинского и русского языков в Московском университетском благородном пансионе; с 1830 по 1846 г. — профессо-

ром «российского красноречия и словесности», а также древних языков в Ярославском Демидовском высшем училище, с 1848 по 1858 г. — профессором русской словесности в Лазаревском институте восточных языков. Зиновьев является автором трудов по педагогике, теории словесности и по римским древностям; он много переводил, в частности, ему принадлежит один из переводов поэмы Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» (1861).

Зиновьев подготавливал Лермонтова к поступлению в Московский университетский благородный пансион, а затем был его преподавателем в пансионе. Зиновьев внимательно следил за новыми исканиями в искусстве и литературе, питал склонность к романтизму. Как справедливо полагает Л. П. Гроссман, теоретические воззрения Зиновьева в области русского стиха оказали некоторое влияние на формирование поэтических принципов юного Лермонтова (см.: Л. Гроссман, Стихovedческая школа Лермонтова. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 262—265).

Воспоминания Зиновьева о Лермонтове, если не считать мелких неточностей, оговоренных в примечаниях, вполне достоверны. Точная дата их написания неизвестна. Они создавались между 1860 и 1872 гг., поскольку Зиновьев полемизирует с С. С. Дудышкиным, опубликовавшим в 1860 г. статью «Материалы для биографии и литературной оценки Лермонтова» во 2-м томе редактируемых им сочинений Лермонтова, и поскольку воспоминаниями Зиновьева пользовался А. Н. Пыпин для своей статьи, изданной в 1873 г. (Сочинения Лермонтова в издании Ефремова).

В настоящем издании воспоминания А. З. Зиновьева печатаются по тексту: Литературный архив, I, изд. АН СССР, М.—Л. 1938, стр. 426—431. Рукопись хранится в архиве АН СССР (Ленинград), ф. 111, оп. 1, № 12.

¹ Арсеньева привезла Лермонтова в Москву для подготовки к поступлению в Московский университетский пансион осенью 1827 г.

² Зиновьев ошибается: переводу «Перчатки» предшествовал ряд стихотворений, написанных Лермонтовым в 1828 г. Текст перевода «Перчатки» сохранился: он был впервые опубликован в 1860 г. в издании «Разные сочинения Шиллера в переводах русских писателей», т. 8.

³ Зиновьев полемизирует здесь с С. С. Дудышкиным, вышеназванная статья которого была написана под несомненным влиянием воспоминаний Сушковой («Русский вестник», 1857, т. XI, сентябрь, кн. 2, № 18).

⁴ К этому месту относится приписка на отдельном листе, принадлежащая Зиновьеву же, но несколько иным почерком: «Статья может, что впоследствии он не поддавался военной выправке и, вероятно, по этой причине заслужил прозвище Маёшка (Maueux). Зато он не только не сердился, но и обрисовал себя под именем Маёшки. Немногие из его товарищей не имели особенной клички; прозвище Мунго придано было другу и его близкому родственнику. Он вовсе не гнался за славой неукоризненного паркетного юноши. Он не дорожил знанием французского языка, не щеголял никакой внешностью».

О происхождении прозвища «Маешка» см. прим. 30 к воспоминаниям А. П. Шан-Гирея (стр. 422 наст. изд.).

⁵ В наполеоновской гвардии служил не Жандро, а другой гувернер Лермонтова — Капэ, действительно умерший в доме Арсеньевой.

⁶ Среди воспитателей Лермонтова не было Левн. Ансельм Левн, или, как его называли, Левиз, был домашним доктором в Тарханах; он сопровождал Лермонтова на Кавказ, а затем в Москву.

⁷ Стихи из поэмы Лермонтова «Монго» Зиновьев цитирует по изданию «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок С. С. Дудышкиным», изд. 2, т. I, 1863.

⁸ Ошибка Зиновьева: М. Шубин вышел из пансиона летом 1828 г., до поступления в него Лермонтова. По предположению Н. Л. Бродского, Лермонтов познакомился с Шубиным через Мещеринных (Бродский, стр. 155).

⁹ Последний абзац перенесен на отдельный лист в новой редакции: «Один из умных, просвещенных и благороднейших товарищей Лермонтова по пансиону и по юнкерской школе Михаил Николаевич Шубин положительно убежден, что Михаил Юрьевич был далек и чужд всякого искаательства, что он был добрый товарищ *il avait l'esprit varié et enjoué, il voulait avoir de (?) l'avantage...* (неразборчиво). («У него ум был разнообразный и живой, он хотел иметь некоторые (?) преимущества»), но он был истинно любим за свои благородные правила. P. S. Из портретов Лермонтова более всех схож приложенный к первому изданию его сочинений».

Кроме воспоминаний Зиновьева, сохранился его ответ П. А. Висковатову на вопрос, знал ли Лермонтов древние языки: «Лермонтов знал порядочно латинский язык, не хуже других, а пансионеры знали классические языки очень порядочно. Происходило это от того, что у нас изучали не язык, а авторов. Языку можно научиться в полгода настолько, чтобы читать на нем, а хорошо познакомься с авторами, узнаешь хорошо и язык. Если же все напирать на грамматику, то и будешь изучать ее, а язык-то все же не узнаешь, не зная и не любя авторов» (Висковатов, стр. 39).

Д. А. Милютин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
(Стр. 80)

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912) поступил в Московский университетский пансион в 1829 г., на год позже Лермонтова. В 1831 г. он издал две книжки: «Руководство к съемке планов с приложением математики» и объемистый «Опыт литературного словаря». Последний получил благожелательный отзыв в «Московском телеграфе» (1831, ч. 42, стр. 325—326).

В дальнейшем Д. А. Милютин избрал военную карьеру; в 1838—1845 гг. служил в отдельном Кавказском корпусе. Будучи в 1861—1881 гг. военным министром, проводил прогрессивные реформы в армии (отмена телесных наказаний, сокращение срока службы и т. д.).

Воспоминания Милютина созданы в 70-е годы. Сообщаемые им сведения о широте литературных интересов воспитанников пансиона полностью подтверждаются исследованиями советских литературоведов Ф. Ф. Майского и Н. Л. Бродского.

В настоящем издании воспоминания Д. А. Милютина печатаются в сокращении по тексту: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», Соцэкгиз, М. 1939, стр. 7—13. Рукопись хранится в ГБЛ (Музейное собрание).

¹ Ныне на месте здания Московского университетского пансиона находится Центральный телеграф (угол ул. Горького и ул. Огарева).

² Согласно табели о рангах, все должности в гражданском аппарате царской России были разделены на 14 классов. 14-му классу соответствовало звание коллежского регистратора, 12-му классу — губернского секретаря, 10-му классу — коллежского секретаря.

³ В 20-е годы исторические романы и повести Вальтера Скотта в большом количестве издавались в России; русские переводы делались и с английского оригинала, и с французских изданий. К тому времени на русском языке было издано двадцать шесть исторических романов и повестей и также множество баллад Вальтера Скотта. Об отношении Лермонтова к Вальтеру Скотту см. статью Д. П. Якубовича «Лермонтов и Вальтер Скотт». — Известия Академии наук СССР, VII серия, Отделение общественных наук, М. 1935, № 3, стр. 243—272.

М. Н. Загоскин в эти годы опубликовал два романа: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

⁴ Речь идет о существовавшем в пансионе Обществе любителей российской словесности, о котором С. Е. Ранч так вспоминал в 1854 году: «В последние годы существования Благородного пансиона... под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей, как-то: г. Лермонтов, Стромиллов, Колачевский, Якубович, В. М. Строев. Соображаясь с письменным уставом В. А. Жуковского, открыл я для воспитанников Благородного пансиона Общество любителей отечественной словесности; каждую неделю, по субботам, собирались они в одном из куполов, служившем моею комнатою и пансионскою библиотекой. Здесь читались и обсуживались сочинения и переводы молодых словесников, каждый месяц происходили торжественные собрания в присутствии попечителя университета А. А. Писарева, директора П. А. Курбатова, инспектора пансиона М. Г. Павлова и нескольких посторонних посетителей; в собрании читались предварительно одобренные переводы и сочинения воспитанников, разборы образцовых произведений отечественной словесности и решались изустно вопросы из области ифики, эстетики и пр., предлагавшиеся попечителем, директором или инспектором» («Русский библиофил», 1913, кн. 8, стр. 32—33). Подробно об этом обществе и его участниках см.: Бродский, стр. 122—146.

⁵ О рукописных журналах, издававшихся в пансионе, см. также воспоминания В. С. Межевича на стр. 84—85 наст. изд.

⁶ Милютин ошибочно указывает дату 29 сентября.

Об этом посещении см. также воспоминания Г. Головачева («Русский вестник», 1880, октябрь, стр. 698—699).

⁷ «Высочайший указ» о преобразовании Университетского пансиона в казенную гимназию последовал 29 марта 1830 г.

В. С. Межевич

ИЗ СТАТЬИ О СТИХОТВОРЕНИЯХ ЛЕРМОНТОВА

(Стр. 84)

Василий Степанович Межевич (1814—1849) — журналист, сначала печатался в «Телескопе», «Галатее» и в «Отечественных записках», затем стал сотрудником «Северной пчелы». Он знал Лермонтова еще по Московскому университетскому пансиону и воспользовался первым удобным случаем, чтобы поделиться своими воспоминаниями о поэте, интерес к которому среди читающей публики был особенно велик в конце 30-х — в начале 40-х годов. Возможность публикации в официозной «Северной пчеле» похвальной статьи о поэзии Лермонтова (с личными воспоминаниями о поэте) воз-

ника в результате неожиданной позиции редактора «Северной пчелы» Булгарина: он напечатал в своей газете восторженную статью о «Герое нашего времени». Как утверждали современники, издатель И. Глазунов попросил Булгарина услужить ему и написать похвальный отзыв, чтобы публика быстрее раскупила «Героя нашего времени» (Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет 1782—1882, СПб. 1883, стр. 71—72); другие версии по этому поводу см.: И. Головин, Записки, Лейпциг, 1859, стр. 67; «Исторический вестник», 1892, кн. XI, стр. 387. Надеясь на эти слухи, Белинский писал о «купленном пристрастии» Булгарина (Белинский, т. IV, стр. 373). Воспользовавшись похвалой Булгарина, В. С. Межевич послал в «Северную пчелу» статью о творчестве Лермонтова, в форме письма к редактору.

В настоящем издании отрывок из статьи В. С. Межевича печатается по тексту газеты «Северная пчела», 1840, № 284—285. Статья была опубликована за подписью Л. Л.

¹ Перевод Лермонтова из «Лалла-Рук» неизвестен. Из дошедших до нас переводов Лермонтова из Т. Мура известны стихотворения: «Ты помнишь ли, как мы с тобою...» (заглавие Т. Мура «Выстрел») и «Романс» («Ты идешь на поле битвы...»). Как установил В. Э. Вацуро, «Романс» является переложением стихотворения Т. Мура «Go where glory waits thee».

² Поэма Лермонтова «Хаджи Абрек» была опубликована в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XI, отд. I.

³ «Песня» была опубликована впервые в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838, № 18 (30 апреля), стр. 344—347, за подписью «—въ». Однако в «Оглавлении статей, помещенных в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» 1838 г. на стр. II, авторство Лермонтова было раскрыто.

Е. А. Сушкова *

1830 год

ГЛАВА ИЗ ЗАПИСОК

(Стр. 86)

Екатерина Александровна Сушкова родилась 18 марта 1812 г. в Симбирске. Ее отец — офицер народного ополчения в пору Отечественной войны, известный игрок, бретер и кутила, сын симбирского губернатора, умер в 1831 г. Мать, урожд. княжна А. П. Долгорукова, была дочерью генерала екатерининских времен, сослуживца Кутузова.

* Комментарий принадлежит Ю. Г. Оксману.

Семья, к которой принадлежала Е. А. Сушкова, выдвинула в течение XIX в. целый ряд поэтов, литераторов, общественных и государственных деятелей. Одной из кузин Сушковой была графиня Е. П. Ростопчина, известная поэтесса, другой — Е. А. Ган («Зенеида Р — ва»), повести которой высоко ценит Белинский. По матери ей приходился близким родственником кн. И. М. Долгорукий, автор «Камины» и «Капища моего сердца», а дядей с отцовской стороны был Н. В. Сушков, поэт, драматург и переводчик, автор статей и воспоминаний «Обоз к потомству». Кузены Сушковой — стихотворец Д. П. Сушков и военный публицист Р. А. Фадеев, а племянницы — В. П. Желиховская, автор книг для детей, и писательница Е. П. Блаватская.

Лишившись матери, умершей в 1828 г., Е. А. Сушкова жила в семье своей тетки по отцу — М. В. Беклешовой. В 1830 г. ее привезли на некоторое время в Москву, где она очень подружилась с А. М. Верещагиной, принадлежавшей к кругу ближайших друзей молодого Лермонтова. История знакомства с поэтом (ему было в это время шестнадцать лет) принадлежит к числу интереснейших страниц записок Е. А. Сушковой. Эту главу (четвертую по общему счету) мы помещаем в сборнике с самыми небольшими сокращениями*. В следующей, пятой главе записок Сушкова сообщает о получении ею в 1831 г. в подарок от А. М. Верещагиной альбома, листы которого были заполнены стихотворениями, переписанными для нее подругами. Среди этих записей оказались и три произведения Лермонтова: «Вверху одна // Горит звезда», «Я не люблю тебя!» и «Нет, я не требую вниманья». Эти стихотворения, как утверждает Сушкова, были посвящены ей. Далее мемуаристка рассказывала о получении ею в Москве от А. М. Верещагиной еще двух стихотворений Лермонтова — «Еврейская мелодия» (1830) и «Романс» («Хоть бегут по струнам моим звуки веселья», 1831). Все эти пять стихотворений Сушкова впоследствии опубликовала в «Библиотеке для чтения» 1844 г.

К лету 1833 г. относится увлечение А. А. Лопухина (1813—1872), брата Вареньки и Маши Лопухиных, одного из ближайших друзей Лермонтова, Сушковой. Поэт был письменно информирован об этом М. А. Лопухиной, причем отзыв ее о Екатерине Алексан-

* Ввиду того, что следующие главы записок Сушковой выходят за рамки воспоминаний только о Лермонтове, мы не даем их полного текста и ограничиваемся лишь предельно кратким критическим пересказом истории ее отношений с поэтом с 1833 по 1835 г. Это тем более существенно, что и новый период их знакомства получил непосредственное отражение в творчестве Лермонтова (см. далее, стр. 437).

дровне был, видимо, не очень лестным. В ответном письме Лермонтова от 19 июня 1833 г. мы читаем: «Я верю вам, что С. фальшива, потому что знаю, что вы никогда не исказите истины, особенно в дурную сторону. Бог с ней!» (Лермонтов, т. VI, стр. 713. Перевод с французского).

Первая встреча Лермонтова с Сушковой после того, как они расстались в Москве осенью 1830 г., произошла в Петербурге в конце ноября 1834 г. По свидетельству мемуаристики в главе шестой ее записок, Лермонтов «почти не переменялся в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностью, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью. — «Меня только на днях произвели в офицеры, — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого конногвардейца, оттого в юнкерском мундире я избегал случая встречать вас; помню, как жестоко вы обращались со мной, когда я носил студенческую курточку». Из дальнейшего разговора с Лермонтовым Сушкова легко установила, что он осведомлен о ее романе с Лопухиным и очень не сочувствует этому. Вскоре Лопухин и сам появился в Петербурге. В письме к М. А. Лопухиной о встрече с ее братом Лермонтов писал 23 декабря 1834 г.: «Мне показалось, что он (А. А. Лопухин) питает нежность к Екатерине Сушковой. Знаете ли вы это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать! Сохрани боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за все, что попадает на пути. — Было время, когда она мне нравилась. Теперь она меня почти принуждает ухаживать за ней... но я не знаю, — есть что-то в ее манерах, в ее голосе такое жесткое, отрывистое, резкое, что отталкивает. Стараясь ей понравиться, испытываешь потребность ее компрометировать, наблюдать, как она запутывается в собственных сетях» (Лермонтов, т. VI, стр. 717. Перевод с французского).

Для того чтобы вырвать приятеля из сетей Сушковой, которая видела в Лопухине только очень выгодного жениха, Лермонтов сам прикидывается влюбленным в нее и в течение двух недель добивается больших успехов.

«Лопухин, — рассказывает Сушкова в своих записках, — трогал меня своею преданностью, покорностью, смирением, но иногда у него проявлялись проблески ревности. Лермонтов же поработил меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами, он не молил, но требовал любви, он не преклонялся, как Лопухин, перед моей волей, но налагал на меня свои тяжелые оковы, говорил, что

не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня сомнением и насмешками. (...) Мне было также непонятно ослепление всех родных на его счет, особенно же со стороны Марьи Васильевны. Она терпеть не могла Лермонтова, но считала его ничтожным и неопасным мальчишкой, принимала его немножко свысока, но, боясь его эпиграмм, свободно допускала его разговаривать со мною; при Лопухине она сторожила меня, не давала почти случая сказать двух слов друг другу, а с Мишелем оставляла целые вечера вдвоем! Теперь, когда я более узнала жизнь и поняла людей, я еще благодарна Лермонтову, несмотря на то что он убил во мне сердце, душу, разрушил все мечты, все надежды, но он мог и совершенно погубить меня и не сделал этого».

26 декабря 1834 г., на балу у петербургского генерал-губернатора произошло объяснение Лермонтова с Сушковой. «Лермонтов, — вспоминала она, — приехал к самой мазурке; я не помню ничего из нашего несвязного объяснения, но знаю, что счастье мое началось с этого вечера. Он был так нежен, так откровенен, рассказывал мне о своем детстве, о бабушке, о Чембарской деревне, такими радужными красками описывал будущее жительство наше в деревне, за границей, всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми, молил ответа и решения его участи, так что я не выдержала, изменила той холодной роли, которая давила меня, и, в свою очередь, сказала ему, что люблю его больше жизни, больше, чем любила мать свою, и поклялась ему в неизменной верности. Он решил, что прежде всего надо выпроводить Лопухина, потом понемногу уговаривать его бабушку согласиться на нашу свадьбу; о родных моих и помину не было, мне была опорой любовь Мишеля и с ней я никого не боялась...»

5 января 1835 г. Лопухин уехал из Петербурга, и в тот же день родные Сушковой перехватили адресованное ей анонимное письмо, в котором Екатерина Александровна предупреждалась, что она «стоит на краю пропасти»: «любовь ваша к нему (известная всему Петербургу, кроме родных ваших) погубит вас. Вы и теперь уже много потеряли во мнении света, оттого что не умеете и даже не хотите скрывать вашей страсти к *нему*. Поверьте, *он* недостойн вас. Для *него* нет ничего святого, *он* никого не любит. *Его* господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия. Я знал *его* прежде, чем вы, *он* был тогда и моложе и неопытнее, что, однако же, не помешало ему погубить девушку, во всем равную вам и по уму и по красоте. *Он* увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил».

Письмо заканчивалось строками: «*Он* не женится на вас, поверьте мне; покажите ему это письмо, *он* прикинется невинным,

обиженным, забрасает вас страстными уверениями, потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак; в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что он притворялся, да еще посмеется над вами, и это — лучший исход, которого вы можете надеяться и которого от души желает вам: Вам неизвестный, но преданный вам друг NN».

Ни Сушковой, ни ее родным и в голову не пришло, что письмо это сочинено было самим Лермонтовым.

Последняя глава записок Сушковой посвящена рассказу о том, как бурно реагировали ее родные на анонимное письмо, как старались они оградить ее от встреч с Лермонтовым, как сухо и пренебрежительно стал он с нею после этого обращаться. Последняя встреча ее с Лермонтовым состоялась вскоре после пасхи, очень ранней в 1835 г. На просьбу Сушковой объяснить его поведение Лермонтов холодно ответил: «Я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не любил».

Для правильного понимания последних глав записок Е. А. Сушковой мы располагаем признаниями самого Лермонтова, подтверждающими рассказ мемуаристки даже в деталях. Свою линию поведения поэт следующим образом мотивировал в письме к А. М. Верещагиной, датированном нами мартом — апрелем 1835 г.:

«Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: хорошее состояние, имя, титул, связи... Я увидел, что если бы мне удалось кого-нибудь занять собою, то другие незаметно займутся мной, сначала из любопытства, а потом из соревнования. Я понял, что С., желая меня *словить* (технический термин), легко со мной скомпрометирует себя. Поэтому я ее скомпрометировал по мере моих сил, не скомпрометировав одновременно самого себя. Я обращался с ней публично как со своей, давая ей понять, что это единственный способ покорить меня. Когда я увидел, что это мне удалось и что лишний шаг меня погубит, я пошел на смелое предприятие: прежде всего на людях я сделался более холоден, а наедине с ней нежен, чтобы показать, что я ее больше не люблю, и что она меня обожает (что, по существу, неверно). Когда она начала это замечать и захотела сбросить ярмо, я первый публично покинул ее. Я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней при людях, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) ту часть истории, которая была в мою пользу. Она была так смущена этим неожиданным образом действий, что сначала растерялась и покорилась. Это дало повод к толкам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу».

И далее: «А вот забавная сторона истории: когда я увидел, что следует публично порвать с ней и, однако, наедине с ней казаться

верным, я вдруг нашел очаровательное средство — написал анонимное письмо: *«Сударыня, я человек, который вас знает, но вам неизвестен и т. д... Предупреждаю, остерегайтесь этого молодого человека, М. Л. — он вас обольстит — и т. д. — Вот доказательства (глупости) и т. д.»* Письмо на четырех страницах! Я ловко направил письмо так, что оно попало прямо в руки тетки. В доме гром и молния! На следующий день я отправляюсь туда рано утром, так чтобы ни в каком случае не быть принятым. Вечером на балу, я с удивлением рассказываю все это Сушковой. Она мне поверяет ужасную и непонятную новость. Мы пускаемся в догадки. Наконец она говорит, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со мной. Я в отчаянии, но я остерегаюсь нарушить запрещение тетки и дядюшек. Так происходило это трогательное приключение, которое, конечно, составит вам обо мне хорошенькое мнение! Впрочем, женщины прощают всегда зло, которое причиняется женщине (афоризм Ларошфуко). Теперь я не пишу романов, — я их делаю. Итак, вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые заставило меня проливать кокетство m-lle С. пять лет тому назад» (Лермонтов, т. VI, стр. 719—720. Перевод с французского).

Вопреки своей юношеской бравате, Лермонтов и писал романы, а не только их «делал». Страницы «Княгини Лиговской», первые главы большого повествовательного полотна, оборванного ссылкой поэта на Кавказ и использованного впоследствии для «Героя нашего времени», свидетельствуют о том, что история с Е. А. Сушковой уже в 1836 г. дала материал для одного из важнейших сюжетных узлов романа, почти все персонажи которого представляли собою откровенные сколки с живых лиц, участников той же эпопеи.

В «Княгине Лиговской» мы находим замечательный по своему сходству с живым его прототипом портрет Е. А. Сушковой, выведенной под именем Елизаветы Николаевны Негуровой, и почти документально точную ее биографию, не отличающуюся даже в некоторых деталях от того, что ею самой рассказано было о ее романе с Лермонтовым.

История с Е. А. Сушковой получила отражение и в некоторых сюжетных ходах драмы Лермонтова «Маскарад» (1835). См. об этом в статье В. Л. Комаровича «Автобиографическая основа «Маскарада» (ЛН, т. 43—44, М. 1941, стр. 629—638).

В октябре 1838 г., то есть через три года после разрыва с Лермонтовым, Е. А. Сушкова выходит замуж за старого своего поклонника, дипломата А. В. Хвостова. В числе многих других ее знакомых в церкви во время венчания был и Лермонтов (см. рассказ А. П. Шан-Гирея в «Русском вестнике», 1882, № 3, стр. 338, и

письмо Е. А. Верещагиной в кн.: Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки. «Художественная литература», М. 1964, стр. 220), а их общая приятельница, Е. П. Ростопчина, 10 марта 1839 г. обратилась к ней с посланием: «Новообращной (Е. А. Хвостовой)». С начала сороковых годов Екатерина Александровна живет за границей — в Венеции, Турине, Марселе и Генуе, изредка наезжая в Россию.

В широкий литературный оборот имя Е. А. Сушковой входит впервые в 1844 г., когда в двух номерах «Библиотеки для чтения», под интригующим названием «Из альбома Е. А. Сушковой», появилось двенадцать неизвестных стихотворений молодого Лермонтова. Живой комментарий к этим произведениям великого поэта опубликован был лишь много лет спустя — мы имеем в виду ту часть записок Е. А. Сушковой, которую она напечатала в «Русском вестнике» 1857 г. под заголовком «Воспоминания о Лермонтове. Отрывок из записок». Страницы эти соответствовали четвертой главе будущего полного издания ее записок, не выходя за пределы событий 1830 г.

В 1861 г. за границей умирает А. В. Хвостов, муж мемуаристки, после чего она возвращается на родину и навсегда поселяется в Петербурге. В обычную колею жизни стареющей светской женщины вторгаются заботы о семье, о воспитании двух подрастающих дочерей. Однако, как свидетельствует М. И. Семевский, в гостиной Е. А. Хвостовой «всегда можно было встретить некоторых из наиболее заметных деятелей в области как отечественной словесности, так в особенности музыки» («Вестник Европы», 1869, № 8, стр. 684). М. И. Семевский не называет имен, но мы и без него знаем сейчас, что в числе ближайших молодых друзей Екатерины Александровны с конца 50-х годов были А. Н. Апухтин и П. И. Чайковский. Первому из них она особенно протезировала. Именно в ее архиве сохранились в большом числе авторизованные копии произведений Апухтина, известных советским исследователям его творчества как «тетради Е. А. Хвостовой». Она же была адресатом одного из посланий Апухтина — «экспромта», относящегося к 1 февраля 1858 г. Напомним его начало:

Е. А. Хвостовой

Добры к поэтам молодым,
Вы каждым опытом моим
Велели мне делиться с вами,
Но я боюсь... Иной поэт,
Чудесным пламенем согрет,
Вас пел могучими стихами...

А. Н. Апухтин имел, конечно, в виду только опубликованную к этому времени часть записок Е. А. Хвостовой о Лермонтове, так как последний период ее отношений с поэтом, освещенный на страницах ее же «исповеди» через год-полтора после пережитой ею драмы, был известен только самому узкому кругу ее родных. Эта же «исповедь» легла впоследствии в основание двух последних глав ее записок, над которыми она работала, судя по дате предисловия, в 1860 г. Близостью «исповеди» ко времени событий, в ней отраженных, объясняется свежесть и непосредственность рассказов Сушковой о ее романе с Лермонтовым, живость речей персонажей, конкретность описаний, точность всех дат. Автобиографический документ, самой Е. А. Сушковой называемый «исповедью», дошел до нас в автокопии, озаглавленной: «Воспоминания Ольги, писанные в 1836—1837 гг. для Марии Сергеевны Б(агговут), рожденной к(няжны) Х(ованской)»*.

Е. А. Хвостова скончалась 10 сентября 1868 г. Осенью следующего года М. И. Семевский напечатал в «Вестнике Европы» (1869, № 8 и 9) сокращенную редакцию ее записок, а в 1870 г. полный их текст под названием: «Записки Е. А. Хвостовой, рожденной Сушковой, 1812—1841. Материалы для биографии Лермонтова. Издание второе с значительными против первого издания, напечатанного в «Вестнике Европы» 1869 г., дополнениями и приложениями», Санкт-Петербург, 1870. (на обложке: 1871).

Записки Е. А. Хвостовой имели большой успех — они сразу же оказались в центре внимания самых широких кругов читателей, как первая книга о молодом Лермонтове, написанная к тому же живо и занимательно, без обычных в произведениях этого жанра иконописных условностей и некрологической фальши. Вокруг записок Хвостовой выросла целая литература. На них откликнулись крупнейшие русские журналы и газеты. «Специальный интерес» этих записок, как первых свидетельств об «интимной жизни М. Ю. Лермонтова», отметил в «Отечественных записках» М. Е. Салтыков-Щедрин, подчеркнувший при этом и досадную неадекватность рассказов Сушковой-Хвостовой тем представлениям о поэте, которые уже сложились у читателей «Героя нашего времени», «Мцыри» и «Сказки для детей» («Отечественные записки», 1871, № 1, отд. «Новые книги», стр. 48—54. Перепечатано — Полн. собр. соч. Н. Щедрина, т. VIII, 1937, стр. 412—418).

* Рукопись эта впервые опубликована в 1947 г. в книге Д. М. Иофанова «М. Ю. Лермонтов. Нові матеріали про життя і творчість», Київ, стр. 47—90. Близко соответствующая главе VII и части главы VI печатной редакции, эта автокопия была в руках М. И. Семевского, судя по его послесловию к тексту Сушковой в «Вестнике Европы» (1869, № 9, стр. 341).

Самыми придирчивыми рецензентами «Записок» Е. А. Хвостовой явились ее родственники, оскорбленные суждениями мемуаристки о них самих или об их семьях (Е. А. Ладыженская, Н. В. Сушков, Н. А. Фадеева). Их сомнения и протесты оказали влияние и на первых биографов Лермонтова. Разумеется, книга Е. А. Хвостовой не свободна от некоторых мелких неточностей и пристрастий, но эти недочеты, неизбежные в любых мемуарах, ни в какой мере не подрывали большой историко-бытовой значимости ее воспоминаний ни в целом, ни в частностях. Не вызывает сомнений и точность рассказов Сушковой о ее отношениях с Лермонтовым в период 1830—1835 гг. Ее свидетельства полностью были подтверждены позднейшими публикациями неизвестных ей писем и произведений Лермонтова, в том числе и неоконченного романа «Княгиня Лиговская».

Свод основных библиографических материалов о Е. А. Сушковой и ее записках см. в издании: Екатерина Сушкова (Е. А. Хвостова), Записки. 1812—1841. Редакция, введение и примечания Ю. Г. Оксмана, «Academia», Л. 1928. Материалы, вошедшие в научный оборот после 1928 г., учтены выше.

¹ *Верещагина* Александра Михайловна (1810—1873), племянница Е. А. Столыпиной, невестки Е. А. Арсеньевой. Лермонтов называл эту дальнюю свою родственницу «кузиной». В 1837 г. А. М. Верещагина вышла замуж за барона Карла Хюгеля, вюртембергского дипломата. Подробнее об отношениях ее к Лермонтову см. в воспоминаниях А. П. Шан-Гирея (стр. 39—40), а также в кн.: Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки, изд-во «Художественная литература», М. 1964, стр. 183 и далее.

² Братья А. И. и Н. И. Алексеевы охарактеризованы в «Записках Ф. Ф. Вигеля» (ч. VI, М. 1892, стр. 22), которому они приходились племянниками. Старший из них, Александр Ильич (1800—1833), отставной штабс-капитан л.-гв. Конноегерского полка, принадлежал к числу обвиняемых по делу о неlegalном распространении в 1827 г. стихов Пушкина «Андрей Шенье», приуроченных кем-то к событиям 14 декабря. В 1830 г. проживал под секретным полицейским надзором в Москве.

³ «Дядя» — Петр Васильевич Сушков (1783—1855), отец поэтессы Е. П. Ростопчиной.

⁴ Внешний облик Лермонтова в эту же пору запечатлен в воспоминаниях о нем П. Ф. Вистенгофа, И. А. Гончарова и Я. И. Костенецкого. См. сводку этих данных в примечаниях к «Запискам Е. А. Сушковой (Хвостовой)», «Academia», Л. 1928, стр. 108.

⁵ *Столыпина* Екатерина Апраксеевна, была женою Д. А. Столыпина (1785—1826), брата бабушки Лермонтова.

⁶ Стихотворение «Черноокой», опубликованное впервые самой Е. А. Сушковой в «Библиотеке для чтения», 1844, № 5 (автограф неизвестен), сохранилось в другой редакции в тетради юношеских стихотворений Лермонтова под названием «К Су... (При выезде из Середникова к Miss black-eyes. Шутка, предположенная от M. Kord)». Мистер Корд — губернёр А. Д. Столыпина.

⁷ Автограф стихотворения «Благодарю!» неизвестен. Впервые опубликовано Е. А. Сушковой в «Библиотеке для чтения», 1844, № 5.

⁸ Стихотворение впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1844, № 6, с заголовком «Из альбома Е. А. Сушковой-Хвостовой». В бумагах Лермонтова сохранилась авторизованная копия другой редакции этих стихов, с заголовком «Нищий».

⁹ Стихотворение «Ангел», датируемое 1831 г., впервые опубликовано самим Лермонтовым в сб. «Одесский альманах на 1840 год», Одесса, 1839. Е. А. Сушкова располагала, очевидно, текстом этих стихов, вписанным Лермонтовым в альбом А. М. Верещагиной, где первые строки последней строфы читались: «С тех пор неизвестным желаньем полна // Страдала, томилась она». Сушкова сама указывала на особенность этой редакции (см. «Русский вестник», 1857, т. XI, стр. 401—402).

¹⁰ Генерал-лейтенант Н. А. Столыпин погиб не «вместе с Грибоедовым» в Тегеране, а полтора года спустя в дни чумного бунта в Севастополе в 1830 г.

¹¹ Четверостишие это принадлежит Пушкину. Печаталось им с 1826 г.

¹² Строки из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

¹³ Три последних стиха, взятые из «Кавказского пленника» Пушкина, имели в виду простодушное восклицание Дашеньки С. при упоминании «младого черкеса» и «постели одинокой»: «Ах, зачем я не могу более этого сказать».

¹⁴ Старинный французский каламбур, построенный на неперево-
димой игре слов: «Roux sot» и «Rousseau».

¹⁵ Эпизод, рассказанный в записках Сушковой, очень близок сцене, вошедшей в анонимный фельетон «Первый блин да комом» в московской газетке «Листок» от 24 февраля 1831 г., № 16. Принадлежность Лермонтову экспромта «Три грации», вошедшего в этот же фельетон, очень сомнительна.

¹⁶ Стихотворение «Весна» опубликовано в журнале «Атеней», 1830, ч. IV, с подписью «L» (с разночтением в десятой строке). Это первое произведение Лермонтова, появившееся в печати. По рукописи, принадлежавшей Сушковой, напечатано в «Библиотеке для чтения», 1844, т. 64.

¹⁷ Впервые опубликовано, с заголовком «К Е. А.», в «Библиотеке для чтения», 1844, № 6. Сохранился список другой редакции этих стихов, с заголовком «К*».

¹⁸ «Архивец» — чиновник московского архива министерства иностранных дел. Ср. «Архивны юноши» в «Евгении Онегине», гл. VII, строфа XLIX.

¹⁹ «Конногвардеец» — Николай Гаврилович Головин, поручик л.-гв. Конного полка, с 1832 г. адъютант виленского военного губернатора.

²⁰ Пестель Александр Иванович, поручик кавалергардского полка, младший брат декабриста. Е. А. Сушкова упоминала о нем в предыдущей главе своих воспоминаний.

²¹ Впервые опубликовано самой Сушковой в «Библиотеке для чтения», 1844, № 5, стр. 7—8. В этом издании, как и в первопечатном тексте записок, был пропущен стих 17-й, который мы восстанавливаем по автографу. В автографе стихотворение — в другой редакции; оно имеет заголовок «Стансы» и дату — 26 августа 1830 г.

²² Впервые опубликовано самой Сушковой в «Русском вестнике», 1857, т. XI, стр. 405. Автограф не сохранился, копия в альбоме А. М. Верещагиной.

²³ Впервые опубликовано самой Сушковой в «Русском вестнике», 1857, т. XI, стр. 405—406. Стихотворение это является ранней редакцией послания «К Л. — (Подражание Байрону)», впервые опубликованного в 1859 г. Очевидно, А. М. Верещагина сознательно мистифицировала Сушкову, прислав ей стихи, посвященные в действительности В. А. Лопухиной. Таким образом, нет никаких оснований обвинять Сушкову, как это делает, например, П. А. Висковатов («Русский вестник», 1882, № 3, стр. 335), в том, что она произвольно «относит к себе» произведения, не ей адресованные.

²⁴ Впервые опубликовано самой Сушковой в «Русском вестнике», 1857, т. XI, стр. 406. Автограф не сохранился. Критику некоторых деталей рассказа мемуаристки о получении ею этих стихов см. в замечаниях Е. А. Ладыженской по поводу воспоминаний Е. А. Сушковой-Хвостовой («Записки Е. А. Сушковой», Л. 1928, Дополнения, стр. 340).

²⁵ Эти строки записок вызвали сомнение П. А. Висковатова (см. Висковатов, стр. 40). Однако в хронике «Московских ведомостей», 1830, № 36, стр. 1644—1645, нами обнаружено было извещение о том, что 29 марта 1830 г. Московский университетский благородный пансион «имел торжественное собрание», на котором в числе других «награжденных за успехи в науках и искусствах книгами и другими призами» указан и «Михаил Лермонтов», переве-

денный из пятого класса в шестой. Таким образом, правильно передав самый факт, Е. А. Сушкова ошибочно отнесла его к осени, а не к весне 1830 г.

²⁶ Марья Васильевна Беклешова, урожд. Сушкова (1792—1853), тетка мемуаристки.

²⁷ Впервые опубликовано самой Сушковой в «Русском вестнике», 1857, т. XI, стр. 407. Другие тексты этого произведения неизвестны.

²⁸ Впервые опубликовано самой Сушковой в «Библиотеке для чтения», 1844, № 6, стр. 129. Другие тексты этих стихов неизвестны.

А. И. Герцен

ИЗ КНИГИ «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

(Стр. 103)

Александр Иванович Герцен (1812—1870) одновременно с Лермонтовым учился в Московском университете: Герцен с 1829 г. был студентом физико-математического отделения, Лермонтов с 1830 г. — нравственно-политического отделения. Несмотря на наличие общих знакомых (Н. М. Сатин, Я. И. Костенецкий), они, видимо, не были знакомы друг с другом. Однако о пребывании Лермонтова в университете Герцену было известно — позднее в статье «Провинциальные университеты» (1861) он вспоминал: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета» (Герцен, XV, стр. 20).

Отрывок из книги «Былое и думы», включенный в настоящий сборник, повествует о «маловской» истории, в которой в какой-то степени был замешан и Лермонтов, — обструкция Малову была произведена в аудитории нравственно-политического отделения. И хотя имя Лермонтова в этом отрывке не упоминается, мы сочли необходимым его поместить, так как он ярко рисует атмосферу студенческой жизни в годы, когда Лермонтов учился в Московском университете.

Через неделю после «маловской» истории, 23 марта 1831 г., поэт записал в альбом Н. И. Поливанова стихотворение «Послушай! вспомни обо мне», на полях которого имеется приписка Поливанова с поправками рукою Лермонтова: «Москва. Михайло Юрьевич Лермонтов написал *эти строки* в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда, вследствие какой-то университетской шалости, он *ожидал строгого наказания*. Н. Поливанов». (Поправки Лермонтова даны курсивом.)

В настоящем издании отрывок из книги «Былое и думы» печатается по тексту: А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах. т. VIII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 106—107, 116—123.

¹ Ср. с описанием «маловской» истории Я. И. Костенецким — «Русский архив», 1887, кн. 2, стр. 336—345.

П. Ф. Вистенгоф

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
(Стр. 108)

Павел Федорович Вистенгоф (род. около 1815 г., умер после 1878 г.) поступил в Московский университет вольнослушателем, в 1831 г.; выдержав экзамены, был зачислен на первый курс словесного отделения, лекции которого посещал Лермонтов. Рассеянная светская жизнь заставила Вистенгофа в конце 1831—1832 учебного года оставить университет. Через два года он поступил на юридический факультет Казанского университета, по окончании которого вернулся в 1839 г. в Москву. В 1840 г. Вистенгоф выступил в печати с «Очерками московской жизни», которые вызвали оживленное обсуждение в журналах того времени; он также автор романа «Урод» и некоторых других произведений.

Вистенгоф не был близок с Лермонтовым, не симпатизировал ему и не понимал его характера; его высказывания о Лермонтове носят даже оттенок недоброжелательства. Тем не менее его воспоминания привлекают внимание яркой зарисовкой быта и нравов московского студенчества начала 30-х годов. Но главное — они знакомят нас с некоторыми подробностями из жизни Лермонтова-студента.

В настоящем издании воспоминания П. Ф. Вистенгофа печатаются в сокращении по тексту журнала «Исторический вестник», 1884, кн. 5, стр. 332—337.

¹ Об этом см. рассказ Г. Г. Оловачева): «Исчезновение Лермонтова, отправившегося в Петербург для поступления в гвардейскую юнкерскую школу, не обратило на себя особого внимания; припоминали только, что он изредка показывался на лекциях, да и то почти всегда читал какую-нибудь книгу, не слушая профессора...» («День», 1863, № 42), а также воспоминания И. А. Гончарова: «Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый,

одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним» (И. А. Гончаров, Собр. соч. в восьми томах, т. 7, М. 1954, стр. 202).

² Вистенгоф не точен: Лермонтов просто не явился на экзамены.

³ Характеристику администрации университета дает Герцен в I ч. «Былого и дум».

⁴ Вистенгоф преувеличивает богатство Лермонтова. См. прим. 4 на стр. 501 наст. изд. Лермонтов оставил Московский университет весной 1832 г., пробыв в нем два учебных года.

А. М. Миклашевский

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В ЗАМЕТКАХ ЕГО ТОВАРИЩА (Стр. 114)

Андрей Михайлович Миклашевский (1814—1905) — товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону и по юнкерской школе. В конце 1834 г. он, одновременно с Лермонтовым, окончил школу и был выпущен подпрапорщиком в л.-гв. Измайловский полк. Вскоре, в декабре 1834 г., А. М. Миклашевский был переведен в л.-гв. Егерский полк, а в конце 1842 г. в чине поручика уволен по болезни в отставку.

Воспоминания Миклашевского датированы «1-го августа 1884 г., Д. Вороная», следовательно, они написаны через пятьдесят лет после окончания школы. Мемуарист идеализирует годы, проведенные им в стенах юнкерской школы.

В настоящем издании воспоминания А. М. Миклашевского печатаются по тексту журнала «Русская старина», 1884, № 12 (декабрь), стр. 589—592.

¹ Лермонтов поступил в четвертый класс полупансионером.

² Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» впервые было напечатано в альманахе «Северные цветы на 1830 год».

³ Алексей Федорович *Мерзляков* (1778—1830) — поэт, профессор Московского университета, преподавал литературу в университетском пансионе, а также давал Лермонтову уроки на дому. Взаимоотношения Лермонтова с Мерзляковым подробно освещены

Н. Л. Бродским в его биографии Лермонтова (Бродский, стр. 74—81).

⁴ Воспоминания Д. А. Милюткина см. на стр. 80 наст. изд.

⁵ О «маловской» истории см. отрывок из книги Герцена «Былое и думы» на стр. 105—106 наст. изд.

⁶ Лермонтов был уволен по его просьбе из шестого класса пансиона 16 апреля 1830 г.

⁷ Имеется в виду статья П. А. Висковатова «Пребывание М. Ю. Лермонтова в школе гвардейских юнкеров», опубликованная в журнале «Русская мысль», 1884, № 7, стр. 44—68. Дальнейшая полемика Миклашевского с Висковатовым не убедительна: дружба Лермонтова с К. А. Булгаковым не может служить доказательством того, что у Лермонтова не было близких отношений с В. А. Воилярлярским. Возражения П. А. Висковатова на статью Миклашевского см. «Русская старина», 1885, № 2 (февраль), стр. 475—476.

⁸ А. С. Стунеев упомянут в «Юнкерской молитве» Лермонтова. О нем см.: М. И. Глинка, Литературное наследие, т. I, Музгиз, Л.—М. 1952 (по указателю).

⁹ Константин Александрович *Булгаков* (1812—1862) — с сентября 1829 г. воспитанник Московского университетского пансиона, в котором в то время учился Лермонтов. Среди эпиграмм Лермонтова, написанных к новогоднему маскараду в Московском благородном собрании (1 января 1832 г.), имеется эпиграмма на К. А. Булгакова («На вздор и шалости ты хват...»). Осенью 1832 г. К. А. Булгаков, как и Лермонтов, поступает в юнкерскую школу, по окончании которой в декабре 1835 г. он был зачислен в л.-гв. Московский полк.

¹⁰ Михаил Иванович *Сабуров* (род. 1813) — товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону и юнкерской школе. К нему относятся стихотворения Лермонтова: «Посвящение N. N.» («Вот, друг, плоды моей небрежной музыки!»), «К N. N.» («Ты не хотел! но скоро волю рока...»), «В день рождения N. N.», «Пир» («Приди ко мне, любезный друг...»). Подробнее о М. И. Сабурове см.: Ф. Ф. Майский, Новые материалы к биографии М. Ю. Лермонтова. — Сборник ИМЛИ, стр. 641.

¹¹ Падчерница генерала Верзилина Эмилия Александровна Клигенберг, в замужестве Шан-Гирей. Ее воспоминания о Лермонтове см. на стр. 341 наст. изд.

¹² О докторе Николае Васильевиче Майере (1806—1846), прототипе доктора Вернера в «Герое нашего времени», см. прим. 7 на стр. 466—467 наст. изд.

И. В. Анненков

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРОЙ ШКОЛЕ
ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ И ЮНКЕРОВ. 1831-й год

(Стр. 119)

Иван Васильевич Анненков (1814—1887) — брат литератора П. В. Анненкова — учился с 1831 г. в юнкерской школе, а затем служил в конной гвардии; автор истории л.-гв. Конного полка.

Из воспоминаний И. В. Анненкова до нас дошло только начало — в утраченной части рукописи, видимо, упоминался Лермонтов, так как мемуарист несколько месяцев учился вместе с ним в школе. Архив журнала «Наша старина», в котором должно было появиться продолжение его воспоминаний, утрачен. Хотя в сохранившейся части воспоминаний И. В. Анненкова нет страниц, посвященных поэту, описанием порядков юнкерской школы автор помогает нам уяснить быт школы в годы учения там Лермонтова.

В настоящем издании воспоминания И. В. Анненкова печатаются в сокращении по тексту журнала «Наша старина», 1917, № 3, стр. 16—40.

¹ Первым классом в юнкерской школе именовали старший класс.

² То есть хранил у себя коллективную трубку.

В. И. Анненкова

из воспоминаний

(Стр. 127)

Вера Ивановна Анненкова (1813—1902), урожд. Бухарина. Ей посвящен новогодний мадригал Лермонтова 1831 г. «Не чудно ль, что зовут вас Вера?» — поэтому до последнего времени считалось, что Лермонтов был знаком с ней еще в Москве. Однако, судя по ее воспоминаниям, их знакомство относится к более позднему времени, и, таким образом, следует думать, что лермонтовский экспромт был посвящен Бухариной в то время, когда она блистала в свете, но еще не была знакома с поэтом.

В 1832 г. Вера Ивановна вышла замуж за Николая Николаевича Анненкова (1799—1865), двоюродного брата Екатерины Аркадьевны Столыпиной и Елизаветы Аркадьевны Верещагиной (урожденных Анненковых).

В воспоминаниях В. И. Анненковой говорится о первой встрече

с Лермонтовым в конце 1832 г., когда он лежал в лазарете юнкерской школы после неудачной попытки укротить необъезженную лошадь.

Отрывок из воспоминаний В. И. Анненковой в переводе Л. В. и Н. В. Классен печатается по книге: Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки, изд-во «Художественная литература», М. 1964, стр. 176—178. Французский оригинал хранится в Центральном государственном архиве древних актов.

¹ 29 апреля 1834 г. Анна Григорьевна Столыпина (1815—1892) вышла замуж за адъютанта вел. кн. Михаила Павловича — Алексея Илларионовича Философова (1800—1874), который стал известен впоследствии как первый издатель поэмы «Демон». Подробнее об этом см.: А. Михайлова, Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 661—690.

² Других свидетельств о том, что у Е. А. Арсеньевой были дети, кроме Марии Михайловны, матери Лермонтова, — нет.

³ Ошибка. В 1839 г. Лермонтов не был в Москве и «Герой нашего времени» тогда еще не вышел.

Лермонтов дважды был у Анненковых в Москве в апреле 1841 г. См. его письмо Е. А. Арсеньевой от 19 апреля 1841 г.

А. М. Меринский

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ В ЮНКЕРСКОЙ ШКОЛЕ

(Стр. 130)

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

(Стр. 135)

Александр Матвеевич Меринский (ум. 1873) поступил в юнкерскую школу на год позже Лермонтова, то есть в 1833 г. После окончания школы он служил в л.-гв. Уланском полку.

Меринский был близок с друзьями поэта А. А. Столыпиным (Монго) и Д. А. Столыпиным, а также с М. И. Цейдлером, сослуживцем Лермонтова по Гродненскому гусарскому полку.

«Воспоминание о Лермонтове» датировано Меринским «1856 г. На Южном Буге» (опубликовано в 1858 г.), — следовательно, наряду с заметками М. Н. Лонгинова, записками Е. А. Сушковой-Хвостовой и некоторыми другими материалами, эти воспоминания являются самыми ранними в лермонтовской мемуарной литературе. Именно этим в значительной степени объясняется их свежесть и самостоятельность: последующие мемуаристы невольно зависели от

своих предшественников, а иногда и просто заимствовали материал друг у друга.

Воспоминания Меринского «М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе» написаны позднее — они были опубликованы в 1872 г., незадолго до смерти мемуариста.

В тексте воспоминаний Меринского были впервые опубликованы отрывки из поэмы Лермонтова «Уланша», «Юнкерская молитва», а также эпитафия на юнкера И. Шаховского.

В настоящем издании воспоминания А. М. Меринского «М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе» печатаются по тексту газеты «Русский мир», 1872, № 205. «Воспоминание о Лермонтове» — в сокращении по журналу «Атеней», 1858, № 48, стр. 286—305.

¹ Лермонтов был произведен в корнеты л.-гв. Гусарского полка 22 ноября 1834 г.

² В романе В. Гюго «Собор Парижской богоматери» горбун носит имя Квазимодо. О происхождении прозвища Маешка см. прим. 30 на стр. 422 наст. изд.

³ По свидетельству А. П. Керн, эта «рукописная баллада» была написана Пушкиным в 1828 г. «у кн. Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве» («Пушкин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1950, стр. 345). Впоследствии эта песенка пользовалась большой популярностью среди завязанных профессиональных игроков. Пушкин взял ее эпиграфом к «Пиковой даме», опубликованной в 1834 г.

⁴ Иван Степанович Клерон (ум. 1852) в молодости был учеником политехнической школы в Париже, в 1825 г. участвовал в студенческом бунте против реакционного правительства Карла X, после чего эмигрировал из Франции (см. «Биржевые ведомости», 1872, № 268—269).

⁵ Ранее, 3 февраля 1862 г., А. М. Меринский в письме к П. А. Ефремову утверждал, что адресатом этого экспромта была М. А. Щербатова. По-видимому, экспромт, написанный Лермонтовым еще в юнкерской школе, был затем слегка изменен («Ах, как мила моя княгиня!») и переадресован его врагами женщине, которую он любил.

⁶ Речь идет о журнале «Школьная заря».

⁷ См. прим. 4 на стр. 426.

⁸ Известно о существовании восьми редакций «Демона», семь из которых сохранилось.

⁹ В настоящее время этот портрет находится в музее Института русской литературы (Ленинград).

¹ Меринский путает даты: Лермонтов переехал из Москвы в Петербург не в 1831 г., а летом 1832 г., и поступил в юнкерскую школу в ноябре 1832 г.

² Отрывок из «Уланши», приведенный Меринским, имеет разночтения с копией журнала «Школьная заря». Автограф «Юнкерской молитвы» не сохранился. Копия, хранящаяся в ИРЛИ, содержит некоторые разночтения, а также имеет заключительное четверостишие, отсутствующее в тексте А. М. Меринского.

³ Речь идет о незавершенном романе Лермонтова «Вадим», который ко времени написания воспоминаний Меринского еще не был опубликован. Впервые «Вадим» был напечатан в журнале «Вестник Европы», 1873, кн. 10, под названием «Юношеская повесть М. Ю. Лермонтова».

⁴ Меринский ссылается на рецензию Белинского, напечатанную без подписи в «Отечественных записках», 1841, т. XVIII, № 9, отд. VI, стр. 1—5 (ср. Белинский, т. V, стр. 451—456). О незавершенных замыслах Лермонтова имеется также рассказ М. П. Глебова в передаче П. К. Мартыанова: «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слышал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это — сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план, — говорил он Глебову, — двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкой в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого — из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!» (П. К. Мартыанов, Дела и люди века, т. II, СПб. 1893, стр. 93—94).

⁵ Юрьев отнес «Хаджи Абрека» не к издателю Смирдину, а к редактору журнала Сенковскому.

⁶ Первое стихотворение Лермонтова, появившееся в печати, — «Весна», в журнале «Атеней», 1830, ч. IV, стр. 113, за подписью «L».

⁷ Лермонтов был переведен в л.-гв. Гусарский полк.

⁸ Об этом экспромте см. воспоминания М. И. Цейдлера на стр. 212—213 наст. изд. и прим. к ним на стр. 470—471.

⁹ Меринский ошибается: стихотворение «Тучи» написано Лермонтовым в начале мая у Карамзиных перед отъездом на Кавказ в 1840 г. Им заключил поэт свой сборник стихотворений 1840 г.

¹⁰ Первое издание «Героя нашего времени» вышло в апреле 1840 г. (цензурное разрешение: 19 февраля 1840 г.). Второе издание романа появилось в 1841 г. (цензурное разрешение: первой части — 19 февраля 1841 г., второй части — 3 мая 1841 г.). До книжного издания отдельные части романа печатались в «Отечественных записках»: «Бэла» (1839, т. 2, отд. III, стр. 167—212), «Фаталист» (1839, т. 6, № 11, отд. III, стр. 146—158), «Тамань» (1840, т. 8, № 2, отд. III, стр. 144—154).

¹¹ Павел Александрович Гвоздев (1815—1851) — воспитанник юнкерской школы; в феврале 1837 г. написал в стихах сочувственный «Ответ М. Ю. Лермонтову на его стихи «Смерть Поэта». В первой половине 1837 г. Гвоздев был разжалован в солдаты и сослан на Кавказ. Хотя непосредственным поводом для исключения Гвоздева из юнкерской школы и не явилось его послание к Лермонтову, следует думать, что именно слухи об этом стихотворении были первопричиной недоброжелательного отношения начальства к молодому юнкеру. Узнав о высылке Гвоздева на Кавказ, Лермонтов писал 18 июля 1837 г. Е. А. Арсеньевой: «То, что вы мне пишете о Гвоздеве, меня не очень удивило; я, уезжая, ему предсказывал, что он будет юнкером у меня во взводе; а впрочем, жаль его». Лермонтов понимал, что стихотворение Гвоздева, в котором он выказал свое враждебное отношение к придворному кругу, не сойдет ему с рук, и поэт не ошибся. На Кавказе Гвоздев сблизился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским и продолжал встречаться с Лермонтовым. В день дуэли Лермонтова с Мартыновым Гвоздев был в Пятигорске и под непосредственным впечатлением гибели поэта написал стихотворение «Машук и Бештау (В день 15 июля 1841 года)». Созданное в день гибели Лермонтова, оно является первым откликом на это трагическое событие:

Как старец маститый, исполнен раздумья,
Стоит остроглавый Бешто, —
Стоит он и мыслит: «Суров и угрюм я,
Но силен, могуч я зато!
Ударит ли гром вдруг и эхо ущелья
Насмешкой раздастся на злость,

И верно, в тот день уж ко мне в новоселье
Земной не пожалует гости!..

И дик я, и наг я, и голый мой камень
Зеленым плющом не порос,
Но с грудью, открытой на холод и пламень,
Не дрогнув, глядит мой утес.
Красуясь, брат мой гордится соседством,
К пятам он готов моим пасть
И рад поделиться богатым наследством,
Но где его сила и власть?..»

Умолкнул Бешто в ожиданье ответа
И видит Машука чело,
Как думой, туманом вдруг стало одето,
И черную тучу несло
По ребрам зеленым роскошного ската.
И видит он дальше: Машук
Готовит к ответу ответ без возврата
Певца отторженного звук.

Стеснилось сердце земного владыки,
Он выронил вздох громовой,
С ним выстрел раздался, раздались и клики,
И пал наш поэт молодой!..
Машук прояснялся луною полночи,
Печально горело чело,
И думы угрюмой сквозь влажные очи
Привет посылал он Бешто.

«О чем так задумчив, властитель твердыни,
Бездушных и каменных груд?
Мечтал ты родить во мне зависть гордыни,
Но в этом напрасен твой труд!
Богат я одеждой роскошной природы,
Богат я и в недрах земли,
Струю целебной текут мои воды
И пользу векам принесли.

Пред грудой камней твоих, грудой утробной,
Могу я гордиться опять, —
Мой камень бесценный, то камень надгробный.
Тот камень не в силах ты взять.
Прикован ко мне он со смерти поэта,
Как братский воспет наш союз.
И ты преклонися главою атлета
Пред прахом наперсника муз!»

(«Литературный критик», 1939, кн. X—XI, стр. 247—248).

В. В. Боборыкин

ТРИ ВСТРЕЧИ С М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ (Стр. 144)

Василий Васильевич Боборыкин (1817—1885) — родной дядя писателя П. Д. Боборыкина — в 1834 г. поступил в юнкерскую школу, где и познакомился с Лермонтовым. По окончании школы в сентябре 1836 г. был выпущен в Кирасирский полк, но еще до производства в офицеры Боборыкин за буйное поведение на улице переведен по приговору военного суда прапорщиком на Кавказ. Здесь, во Владикавказе, в середине декабря 1837 г. Боборыкин вновь встретил Лермонтова, который в то время возвращался из первой ссылки в Петербург.

В сентябре 1839 г., получив прощение после ранения в бою, Боборыкин был переведен обратно в Кирасирский полк и уехал с Кавказа. В 1840 г., находясь в Москве, он в последний раз встретился с Лермонтовым.

Воспоминания Боборыкина достоверны, но они описывают лишь внешние события из жизни Лермонтова. Как признает сам мемуарист, он не подозревал дарования Лермонтова, интересы поэта были ему чужды, и естественно, что между ними не было близких отношений.

В настоящем издании воспоминания Боборыкина печатаются в сокращении по тексту журнала «Русский библиофил», 1915, № 5, стр. 71—81.

¹ *Лярский* — Василий Александрович Вонлярлярский (1814—1852). См. о нем воспоминания Меринского на стр. 136 наст. изд.

² «*Русский инвалид*» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1813 по 1917 г.; «*Пчела*» — «Северная пчела», газета правительственной ориентации, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 г.; «*Revue Britannique*» — французский журнал, основанный в 1825 г.; в этом журнале печатались переводы статей из английских журналов и произведения английской художественной литературы; «*Etudes de la Nature*» («Очерки о природе», 1784) — произведение французского писателя Бернарден де Сент-Пьера.

³ Сохранилось много рисунков Лермонтова с видами Кавказа (см.: Н. Пахомов, Живописное наследство Лермонтова. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 55—222).

⁴ Сведения об А. И. Бяргинском, Д. Г. Розене, А. А. Столыпине-Монго и их отношениях с Лермонтовым даны в статье М. Ашукиной-Зенгер «О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 741—760.

Н. Н. Манвелов

ВОСПОМИНАНИЯ, ОТНОсяЩИЕСЯ К РИСУНКАМ
ТЕТРАДИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
(Стр. 148)

Николай Николаевич Манвелов (1816 — ум. после 1889) — ученик юнкерской школы с 1833 г., впоследствии генерал-лейтенант. Впервые эти воспоминания были опубликованы в пересказе А. А. Бильдерлинга (о нем см. на стр. 454—455 наст. изд.) в журнале «Русская старина», 1890, февраль, стр. 590—593.

В 1889 г. Манвелов передал в Лермонтовский музей альбом, содержащий рисунки Лермонтова, с сопроводительным письмом, озаглавленным «Воспоминания генерал-лейтенанта в отставке князя Николая Николаевича Манвелова».

В настоящем издании воспоминания Н. Н. Манвелова печатаются по тексту: ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 154—157, с уточнением по рукописи (хранится в ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, ед. хр. 10).

¹ Подробное описание этой тетради см.: ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 158—184; Описание материалов Пушкинского дома, II. Лермонтов, изд. АН СССР, М.—Л. 1953, стр. 137—150.

² Воспоминания М. И. Цейдлера о Лермонтове см. на стр. 212 наст. изд.

³ Воспоминания А. М. Меринского о Лермонтове см. на стр. 130 наст. изд.

⁴ Это эпитафия, взятый А. А. Бестужевым-Марлинским к его повести «Аммалат-Бек», напечатанной впервые в «Московском телеграфе» (1832, № 1, 2, 3, 4). Как указано автором, источник эпитафии — надпись на дагестанском кинжале.

⁵ Василий Тимофеевич *Плаксин* (1796—1869) в 1848 г. выступил с критической статьей о сочинениях Лермонтова (см. «Северное обозрение», 1848, т. III, разд. V, стр. 1—20).

А. А. Лопухин

ПИСЬМО К А. А. БИЛЬДЕРЛИНГУ
(Стр. 153)

Александр Алексеевич Лопухин (1839—1895) — сын приятеля Лермонтова, Алексея Александровича Лопухина (1813—1872). Александр Алексеевич родился 13 февраля 1839 г.; на его рождение Лермонтов написал стихотворение «Ребенка милого рожденье...».

Письмо А. А. Лопухина к А. А. Бильдерлингу было написано 3 ноября 1881 г. в связи с передачей Лопухиным в дар Лермонтовскому музею картины Лермонтова «Предок Лерма», которая в настоящее время хранится в музее Института русской литературы (Ленинград).

Адресат письма — Александр Александрович Бильдерлинг (1846—1912), в конце 70-х годов — начальник Николаевского кавалерийского училища. Находясь на этом посту, Бильдерлинг с 1881 г. деятельно участвовал в создании при училище Лермонтовского музея, который был открыт в 1883 г.

В настоящем издании письмо А. А. Лопухина печатается по тексту: ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 84—85, с уточнением по рукописи (хранится в ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, ед. хр. 33, л. 111—112). Впервые содержание письма было опубликовано в пересказе А. А. Бильдерлинга в «Русской старине», 1887, т. 53, февраль, стр. 508—509.

¹ Речь идет о портрете «Предок Лерма», дошедшем до наших дней (хранится в музее ИРЛИ). По преданию, фамилия Лермонтовых происходит от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами якобы бежал из Испании в Шотландию. Лермонтов заинтересовался этим преданием и некоторое время даже подписывался под письмами и стихотворениями «Лерма», тем более что с именем графа Лермы поэт встретился в драме «Дон Карлос» Шиллера. Жена мемуариста, Е. Д. Лопухина, рассказывала П. А. Висковатову, что портрет был нарисован в 1830 или 1831 году. Лерма «изображен в средневековом испанском костюме, с испанской бородкою, широким кружевным воротником и с цепью ордена «Золотого руна» вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим поэтом» (Висковатов, стр. 56—57). Впоследствии Лермонтов убедился, что это предание ни на чем не основано.

М. Н. Лонгинов

ЗАМЕТКИ О ЛЕРМОНТОВЕ

(Стр. 155)

Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875) — историк литературы и библиограф, впоследствии орловский губернатор и начальник Главного управления по делам печати. Лонгинов был человеком консервативных убеждений, что наложило печать и на его заметки о Лермонтове. (Об этом см. вступительную статью, стр. 7—8 наст. изд.)

В настоящем издании воспоминания М. Н. Лонгинова печатаются по следующим источникам — два первых отрывка по изд.: М. Н. Лонгинов, Сочинения, т. I (1850—1859), М. 1915, стр. 46—48, 292—293; остальное по журналу «Русская старина», 1873, март, стр. 381—385, 387—389.

¹ Тема «Лермонтов и Кавказ» неоднократно привлекала внимание ученых — этой теме посвящены исследования: Л. П. Семенов, Лермонтов на Кавказе, Орджоникидзево краевое изд-во, Пятигорск, 1939; И. К. Ениколопов, Лермонтов на Кавказе, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1940; А. В. Попов, Лермонтов на Кавказе, Ставропольское книжное изд-во, 1954; Ираклий Андроников, Лермонтов в Грузии в 1837 году, изд. «Заря Востока», Тбилиси, 1958. Более подробно см.: А. В. Попов, М. Ю. Лермонтов и Кавказ. Рекомендательная библиография..., Ставропольское книжное изд-во, 1963.

² Дата рождения Лермонтова указана Лонгиновым неверно: Лермонтов родился в ночь с 2(14) на 3(15) октября 1814 г. В то время этот дом у Красных ворот принадлежал вдове генерала Ф. Н. Толя; до наших дней дом не сохранился, теперь на его месте высотное здание.

³ Впервые в русской печати о трагической гибели Лермонтова на дуэли было сказано в воспоминаниях А. М. Меринского в 1858 г. (см. стр. 142 наст. изд.), а также в письме Е. П. Ростопчиной к Александру Дюма (на русск. яз. появилось в печати в 1861 г.) (см. стр. 292 наст. изд.).

⁴ Лермонтов переехал из Москвы в Петербург в начале августа 1832 г.; следовательно, знакомство Лонгинова с Лермонтовым состоялось не ранее этого времени. Лермонтов был произведен в корнеты 22 ноября 1834 г.

⁵ Лермонтов работал над «Маскарадом» в конце 1834 г. и в 1835 г.

⁶ М. Н. Лонгинову были неизвестны юношеские драмы Лермонтова.

⁷ Лонгинов ошибается: Лермонтов напряженно работал над «Маскарадом», и последняя пятиактная редакция драмы, озаглавленная «Арбенин», сильно отличается от более ранних трехактной и четырехактной редакций. Работа над «Арбениным» шла с марта 1836 г., когда Лермонтов возвратился из Тархан в Петербург, до двадцатых чисел октября того же года. Драма «Арбенин» поступила в цензуру в двадцатых числах октября 1836 г.

⁸ Стихи Э. И. Губера «На смерть Пушкина» (1837) были впервые напечатаны спустя двадцать лет в «Московских ведомостях», 1857, № 136.

⁹ Лонгинов без достаточной полноты и объективности излагает отношение Бенкендорфа к Лермонтову — см. докладную записку Бенкендорфа к Николаю I о стихотворении «Смерть Поэта» на стр. 399 наст. изд., а также вступительную статью.

¹⁰ Алексей Аркадьевич Столыпин (1816—1858) — двоюродный дядя Лермонтова, ближайший друг поэта, с 1835 г. служил в л.-гв. Гусарском полку. А. А. Столыпин — член «кружка шестнадцати», секундант на обоих поединках Лермонтова. Выйдя в 1839 г. в отставку, А. А. Столыпин после дуэли Лермонтова с Барантом по требованию Николая I был вынужден вернуться в полк и с 1840 по 1842 г. служил на Кавказе; как и Лермонтов, участвовал в военных экспедициях А. В. Галафеева; в 1843 г. опубликовал первый перевод «Героя нашего времени» на французский язык в газете «*Démocratie pacifique*». А. А. Столыпин умер во Флоренции 10 октября 1858 г. Подробнее о нем см.: М. Ашукина-Зенгер, О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 749—754.

¹¹ Кличка была дана по сокращенному названию известного в свое время романа «Путешествие Монгопарка».

¹² Точное время написания этого стихотворения неизвестно — Лонгинов полагает, что его следует датировать последними годами жизни Лермонтова: 1840—1841 гг.; современные исследователи относят его к 1837 г.

¹³ Этот эпизод подтверждается письмом С. Н. Карамзиной к сестре от 27 сентября 1838 г. (см. Ф. Ф. Майский, М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — «М. Ю. Лермонтов. Сб. статей и материалов», Ставропольское книжное изд-во, 1960, стр. 152).

¹⁴ Н. П. Колюбакин (1811—1868) был сослан на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Он был приятелем А. А. Бестужева-Марлинского и вел себя в духе его романтических героев. О нем см.: В. Потто, История 44-го драгунского полка, т. IV, СПб. 1894, стр. 59—60; «Исторический вестник», 1894, № 11, стр. 381—407.

¹⁵ На дуэли присутствовало четыре секунданта: два по официальной версии (А. И. Васильчиков и М. П. Глебов) и два утаенных от следствия (С. В. Трубецкой и А. А. Столыпин-Монго). Некоторые мемуаристы утверждают, что на месте дуэли присутствовали и другие лица. Подробнее об этом см.: Висковатов, стр. 420—421.

¹⁶ Речь идет о портрете Лермонтова, писанном в конце 1834 г. Ф. О. Будкиным или П. З. Захаровым. Вопрос об авторе портрета остается открытым.

Д. А. Столыпин и А. В. Васильев

ВОСПОМИНАНИЯ
(В ПЕРЕСКАЗЕ П. К. МАРТЬЯНОВА)
(Стр. 165)

Дмитрий Аркадьевич Столыпин (1818—1893) — младший брат А. А. Столыпина (Монго), двоюродный дядя Лермонтова. Окончив юнкерскую школу, с января 1839 г. по ноябрь 1842 г. служил в л.-гв. Конном полку. Поручиком вышел в отставку, полагая, что в мирное время не следует быть военным. Во время Крымской войны он вновь вступил на военную службу, участвовал в обороне Севастополя, где познакомился с Л. Н. Толстым; по окончании войны вторично вышел в отставку.

Независимый характер Д. А. Столыпина и его влечение к искусствам явились основой дружеского расположения к нему поэта. Известен его романс на стихотворение Лермонтова «Два великана».

Алексей Владимирович Васильев (1809—1895) был в 1834—1836 гг. сослуживцем Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку, где он прослужил до января 1837 г.

Воспоминания Д. А. Столыпина и А. В. Васильева, дошедшие до нас в пересказе П. К. Мартьянова, рисуют живую картину жизни Лермонтова в эти годы — в них отчетливо проступает особое отношение Лермонтова к гусарским забавам. Говоря о кутежах и азартной картежной игре, Васильев отмечал, что «Лермонтов бывал везде и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому».

Значительный интерес представляют воспоминания Д. А. Столыпина о «Демоне». Правда, в последнее время в его мемуарных свидетельствах были обнаружены ошибки, касающиеся творческой истории этой поэмы (подробнее об этом см.: Д. А. Гиреев, Поэма Лермонтова «Демон», Сев.-Осетинское книжное изд-во, 1958). Однако некоторые неточности в его рассказе, отдаленном полувеком от времени событий, вполне естественны: так, например, мемуарист запомнил точные даты, приурочив к 1841 г. события, которые, по всей вероятности, имели место в конце 1839 г. Воспоминания А. П. Шан-Гирея, в которых о переделках «Демона» говорится до дуэли с Барантом, письмо А. А. Краевского к И. И. Панаеву от 10 октября 1839 г. с упоминанием его переговоров с Лермонтовым о печатании отрывков поэмы, дневниковая запись Жуковского от 24 октября 1839 г. о чтении «Демона» в поезде железной дороги на пути из Царского Села в Петербург

(ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 14) — все это говорит о том, что Лермонтов знакомил петербургское общество со своей поэмой не в 1841 г., а в конце 1839 г.; к этому же времени относятся, видимо, отзывы о «Демоне» В. Ф. Одоевского, М. А. Щербатовой, М. П. Сокомирской, Николая I и вел. кн. Михаила Павловича, о которых нам сообщает Д. А. Столыпин. Эти отзывы воссоздают атмосферу живейшего внимания к поэме «Демон» со стороны современников, указывают на широкий резонанс, вызванный этой поэмой.

Первостепенное значение имеет заявление Д. А. Столыпина о том, что Лермонтов не собирался «переделать Демона — этого титана тьмы и злобы, зиждителя соблазна и греха, в кающегося грешника». Это утверждение Д. А. Столыпина свидетельствует о том, что последующие изменения в тексте «Демона» были вызваны не творческими мотивами, а внешними обстоятельствами: Лермонтов был вынужден смягчить мятежный пафос «Демона», так как поэму потребовали для прочтения ко двору. Кроме того, поэт готовил ее текст для представления в цензуру.

Воспоминания Д. А. Столыпина и А. В. Васильева печатаются по тексту: П. К. Мартыанов, Дела и люди века, СПб. 1893, т. II, стр. 148—152, 46; т. III, 1896, стр. 86—89.

¹ Николаю Ивановичу Бухарову (1799—1862) Лермонтов посвятил два стихотворения: «Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...» и «Смотрите, как летит, отвагою пылая...». Второе из них является надписью к рисунку А. Н. Долгорукова, изображающему скачущего Бухарова, с пометой «1838».

² *Годеин* Петр Павлович — с 23 декабря 1837 г. — полковой адъютант.

³ Иосиф Карлович *Ламберт* (ум. 1879) — граф, поручик, с 31 марта 1835 г. по 27 декабря 1837 г. полковой адъютант л.-гв. Гусарского полка.

⁴ «*Фенелла*» или «Немая из Портичи» (1828) — опера французского композитора Даниэля-Франсуа Обера (1782—1871); в театральный сезон 1833—1834 г. она шла в Александринском театре. Лермонтов упоминает «Фенеллу» в своем незавершенном романе «Княгиня Лиговская» (гл. II).

⁵ Пушкин мог знать поэму Лермонтова «Хаджи Абрек», напечатанную в «Библиотеке для чтения» (1835, т. XI, отд. I). Этот номер журнала сохранился в библиотеке Пушкина.

⁶ Речь идет о письме с деньгами, посланном семейством Мартыновых через Лермонтова Н. С. Мартынову на Кавказ и якобы самовольно вскрытом Лермонтовым. (См. разоблачение этой версии

в статье Э. Герштейн «Новое о дуэли и смерти Лермонтова». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 691—705.)

⁷ Сразу же после смерти Николая I Алексей Илларионович Философов (1800—1874) дважды издал «Демона» за границей. Подробнее об этом см.: А. Михайлова, Последняя редакция «Демона». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 11—22; Д. А. Гиреев, Поэма Лермонтова «Демон», Сев.-Осетинское книжное изд-во, 1958, а также: Т. А. Иванова, Что говорят рукописи и книги (Об основном тексте «Демона»). — Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 2.

⁸ В статье «Новые сведения о М. Ю. Лермонтове» П. К. Мартыанов, ссылаясь на Д. А. Столыпина, утверждал, что Лермонтов взял рукопись обратно из редакции «Отечественных записок», опасаясь, что опубликование поэмы может привести к неблагоприятным последствиям (П. К. Мартыанов, Дела и люди века, т. II, СПб. 1893, стр. 124).

⁹ Передаваемый Д. А. Столыпиным разговор между В. Ф. Одоевским и Лермонтовым происходил, по-видимому, на одной из литературных суббот в доме Одоевского. О литературном салоне Одоевского см.: М. Аронсон и С. Рейсер, Литературные кружки и салоны, «Прибой», Л. 1929, стр. 171—182.

¹⁰ Мария Алексеевна Щербатова, урожд. Штерич (ум. 1879), княгиня. Лермонтов был увлечен ею в 1839—1840 гг. Ей посвящены стихотворения Лермонтова «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Отчего» и «На светские цепи...».

¹¹ Мария Петровна Соломирская, жена брата П. Д. Соломирского, сослуживца Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. М. П. Соломирской посвящено стихотворение Лермонтова «Над бездной адскою блуждая...». Оно явилось ответом на записку М. П. Соломирской, полученную поэтом, когда он сидел под арестом за дуэль с Барантом. В содержании стихотворения чувствуется отголосок беседы поэта и М. П. Соломирской о «Демоне».

¹² Как видно из слов А. И. Философова, Николаю I не понравилась «с небом гордая вражда», пронизывающая всю поэму; он был достаточно проницателен, чтобы понять искусственность конца «придворного списка» поэмы.

¹³ Михаил Павлович (1798—1849) — младший брат Николая I, генерал-фельдцейхмейстер, командовал Гвардейским корпусом. В его отзыве о «Демоне», сквозь желание блеснуть красным словом, чувствуется неприятие поэмы, в чем он, по сути дела, сошелся с Николаем I.

В. П. Бурнашев

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В РАССКАЗАХ
ЕГО ГВАРДЕЙСКИХ ОДНОКАШНИКОВ

(Стр. 175)

Владимир Петрович Бурнашев (1809—1888) — третьестепенный журналист. Его воспоминания написаны на основании рассказов друзей Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку.

К воспоминаниям Бурнашева о Лермонтове существует двойственное отношение. Если П. А. Висковатов пользовался текстом Бурнашева и цитировал его без всяких оговорок в своей работе о Лермонтове, то редактор дореволюционного академического издания Лермонтова Д. И. Абрамович указывал, что достоверность его рассказов очень сомнительна, а другой редактор П. А. Ефремов вообще исключал мемуары Бурнашева из числа материалов для биографии поэта. Проверка бурнашевских рассказов, проведенная недавно И. Л. Андрониковым, убедительно доказала: несмотря на то, что воспоминаниям придана беллетристическая окраска, фактическая достоверность их вне всяких сомнений. (См. Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки, «Художественная литература», М., 1964, стр. 37—46).

В настоящем издании воспоминания В. П. Бурнашева печатаются в сокращении по тексту журнала «Русский архив», 1872, стлб. 1770—1781, 1816—1837, 1839—1845. (Рукопись, неполная, хранится в ГИМ, ф. 309, ед. хр. 59.)

¹ Афанасий Иванович Сеницын, рассказы которого передает Бурнашев, учился с Лермонтовым в юнкерской школе и, судя по пересказу Бурнашева, был в коротких отношениях с поэтом. Сеницын до поступления в юнкерскую школу окончил Харьковский университет и уже по одному этому, несомненно, выделялся среди других юнкеров. Лермонтов сам пришел в юнкерскую школу из стен Московского университета, и, конечно, личность Сеницына не могла не заинтересовать его.

² «Курок» — прозвище юнкера И. Шаховского.

³ Французский писатель Поль Скаррон (1610—1660) прославился «Комическим романом» и бурлескной поэмой «Вергилий наизнанку», язык которой содержит большое количество фамильярных, жаргонных, народных оборотов речи и словечек.

⁴ О происхождении прозвища Майошка см. прим. 30 на стр. 422 наст. изд.

⁵ См. стр. 161 наст. изд.

⁶ Опочинины — дом шталмейстера двора Федора Петровича

Опочинина (1779—1852), женатого на Дарье Михайловне Голенищевой-Кутузовой (1788—1854), дочери М. И. Кутузова (сестре Е. М. Хитрово).

⁷ *Надеть белую ляжку* — то есть быть разжалованным в солдаты.

⁸ Сообщение Юрьева о личном знакомстве Лермонтова с Пушкиным не подтверждается другими мемуаристами.

⁹ Имеются в виду заключительные шестнадцать строк стихотворения «Смерть Поэта», дописанные Лермонтовым позднее, после того, как ему стало известно, что придворные круги защищают Дантеса и клеветают на Пушкина (см. об этом объяснение Раевского на стр. 395 наст. изд.).

¹⁰ Первым полком в гвардейской кавалерии считался Кавалергардский полк.

¹¹ Анна Михайловна *Хитрово* — дочь М. И. Кутузова, сестра Елизаветы Михайловны Хитрово (они были замужем за дальними родственниками — однофамильцами).

¹² Эта часть воспоминаний В. П. Бурнашева подтверждается письмом А. М. Меринского к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 г.: «...Как-то на одном многоядном вечере известная в то время старуха и большая сплетница Анна Михайловна Хитрово при всех обратилась с вопросом к Бенкендорфу (шефу жандармов): «Слышали ли вы, Александр Христофорович, что написал про нас (заметьте: *про нас!*) Лермонтов?» Бенкендорф прежде ее, вероятно, знал о том и не находил ничего в этом важного. Рассказывали тогда, что будто он выразился так: «Уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю». Вследствие этого доклада был послан начальник Гвардейского штаба покойный Веймарн, чтоб осмотреть бумаги Лермонтова, в Царское Село, где не нашел поэта (он большею частию жил в Петербурге), а нашел только его нетопленную квартиру и пустые ящики в столах. Развязка вам известна — Лермонтова сослали на Кавказ» (И р а к л и й А н д р о н и к о в, Лермонтов. Исследования и находки, изд-во «Художественная литература», М. 1964, стр. 66—67).

¹³ См. воспоминания Меринского на стр. 130 наст. изд.

А. Н. Муравьев.

ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ (Стр. 202)

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — известный в свое время писатель. Его старшие братья были видными представителями различных общественных течений того времени Александр

Николаевич (1792—1863) — декабрист; Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794—1866) — генерал, участник Отечественной войны 1812 г.; он особо отличился во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. при осаде и штурме крепости Карс; Михаил Николаевич (1796—1866) — по прозвищу «Вешатель», заслужил графский титул за кровавое подавление польского восстания 1863 г.

Андрей Николаевич Муравьев получил домашнее образование под руководством С. Е. Раича, который в дальнейшем стал учителем и воспитателем Лермонтова в Московском университетском пансионе. Муравьев посещал литературные вечера С. Е. Раича. В середине 20-х годов он познакомился с Грибоедовым, Баратынским, Пушкиным и Вяземским. В эти годы Муравьев начал заниматься литературой, печатать в журналах свои стихи.

Под влиянием московского митрополита Филарета у Муравьева сложилось религиозное мировоззрение, характерное для всей его последующей общественной и литературной деятельности.

В 1829—1830 гг. Муравьев совершил путешествие в Иерусалим, описанное им в книге «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (СПб. 1832, две части). В дальнейшем он написал ряд книг по истории православной церкви и раннего христианства.

С апреля 1833 г. Муравьев служил в синоде, а в мае 1836 г. получил звание камергера. Конец жизни Муравьев провел в Киеве, где и написал свою книгу «Знакомство с русскими поэтами» (Киев, 1871).

Судя по воспоминаниям Муравьева, начало его знакомства с Лермонтовым относится к концу 1834 г., когда Лермонтов был произведен в корнеты. Сохранился портрет Муравьева, написанный Лермонтовым. Датировать этот портрет, по-видимому, следует 1835 или 1836 г., когда они неоднократно встречались.

Воспоминания Муравьева правдиво передают тревожную атмосферу, царившую в столице в дни гибели Пушкина, и показывают, какие опасения вызвало у царского правительства стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» и особенно его заключительные строки.

В настоящем издании воспоминания А. Н. Муравьева печатаются в сокращении по тексту: А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими поэтами, Киев, 1871, стр. 21—28.

¹ А. Н. Муравьеву были неизвестны юношеские поэмы Лермонтова.

² Сходство между Лермонтовым и Хомяковым в одном из своих писем к сестре Е. Н. Мещерской отмечала и С. Н. Карамзина: «Он очень славный», «двойник Хомякова по лицу и разговору» (Ф. Ф. Майский, М. Ю. Лермонтов и Карамзины. —

«М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов», Ставропольское книжное изд-во, 1960, стр. 141).

³ Имеется в виду драма Лермонтова «Маскарад».

⁴ Речь идет об Александре Николаевиче Мордвинове (1792—1869), управляющем III Отделением.

⁵ В статье «Достоверен ли комментарий к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» В. В. Баранов указал, что А. Н. Муравьев в другой своей книге «Описания предметов древности и святыни, собранных путешественником по святым местам» (Киев, 1872) датирует «Ветку Палестины» не 1837, а 1836 г. (Уч. зап. Калужского пед. ин-та, вып. VIII, 1960, стр. 55—61). Таким образом, рассказ А. Н. Муравьева не может служить основанием для датировки этого стихотворения, которое самим автором в сборнике 1840 г. отнесено к 1836 г. — под этой датой и следует печатать «Ветку Палестины». Соглашаясь с В. В. Барановым в отношении необходимости передатировки этого стихотворения, нельзя в то же время подвергать сомнению весь рассказ А. Н. Муравьева о создании «Ветки Палестины». Ведь в наборной копии под заглавием вычеркнуто «Посвящается А. М.—ву», следовательно, первоначально Лермонтов думал посвятить это стихотворение А. Н. Муравьеву. И хотя мемуарист, спустя тридцать пять лет, не был точен в датировке, невозможно отрицать, что «Ветка Палестины» создана под впечатлением одного из посещений Лермонтовым А. Н. Муравьева.

⁶ В те годы среди Столыпиных не было ни одного со званием флигель-адъютанта, и поэтому невозможно с полной достоверностью утверждать, кого именно имел в виду мемуарист. По предположению современного исследователя И. П. Стамболи, речь идет об Алексее Григорьевиче Столыпине (ок. 1805—1847), который получил звание флигель-адъютанта позднее, 4 января 1846 г. Возможно, что А. Н. Муравьев, писавший свои воспоминания спустя несколько десятилетий после описываемых событий, допустил хронологическую ошибку. По другому предположению, высказанному И. Л. Андронниковым, мемуарист ошибочно указал звание камер-юнкера Н. А. Столыпина.

⁷ Судя по помете на рукописи, Лермонтов закончил «Мцыри» 5 августа 1839 г. — эта дата согласуется с утверждением Муравьева, что Лермонтов читал ему «Мцыри» летом.

⁸ Вторичная ссылка Лермонтова на Кавказ объясняется не стремлением уберечь его от дуэли с Барантом (дуэль состоялась), а враждебным отношением к нему со стороны Николая I, воспользовавшегося первым удобным случаем для того, чтобы удалить поэта из столицы.



А. И. Васильчиков
Портрет художника Г. Гагарина

⁹ Версия о причинах дуэли, рассказанная Муравьевым со слов Н. С. Мартынова, должна быть решительно отвергнута, так как все остальные мемуарные и эпистолярные источники говорят о нежелании Мартынова отказаться от поединка.

¹⁰ Муравьев говорит о своей поездке на Кавказ после 1845 г. Прах Лермонтова перевезен из Пятигорска в Тарханы весной 1842 г.

¹¹ Речь идет о стихотворении Лермонтова «Спор» (1841).

Н. М. Сатин

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ (Стр. 207)

Николай Михайлович Сатин (1814—1873) учился одновременно с Лермонтовым в Московском университетском пансионе. В 1832 г. он поступил на математический факультет Московского университета, где близко сошелся с Герценом и Огаревым и с участниками их студенческого кружка. В 1835 г. Сатин вместе с Герценом и Огаревым был арестован, а затем выслан в Симбирскую губернию. В 1837 г. по болезни переведен на Кавказ. Живя в Пятигорске, он встречался там с Лермонтовым и Белинским. В 1839 г. Сатин получил разрешение вернуться в Москву. С 1841 по 1846 г. он побывал в Германии, Франции и Италии.

Сатин занимался переводами произведений Байрона и Шекспира. Лермонтов, видимо, читал его перевод «Бури» Шекспира, отрывок из которого был напечатан в 1837 г. в «Библиотеке для чтения», а полный текст опубликован отдельным изданием в 1840 г. Стихотворения Сатина, печатавшиеся в 1840 г. в «Отечественных записках», также могли быть известны Лермонтову.

Воспоминания Сатина о Лермонтове, написанные, по всей вероятности, в конце 1865 г., тенденциозны и в них встречаются неточности. Между Лермонтовым и Сатиным, надо думать, произошла размолвка еще в дни юности, когда они оба учились в пансионе: недаром Сатин писал: «На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге». По-видимому, этот школьный эпизод в какой-то мере предопределил неприязненное отношение Сатина к поэту. В то же время воспоминания Сатина являются наиболее значительным из всех мемуарных свидетельств о первой ссылке Лермонтова на Кавказ. На квартире Сатина Лермонтов встречался с сосланными на Кавказ декабристами и познакомился с Белинским.

В настоящем издании воспоминания Сатина печатаются по рукописи ГБЛ, Г—О, XI, 27. Впервые — в сборнике «Почин» на 1895 год, М. 1895, стр. 237—241, 248—250.

¹ См. стр. 241 наст. изд.

² Весной 1837 г. Лермонтов, заболев в дороге, поселился в Пятигорске, не доехав до Нижегородского драгунского полка, куда был сослан за стихотворение «Смерть Поэта». Беллинский приехал в Пятигорск в мае 1837 г.

³ Николай Христофорович *Кетчер* (1809—1886) — врач, переводчик Шекспира, друг Герцена и Огарева.

⁴ Сатин ошибочно относит к 1831 г. преобразование Московского университетского пансиона в гимназию — оно произошло 29 марта 1830 г., вскоре после посещения пансиона Николаем I. Подробнее об этом см. стр. 82—83 и прим. 7 на стр. 431 наст. изд.

⁵ 16 марта 1831 г. студенты заставили покинуть аудиторию грубого, бездарного и реакционно настроенного профессора М. Я. Малова. Подробнее о «маловской» истории см. стр. 105—106 наст. изд. Лермонтов принимал участие в этой истории, но репрессии, которых он опасался, его не коснулись. Он покинул Московский университет весной 1832 г.

⁶ Пятигорские впечатления 1837 г. дали Лермонтову богатый материал для «Княжны Мери», но вряд ли он уже тогда начал писать ее: сопоставление всех сохранившихся свидетельств приводит к выводу, что он приступил к работе над «Героем нашего времени» не ранее 1838 г.

⁷ Николай Васильевич *Майер* (1806—1846) — врач, с которым Лермонтов близко сошелся в Пятигорске. Г. И. Филипсон писал в своих воспоминаниях о Н. В. Майере: «Отец его был крайних либеральных убеждений; он был масон и деятельный член некоторых тайных политических обществ, которых было множество в Европе между 1809 и 1825 гг. Как ученый секретарь академии, он получал из-за границы книги и журналы без цензуры. Это давало ему возможность следить за политическими событиями и за движением умов в Европе. В начале 20-х годов он получил из-за границы несколько гравированных портретов итальянских карбонари, между которыми у него были друзья. Его поразило сходство одного из них, только что расстрелянного австрийцами, с его младшим сыном Николаем. Позвав к себе мальчика, он поворачивал его во все стороны, осматривал и ощупывал его угловатую, большую голову и, наконец, шлепнув его ласково по затылку, сказал по-немецки: «Однако же из этого парня будет прок!» С этого времени он полюбил своего Николаса, охотно с ним гово-

рил и читал и кончил тем, что привил сыну свои политические убеждения». Окончив медико-хирургическую академию, Н. В. Майер поступил на службу врачом в ведение генерала Инзова, управлявшего колониями в южной России, а оттуда переведен в Ставрополь в распоряжение начальника Кавказской области, генерала Вельяминова... «Зимой он жил в Ставрополе, а летом на минеральных водах. <...> Ум и огромная начитанность вместе с каким-то аристократизмом образа мыслей и манеры невольно привлекали к нему. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевную теплоту» («Русский архив», 1883, № 5, стр. 178—179). Исключительный интерес представляет сообщение Г. И. Филипсона о том, что Н. В. Майер в 1837 г. рекомендовал ему для чтения «Историю французской революции» Минье, «Историю английской революции» Гизо, «Историю контрреволюции в Англии» Карреля и «О демократии в Америке» Токвиля (см. «Русский архив», 1883, № 6, стр. 249). Этот список указывает на широкий круг политических и социальных проблем, которые обсуждались в Пятигорске при встречах Лермонтова с Н. В. Майером и декабристами.

На Кавказе Н. В. Майер близко сошелся с переведенными туда декабристами (А. А. Бестужевым, А. И. Одоевским, С. М. Палицыным и др.). Н. П. Огарев, который познакомился с Н. В. Майером в Пятигорске в 1838 г., писал о нем: «Мейер был медиком, помыслился, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера естественно примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили как брата» (Н. П. Огарев, Избранные произведения, т. 2, Гослитиздат, М. 1956, стр. 381). Подробнее о Н. В. Майере см.: М. О. Гершензон, Образы прошлого, М. 1912, стр. 310—320; Н. И. Бронштейн, Доктор Майер. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 473—493.

⁸ Лермонтов и Белинский родились не в Чембаре. Однако Лермонтов провел детство в Тарханах, в усадьбе бабушки, близ Чембара, а Белинский — в самом Чембаре.

⁹ В статье «Лермонтов и Белинский на Кавказе в 1837 году» Н. Л. Бродский предположил, что Сатин при изложении беседы

перепутал точки зрения споривших сторон. Аргументируя свое предположение, Н. Л. Бродский ссылаясь на положительное отношение Лермонтова к французским энциклопедистам и на отрицательное отношение к ним Белинского в эти годы (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 735—738).

Однако точка зрения Н. Л. Бродского подвергнута веской критике Ю. Г. Оксманом, который в статье «Переписка Белинского» писал по этому поводу: «Как мы полагаем, предметом спора в Пятигорске был не Вольтер — великий просветитель, или Вольтер — поэт, а Вольтер — политический делец, апологет «просвещенного абсолютизма», Вольтер, как человек очень невысоких моральных качеств, Вольтер — камергер Фридриха II и пенсионер Екатерины II. Вопрос именно об этом Вольтере с исключительной резкостью поставлен был в 1836 г., т. е. за несколько месяцев до спора о Вольтере между Белинским и Лермонтовым, в одной из статей Пушкина». И далее: «Статья Пушкина «Вольтер», опубликованная в «Современнике» 1836 г. (кн. III, стр. 158—169), была последним словом о Вольтере, еще не утратившим своей злободневности и остроты, особенно для Лермонтова, отвергавшего, не в пример Вольтеру, ориентацию на милости двора. Подробнее об этом см. ЛН, т. 56, М. 1950, стр. 241.

¹⁰ Это письмо Белинского к Сатину до нас не дошло. В понимании Белинского слово «пошляк», помимо своего прямого смысла, означало человека, стремящегося эпатировать общество, — видимо, это именно подразумевал Белинский, когда он назвал Лермонтова «пошляком».

¹¹ Об оценке Белинским личности Лермонтова и его творчества см. статьи Белинского о «Герое нашего времени» и стихотворениях Лермонтова.

¹² Григорий Иванович *Филипсон* (1809—1883) — офицер Генерального штаба в Ставрополе. С Лермонтовым он, видимо, не был знаком, так как ничего не пишет об этом в своих воспоминаниях.

¹³ Сергей Иванович *Кривцов* (1802—1864) — декабрист, подпоручик гвардейской конной артиллерии, приговорен в каторжную работу на два года (срок был сокращен до одного года). С 1827 по 1831 г. жил на поселении в Сибири. С конца 1831 г. переведен рядовым на Кавказ, где был зачислен сначала в 44-й егерский полк, а с августа 1834 г. служил в 20-й артиллерийской бригаде. 15 ноября 1837 г. за отличие в боях произведен в прапорщики; уволен от службы в апреле 1839 г. Подробнее о нем см.: М. Гершензон, Декабрист Кривцов и его братья, М. 1914.

¹⁴ Князь Валериан Михайлович *Голицын* (1803—1859) — декабрист, поручик л.-гв. Преображенского полка, с февраля 1825 г. —

чиновник департамента внешней торговли, приговорен на двадцать лет ссылки в Сибирь; в 1829 г. ссылка была ему заменена солдатской службой на Кавказе. В мае 1837 г. за заслуги в боях произведен в прапорщики; в июле 1838 г. по состоянию здоровья уволен с военной службы, в сентябре 1838 г. зачислен в штат общего Кавказского областного управления в Ставрополе; уволен по болезни в сентябре 1839 г. с правом проживания в Орле (под секретным надзором). Н. М. Сатин познакомил кн. В. М. Голицына в Пятигорске с Белинским. См. об этом в сб. «Декабристы в Москве» под ред. Ю. Г. Оксмана, М. 1963, стр. 205—206.

М. И. Цейдлер*

НА КАВКАЗЕ В 30-Х ГОДАХ
(Стр. 212)

Михаил Иванович Цейдлер (1816—1892) — поручик лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, товарищ Лермонтова еще по юнкерскому училищу, из которого они оба вышли в ноябре 1834 г.; после возвращения Лермонтова из ссылки на Кавказ на короткое время оказались вместе в Гродненском гусарском полку.

Никогда не отличаясь по службе «особенной ретивостью», Цейдлер, по свидетельству А. И. Арнольди, «прекрасно лепил из воска и глины, удачно рисовал карикатуры, как на всех нас, так и на себя, и мастерски рассказывал и, конечно, более выдумывал анекдоты, в которых обыкновенно играл самую смешную и непривлекательную роль» (см. стр. 224 наст. изд.). Цейдлер работал впоследствии в скульптурных мастерских И. П. Витали и Н. С. Пименова. Его произведения выставлялись в Академии художеств и имели большой успех («Русский биографический словарь», т. «Фабер—Цявловский», 1901, стр. 469—470).

Приятель Лермонтова был единственным сыном И. Б. Цейдлера, иркутского гражданского губернатора с 1821 по 1835 г., ставленника М. М. Сперанского. «Человек благородный», старавшийся «не словом, а делом», как писал о нем М. А. Бестужев, облегчить положение декабристов на каторге и в ссылке («Воспоминания Бестужевых». Редакция М. К. Азадовского, М.—Л. 1951, стр. 142), этот самый Цейдлер увековечен в «Русских женщинах» Некрасовым.

Проводы молодого Цейдлера в действующую армию, на Кавказ, были устроены его товарищами 3 марта 1838 г., на станции Московской шоссейной дороги Спасская Полесь, в десяти верстах

* Комментарий принадлежит Ю. Г. Оксману.

от места стоянки полка. Судя по воспоминаниям М. И. Цейдлера и А. И. Арнольди, Лермонтов принял особенно деятельное участие в организации прощальной пирушки, на которой и огласил «в дыму табачном, при хлопании пробок» свой экспромт «Русский немец белокурый». Стихи эти, по признанию М. И. Цейдлера, имели для всех присутствовавших на проводах «особенное значение, заключаая в конце некоторую понятную только нам игру слов». Каламбур заключался в двойной значимости слова «сталь»: Цейдлер был влюблен в жену своего дивизионного командира, С. Н. Стааль фон Гольштейн, урожд. Шатилову.

М. И. Цейдлер оказался на Кавказе в отряде для особых десантных операций, которым командовал генерал-майор Н. Н. Раевский, друг Пушкина и родной брат кн. М. Н. Волконской, жены декабриста.

Третьего июля 1838 г., ровно четыре месяца после того, как Лермонтов простился с Цейдлером в Спасской Полести, М. Н. Волконская писала из Усть-Куды своему брату: «Я узнала на днях, что молодой Цейдлер служит офицером под твоим начальством, посланный из гвардии, чтобы начать военную карьеру в действующих войсках. Он единственный сын, умерь немного его воинственный пыл, вспомни, что его отец служил вместе с твоим в 1812 году, что в свое время это был один из храбрых офицеров и что позднее он держал себя вполне порядочно по отношению ко мне, когда был гражданским губернатором в Иркутске, и что вообще его здесь уважают и почитают» («Труды Гос. Исторического музея», вып. 2, М. 1926, стр. 43. Оригинал на франц. яз.).

В чине капитана гвардии М. И. Цейдлер привлек внимание агентства III Отделения, как участник нелегальных «литературных чтений», происходивших в 1846—1847 гг. в квартире петрашевца Н. А. Момбелли («Дело петрашевцев», т. I, 1937, стр. 386). От следствия и суда Цейдлера спасли, видимо, его придворные связи (он был автором скульптурных портретов некоторых членов царской семьи) и его отсутствие в Петербурге в 1849 г. — во время ареста петрашевцев он был в походе войск гвардии к западным границам в связи с революцией в Венгрии.

М. И. Цейдлер вышел в отставку в 1885 г., в чине генерал-лейтенанта. Свои воспоминания о знакомстве с Лермонтовым, очень точные и выразительные, он опубликовал за четыре года до смерти в «Русском вестнике», 1888, № 9, стр. 122—139. Этот текст воспроизводится в наст. изд.

¹ Экспромт «Русский немец белокурый», опубликованный М. И. Цейдлером, не имеет отличий от двух других публикаций

этого восьмистишия — в воспоминаниях А. Меринского в журнале «Атеней», 1858, № 48, стр. 303, и в копии Л. И. Арнольди, напечатанной в «Библиографических записках», 1859, № 1, стлб. 23.

² Об особенностях описания Тамани в «Герое нашего времени» и в воспоминаниях М. И. Цейдлера см. критический свод документальных и мемуарных данных в статье А. В. Попова «Герой нашего времени». Материалы к изучению романа М. Ю. Лермонтова (Ставропольский гос. педагогический институт. «Литературно-методический сборник», Ставрополь, 1963, стр. 40—43).

А. И. Арнольди *

ИЗ ЗАПИСОК
(Стр. 217)

Арнольди Александр Иванович (1817—1898) — сослуживец Лермонтова по л.-гв. Гродненскому гусарскому полку, племянник декабриста Н. И. Лорера и сводный брат А. О. Россет-Смирновой, приятельницы Пушкина, Лермонтова, Жуковского и Гоголя; впоследствии генерал от кавалерии, первый русский военный губернатор Софии, освобожденной от турок в 1877 г.

Страницы о Лермонтове в воспоминаниях Арнольди, начатых в конце 1869 г., писались между 1875 и 1887 гг. До этого некоторые устные рассказы и справки А. И. Арнольди не раз были использованы в печати в статьях и в публикациях материалов о Лермонтове первых биографов поэта: В. Р. Зотова (1862), С. С. Дудышкина (1863), П. А. Висковатова (1885), Ю. Л. Ельца (1890) и некоторых других.

Записки А. И. Арнольди, несмотря на невысокий интеллектуальный уровень самого мемуариста, свободны от какой бы то ни было предвзятости, богаты конкретным бытовым материалом, точны и занимательны. Особенно ценны для биографов Лермонтова рассказы Арнольди о времени пребывания поэта в л.-гв. Гродненском гусарском полку (в этом отношении показания мемуариста уникальны). Записки менее значимы в сравнении с другими мемуарными данными о последнем периоде жизни Лермонтова, но свежи и очень правдивы в той части, где речь идет о встречах Арнольди с Лермонтовым в Пятигорске летом 1841 г.

Впервые записки А. И. Арнольди опубликованы были Ю. Г. Оксманом, с его же статьями и комментариями, в ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 449—476. В настоящем сборнике перепечатываются с небольшими сокращениями.

* Комментарий принадлежит Ю. Г. Оксману.

¹ Крупнейшие гастрономические магазины в Петербурге и в Москве принадлежали купцу Елисееву.

² Корнет Н. А. Краснокутский жил впоследствии в одной квартире с Лермонтовым, в том самом «сумасшедшем доме», который описан в воспоминаниях А. И. Арнольди.

³ В романе Лесажа «Хромой бес» (1707) его герой «силою дьявольского могущества» поднимал крыши домов Мадрида, чтобы показать студенту Самбулио «все, что делается внутри домов».

⁴ Убийство московскими игроками помещика Времева произошло 24 февраля 1825 г. Камер-юнкер Шатилов, отец С. Н. Стааль фон Гольштейн, за соучастие в убийстве был в 1827 г. лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь. С 1837 г. он жил у дочери и был, вероятно, знаком с Лермонтовым.

⁵ «В обществе наших полковых дам, — передает историк полка со слов самой С. Н. Стааль, — Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу Стааль фон Гольштейн, обыкновенно садился в угол и молча прислушивался к пению и шуткам собравшегося общества» (Ю. Елец, История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. I, СПб. 1890, стр. 207).

⁶ В эскадроне Войшиловича состоял и корнет Лермонтов (Ю. Елец, т. I, стр. 205).

⁷ Генерал-майор кн. Д. Г. Багратион-Имеретинский, назначенный командиром Гродненского гусарского полка 6 декабря 1837 г., прибыл в полк 23 января 1838 г., то есть незадолго до прибытия в него Лермонтова. Он был женат на графине Стройновской, дочери той Стройновской, с именем которой связана одна из строф «Домика в Коломне» Пушкина.

⁸ Картины Лермонтова, упоминаемые в записках Арнольди, ныне находятся в Пушкинском доме АН СССР. При первой публикации снимков в 1862 г. Р. М. Зотов писал: «По словам А. И. Арнольди, М. Ю. Лермонтов писал картины гораздо быстрее, чем стихи; нередко он брался за палитру, сам еще не зная, что явится на полотно, и потом, пустив густой клуб табачного дыма, принимался за кисть, и в какой-нибудь час времени картина была готова» («Русский художественный листок», 1862, № 7, стр. 27).

⁹ Мемуарист имеет в виду перевод Лермонтовым одного из «Крымских сонетов» А. Мицкевича «Вид гор из степей Козлова». Предположения о работе Лермонтова в это же время над «Хаджи Абреком» (1835) и «Мцыри» (1839) явно ошибочны.

¹⁰ О М. И. Цейдлере см. на стр. 470—471 наст. изд. При передаче экспромта Лермонтова (видимо, по памяти) Арнольди допустил две ошибки, в третьем и шестом стихе.

¹¹ Лермонтов прибыл в Гродненский гусарский полк 26 февраля 1838 г. Переведенный в л.-гв. Гусарский полк приказом от 9 апреля 1838 г., он возвратился в Петербург из места стоянки Гродненского полка 24 или 25 апреля 1838 г. См. об этом справку Л. И. Прокопенко «Поездки Лермонтова в Петербург в 1838 г.» (сб. «М. Ю. Лермонтов. Вопросы жизни и творчества», Орджоникидзе, 1963, стр. 202—205).

В новый свой полк, расквартированный под Царским Селом, он явился только 14 мая 1838 г.

¹² Соседи Лермонтова, упоминаемые в записках Арнольди: Тиран Александр Францевич (1815—1865) — поручик л.-гв. Гусарского полка, товарищ поэта еще по юнкерской школе (см. о нем стр. 486); Столыпин Алексей Аркадьевич (1816—1858), двоюродный дядя и один из ближайших друзей Лермонтова, по прозвищу «Монго» (см. о нем стр. 160—161 и 457 наст. изд.); Глебов Михаил Павлович (1818—1847), корнет л.-гв. Конного полка, секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым; Мартынов Николай Соломонович (1815—1875), товарищ Лермонтова по юнкерской школе, с 1841 г. майор в отставке (см. о нем стр. 533—534 наст. изд.).

¹³ Мемуарист имеет в виду князя В. И. Барятинского (1817—1875), впоследствии генерал-адъютанта, младшего брата товарища Лермонтова по юнкерской школе (см. о нем «Русская старина», 1894, № 11, стр. 45).

¹⁴ О декабристе Н. И. Лорере см. стр. 510—511 наст. изд.

Очень характерно, что Арнольди, как и другие мемуаристы из окружения Лермонтова в 1837—1841 гг., не знает и не хочет знать простых армейских офицеров, с которыми общался автор «Героя нашего времени» в пору своей военной службы на Кавказе. Исключение только одно — это бывшие декабристы, вновь зарабатывавшие свои первые офицерские чины после многих лет каторги, ссылки и тяжелой солдатской лямки в войсках передовой линии фронта. Но «декабрист» на Кавказе — это почти всегда бывший гвардейский офицер, член высшего петербургского общества.

Типичный образ армейского офицера новой николаевской формации, предвосхищающий Грушницкого, впервые показан был до Лермонтова в повести гр. В. А. Соллогуба «Три жениха», близкой «Герою нашего времени» не только некоторыми тематическими деталями, но и самой манерой письма. Отметим, например, следующие строки:

«Вы в комнате у армейского офицера, не у такого, впрочем, классического пехотинца, который закричал бы: «человек! же сядь мне в зубы!», требуя трубку. Это бывало в старину. Ныне армейский офицер совсем не тот. Армейский офицер ныне воспитывается

в университетском пансионе, понимает по-французски, очень любит отечественную литературу, в доказательство чего получает «Библиотеку для чтения» и бранит «Московского наблюдателя». Армейский офицер ненавидит всех Петербургских, в особенности фразных, щедро наделяя их разными эпитетами. Армейский офицер мало танцует, потому что он разочарован. Он поминутно говорит: «наш брат армейский, мы армейщина, солдаты; мы не гвардейцы; где нам! как нам! куда нам!» и т. п. Узкие тали, высокие галстуки, топанье в мазурке и любовные стишки давно уже в отставке. Армейское щегольство заменилось армейским разочарованием и так называемую российскую словесностью» («Современник», 1837, т. VI, стр. 146—147. Подписано только инициалами: С. В.). Повесть появилась в той самой книге журнала, в которой напечатано «Бородино» Лермонтова.

¹⁵ В лермонтовских карикатурах Мартынов в 1841 г. играл главную роль. О судьбе альбома карикатур Лермонтова, пропавшего, по одним сведениям, у М. П. Глебова, по другим — в усадьбе А. А. Столыпина, см. ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 212—213.

¹⁶ Глухо упоминая о «темных причинах», вызвавших неприязненные отношения Мартынова к Лермонтову, Арнольди имеет, вероятно, в виду слухи о романе Лермонтова с одной из сестер Мартынова. См. об этом в статье Э. Г. Герштейн (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 696—704).

¹⁷ О бале, данном 8 июля 1841 г. Лермонтовым и его друзьями пятигорской «публике», см. далее рассказ Н. И. Лорера на стр. 335—336 наст. изд., очень близкий передаче этого же эпизода в записках Арнольди.

¹⁸ Причины конфликта В. С. Голицына с Лермонтовым и его друзьями перед балом 8 июля 1841 г. более убедительно, как мы полагаем, передаются в воспоминаниях Н. П. Раевского, дошедших до нас в записи В. П. Желиховской: «Как-то раз мы сговорились, по мысли Лермонтова, устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. Распорядителем на наших праздниках бывал обыкновенно генерал князь В. С. Голицын, но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщинам хорошего общества угощать постоянными трактирными ужинами после танцев с кем ни попало на открытом воздухе. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным обществом. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далеко за городом и что затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, поздною ночью обратно в

город. Ведь биржевых-то дрожек в городе было три-четыре, а свои экипажи у кого были? Так не на повозках же тащить? — Так здешних дикарей учить надо! — сказал князь. Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях, которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти, и, возвратившись домой, он сказал нам: «Господа! На что нам непременно главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас — и не надо. Мы и без него сумеем справиться».

«Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну, а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел — прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали, по обыкновению, с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся, несмотря на присутствие *armée russe*. Нечего говорить, что князя Голицына не только не пригласили на наш пикник, но даже не дали ему об нем знать» («Нива», 1885, № 7, стр. 167—168).

¹⁹ В машинописном оригинале воспоминаний Арнольди здесь и далее опечатка (17 июля вм. 15-го), нами исправленная.

²⁰ Столкновение Лермонтова с Мартыновым, послужившее поводом к вызову на дуэль, произошло на вечере у Верзилиных 13 июля 1841 г.

²¹ «Пикник», приготовления к которому Арнольди заметил в Каррасе, был организован Лермонтовым и его друзьями. См. об этом воспоминания Э. А. Шан-Гирей (стр. 341 наст. изд.).

²² Встреча Арнольди с Лермонтовым и И. Д. Дмитриевским (см. о нем в воспоминаниях Н. И. Лорера на стр. 334 наст. изд.) произошла во время проезда Лермонтова с его гостем в Каррас, а не при возвращении поэта оттуда к месту дуэли. Очень существенно замечание мемуариста о том, что в дрожках он увидел не только М. П. Глебова, но и А. А. Столыпина, участие которого в дуэли было им скрыто. См. об этом ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 454.

²³ Устный рассказ Арнольди о дуэли лег в основание передачи этого события в «Материалах для биографии... Лермонтова», опубликованных С. С. Дудышкиным («Сочинения Лермонтова», т. 2, СПб. 1863, стр. XX—XXI). Фамилии Васильчикова, Глебова и Мартынова обозначены были только инициалами, так как первый и третий из них были еще живы, а судьба Глебова не была известна.

²⁴ «Когда я спросил кн. Васильчикова, кто собственно были секундантами Лермонтова, — пишет П. А. Висковатов, — он ответил, что, собственно, не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундан-

том, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова {...}. Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я — Лермонтова. Других мы скрыли. Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезно, Столыпин уже раз был замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее» (Висковатов, стр. 423). Э. Шан-Гирей и другие современники событий свидетельствуют, что на месте поединка было еще несколько лиц в качестве зрителей, спрятавшихся за кустами; между ними знаменитый братер Руфин Дорохов. См. Висковатов, стр. 420—421, а также Н. Л. Бродский, Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников («Литературный критик», 1939, № 10—11, стр. 244—252).

²⁵ О Шведе см. прим. 56 на стр. 424 наст. изд.

²⁶ Мемуарист ошибается, полагая, что этот портрет (копия с портрета, писанного П. Е. Заболоцким) был подарен его мачехе самим Лермонтовым. Копия сделана была А. П. Шан-Гиреем, который и подарил ее С. К. Арнольди в 1841 г. после смерти поэта. Данные об этом см. в работе И. С. Зильберштейна «М. Ю. Лермонтов в портретах», М. 1941, стр. 20—21.

²⁷ О похоронах Лермонтова см. также стр. 345—346 наст. изд.

²⁸ Сентенция Николая I, которой не хотел верить Арнольди, вошла в литературный оборот в публикации П. П. Вяземского, со слов флигель-адъютанта И. Д. Лужина, в присутствии которого царь ее произнес («Русский архив», 1887, № 9, стр. 142). См. об этом стр. 270 и прим. 3 на стр. 493 наст. изд.

²⁹ О существовании устных коррективов А. И. Васильчикова к его воспоминаниям о дуэли Лермонтова, опубликованным в «Русском архиве» 1872 г., см. Висковатов, стр. 415 и 420—425. О поведении секундантов Лермонтова см. также статью В. С. Нечаевой «Суд над убийцами Лермонтова» (сб. «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», М. 1939, стр. 20—24).

И. С. Тургенев

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ (Стр. 236)

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) всю свою жизнь высоко ценил Лермонтова.

Творчество поэта оказало на него определенное влияние — вспомним хотя бы поэму Тургенева «Разговор», написанную под несомненным воздействием «Мцыри». Из всех произведений Лермон-

това именно поэма «Мцыри» нашла наибольший отклик у Тургенева. Показательно, что, говоря о страстном негодовании Беллинского, вырвавшемся у него в знаменитом письме к Гоголю, Тургенев сравнивает непоколебимую убежденность критика в своей правоте с душевной напряженностью и негибасмой стойкостью Мцыри. Тургеневу же принадлежит перевод «Мцыри» на французский язык и небольшое предисловие к французскому изданию поэмы, в котором он писал: «Небольшая поэма «Послушник» (Мцыри) написана восьмисложным стихом, с одними только мужскими, но парными рифмами. Эта форма, самым своим однообразием, придает поэме чрезвычайную силу. Ее ритм сравнивали с работою заключенного, который неустанно стучит двойным стуком в стену своей темницы» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в двенадцати томах, т. XI, М. 1956, стр. 335). Именно таким узником, пытавшимся вырваться из застенка самодержавной России, и был Лермонтов в представлении Тургенева. Идейным протестантом, противником великосветского общества увековечил Тургенев Лермонтова в своих воспоминаниях, описав его одиночество среди шумного бала Дворянского собрания.

В настоящем издании воспоминания И. С. Тургенева печатаются по тексту: И. С. Тургенев, Собр. соч. в двенадцати томах, т. 10, М. 1956, стр. 330—331.

¹ Имеется в виду Эмилия Карловна Мусина-Пушкина (1810—1846), которой Лермонтов посвятил стихотворение «Графиня Эмилия...» (1839).

² Видимо, речь идет об Андрее Павловиче Шувалове (1816—1876), графе, участнике «кружка шестнадцати», однополчанине Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. А. П. Шувалову адресовано одно из писем Лермонтова.

³ Тургенев цитирует стихотворение Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...», написанное 1 января 1840 г. под непосредственным впечатлением от новогоднего бала в Дворянском собрании, на котором Тургенев видел поэта. Это стихотворение — из числа произведений особенно любимых Тургеневым. Как установил А. А. Корнилов, в Премухинском архиве хранился список восьми стихотворений Лермонтова, переписанных Тургеневым для Варвары Александровны Дьяковой (урожденной Бакуниной) к новому 1841 г. Вот перечень этих стихотворений: «Памяти А. И. Одоевского», «1-е января», «Казачья колыбельная песня», «Дума», «Дары Терека», «Не верь себе, мечтатель молодой», «Тучи», «Еврейская мелодия» (А. А. Корнилов, Годы странствий Михаила Баку-

нина, Гиз, Л.—М. 1925, стр. 74). В составе архива Бакуниных этот список поступил в ИРЛИ, где и находится в настоящее время (ф. 524, оп. 2, ед. хр. 44). На первой странице значится: «Берлин 25/13 декабря 1840».

И. И. Панаев

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 238)

Писатель Иван Иванович Панаев (1812—1862) литературную деятельность начал в 1834 г. Под влиянием произведений Гоголя и критических статей Белинского он примыкает к писателям так называемой «натуральной школы». Панаев становится деятельным сотрудником «Отечественных записок» (1839—1846), где печатаются его рассказы, очерки и повести.

Вращаясь среди петербургских литераторов и часто бывая у издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского, Панаев неоднократно встречался с Лермонтовым. Его воспоминания о поэте, написанные в 1860—1861 гг., вполне достоверны; особый интерес представляют те страницы, где Панаев описывает знаменитое свидание Лермонтова с Белинским в ординанс-гаузе. Письмо Белинского к В. П. Боткину (см. стр. 248 наст. изд.) полностью подтверждает рассказ Панаева.

Правдиво излагая свои впечатления от встреч с Лермонтовым, Панаев, однако, не всегда понимает причины, вызывавшие ту или иную реакцию поэта на события. Так, например, рассказ Панаева о шалостях Лермонтова в кабинете Краевского получает иное освещение при сопоставлении со словами самого Краевского об этом эпизоде (см. стр. 246 наст. изд.). Краевский связывал возбужденное состояние поэта с получением им приказа генерала Клейнмихеля немедленно покинуть Петербург.

В настоящем издании воспоминания И. И. Панаева печатаются по тексту: И. И. Панаев, Литературные воспоминания, ГИХЛ, 1950, стр. 132—138.

¹ В последние годы своей жизни Лермонтов во многом отошел от сословных предрассудков. Его настойчивое стремление выйти в отставку и целиком посвятить себя литературе свидетельствует об этом (см. воспоминания А. А. Краевского на стр. 245 наст. изд.).

² Распространение поэмы «Демон» в рукописных списках относится к более позднему времени.

³ Речь идет о Владимире Федоровиче Одоевском.

⁴ С Краевским Лермонтова познакомил С. А. Раевский. См. стр. 480 наст. изд.

⁵ Ср. с воспоминаниями жены Панаева — А. Я. Панаевой: «Я видела Лермонтова один только раз — перед его отъездом на Кавказ в кабинете моего зятя, А. А. Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти пронизывающий взгляд его черных глаз.

Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, перевернул у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась» (А. Я. Панаева - Головачева, Воспоминания, Гослитиздат, 1956, стр. 86).

⁶ Лермонтов сам отнес «Тамбовскую казначейшу» Жуковскому и ждал ее появления в «Современнике» (см. письмо Лермонтова М. А. Лопухиной от 15 февраля 1838 г.). Раздражение Лермонтова было вызвано тем, что Жуковский не поставил его в известность о цензурных искажениях в поэме.

⁷ 18 февраля 1840 г.

⁸ Краевский в своих записях на корректура статьи А. Н. Пыпина, использовавшего свидетельство Панаева, опровергает это утверждение. «Это вздор. Я привез Белинского к Лермонтову в ордонанс-гауз, куда он был переведен с Литейной гауптвахты за то, что допустил к себе визит Баранта, обещав продолжить с ним дуэль за границей. Тут только Белинский познакомился с Лермонтовым. Был длинный разговор. Потом вскоре Лермонтов был послан в последний раз, и Белинский не видел его ни у меня, ни в ордонанс-гаузе» (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 370). Краевский не знал, что первая встреча Лермонтова с Белинским состоялась в 1837 г. в Пятигорске на квартире у Сатина.

⁹ Лермонтов находился в ордонанс-гаузе (помещался на Садовой ул.) с 11 по 17 марта 1840 г. Затем он был переведен на Арсенальный караул (гауптвахту) на Литейном проспекте, но после самовольного свидания с Барантом, которое состоялось 22 марта, снова возвращен в ордонанс-гауз, где содержался под арестом до середины апреля.

¹⁰ Панаев не совсем точно передает слова Лермонтова о Вальтере Скотте — ср. с письмом Белинского к В. П. Боткину об этом свидании на стр. 248 наст. изд.

А. А. Краевский

ВОСПОМИНАНИЯ (В ПЕРЕСКАЗЕ П. А. ВИСКОВАТОВА)
(Стр. 245)

Первые годы журнальной и издательской деятельности Андрея Александровича Краевского (1810—1889) неразрывно связаны с именем Лермонтова. Он много сделал для опубликования произведений Лермонтова, и Краевскому мы обязаны сохранением значительной части лермонтовского поэтического наследия.

Они познакомились во второй половине 1836 г. Как утверждал сам Краевский в позднейших разговорах с А. Н. Пыпиным, это знакомство состоялось при посредстве С. А. Раевского, университетского товарища Краевского и в то же время близкого друга Лермонтова. Краевский тогда работал помощником редактора «Журнала министерства народного просвещения» и одновременно был деятельным помощником Пушкина по делам «Современника». В 1836 г. Лермонтов еще не был связан с кругом петербургских литераторов. Знакомство с Краевским открыло для него путь к литературно-журнальному миру. Именно через Краевского, в первые же дни после смерти Пушкина, стали известны В. А. Жуковскому, П. А. Вяземскому и В. Ф. Одоевскому стихи Лермонтова «Смерть Поэта».

Уезжая в первую ссылку на Кавказ, Лермонтов оставил Краевскому для напечатания в «Современнике» незадолго перед тем написанное «Бородино». Краевскому же посылает затем Лермонтов «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». При поддержке Жуковского Краевскому удается напечатать «Песню» в Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», негласным редактором и издателем которых он становится в это время.

Из первой кавказской ссылки Лермонтов привез в Петербург в 1838 г. рукопись «Тамбовской казначейши». По всей вероятности, именно Краевский устроил свидание Лермонтова с Жуковским, в результате которого новое произведение Лермонтова было напечатано в «Современнике».

С 1839 г. Краевский становится во главе издания «Отечественных записок». В первых же книжках журнала произведения Лермонтова заняли одно из самых видных мест. Краевский, как и Белинский, одним из первых разгадал дарование Лермонтова и привлек его к участию в «Отечественных записках», превосходно понимая, насколько имя Лермонтова обеспечит успех журналу среди русской читающей публики. Большая часть произведений Лермон-

това, напечатанных при его жизни, была опубликована Краевским в журнале «Отечественные записки».

Подробнее об отношениях Лермонтова и А. А. Краевского см.: В. Мануйлов, Лермонтов и Краевский. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 363—388; В. И. Кулешов, «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века, изд. МГУ, М. 1958, стр. 33—57.

В настоящем издании воспоминания А. А. Краевского печатаются по тексту: Висковатов, стр. 368—369, 375—376.

¹ Об этом подробнее см.: Л. Гроссман, Лермонтов и культуры Востока. — ЛН, т. 43—44, М. 1941, стр. 673—744.

К этому месту текста П. А. Висковатов сделал следующее примечание: «Приводя слова Лермонтова, мы воспроизводим суть того, что передавал Краевский. Граф Соллогуб тоже не раз сообщал нам о планах Лермонтова относительно основания журнала. Он даже проектировал подробную программу его. В чем она состояла, Соллогуб пояснить не мог, утверждая, что не придавал «этим фантазиям» серьезного значения! На спрос мой об этих программах у Краевского Андрей Александрович отозвался: «Может быть! Лермонтов часто и много об этом говорил, но чтобы он подробно и обстоятельно на бумаге составлял свои проекты — этого не думаю» (Висковатов, стр. 368).

² Об этом см. собственноручную запись А. А. Краевского на корректуре статьи А. Н. Пыпица о Лермонтове: «Отношения его (Лермонтова) к Вяземскому и Жуковскому были почтительно-холодны; а Жуковского он постоянно ругал за то, что он переводы иностранных поэтов выдавал как бы за собственные произведения, не обозначая, что это перевод» (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 372).

В. Г. Белинский

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ (Стр. 247)

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (Стр. 250)

Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848) встречался с Лермонтовым в начале 30-х годов в аудиториях Московского университета. Но в студенческие годы они не были знакомы. Летом 1837 г., находясь в Пятигорске, они познакомились на квартире Н. М. Сатина (см. стр. 208—209 наст. изд.). Как видно из воспоминаний Сатина, они произвели тогда друг на друга неблагоприятное впечатление и расстались неприязненно. Лишь в апреле 1840 г. при

свидании в ордонанс-гаузе они по-настоящему разговорились и по достоинству оценили друг друга.

Личная неприязнь, возникшая после знакомства в 1837 г., не помешала Белинскому внимательно и объективно отнестись к творчеству Лермонтова. Уже в 1839 г. в журнале «Московский наблюдатель» Белинский дал чрезвычайно высокую оценку «Бэлы» и сочувственно отозвался о стихотворениях Лермонтова, напечатанных в «Отечественных записках». В письмах Белинского 1839—1840 гг. разбросано много восторженных отзывов о поэзии Лермонтова. В «Замечательном десятилетии» П. В. Анненков справедливо отметил, какое большое значение для Белинского имело творчество Лермонтова, когда критик отходил от «примирения с действительностью» и пересматривал свои эстетические принципы. «Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах. Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощущению в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостию. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы <...>. Продолжительное наблюдение этой личности, вместе с друими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание, впрочем уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило обильные ростки впоследствии» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1960, стр. 178—181).

Помимо многочисленных рецензий, которыми Белинский отмечал выход в свет произведений Лермонтова, им написаны две обширные статьи: в одной из них дается подробный разбор «Героя нашего времени», в другой — сборника «Стихотворения М. Лермонтова», вышедшего в 1840 г. Статьи и рецензии Белинского о произведениях Лермонтова собраны в издании: В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии, ГИХЛ, Л. 1940. (Этому сборнику предпослана статья Н. И. Мордовченко «Лермонтов

в оценках Белинского». По этому вопросу см. также Н. Мордовченко, В. Белинский и русская литература его времени. Гослитиздат, М.—Л. 1950, стр. 84—142; Н. Мордовченко, Лермонтов и русская критика 40-х годов. — ЛН, т. 43—44, М. 1941, стр. 745—796.

В настоящем издании выдержки из писем и статей Белинского печатаются по тексту: В. Г. Белинский, т. XI, стр. 378—380, 508—509, 510; т. XII, стр. 84—85; т. V, стр. 455—456.

¹ Николай Владимирович Станкевич (1813—1840) — глава передового московского литературно-философского кружка, в который в 30-е годы входили В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, В. П. Боткин, К. С. Аксаков, В. И. Красов и др. Их объединяли философско-эстетические интересы. Глубокий гуманизм Станкевича привел его к отрицанию крепостничества и порядков, царивших в самодержавной России.

² Цитата из повести Гоголя «Нос».

³ Василий Петрович Боткин (1811—1869) — переводчик и литературный критик, член кружка Станкевича, друг Белинского. Литературная деятельность В. П. Боткина началась в «Телескопе» и «Молве» в 1836 г., продолжалась в «Московском наблюдателе» в 1838 г. и в «Отечественных записках» с 1839 г., а затем в некрасовском «Современнике». С годами В. П. Боткин эволюционировал вправо — в 60-е годы он выступал против революционно-демократической позиции журнала «Современник» и герценовского «Колокола». О В. П. Боткине см.: Б. Ф. Егоров, В. П. Боткин — литератор и критик. — Ученые записки Тартуского университета, вып. 139, 1963, стр. 20—81.

⁴ Белинский имеет в виду первое отдельное издание «Героя нашего времени», ч. I—II, СПб. 1840.

⁵ Передачу этого разговора см. также в воспоминаниях И. И. Панаева на стр. 242—243 наст. изд.

⁶ Цитата из поэмы «Демон» (редакция 1838 г.).

⁷ Белинский готовил «Демона» для «Отечественных записок» (сохранилась корректура), но поэма была запрещена цензурой, в 1842 г. в шестой книжке журнала появились лишь отрывки из нее. Подробнее об этом см.: А. Михайлова, Белинский — редактор Лермонтова. Из истории первопечатной публикации «Демона» в «Отечественных записках» 1842 г. — ЛН, т. 57, М. 1951, стр. 261—272.

⁸ Это не продолжение «Договора», а вторая часть стихотворения «Я верю: под одной звездою...», посвященного Е. П. Ростоп-

чиной. Видимо, в распоряжении Беллинского имелся список «Договора», в котором были приписаны эти строки.

В ответном письме от 22 марта 1842 г. В. П. Боткин писал Беллинскому: «Я знал, что тебе понравится «Договор». В меня он особенно вошел, потому что в этом стихотворении жизнь разоблачена от патриархальности, мистики и авторитетов. Страшная глубина субъективного я, свергшего с себя все субстанциальные вериги. По моему мнению, Лермонтов нигде так не выражался весь, во всей своей духовной личности, как в этом «Договоре». Какое хладнокровное, спокойное пресечение всяческой патриархальности, авторитетных, привычных условий, обратившихся в рутину. Титанические силы были в душе этого человека! <...>. Внутренний, существенный пафос его есть отрицание всяческой патриархальности, авторитета, предания, существующих общественных условий и связей. Он сам, может, еще не сознавал этого — да и пора действительного творчества еще не наступила для него. Дело в том, что главное орудие всякого анализа и отрицания есть мысль, — а посмотри, какое у Лермонтова повсюдное присутствие твердой, определенной, резкой мысли — во всем, что ни писал он; заметь — мысли, а не чувств и созерцаний. Не отсюда ли происходит то, что он далеко уступает, как ты замечаешь, Пушкину — «в художественности, виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-мягком». В каждом стихотворении Лермонтова заметно, что он не обращает большого внимания на то, чтобы мысль его была высказана изящно — его занимает одна мысль, — и от этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выражения. Да, пафос его, как ты совершенно справедливо говоришь, есть «с небом гордая вражда». Другими словами, отрицание духа и мирозерцания, выработанного средними веками, или, еще другими словами — пребывающего общественного устройства. Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющий теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот дьявол, демон — образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Не правда ли, что особенно важно, что фантазия Лермонтова с любовью лелеяла этот «могучий образ» для него —

Как царь, немой и гордый, он снял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно...

В молодости он тоже на мгновение являлся Пушкину — но кроткая, нежная, святая душа Пушкина трепетала этого страшного духа, и он с тоскою говорил о печальных встречах с ним. Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал

его парем своей фантазии, которая, как древний понтийский царь, питалась ядами; они не имели уже силы над ней — а служили ей пищей; она жила тем, что было бы смертью для многих (Байрона Сон, VIII строфа, — который ты должен непременно прочесть)» (Белинский, Письма, т. II, СПб. 1914, ред. и прим. Е. А. Ляцкого. Примечания, стр. 416, 419—420). В свою очередь, Белинский отвечал на это: «Письмо твое о Пушкине и Лермонтове уладило меня. Мало чего читывал я умнее. Высказано плохо, но я понял, что хотел ты сказать. Совершенно согласен с тобою. Особенно поразили меня страх и боязнь Пушкина к демону: «Печальны были наши встречи». Именно отсюда и здесь его разнища с Лермонтовым. <...> О Лермонтове согласен с тобою до последней йоты; о Пушкине еще надо потолковать» (Белинский, XII, 94).

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

¹ Об этом см. прим. 4 на стр. 450 наст. изд.

² Цитата из «Евгения Онегина», гл. 6, строфа XXXI.

³ Цитата из «Евгения Онегина», гл. 6, строфа XXXVI. Дана нами в сокращении.

М. Б. Лобанов-Ростовский

из ЗАПИСОК
(Стр. 252)

Михаил Борисович Лобанов-Ростовский (1819—1858) — знакомый Лермонтова, с которым он сблизился во время своих посещений л.-гв. Гусарского полка; впоследствии флигель-адъютант Николая I.

Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского ценны для нас сведениями о сочувственном отношении к Лермонтову друга Пушкина Елизаветы Михайловны Хитрово (1783—1839), ибо именно ее подразумевает мемуарист, говоря о покровительстве «одной очень оригинальной женщины». Несмотря на отдельные странности, действительно ей свойственные, она была человеком умным и образованным, истинным другом русских писателей. Письма Пушкина к ней свидетельствуют об их постоянном дружеском общении. В дни гибели Пушкина Е. М. Хитрово, как писал П. А. Вяземский, безоговорочно стала на сторону защитников памяти поэта от пересудов великосветского общества, глубоко оплакивая в нем «друга и славу России» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. VIII,

СПб. 1883, стр. 494). Вполне естественно, что она оказала покровительство Лермонтову, автору стихов на смерть Пушкина. Подробнее о Е. М. Хитрово см.: Н. Измайлов, Пушкин и Е. М. Хитрово. — В кн.: Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832, изд. АН СССР, Л. 1927, стр. 143—204.

В настоящем издании воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского печатаются в сокращении по рукописи (ГИМ, ф. 174, ед. хр. 5, л. 90. Подлинник по-французски). Впервые — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 397—398.

¹ Александр Францевич *Тиран* (1815—1865) — сын Франца Ивановича Тирана — адъютанта Палена, одного из убийц Павла I, и Е. Ф. Демут — дочери владельца знаменитой гостиницы Демута. А. Ф. Тиран учился вместе с Лермонтовым в юнкерской школе, а затем служил с ним в л.-гв. Гусарском полку. Во время дуэли Лермонтова с Мартыновым Тиран находился в Пятигорске и, как свидетельствует декабрист Н. И. Лорер, представлял л.-гв. Гусарский полк на похоронах поэта. Песня Лермонтова о злоключениях Тирана, о которой пишет М. Б. Лобанов-Ростовский, до нас не дошла. Сохранились воспоминания Тирана о Лермонтове, полные неточностей и инсинуаций («Звезда», 1936, № 5, стр. 183—188). Воспоминания Лобанова-Ростовского проясняют причину враждебного тона мемуаров Тирана.

К. В. Браницкий

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «СЛАВЯНСКИЕ НАЦИИ»
(Стр. 254)

Ксаверий Владиславович *Корчак-Браницкий* (1814—1879) с марта 1837 г. был прикомандирован к л.-гв. Гусарскому полку, в котором служил Лермонтов. Вместе с Лермонтовым был членом «кружка шестнадцати». С середины 40-х годов жил во Франции, приняв в 1854 г. французское подданство; деятельно участвовал в делах польской эмиграции.

Воспоминания Кс. Браницкого — единственное развернутое мемуарное свидетельство об оппозиционном «кружке шестнадцати» и об участии в нем Лермонтова. Подробнее об этой важнейшей странице биографии поэта см.: В. М. Эйхенбаум, Основные проблемы изучения Лермонтова. — «Литературная учеба», 1935, № 6, стр. 21—40; Э. Г. Герштейн, Лермонтов и «кружок шестнадцати», — Сборник ИМЛИ, стр. 77—124.

В настоящем издании воспоминания Кс. Браницкого печатаются по тексту первой русской публикации Н. Викторова в журнале «Исторический вестник», 1895, кн. 10. стр. 176—177. (Перевод из книги Korczak-Branicky Xavier, Les nationalités slaves. Lettres au révérend P. Gagarin (s-j.) P. 1879.)

¹ Э. Г. Герштейн датирует возникновение «кружка шестнадцати» ноябрем 1839 г.

² Предисловие Кс. Браницкого написано в форме открытого письма к И. С. Гагарину, вступившему в 1843 г. в орден иезуитов.

³ Подробности дуэли А. Н. Долгорукова с кн. Яшвилем, происходившей без свидетелей, — см. «Русский архив», 1900, № 12, стр. 620.

⁴ Оппозиционный характер «кружка шестнадцати» Э. Г. Герштейн связывает с тем, что в нем участвовали сыновья А. А. Жерве, П. А. Шувалова и Арк. А. Столыпина, ближайших друзей М. М. Сперанского.

⁵ *Наследство князя Горчакова* — пост министра иностранных дел, который он занимал с 1856 г. по 1882 г. П. А. Валуев был с 1877 по 1881 г. председателем Комитета министров, а затем вышел в отставку.

С. Т. Аксаков

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ» (Стр. 256)

Воспоминания Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), наряду с дневниковыми записями А. И. Тургенева и Ю. Ф. Самарина, сообщают нам о личном знакомстве Лермонтова с Гоголем. Из письма С. Т. Аксакова к Гоголю от середины 1840 г. видно, что творчество Лермонтова являлось предметом разговора между ними: «Я прочел *Лермонтова «Героя нашего времени»* в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца» (С. Т. Аксаков, *История моего знакомства с Гоголем*, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 43). Эта же мысль была прямо выражена Гоголем в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», где дана следующая характеристика Лермонтова-прозаика: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского

быта...» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1952, т. VIII, стр. 402). Об этом см. также статью Б. В. Неймана «Лермонтов и Гоголь». — Ученые записки МГУ, вып. 118, кн. 2, М. 1946, стр. 124—138.

С. Т. Аксаков вспоминает об именинном обеде Гоголя 9 мая 1840 г. Дневниковая запись А. И. Тургенева уточняет круг лиц, присутствовавших в саду у М. П. Погодина: «9 мая... К Свербеевой. С ней у крыльца. Там и Павлов. Оттуда к Лермонтову, не застал, домой и к Гоголю на Девичье Поле у Погодина: там уже la jeune Russie <молодая Россия> съехалась: это напомнило мне и наш поддевичинский Арзамас при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт в саду: Лермонтов, кн. Вяземский, Баратынский, Свербеевы, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов, Попов, Хотяева и пр. Глинка; веселый обед. С Лермонтовым о Барантах, о кн. Долгорукове и о Бахерахтше <то есть Терезе Бахерахт>. Кн. Долгоруков здесь и скрывается от публики. Жженка — и разговор о религии. В 9 час. разъехались. Приехал и Чадаев...» (ИРЛИ, ф. 309, дневники А. И. Тургенева).

Следующая запись А. И. Тургенева устанавливает вторую встречу Лермонтова с Гоголем: «10 мая... Вечер у Свербеевой с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов. Гр. Зубова звала обедать. Завтра. Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова...» (там же). Впервые запись А. И. Тургенева опубликована в статье Э. Герштейн «Дуэль Лермонтова с Барантом». — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 419—420.

В настоящем издании воспоминания С. Т. Аксакова печатаются по тексту: С. Т. Аксаков, История моего знакомства с Гоголем. Издание подготовили Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 38.

А. Чарыков

К ВОСПОМИНАНИЯМ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ
(Стр. 258)

А. Чарыков — офицер 20-й артиллерийской бригады, встречавшийся с Лермонтовым на Кавказе в 1840—1841 гг. Его воспоминания написаны, видимо, в начале 90-х годов. Печатаются по тексту журнала «Исторический вестник», 1892, т. 48, стр. 815—817.

¹ Чарыков ошибается. Ни летом 1840 г., ни летом 1841 г. Ростопчина на Кавказе не была

² О Вревском см. ниже: прим. 1 на стр. 489. Николай Павлович Слепцов (1815—1851) с 16 сентября 1834 г. учился в юнкерской школе, которую Лермонтов окончил 22 ноября 1834 г. Таким образом, более двух месяцев они одновременно учились в одном и том же учебном заведении. Окончив школу, Н. П. Слепцов 1 января 1837 г. был произведен в прапорщики л.-гв. Литовского полка, а 16 июня 1840 г. переведен в Нижегородский драгунский полк, в котором в 1837 г. служил Лермонтов. С 20 декабря 1840 г. Н. П. Слепцов был адъютантом А. С. Траскина, начальника штаба войск Кавказской линии и в Черномории.

А. Д. Есаков

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
(Стр. 261)

Александр Есаков — прапорщик 20-й артиллерийской бригады, участвовал вместе с Лермонтовым в 1840 г. в Малой Чечне в экспедиции генерал-лейтенанта А. В. Галафеева (см.: Янжул, Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й Артиллерийской бригады. 1806—1886, т. I, Тифлис, 1886, стр. 411).

Мемуары Есакова датированы 16 декабря 1884 г. В настоящем издании печатаются в сокращении по тексту журнала «Русская старина», 1885, февраль, стр. 474—475.

¹ Ипполит Александрович *Вревский* (ум. 1858) — в 1833 г. был выпущен из юнкерской школы в л.-гв. Финляндский полк, затем учился в Военной академии, с 1838 г. служил на Кавказе, впоследствии генерал-лейтенант.

² Карл Карлович *Ламберт* (1815—1865) — граф, поручик; впоследствии генерал-адъютант, член Государственного совета.

³ Сергей Васильевич *Трубецкой* (1814—1859) — князь, в 1835 г. за юношескую шалость переведен из гвардии в армейский кавалерийский полк; за ним был установлен секретный надзор; в январе 1840 г. он был выслан на Кавказ, участвовал вместе с Лермонтовым в сражении при Валерике и был там тяжело ранен; приехав в феврале 1841 г. в Петербург для прощания с умиравшим отцом, С. В. Трубецкой, по личному распоряжению Николая I, был взят под домашний арест, а затем отправлен на Кавказ. Он был секундантом Лермонтова во время дуэли с Мартыновым.

⁴ Николай Иванович *Вольф* (ум. 1881) — в 1837 г. окончил с отличием Военную академию, с конца 1838 г. назначен на службу на Кавказ.

⁵ Лев Васильевич *Росильон* (ум. 1883) — барон, старший офицер Генерального штаба в Ставрополе. Неприязненно относился к Лермонтову (см. Висковатов, стр. 343—345).

⁶ Дмитрий Сергеевич *Бибилов* (ум. 1861). — После окончания Военной академии, с 1836 по 1848 г., служил на Кавказе.

К. Х. Мамацев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
(Стр. 263)

Константин Христофорович Мамацев (1818—1900) родился на Кавказе. Воспитывался в Петербурге в Павловском кадетском корпусе, из которого он был выпущен в офицеры в 1837 г. Свою военную службу Мамацев начал в батареях Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. В начале 1840 г. подпоручик Мамацев был командирован из Грузии, в составе сводной горной батареи капитана Варапаева, в Чеченский отряд генерала А. В. Галафеева, куда в июне того же года прибыл Лермонтов, высланный из Петербурга за дуэль с Барантом.

К. Х. Мамацев принадлежал к передовой части русского офицерства. В своих неопубликованных записках Мамацев пишет: «В конце тридцатых годов начали выходить в офицеры артиллерии с лучшим направлением; и постепенно освежалась артиллерия офицерами, которые предавались научным занятиям и чтению; в особенности огромное влияние имело на переворот интеллигенции не только офицеров, но и всей русской публики, прежде появление журнала «Телеграф» Полевого, после же журнал «Отечественные записки» под редакцией бывшего моего учителя Краевского. В этом последнем журнале помещались статьи Белинского и его критика. Этот журнал — в то время единственный* — своими статьями сделал переворот во взгляде на вещи, — и заставил с жадностью читать молодых артиллеристов и все молодое поколение. Прочие журналы, существовавшие прежде, как-то: «Библиотека для чтения» и тому подобные, с отвратительно-подлою газетою «Пчела», скорее притупляли и извращали ум, чем развивали» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 1519, тетрадь I).

На Мамацева оказало благотворное влияние его знакомство с декабристами. Как явствует из его записок, в Тифлисе он часто видел А. А. Бестужева на обедах у генерала Козлянинова. Однако Бестужев был не единственный декабрист среди знакомых Мама-

* «Телеграф» был запрещен. (Прим. К. Х. Мамацева.)

цева: «Я был знаком с другими декабристами, переведенными также солдатами из Сибири на Кавказ, например: два брата Беляевы, Назимов и Лихарев, — люди эти пользовались всеобщим уважением за свой ум и высокую нравственность» (там же, тетрадь II).

Прогрессивный характер взглядов Мамацева наложил свой отпечаток на его восприятие личности Лермонтова. В отличие от других, менее наблюдательных и проницательных мемуаристов, Мамацев понял, что истинный характер Лермонтова не соответствует его поведению в среде армейских товарищей.

Рукопись воспоминаний К. Х. Мамацева дошла до нас не полностью. Сохранившаяся часть его записей, обнаруженная И. Л. Андрониковым, была любезно предоставлена для опубликования В. А. Мануйлову (см. Труды Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской, т. II, Л. 1957, стр. 241—249). Более подробно воспоминания К. Х. Мамацева воспроизведены в изложении В. А. Потто, который имел в своем распоряжении полный текст его записок и, кроме того, пользовался в своем рассказе сведениями, почерпнутыми из устных бесед с К. Х. Мамацевым.

В настоящем издании воспоминания К. Х. Мамацева (в пересказе Потто) печатаются в сокращении по тексту газеты «Кавказ», 1897, № 235 от 5 сентября.

Описание сражений 27 и 30 октября 1840 г. приведено в «Журнале военных действий на левом фланге Кавказской линии» (П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, «Прибой», 1929, выпуск второй, стр. 119—120, 122—123).

И. Н. Костенецкий

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
(Стр. 267)

Яков Иванович Костенецкий (1811—1885) происходил из украинской дворянской семьи. Окончив в 1827 г. Полтавскую гимназию, он переехал в Москву и в августе 1828 г. поступил на нравственно-политическое (юридическое) отделение Московского университета, где примкнул к передовому студенчеству и близко сошелся с Огаревым и Герценом. В 1833 г. за участие в Сунгуровском кружке Костенецкий был лишен дворянства и сослан рядовым на Кавказ в Куринский полк. В 1839 г. за отличие при штурме крепости Ахульго он был произведен в прапорщики, а затем генерал П. Х. Граббе взял его к себе адъютантом. В 1842 г. Костенец-

кий был уволен в отставку и поселился у себя на родине в Черниговской губернии, где занимался хозяйством и литературным трудом. «Воспоминания из моей студенческой жизни», частью которых являются записи Костенецкого о встречах с Лермонтовым, были написаны в 1872 г.

В мемуарах Я. И. Костенецкого сказано, что в студенческие годы Герцен, Огарев и А. Д. Закревский, друг Лермонтова, составляли триумvirат и были неразлучны («Русский архив», 1887, кн. 1, стр. 111). Однако указанное свидетельство Костенецкого, который писал сорок лет спустя после того, как события совершились, не может быть безоговорочно принято на веру. Ведь имя А. Д. Закревского, помимо этого беглого упоминания мемуариста, не встречается ни в литературном наследии Герцена, ни в материалах о нем. В «Былом и думах», где Герцен подробно писал о своих университетских друзьях, А. Д. Закревский не упомянут. По-видимому, Костенецкий сильно преувеличил близость А. Д. Закревского к Герцену и Огареву или просто ошибся. Пока не будут обнаружены новые данные, подтверждающие это свидетельство Костенецкого, говорить о связи Лермонтова с Герценом и Огаревым через А. Д. Закревского преждевременно.

В настоящем издании воспоминания Я. И. Костенецкого печатаются по тексту журнала «Русский архив», 1887, кн. 1, вып. I, стр. 112—114.

¹ Лермонтов поступил на нравственно-политическое отделение Московского университета 1 сентября 1830 г.

² Встреча Лермонтова с Костенецким в Ставрополе относится к декабрю 1840 г.

³ Недружелюбный характер отношений между Лермонтовым и мемуаристом объясняется не только склонностью поэта подшучивать над окружающими, но и неумением Костенецкого глубже проникнуть в противоречивую натуру Лермонтова. Утверждение Костенецкого, что Лермонтов не имел друзей, опровергается другими мемуаристами. См. об этом статью А. В. Дружинина на стр. 380 наст. изд.

И. И. Вяземский

из ВОСПОМИНАНИЙ
(Стр. 270)

Павел Петрович Вяземский (1820—1888) — сын поэта и литературного критика кн. П. А. Вяземского. Он был женат с 1852 г. на М. А. Бек (урожд. Столыпниной), сестре А. А. Столыпина-Монго,

Знакомство мемуариста с Лермонтовым относится ко времени его юности — он был тогда студентом Петербургского университета. Верноподданнический образ мыслей, столь характерный для кн. П. П. Вяземского-чиновника, давал себя знать и в его студенческие годы; этим объясняется сдержанное отношение к нему Лермонтова.

П. П. Вяземский знал о Лермонтове значительно больше того, что он сообщил в своих мемуарах. Не оставив развернутых воспоминаний о поэте, он вывел Лермонтова в качестве одного из действующих лиц в «Письмах и записках Омэр де Гелль», являющихся, по мнению исследователей, литературной мистификацией. Подробнее об этом см. статьи Л. Каплана и П. Попова (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 761—775).

В настоящем издании воспоминания П. П. Вяземского печатаются по тексту: П. П. Вяземский, Собрание сочинений. 1876—1887, СПб. 1893, стр. 643.

¹ Имеются в виду три сестры Оболенские: Екатерина Васильевна (1820—1871), Софья Васильевна (1822—1891), Наталья Васильевна (1827—1892).

² Автограф стихотворения Лермонтова «На севере диком стоит одиноко», подаренный кн. Юсуповой П. П. Вяземским, находится в настоящее время в ИРЛИ.

³ Лицемерие Николая I, его двуличное поведение при получении известия о гибели Лермонтова заставили некоторых современников сомневаться в том, что царь действительно произнес эту фразу. Однако рассказ П. И. Бартенева окончательно убеждает в правдивости этого утверждения: «Государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои, кушать чай со своими, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке, — собаке — собачья смерть!» Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна Веймарская, эта жемчужина семьи (*la perle de la famille*, как называл ее граф С. Р. Воронцов), вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, пошедши назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит» («Русский архив», 1911, № 9, стр. 160). Впервые фраза «Собаке — собачья смерть», сказанная Николаем I при получении известия о гибели Лермонтова, была напечатана за границей, в анонимном предисловии к первому полному переводу «Героя нашего времени» на английский язык (1854).

А. П. Арапова

Н. Н. ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ
(Стр. 271)

Александра Петровна Арапова (1845—1919) — дочь Натальи Николаевны Пушкиной от ее брака с П. П. Ланским.

Заочное знакомство Натальи Николаевны с Лермонтовым состоялось вскоре после гибели Пушкина. С. Н. Карамзина, сообщая брату Андрею стихотворение «Смерть Поэта», писала 10 февраля 1837 г.: «Мещерский понес эти стихи Александrine Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать» («Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов». Под ред. Н. В. Измайлова, изд. АН СССР, М.—Л. 1960, стр. 175). Личное знакомство Н. Н. Пушкиной с Лермонтовым произошло в салоне Карамзиных не ранее января 1839 г., когда Наталья Николаевна вернулась из имения Гончаровых (Полотняный завод) в Петербург.

Рассказ Н. Н. Пушкиной-Ланской (в передаче ее дочери) печатается по тексту газеты «Новое время», иллюстрированное приложение, 1908, № 11432 от 9 января.

В. А. Соллогуб

из воспоминаний
(Стр. 274)

Владимир Александрович Соллогуб (1814—1882) начал литературную деятельность во второй половине 30-х годов.

Знакомство Соллогуба с Лермонтовым относится, по-видимому, к началу 1839 г., когда они стали встречаться у А. А. Красевского, Карамзиных, В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского. В 1840 г. в журнале «Отечественные записки» Соллогуб опубликовал повесть «Большой свет», в которой изобразил Лермонтова под именем Леонина. Это произведение было написано Соллогубом по заказу великой княжны Марии Николаевны и по ее замыслу должно было очернить поэта. Но повесть оказалась очень противоречивой: наряду с усиленно замаскированными намсками в адрес Лермонтова, Соллогуб критиковал высшее общество. Лермонтов сделал вид, что повесть не имеет к нему отношения, и отозвался о ней положительно. Белинский, который не был в курсе взаимоотношений Лермонтова с Соллогубом, также дал в общем похвальный отзыв. Он писал Боткину 16—21 апреля 1840 г.: «К повести Соллогуба ты чересчур строг: прекрасная беллетристическая повесть — вот и все. Много вер-

ного и истинного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев — ложное лицо. А впрочем, славная вещь, бог с нею! Лермонтов думает так же».

Подробнее об этом см. статью Р. Б. Заборовой «Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского». — «Труды государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», V (8), Л. 1958, стр. 185—199, а также письмо П. С. Рейфмана в редакцию журнала «Литература в школе» (1958, № 3, стр. 94—95).

В своих воспоминаниях, написанных в конце 70-х и в начале 80-х годов, Соллогуб смешивает события и разговоры, имевшие место в 1840 и 1841 гг. Так, например, посещение Лермонтовым бала у И. И. Воронцова-Дашкова было не в 1840 г., как пишет мемуарист, а в феврале 1841 г., что засвидетельствовано самим поэтом в его письме к Д. С. Бибикову. В его мемуарах соединены вместе и подробности прощальных вечеров у Карамзиных в 1840 и в 1841 г.

В настоящем издании воспоминания В. А. Соллогуба печатаются по тексту: В. А. Соллогуб, Воспоминания, «Academia», 1931, стр. 376—378, 380, 399—402, 183—184, 301—302.

¹ Отдельное издание повести «Тарантас» с рисунками Г. Г. Гагарина вышло в свет в 1845 г. Относительно иллюстраций к этому изданию «Тарантаса» см.: К. Кузьминский, Художник-иллюстратор А. А. Агин, его жизнь и творчество, М.—П. 1923, стр. 46—91; А. Савинов, Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 462—465.

² О журнальных планах Лермонтова см. также воспоминания А. А. Краевского в пересказе П. А. Висковатова на стр. 245 наст. изд.

³ См. о ней прим. 1 к воспоминаниям И. С. Тургенева (стр. 477 наст. изд.).

⁴ Соллогуб женился на Софье Михайловне Виейльгорской 13 ноября 1840 г. Таким образом, выходит, что разговор Лермонтова с Соллогубом об издании журнала происходил до этого времени. Между тем другие мемуаристы утверждают, что о своем плане издания журнала Лермонтов рассказывал друзьям лишь в 1841 г., во время своего последнего приезда в Петербург.

⁵ Висковатову Соллогуб несколько иначе рассказывал об этом эпизоде: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение «Тучки небесные, вечные странники!..». Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили

прочсть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез...» (В и с к о в а т о в, стр. 338).

⁶ О предчувствиях Лермонтова перед последним отъездом из Петербурга в 1841 г. известен рассказ А. М. Веневитиновой, дочери М. Ю. Вильгорского, записанный П. А. Висковатовым: «По свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой, ожидавшей его смерти. За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у Пяти углов и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека»; звали ее Александра Филипповна*, почему она и носила прозвище «Александра Македонского», после чьей-то неудачной остроты, сопоставившей ее с Александром, сыном Филиппа Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, с своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятной отставке. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят», — говорил он. Но когда неожиданно пришел приказ поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему предсказание» (В и с к о в а т о в, стр. 378).

⁷ Французский перевод стихотворения, о котором говорит Соллогуб, неизвестен. Русский текст его за подписью одного Соллогуба был опубликован в «Отечественных записках», 1841, т. XIV, отд. 3, стр. 251.

И. П. Забелла

из моих воспоминаний
(Стр. 278)

Публикуемые здесь воспоминания о Лермонтове находятся в ГПБ, в архиве редактора журнала «Исторический вестник» С. Н. Шубинского; выявлены А. Н. Михайловой и ею подготовлены вместе с примечаниями для настоящего издания. Небольшая, в четырнадцать листов, тетрадь содержит в копии (с небольшими карандашными вставками, сделанными, очевидно, рукою автора) 4-ю главу

* Имеется в виду немка-гадалка Александра Филипповна Кирхгоф, которая упоминается в письмах и дневниках современников Пушкина и Лермонтова.

Les vers sont admirables. Il faut une
 commission; Je l'enverrai directement à Tchernou-
 dila, mais le papier des sous-écrits est un
 cas qu'il y a des sous-écrits et l'écrit le
 faire à l'encre. En attendant j'ai fait l'écrit
 d'écriture par le premier soldat de
 la garde pour certifier l'écrit, et
 ne résiderant! avec l'écrit l'écrit.

J'ai, au l'honneur, Dire
 à Votre Majesté Impériale,
 que j'avois envoyé la
 pièce de l'officier d'huban
 Repnakhov, au g^r Wei-
 :mar, pour qu'il ques-
 tionne ce jeune homme,
 et qu'il le garde à l'Etat
 Major Sans communication
 extérieure, jusqu'à ce que



записок неизвестного лица (без подписи), озаглавленных: «Из моих воспоминаний».

Кто автор этих записок? В 1841 г., к которому относится его встреча с Лермонтовым, он, тринадцатилетний мальчик, учился в немецком Петропавловском училище (Peter-Schule) в Петербурге. То обстоятельство, что он воспитывался не в привилегированном учебном заведении, свидетельствует о том, что он не принадлежал к столичной аристократии. К тому же, как он сам пишет, лица большого света, о которых беседуют в его присутствии Лермонтов и Запольская, ему совершенно незнакомы. С другой стороны, автор записок и не разночинец. Его мать принадлежала к одному кругу с бабушкой поэта Е. А. Арсеньевой, а это дает нам право заключить, что мемуарист происходил из дворянской семьи среднего достатка, вынужденной готовить своих детей к трудовой жизни на педагогическом или чиновном поприще.

Изучение списка учеников Peter-Schule за 1840—1842 гг., особенно тех классов, где учились товарищи мемуариста братья Владимир и Никтополлон Полевые, приводит к выводу, что автором записок мог быть лишь Иван Петрович Забелла, сын черниговского помещика, отставного майора Петра Ивановича Забеллы и жены его Варвары Федоровны (урожд. Ракович). Из всех учеников класса кварта (то есть четвертого), в котором значатся по списку 1841 г. братья Полевые, записки могли быть написаны только Иваном Забеллой, которому, как и его приятелю, младшему Полевому, было в то время как раз тринадцать лет (родился в 1828 г.). Три других мальчика этого же возраста были детьми садовника и купцов, и, конечно, их матери не могли быть «дружески знакомы» с бабушкой поэта. Кроме того, двое из них — по национальности немцы, автор же записок — русский. Остальные ученики этого класса также не могут быть приняты за мемуариста, так как не подходят ни по возрасту, ни по национальности, ни по социальному положению. Наконец, вспомним, что автор записок говорит про заботы своей матери о трех сыновьях — ведь одновременно с Иваном Забеллой в Peter-Schule в младших классах учились его родные братья — Александр и Пармен. Единственным возражением против авторства Ивана Забеллы может служить то, что в записках он назван младшим, а не старшим из трех сыновей В. Ф. Забеллы, учившихся в Петербурге, но это, по всей вероятности, ошибка переписчика, делавшего копию с его воспоминаний.

Окончив Peter-Schule в 1843 г., Иван Петрович Забелла учился в университете св. Владимира в Киеве, но в 1848 г. был уволен, не окончив курса... Далее он служил чиновником в Черниговской губернии и достиг чина статского советника. Год его смерти не установ-

лен. Он был женат на Елизавете Яковлевне Макаровой. Его дочь Надежда Ивановна Забелла-Врубель, известная певица, была замужем за художником М. А. Врубелем, а сестра Анна Петровна Забелла — за художником Н. Н. Ге.

Записки И. П. Забеллы дают ценный материал для характеристики как Лермонтова, так и отношения к нему со стороны современников. Патриотизм Лермонтова, его искренняя любовь к родному языку подчеркнуты в разговоре с мальчиком о преподавании в училище. Эти воспоминания свидетельствуют о прижизненной популярности Лермонтова среди юношества и о том, что передовые педагоги того времени уже разъясняли учащимся значение его поэзии для русской литературы.

Записки И. П. Забеллы, как и всякие воспоминания, писавшиеся через значительный промежуток времени после описываемых событий, не свободны от некоторых неточностей, оговоренных ниже. Наиболее серьезным недостатком записок является попытка оправдать Мартынова, что не может быть принято всерьез современным читателем, осведомленным об обстоятельствах убийства Лермонтова.

¹ Из воспоминаний Забеллы выясняется новый петербургский адрес Лермонтова. Подтверждение этому находим в сообщении «Памяти Лермонтова» за подписью «Н. Кр.» («Новое время», от 24 марта 1910, № 12224).

² В 1841 г. Е. А. Арсеньевой было 68 лет (родилась в 1773 г.).

³ На самом деле мемуарист, как это явствует из архивных документов данного училища, находился тогда в четвертом классе его.

⁴ Забелла, по-видимому, спутал кивер с барашковой папашой, введенной в кавказских войсках с 1834 г.

⁵ Лермонтов выехал из Петербурга 14—15 апреля 1841 г.

⁶ По этому вопросу существуют два мнения: одни считают прототипом Грушницкого Н. П. Колюбакина, другие — Н. С. Мартынова. Б. М. Эйхенбаум назвал первое мнение «более убедительным» (Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, изд. «Academia», т. 5, 1937, стр. 490). О Колюбакине см. прим. 14 на стр. 457 наст. изд.

Е. П. Ростопчина

из письма к АЛЕКСАНДРУ ДЮМА
(Стр. 286)

Знакомство Евдокии Петровны Ростопчиной (1811—1858), урожденной Сушковой, с Лермонтовым относится к юношеским годам

поэта, когда он жил в Москве. Лермонтов посвящает ей стихотворение «Крест на скале» и новогодний мадригал 1831 г. «Додо». Затем их жизненные пути расходятся. Только в свой последний приезд в Петербург Лермонтов снова сближается с Ростопчиной, которая к началу 40-х годов уже стала известной поэтессой. Она была хорошо знакома с писателями пушкинского круга. Как вспоминает брат мемуаристки, давний московский знакомый Лермонтова Сергей Петрович Сушков (1816—1893), зимой 1841 г. Лермонтов и Ростопчина «сошлись в одном общем им дружественном семействе Екатерины Андреевны Карамзиной (вдовы нашего знаменитого историографа Николая Михайловича и родной сестры князя Петра Андреевича Вяземского), где они встречались по вечерам почти ежедневно. Весьма скоро они сблизились между собою, потому что между ними было много общего и сочувственного: оба были почти одних лет (Лермонтов немного моложе), оба очень умны и остроумны, оба поэты с юного возраста, оба принадлежали к одному кружку общества, имели общих друзей и оба в своей еще недолгой жизни уже успели испытать разочарования и невзгоды, каждый из них в своем роде» (Е. П. Ростопчина, Сочинения, т. 1, СПб. 1890, стр. XIV. Из «Биографического очерка», написанного С. П. Сушковым).

Лермонтов встречался в это время с Ростопчиной не только в салоне Карамзиных, но и бывал у нее дома. Об этом писал С. П. Сушков: «Я знал Лермонтова долго и хорошо; познакомились мы еще в отроческом возрасте на скамьях Московского благородного университетского пансиона в 1828 году, где он был на два года старше меня по классу и летам; после того оба мы окончили воспитание в Петербурге — он в Школе гвардейских юнкеров, я — в Артиллерийском училище; будучи офицерами, встречались в знакомых нам домах и в кругу молодежи; позднее два раза мы сходились на Кавказе, в 1837 и 1840 годах; наконец, в последние месяцы пребывания Лермонтова в Петербурге и его жизни, нередко сходились мы по утрам у моей сестры» (там же, стр. XXI).

Ростопчина посвятила Лермонтову стихотворение «На дорогу», написанное ею перед последним отъездом поэта из Петербурга. Тогда же Лермонтов подарил ей альбом, в который вписал посвященное ей стихотворение «Я верю: под одной звездою...».

Откликом Ростопчиной на гибель Лермонтова было ее стихотворение «Нашим будущим поэтам», написанное 22 августа 1841 г. — через два дня после того, как она узнала о кончине Лермонтова:

Не трогайте се, зловещей ссы цевницы!..
 Она губительна!.. Она вам смерть дает!..
 Как семимужняя библейская вдовица,
 На избранных своих она грозу зовет!..
 Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, —
 Но преждевременно, противника рукой —
 Поэты русские свершают жребий свой,
 Не кончив песни лебединой!..

(Е. П. Ростопчина, Стихотворения, т. II, СПб. 1856, стр. 83).

В стихотворении «Пустой альбом», написанном в ноябре 1841 г., Ростопчина снова обратилась к трагическому событию и воссоздала живой облик поэта; ей удалось передать дружескую атмосферу салона Карамзиных, где так непринужденно и хорошо чувствовал себя Лермонтов:

Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
 Самим собой, веселым, остроумным,
 Мечтательным и искренним он был.
 Лишь нам одним он речью, чувства полной,
 Передавал всю бшеную повесть
 Младых годов, ряд пестрых приключений
 Бывалых дней, и зреющие думы
 Текущая поры... Но лишь меж нас,
 На ужинах заветных, при заре
 (В приюте том, где лишь немногим рад
 Разборчиво-приветливый хозяин),
 Он отдыхал в беседе непритворной,
 Он находил свободу и простор,
 И кров как будто свой, и быт семейный..
 О! живо помню я тот грустный вечер,
 Когда его мы вместе провожали,
 Когда ему желали дружно мы
 Счастливым путь, счастливейший возврат,
 Как он тогда предчувствием невольным
 Нас испугал! Как нехотя, как скорбно
 Прощался он!.. Как верно сердце в нем
 Недоброе, тоскуя, предвещало!

(Там же, стр. 96—97).

Мемуарное письмо Ростопчиной о Лермонтове было написано ею незадолго до смерти, в 1858 г. Адресовано оно французскому писателю Александру Дюма-отцу, в середине 50-х годов посетившему Россию; в личных беседах с Ростопчиной Дюма расспрашивал о судьбе русских писателей. Впервые ее письмо было опубликовано Александром Дюма в издании «Le Caucase. Journal de voyages et

romans», Paris, 1859, № 19, pp. 147—150. Два года спустя появился первый русский перевод П. Роборовского в книге: Ал. Дюма, Кавказ. Путешествия А. Дюма, Тифлис, 1861, стр. 451—462. В настоящем издании письмо Е. П. Ростопчиной печатается по тексту журнала «Русская старина», 1882, сентябрь, стр. 615—620, с уточнением перевода по французскому оригиналу.

¹ Лермонтов родился в ночь с 2 (14) на 3 (15) октября 1814 г.

² *Дон-Жуан, Лара, Манфред* — герои одноименных произведений Байрона.

³ Речь идет об Е. А. Сушковой (см. ее воспоминания на стр. 86 наст. изд.).

⁴ Ростопчина не совсем точно определяет положение Лермонтова среди товарищей по юнкерской школе. Он действительно принадлежал в эти годы к кругу аристократической гвардейской молодежи, но Е. А. Арсеньевой было трудно содержать Лермонтова на уровне окружавшей его золотой молодежи.

⁵ 22 ноября 1834 г. Лермонтов был произведен в корнеты не Егерского, а л.-гв. Гусарского полка.

⁶ См. прим. 30 на стр. 422 наст. изд.

⁷ Имеется в виду история взаимоотношений Лермонтова с Е. А. Сушковой. Поэт рассказывал об этом в письме к А. М. Верещагиной весной 1835 г. Эта история нашла отражение в «Записках» Сушковой и в незаконченном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (гл. III).

⁸ Говоря об «обращении к императору», Ростопчина имеет в виду эпиграф стихотворения. См. об этом прим. 38 на стр. 423 наст. изд.

⁹ Приказ о переводе Лермонтова из Нижегородского драгунского полка, находившегося на Кавказе, в Гродненский гусарский полк, расквартированный под Новгородом, был подписан 11 октября 1837 г.

¹⁰ Имеется в виду начало неоконченной повести Лермонтова «У графа В... был музыкальный вечер».

¹¹ Проводы Лермонтова у Карамзиных состоялись вечером 12 апреля 1841 г.

¹² По всей вероятности, речь идет об Андрее Николаевиче Карамзине (1814—1854), сыне Н. М. Карамзина. Подробнее о нем см.: «Пушкин в письмах Карамзиных». Под ред. Н. В. Измайлова, изд. АН СССР, М.—Л. 1960, стр. 31—35.

¹³ Лермонтов был убит двадцати шести лет от роду.

Фр. Боденштедт

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ
ЛЕРМОНТОВА
(Стр. 293)

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
(Стр. 300)

Писателю и переводчику Фридриху Боденштедту (1819—1892) принадлежит заслуга ознакомления немецкого читателя со многими произведениями русской литературы. Он переводил Пушкина, Лермонтова, Козлова, повести Тургенева, украинские песни, статьи славянофилов. У Боденштедта были обширные связи с русскими писателями. К числу литераторов, переписывавшихся с ним и присылавших ему свои труды с личными посвящениями, принадлежат Тургенев, Герцен, Некрасов, А. Толстой, Тютчев, Вяземский, Полонский и др. В 1863 г. Московское общество любителей российской словесности избрало Боденштедта своим почетным членом.

Боденштедт приехал в Москву в 1840 г. в качестве учителя немецкого языка в дом кн. М. Н. Голицына. В Москве он прожил три года и познакомился там в 1841 г. с Лермонтовым. Впоследствии Боденштедт посетил Крым и Кавказ, жил в Тифлисе.

В результате его путешествий по России появляются его книги «Народы Кавказа и их борьба с Россией за свою независимость» (1848), «Тысяча и один день на Востоке» (1850) и «Песни Мирза Шафи, с прологом Боденштедта» (1851). Наибольший успех имели «Песни Мирза Шафи», которые были переведены на многие европейские языки. «Песни» принесли Боденштедту поэтическую славу, и в последующих изданиях он приписал себе их авторство полностью.

В 1852 г. Боденштедт издал двухтомник своих стихотворных переводов Лермонтова. В послесловии к этому изданию, а также в книге «Воспоминания из моей жизни» (1888) он рассказал о своих встречах с Лермонтовым.

В двухтомнике Боденштедта помещен перевод девятнадцати стихотворений Лермонтова, русский текст которых до сих пор не обнаружен. Боденштедт утверждал, что эти стихи написаны им по памяти с оригиналов, которые ему читал секундант Лермонтова Глебов. В настоящее время эти девятнадцать стихотворений принято считать подражаниями Боденштедта Лермонтову. Прозаический перевод этих стихотворений на русский язык, сделанный Чи-

рикозым, появился в 1873 г. в «Русской старине». В 1879 г. появляется их стихотворный перевод, исполненный П. А. Висковатовым, и в 1883 г. перевод Д. Д. Минаева в «Историческом вестнике».

Подробнее о переводах произведений Лермонтова Фр. Боденшtedта см.: Н. А. Сигал, Боденшtedт — переводчик Лермонтова. — Ученые записки ЛГУ, серия филологических наук, вып. 8, 1941, стр. 328—349.

В настоящем издании воспоминания Фр. Боденшtedта печатаются по следующим источникам: Из послесловия к переводу стихотворений Лермонтова — в сокращенном переводе с немецкого издания: *Michaël Lermontoff's Poetischer Nachlaß... aus dem Russischen übersetzt und mit einem biographischen-kritischen Schlußwort versehen von Friedrich Bodenstedt*, Bd. II, Berlin 1852, SS. 318, 326—327, 330—346. Впервые в «Современнике», 1861, т. 85, февраль, стр. 319, 323—333; Воспоминания из моей жизни — в переводе с издания: *Fr. Bodenstedt. Erinnerungen aus meinem Leben*. Berlin, 1888, B. I, SS. 156—158.

¹ Цитата из «Полтавы» Пушкина.

² За дуэль с Барантом Лермонтов был выслан на Кавказ.

³ В статье «Лермонтов и семейство Мартыновых» Э. Г. Герштейн писала об этой версии: «Вероятно, слухи об отождествлении Натальи Мартыновой с княжной Мери были распространены по Москве уже в 1840 г. Тогда полемику Лермонтова с читателями и критиками «Героя нашего времени», которую он вел в предисловии ко второму изданию романа, можно отнести и к Мартыновым. В зачеркнутых вариантах этого предисловия, написанного в Петербурге в феврале — марте 1841 г., Лермонтов, протестуя против сближения персонажей «Героя нашего времени» с автором и его знакомыми, замечает: «Мы жалуемся только на недоразумение публики, не на журналы...» (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 700). Соглашаясь с тем, что подобные слухи имели место, Э. Г. Герштейн не считает возможным полагать их причиной дуэли с Мартыновым.

⁴ Павел Александрович Олсуфьев (1819—1844) — сын двоюродного брата М. Н. Голицына, в доме которого губернатором жил Боденшtedт.

⁵ П. А. Висковатов, ссылаясь на Боденшtedта, утверждал, что имеется в виду А. И. Васильчиков.

⁶ М. Н. Лонгинов писал: «Боденшtedт называет Лермонтова белокурым; это неверно» («Русская старина», 1873, кн. 3, стр. 391). По утверждению Висковатова, у Лермонтова посреди темени был клочок более светлых волос, поэтому некоторые считали его блон-

дином. Волосы Лермонтова были темно-каштановые, почти черные. Вот почему другие называют его брюнетом (ср. Висковатов, стр. 380).

⁷ Характеристика Лермонтова, сделанная Боденштедтом, очень напоминает портрет Печорина в главе «Максим Максимыч», сходство настолько значительно, что можно предположить влияние страниц «Героя нашего времени» на воспоминания Боденштедта.

⁸ Воспоминания Е. П. Ростопчиной о Лермонтове см. на стр. 286 наст. изд.

⁹ Ср. с воспоминаниями Франциски Кугельман «Несколько штрихов к характеристике великого Маркса»: «(Маркс) считал, что вряд ли кто из писателей превзошел Лермонтова в описании природы, во всяком случае редко кто достигал такого мастерства» («Воспоминания о Марксе и Энгельсе», М. 1956, стр. 291).

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

¹ Лермонтов был в Москве не в марте, а в апреле 1841 г.

² «Стихотворения М. Лермонтова» вышли в свет и поступили в продажу в октябре 1840 г.

³ Сборник стихотворений Лермонтова 1840 г. не переиздавался.

⁴ Далее в тексте — стихотворный перевод «Родины» на немецкий язык, сделанный Боденштедтом.

⁵ Перевод «Героя нашего времени» неоднократно издавался в Германии в XIX в. — см.: Б. Л. Кандель, Библиография переводов романа «Героя нашего времени» на иностранные языки. — М. Ю. Лермонтов, Герой нашего времени, изд. АН СССР, М. 1962, стр. 209—210.

⁶ Далее в тексте — стихотворный перевод «Благодарности» на немецкий язык, сделанный Боденштедтом.

В. И. Красов

ИЗ ПИСЬМА К А. А. КРАЕВСКОМУ
(Стр. 302)

Василий Иванович Красов (1810—1854) — поэт, которого Чернышевский назвал «едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова». С осени 1830 г. Красов — студент словесного отделения Московского университета, где он и познакомился с Лермонтовым. С 1832 г. В. И. Красов печатал свои стихи в «Телескопе» и «Молве», затем

его стихотворения публиковались в «Библиотеке для чтения» и «Московском наблюдателе». С конца 30-х годов произведения В. И. Красова появляются в «Отечественных записках», в соседстве со стихотворениями Лермонтова. Как установил Б. Я. Бухштаб, богоборческое стихотворение Лермонтова «Благодарность» (1840) полемически направлено против стихотворения В. И. Красова «Молитва», которое было опубликовано в 12-й книжке «Отечественных записок» 1839 г. (ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 406—409).

В настоящем издании отрывок из письма В. И. Красова печатается по рукописи (ГПБ, ф. А. А. Краевского). Впервые опубликовано в статье Н. Л. Бродского «Поэты кружка Станкевича». Известия ОРЯС Академии наук, 1912, т. XVII, кн. 4, стр. 34.

Ю. Ф. Самарин

из ДНЕВНИКА

(Стр. 303)

из ПИСЕМ к И. С. ГАГАРИНУ

(Стр. 305)

Юрий Федорович Самарин (1819—1876) познакомился с Лермонтовым в 1838 г., однако они сблизились между собой в начале 40-х годов; во время посещений Москвы Лермонтов неоднократно встречался с Самариным. В те годы Самарин сдал магистерский экзамен при Московском университете и писал диссертацию о русских проповедниках XVII в. Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче.

Впоследствии видный представитель славянофильства, Самарин уже в 1840—1841 гг., к которым относятся его мемуарные письма и дневниковые записи о Лермонтове, был несомненно под влиянием идей этого нарождавшегося общественного течения. Славянофильские симпатии Самарина отразились на его оценке личности и творчества Лермонтова.

В настоящем издании выдержки из дневника и писем Ю. Ф. Самарина печатаются по следующим источникам:

Из дневника — по рукописи ГБЛ, архив Самариных, ф. 265, карт. 89, ед. хр. 3; Письмо к И. С. Гагарину от 19 июля 1840 г. — сб. ИМЛИ, стр. 112—113 (подлинник на франц. яз.); Письмо к И. С. Гагарину от 3 августа 1841 г. — журнал «Новое слово», 1894, № 2, стр. 46—47 (подлинник на франц. яз.).

¹ Реакционная критика встретила роман Лермонтова «Герой нашего времени» резко отрицательно. В статьях о творчестве Лер-

монтова С. П. Шевырев выступил против Печорина как типичного героя времени: «Печорин не имеет в себе ничего существенного, относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов» («Москвитянин», 1841, ч. I, № 2, стр. 536). Отрицательная оценка «Героя нашего времени», данная Ю. Ф. Самариным, указывает на наличие точек соприкосновения между реакционными и славянофильскими теориями.

² На Солянке жил Александр Петрович Оболенский (р. 1782), женатый на тетке Ю. Ф. Самарина. Дочь Оболенских Варвара Александровна, с 1838 г. жена друга Лермонтова Алексея Александровича Лопухина. Самарин виделся у Оболенских с Лермонтовым в первой половине января 1838 г.

³ Имеется в виду именинный обед Гоголя в саду М. П. Погодина 9 мая 1840 г. Об этом см. воспоминания С. Т. Аксакова на стр. 256 наст. изд.

⁴ Лермонтов беседовал с Самариным об Иване Сергеевиче Гегарине, участнике «кружка шестнадцати».

⁵ Лермонтов прибыл в Москву 30 января 1841 г. Таким образом, эта встреча Лермонтова с Самариным относится к самому концу января — началу февраля. Россети — по-видимому, Клементий Осипович (1811—1866), брат А. О. Смирновой-Россет.

⁶ Кто скрыт за инициалом — не установлено.

⁷ Речь идет о Дмитрие Григорьевиче Розене (1815 — после 1885), однополчанине Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. Подробнее о нем см.: М. Ашуклина-Зенгер, О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 746—749.

⁸ Лермонтов рассказывал Самарину о Сергее Васильевиче Трубецком, который был ранен в сражении при Валерике (11 июля 1840 г.).

⁹ Как справедливо отмечено Э. Г. Герштейн, «политическая острота этой беседы Лермонтова с Самариным усиливается тем, что она происходила на фоне верноподданнической шумихи, поднятой в Москве, ожидавшей приезда Николая I и всей царской фамилии» (Сборник ИМЛИ, стр. 119).

¹⁰ Лермонтов и Самарин ездили на народные гуляния под Новинское.

¹¹ Вероятно, речь идет о Петре Дмитриевиче Золотницком (1812—1872), поручике л.-гв. Кирасирского полка, знакомом Лермонтова и Карамзиных. Подробнее о нем см.: «Пушкин в письмах

Карамзиных». Под ред. Н. В. Измайлова, изд. АН СССР, М—Л. 1960, стр. 347—348.

¹² По всей вероятности, Николай Михайлович Левицкий и Александр Михайлович Иваненко — поручики л.-гв. Кирасирского полка.

¹³ Стихотворение Лермонтова «Спор» впервые было напечатано в журнале «Москвитянин», 1841, ч. III, № 6.

Автограф «Спора» с пометкой Ю. Ф. Самарина («Писан рукою Лермонтова и подарен мне») хранится в архиве Самарина (ГБЛ, ф. 265, к. 132, ед. хр. 1). Кроме того, среди бумаг Ю. Ф. Самарина сохранился список стихотворения Лермонтова «Я к Вам пишу случайно; право...» с пометой Самарина: «подарено автором» (ГБЛ, ф. 265, к. 132, ед. хр. 7). В этом списке стихотворение имеет заглавие «Валерик», которое отсутствует в черновом автографе.

¹⁴ Текст рукописи обрывается. Как установила Э. Г. Герштейн, далее в дневнике Самарина «вырезано семь листов, из которых, как видно по корешкам, два листка с оборотом были заполнены сплошным текстом (на странице, где обрывается запись, заметны следы от чернил следующей вырезанной страницы). Содержание утраченной записи восстановить невозможно...» (Сборник ИМЛИ, стр. 121).

ИЗ ПИСЕМ К И. С. ГАГАРИНУ

¹ О «кружке шестнадцати» см. воспоминания Кс. Браницкого на стр. 254 наст. изд. Из названных Кс. Браницким десяти участников кружка в 1840 г. на Кавказ уехали, кроме Лермонтова, А. А. Столыпина-Монго, Д. П. Фридерикс, А. Н. Долгорукий, С. В. Долгорукий и Н. А. Жерве.

² В опущенной нами второй части письма Самарин подробно пишет о своих встречах с Петром Владимировичем Долгоруким. На основании этой части письма и неуверенного указания Н. С. Лескова Э. Г. Герштейн высказывает предположение, что П. В. Долгорукий мог быть участником «кружка шестнадцати» (Сборник ИМЛИ, стр. 114). Этот вопрос требует дополнительных разысканий.

И. И. Магденко

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

(Стр. 308)

Петр Иванович Магденко — полтавский и скатеринославский помещик. Случай ненадолго столкнул его с Лермонтовым. Рассказанный им эпизод о том, как Лермонтов бросал монету, чтобы решить,

ехать ли в Пятигорск или в отряд, находит свое подтверждение в письме А. А. Кикина своей дочери, М. А. Бабиной: «Лермонтов в последнем письме к Мартынову писал сюда, что он кидал вверх гривенник, загадывал, куда ему ехать. Он упал решетом. Сие означало в Пятигорск, и оттого там погиб» («Русская старина», 1896, кн. 2, стр. 316). Однако П. К. Мартынов со слов Чилиева утверждает, что Лермонтов и Столыпин имели направление в Пятигорск. См. стр. 319 наст. изд.

Воспоминания Магденко создавались, видимо, в конце 70-х годов. Печатаются по тексту журнала «Русская старина», 1879, март, стр. 525—530.

¹ В тексте «Русской старины» напечатано: «Летом 1841 года», но П. А. Висковатов, видевший рукопись, утверждал, что у Магденко было написано: «Весной 1841 года». Исправляем текст согласно свидетельству П. А. Висковатова.

² А. А. Столыпин-Монго был капитаном Нижегородского драгунского полка.

³ Высокопоставленное лицо, о котором Лермонтов высказал свое «жесткое мнение», видимо Николай I.

М. Х. Шульц

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

(В пересказе Г. К. Градовского)

(Стр. 313)

Мориц Христианович Шульц (1806—1888) — полковник генерального штаба (с 1839 г.). В 1841 г. служил в Ставрополе, где встретился с Лермонтовым и рассказал ему случай из собственной жизни, послуживший якобы сюжетом для стихотворения «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»). Впоследствии Шульц принимал участие в обороне Севастополя и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.; уволен в отставку с чином генерала от кавалерии.

В настоящем издании воспоминания Шульца печатаются по тексту: «Исторический вестник», 1902, ноябрь, стр. 476—477.

¹ *Ахульго* — крепость Шамиля в аварском округе Дагестана, расположенная на двух огромных утесах и почти неприступная. В августе 1839 г. русские войска под начальством П. Х. Граббе, ценою больших потерь, взяли Ахульго и разрушили укрепления.

² Романс на слова стихотворения «Сон» написан Балакиревым. Акварель Г. Г. Гагарина к этому стихотворению Лермонтова хранится в Государственном русском музее (Ленинград).

В. И. Чилев и Н. П. Раевский

из воспоминаний

(В пересказе П. К. Мартянова)

(Стр. 315)

Воспоминания хозяина последней квартиры Лермонтова в Пятигорске Василия Ивановича *Чилева* (1798—1873), служившего в Пятигорской военной комендатуре, дошли до нас в пересказе П. К. Мартянова. В воспоминания Чилева в какой-то мере проникли элементы позднейших измышлений, связанных с пребыванием Лермонтова в Пятигорске. Исходя из этих соображений, текст воспоминаний Чилева дается в сокращении. Наибольшую ценность представляет подробное описание последней квартиры Лермонтова и распорядок жизни поэта накануне его гибели; эта часть воспоминаний воспроизводится полностью. В сносках Мартянов указывает, с чьих слов рассказан тот или иной эпизод.

В настоящем издании воспоминания В. И. Чилева и Н. П. Раевского печатаются в сокращении по тексту: П. К. Мартянов, *Дела и люди века*, т. II, СПб. 1893, стр. 31—45.

¹ Мартянов полемизирует с воспоминаниями Э. А. Шан-Гирей, опубликованными в «Русском архиве», 1889, т. II, кн. 6, стр. 315—320.

² Единственным источником текста этого и других приведенных здесь экспромтов Лермонтова являются записи Мартянова. В собраниях сочинений Лермонтова они печатаются в разделе стихотворений, приписываемых Лермонтову.

³ У П. К. Мартянова ошибочно: «23 мая».

⁴ Плац-адъютантом при пятигорском комендантском управлении был в то время Ангелий Георгиевич Сидери. В 1841 г. А. Г. Сидери был женихом Екатерины Ивановны Кнольт, которая, будучи сиротой, жила в доме своей опекуниши М. И. Верзилиной. А. Г. Сидери, по свидетельству его сына, встречался у Верзилиных с Лермонтовым. В своих воспоминаниях Леонид Ангелиевич Сидери (род. 1843) писал: «В семье Верзилиных были три красивые девицы: дочери Верзилина, старшая Эмилия и младшая Надежда, и моя мать (Е. И. Кнольт), проживавшая в их семье, как опекаемая. Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали, и которой Лермонтов написал сти-

хи: «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд»... Вот из ревности и разыгралась эта драма. Отец мой (А. Г. Сидери), идя с докладом об этом происшествии к коменданту, зашел по дороге к Верзилиным и сообщил им об этом (он уже был женихом моей матери). Все в доме были взволнованы. Вдруг вбегает возбужденный Лев Сергеевич Пушкин, приехавший на минеральные воды, с волнением говорит: «Почему раньше меня никто не предупредил об их обостренном отношении, я бы помирил»... Несмотря на несимпатичный характер Лермонтова, все его жалели, а Мартынова все обвиняли и были сильно возбуждены против него, говорили: «Стрелять-то не умел, а убил наповал». Вот и все, что я могу сообщить, если не очевидец, то все-таки как человек, слышавший от очевидцев, своих родителей» (П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, II. «Прибой», Л. 1929, стр. 218—219).

⁵ О доме В. И. Чилыева, где была последняя квартира Лермонтова, см. также: П. Селегей, Государственный музей-домик Лермонтова. Путеводитель, Ставропольское книжное изд-во, 1958, стр. 118—127.

Н. И. Лорер

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»
(Стр. 330)

Декабрист Николай Иванович Лорер (1795—1873) в 1837 г. был переведен из Сибири рядовым на Кавказ. За отличие в боях он произведен в 1840 г. в прапорщики. В 1842 г. Лорер ушел в отставку. «Записки декабриста» написаны им в 1862—1865 гг. в сельце Водяном, Херсонской губернии, где он жил у своего брата Д. И. Лорера.

Лорер познакомился с Лермонтовым в июне 1840 г. Поэт, как он пишет, привез ему письмо и книгу от его племянницы А. О. Смирновой (Россет). Во время беседы сразу же обнаружились расхождения в области их политических воззрений. Лермонтов отрицал николаевскую Россию, Лорер к этому времени отошел от революционных убеждений молодости. Как справедливо пишет М. В. Нечкина, «после разгрома Южного общества, в эпоху сибирской ссылки, кавказских походов и, наконец, жизни в сельце Водяном, Н. И. Лорер окончательно скатывается на позиции самого бесспорного либерализма» (Н. И. Лорер, Записки декабриста, М. 1931, стр. 22). Лермонтову был смешон беспочвенный оптимизм Лорера. Расхождения во взглядах существенно отразились на тоне воспоминаний Лорера о Лермонтове. Кстати сказать, из «Записок»

явствует, что в 1840 г., когда Лермонтов был уже широко известным поэтом, Лорер почти незнаком был с его творчеством.

«Записки декабриста» Лорера подтверждают свидетельства других мемуаристов о том, как была встречена Николаем I весть о смерти Лермонтова.

В настоящем издании воспоминания Н. И. Лорера печатаются по тексту: Н. И. Лорер, Записки декабриста, М. 1931, стр. 189, 241, 254—264.

¹ О докторе Н. В. Майере см. прим. 7 на стр. 466—467 наст. изд.

² Александра Осиповна Смирнова (1809—1882) — урожд. Россет, с 1826 г. фрейлина императрицы, была знакома со многими русскими писателями и художниками (Жуковским, Пушкиным, Гоголем, Вяземским, Брюловым и др.). В январе 1832 г. она вышла замуж за Н. М. Смирнова, в июле 1835 г. уехала за границу. Во второй половине февраля 1837 г. в Париже из письма С. Н. Карамзиной к брату Андрею Карамзину Смирнова знакомится со стихотворением «Смерть Поэта» и впервые слышит имя Лермонтова. Личное знакомство Смирновой с Лермонтовым состоялось в начале ноября 1838 г. в доме Карамзиных. Лермонтов и Смирнова принадлежали к ближайшим друзьям С. Н. Карамзиной, которая была душой литературного салона Карамзиных в эти годы. Однако Лермонтов встречался со Смирновой не только у их общих знакомых — поэт бывал и в доме Смирновой на Мойке за Синим мостом, в котором она жила по возвращении из-за границы. Знакомство Лермонтова со Смирновой быстро перешло в дружбу: поэт посвятил ей стихотворение «В простосердечии невежды» (1840); от него Лермонтов много слышал о Пушкине. В своей «Автобиографии» Смирнова очень скупо пишет о знакомстве с Лермонтовым, сообщая только некоторые обстоятельства, при которых возникло обращенное к ней стихотворение, а также «Молитва» («В минуту жизни трудную»), посвященная М. А. Щербатовой (см. А. О. Смирнова-Россет, Автобиография, М. 1931, стр. 213 и 247).

³ Речь идет о трактате средневекового мистика Фомы Кемпийского (1380—1471) «О подражании Христу».

⁴ «Герой нашего времени» тогда уже вышел в свет (первое издание появилось в апреле 1840 г.).

⁵ Дуэль Лермонтова с Барантом состоялась 18 февраля 1840 г.

⁶ Барклай-де-Толли — лекарь пятигорского военного госпиталя.

⁷ Александр — А. И. Арнольди. О Шведе см. прим. 56 на стр. 424 наст. изд. Портрет Лорера на фоне Кавказских гор, писанный Шведе, хранится в Эрмитаже; он воспроизведен в издании «Записок декабриста» Н. И. Лорера (М. 1931).

⁸ Декабрист Владимир Николаевич Лихарев (1800—1840) был убит в сражении под Валериком 11 июля 1840 г.

⁹ Училище колонновожатых, которое впоследствии выросло в Академию генерального штаба, было основано по инициативе Н. Н. Муравьева, отца декабриста Александра Муравьева. В Москве оно было одним из очагов распространения декабристского образа мыслей. За семь лет муравьевского руководства (1816—1823) в нем обучались двадцать четыре будущих декабриста. Подробнее об этом см.: М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. I, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 102—103.

¹⁰ Имеются и другие свидетельства современников, подтверждающие интерес Лермонтова к философии. Так, например, Н. Молчанов писал 27 июля 1841 г. В. В. Пассеку, другу Герцена, о встрече поэта с профессором медицины Московского университета Иустином Евдокимовичем Дядьковским за несколько дней до последней дуэли: «В тот же вечер мы видели Лермонтова... Человек молодой, бойкий, умом остр. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «что за умница» (ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 715). Таким образом, наряду с идеалистической философией Канта и Гегеля, Лермонтов проявлял интерес и к философии английского материалиста Бекона. Подробнее об этом см.: В. А. Самус, Круг идей Лермонтова. — ЛН, т. 43—44, М. 1941, стр. 83—128.

¹¹ Речь идет о писателе-декабристе Александре Александровиче Бестужеве, который был убит в стычке с горцами 7 июня 1837 г. О гибели А. А. Бестужева имеется запись в дневнике А. И. Тургенева от 3 сентября 1839 г.: «С кн. Вол(конско)й — Бестужев-Марлин(ский) сказал: «мы посеяли, другие пожнут» — велено посылать в опасные места, и он убит» (ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 5 об.). Подробнее об этом см.: Ю. Левин, Об обстоятельствах смерти А. А. Бестужева-Марлинского. — «Русская литература», 1962, № 2, стр. 219—222.

¹² Константин Николаевич Манзей (1821—1905) — офицер и историк л.-гв. Гусарского полка (см.: К. Манзей, История лейб-гвардии Гусарского его величества полка. 1775—1857, чч. I—IV, СПб. 1859).

¹³ Речь идет о декабристе Константине Густавовиче Игельстроме (1799—1851).

¹⁴ Имеется в виду Николай Николаевич Раевский-младший (1801—1843), генерал-лейтенант, начальник Черноморской береговой линии.

¹⁵ Из воспоминаний А. И. Арнольди (см. стр. 232 наст. изд.) и письма Е. Г. Быхолец (см. стр. 354 наст. изд.) явствует, что Дмитриевский неделю спустя, в день дуэли Лермонтова с Мартыновым, находился еще на минеральных водах.

¹⁶ Цитата из «Евгения Онегина» (гл. II, строфа XXVIII).

¹⁷ О секундантах на дуэли Лермонтова с Мартыновым см. прим. 15 на стр. 457 наст. изд.

¹⁸ Свидетельство Лорера о появлении в Пятигорске большого количества жандармских офицеров сразу же после гибели Лермонтова подтверждает причастность Бенкендорфа к кровавой развязке. Прав был П. А. Висковатов, который писал: «Нет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру шекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге» (Висковатов, стр. 418).

Э. А. Шан-Гирей

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ (Стр. 341)

Эмилия Александровна Шан-Гирей (1815—1891), урожд. Клингенберг, падчерица генерала П. С. Верзилина, с 1851 г. жена А. П. Шан-Гирея. В конце 30-х годов она жила в Пятигорске, где познакомилась с Лермонтовым. Судя по ее воспоминаниям, ее знакомство с поэтом состоялось в мае 1841 г., но, по всей вероятности, она ошибается. П. И. Магденко писал, что Лермонтов, уговаривая А. А. Столыпина-Монго ехать весной 1841 г. в Пятигорск, выставлял в качестве одного из аргументов то, что там живут Верзилины; следовательно, с семьей Верзилиных, и в том числе с Эмилией Александровной, Лермонтов, видимо, был знаком и ранее. Это подтверждается и письмом Васильчикова к Арсеньеву от 30 июля 1841 г. (см. стр. 368 наст. изд.).

Э. А. Шан-Гирей неоднократно выступала с воспоминаниями о Лермонтове (см. «Нива», 1885, № 27, стр. 646; «Русский архив», 1887, кн. 3, № 11, стр. 438; «Русское обозрение», 1891, № 4, стр. 707—712; «Север», 1891, № 12, стр. 745—748 и др.). В настоящем издании воспроизводятся ее воспоминания, напечатанные в журнале «Русский архив», 1889, кн. II, № 6, стр. 315—320.

¹ «Последнее издание» сочинений Лермонтова, о котором пишет Э. Шан-Гирей, вышло в 1887 г.

² О разночтениях этого экспромта Лермонтова, обращенного к Н. П. Верзилиной, см.: Лермонтов, т. II, стр. 377—378.

³ Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь мемуаристки, следующим образом описывает дом Верзилиных в Пятигорске: «Моя мать сохранила все в доме, как было прежде: та же маленькая уютная гостиная, стены и потолок которой были обиты ситцем палевого цвета с легкими разводами из цветов во вкусе Помпадур, тем же были обиты узенькие длинные с узкими спинками диванчики, okayмлявшие стенки, потолок был тем же обит мелкими складками, которые сходились в середине потолка розеткой, в ней был крючок и висела небольшая люстра с восковыми свечами. В то время, когда был Лермонтов, в этой гостиной Мария Ивановна сидела около круглого стола с работой, она любила вязать кружева на спицах, с одной стороны моя мать вышивала на пяльцах, тетя Аграфена сидела около нее и вязала крючком из разноцветного бисера кошельки, с другой стороны тетя Надежда тоже с каким-нибудь рукоделием. Являлся Лермонтов с кем-нибудь из своих приятелей, и велись веселые разговоры» (ЦГАЛИ, ф. 276, оп. 1, ед. хр. 141, л. 4—5).

⁴ Е. Г. Быховец писала, что бандо не было возвращено ей (см. стр. 355 наст. изд.).

Н. Ф. Туровский

ИЗ «ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ В 1841 ГОДУ»

(Стр. 348)

А. Голомбневский, опубликовавший этот дневник, писал о его авторе: «Удалось узнать, что писавший дневник был родственником нынешних владельцев с. Знаменского (Щигровского уезда) Салтановых, Николай Федорович Туровский. Сын поселившегося в начале XIX века в Липецке штаб-лекаря Федора Ивановича Туровского, Николай Федорович в молодости служил в Петербурге, затем переселился в Липецк и сделался тамошним старожилом. Там он имел дом, с большим садом, открытым для всех обитателей Липецка; жил очень открыто и широко. Одно время он был директором Липецких минеральных вод, а потом выборным мировым судьей» («Русская старина», 1913, сентябрь, стр. 493).

Знакомство Лермонтова с Н. Ф. Туровским относится, видимо, ко времени, когда поэт был учеником Московского университетского пансиона, где в те же годы учился и автор дневника

(см.: Ф. Ф. Майский, Юность Лермонтова... — Труды Воронежского университета, т. XIV, вып. II, 1947, стр. 238).

В настоящем издании дневник Н. Ф. Туровского печатается в сокращении по тексту журнала «Русская старина», 1913, т. 155, июль — сентябрь, стр. 498—503.

¹ Цитата из «Евгения Онегина»: «Там некогда гулял и я! Но вреден север для меня» (гл. I, строфа II). Н. Ф. Туровский, воспользовавшись крылатым выражением Пушкина, намекает на сосланных из столицы на Кавказ офицеров.

² Туровский имеет в виду первую русскую железную дорогу, проложенную из Петербурга в Павловск.

³ Дуэль состоялась через два дня после ссоры.

Е. Г. Быховец

из письма
(Стр. 353)

Екатерина Григорьевна Быховец — дальняя родственница Лермонтова — была старшей дочерью помещика Тарусского уезда Григория Андреевича Быховца и его жены Натальи Федоровны. Лермонтов познакомился с Е. Г. Быховец, по-видимому, в доме ее тетки Мавры Егоровны Быховец, которая жила в Москве. Это знакомство могло состояться в один из приездов Лермонтова в Москву в 1837—1841 гг.

Е. Г. Быховец напоминала Лермонтову Варвару Александровну Лопухину, и в последние годы было высказано предположение, что стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю» посвящено Быховец. Об этом см.: В. В. Баранов, Об истинном адресате стихотворения Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю». — Ученые записки Калужского пед. ин-та, вып. IV, 1957, стр. 182—192. Однако жена писателя В. А. Соллогуба в разговоре с П. А. Висковатовым утверждала, что это стихотворение посвящено ей (см. Висковатов, стр. 326—327). Вопрос об адресате этого стихотворения остается нерешенным.

В настоящем издании письмо Е. Г. Быховец печатается в сокращении по тексту: «Русская старина», 1892, т. 73, стр. 766—768.

¹ Варваре Александровне Бахметевой (урожд. Лопухиной) (1815—1851) посвящен ряд юношеских стихотворений Лермонтова («Оставь напрасные заботы», «Мы случайно сведены судьбою», «К Л., — (подражание Байрону)», «Она не гордой красотою»). Исто-

рия отношений поэта с В. А. Лопухиной, вышедшей в мае 1835 г. замуж за Н. Ф. Бахметева, в какой-то мере отразилась в драме «Два брата», в «Княгине Лиговской» и «Княжне Мери» — во всех этих произведениях она выведена под именем Веры. Осенью 1838 г. Лермонтов переслал Варваре Александровне поэму «Демон» с посвящением, в котором писал:

Я кончил — и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук, —
Стихов неведомых задумчивое пенье, —
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Сохранились портреты Варвары Александровны, писанные Лермонтовым; на одном из них она изображена монахиней. Как известно, героиней ранних редакций «Демона» была безымянная монахиня. Это совпадение дает возможность предполагать, что образ Варвары Александровны наложил свой отпечаток на первоначальные редакции поэмы. По всей вероятности, Лермонтов читал ей «Демона» в начале 30-х годов в Москве («Займет ли вновь тебя давно знакомый звук...»). В 1840 г. Лермонтов посвятил Варваре Александровне большое стихотворное послание «Я к вам пишу: случайно! право...».

² *Обыденная* — тетка Е. А. Быхолец.

³ Лев Сергеевич *Пушкин* (1805—1852) — брат А. С. Пушкина, в 1836—1841 гг. служил на Кавказе при Н. Н. Раевском-младшем. На Кавказе Л. С. Пушкин познакомился и сблизился с Лермонтовым. А. И. Дельвиг писал о своих встречах с Лермонтовым и Л. С. Пушкиным в Ставрополе: «За обедом (у П. Х. Граббе) всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и жена, Траскин, Лев Пушкин, бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчаливых картинною галереею. Лермонтова я увидел в первый раз за обедом 6 января (1841 г.). Он и Пушкин много острили и шутили с женою Граббе, женщиною небольшого ума и малообразованною. Пушкин говорил, что все великие сражения кончаются на «о», как-то: Маренго, Ватерлоо, Ахульго и т. д. Я тут же познакомился с Лермонтовым и в продолжение всего моего пребывания в Ставрополе виделся с ним и с Пушкиным. Они бывали часто у меня, но с первого раза своими резкими манерами, не всегда приличными остротами и в особенности своею страстью к вину не понравились жене моей» (А. И. Дельвиг, Полвека русской жизни, т. I, изд. «Academia». М.—Л. 1930, стр. 304—305).

⁴ См. прим. 15 на стр. 459 наст. изд.

Полеводин

из ПИСЬМА
(Стр. 356)

Адресат письма не установлен. Автор письма — возможно, Петр Тимофеевич Полеводин, который упоминается в материалах архива Д. П. Ознобишина (ИРЛИ).

В настоящем издании печатается по тексту: ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 489—490 (рукопись хранится в ГПБ).

¹ В конце 1839 г. Мартынов в чине ротмистра был прикомандирован к Гребенскому казачьему полку.

² А. И. Васильчиков в 1839 г. окончил Петербургский университет со степенью кандидата прав.

³ Пятигорское кладбище находится у подножья горы Машук, в нескольких верстах от места поединка.

⁴ Речь идет о писателе Николае Николаевиче Верекине (1813—1838).

А. П. Смольянинов

из ДНЕВНИКА
(Стр. 359)

Запись в дневнике Александра Павловича Смольянинова (род. 1821) о смерти Лермонтова относится к 1841 г., когда автор был студентом Училища правоведения в Петербурге. Он не принадлежал к вольномыслящим и независимым людям: судя по сохранившемуся дневнику, его общий кругозор вполне отвечал духу казенного училища николаевской поры. Однако он восторженно относился к передовой русской литературе. Известно, что группа прогрессивно настроенных молодых правоведов издавала рукописный литературный журнал «Собрание упражнений». Дошедшие до нас два номера этого журнала за 1840 г. свидетельствуют о том, что его участникам были дороги лучшие литературные традиции тех лет. Таким образом, отношение Смольянинова к литературе отражает общую атмосферу училища, насыщенную воздействием творчества Пушкина, Лермонтова и других передовых писателей того времени.

В настоящем издании отрывок из дневника А. П. Смольянинова печатается по тексту: ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 721—724. В 1940—1941 гг. рукопись была в частном собрании А. И. Грушкина, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

¹ Неверная версия, возникшая в результате того, что некоторые современники связывали имя Марии Алексеевны Щербатовой, урожд. Штерич, с дуэлью Лермонтова с Мартыновым; в дальнейшем изложении Смольянинов исправляет свою ошибку.

² См. прим. 15 на стр. 459.

³ Две тени — Пушкин и Лермонтов.

⁴ О каком бароне Розене идет речь, неизвестно. Ни один из известных нам Розенов летом 1841 г. в Пятигорске не жил; письмо Розена о смерти Лермонтова до сих пор не обнаружено.

⁵ Мартынов ушел в отставку из Гребенского казачьего полка.

⁶ Ссора в доме Верзилиных произошла 13 июля 1841 г.

⁷ Разговор Лермонтова с Мартыновым о том, что Наталья Соломоновна была прототипом Веры, не подтверждается другими воспоминаниями.

⁸ На это первое сообщение в печати о смерти Лермонтова обратил внимание Белинский, который процитировал его в своей рецензии на второе издание «Героя нашего времени» (см. стр. 252 наст. изд.); затем на «Одесский вестник» сослался А. М. Меринский (см. стр. 142 наст. изд.).

Т. А. Бакунина

ИЗ ПИСЬМА К Н. А. БАКУНИНУ
(Стр. 362)

Татьяна Александровна Бакунина — сестра известного революционера-анархиста Михаила Александровича Бакунина. У нас не имеется сведений о знакомстве Лермонтова с семейством Бакуниных. Однако нет сомнения в том, что творчество Лермонтова было хорошо известно в их семейном кругу, в их доме, где в 30-е годы неоднократно бывали Белинский и многие другие представители московской передовой интеллигенции.

Письмо адресовано младшему брату Татьяны Александровны — Николаю Александровичу (1818—1900), окончившему в 1838 г. в Петербурге Артиллерийское училище. Во время своих приездов в Москву в конце 30-х годов молодой прапорщик артиллерии познакомился и сблизился с «неистовым Виссарионом». «Белинский очень любил Николая Бакунина и относился к нему с нежностью старшего брата. Он читал с ним Пушкина, которым сам, как известно, в то время особенно увлекался, и другие литературные произведения, причем эти чтения приводили к глубоким и содержательным идейным беседам, которые возбудили и в Николае Александровиче глубокое дружеское чувство к Белинскому, сохранившееся в нем

навсегда» (А. А. Корнилов, Молодые годы Михаила Бакуннина, М. 1915, стр. 574—575).

В настоящем издании отрывок из письма Т. А. Бакуниной печатается по тексту: Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки, изд-во «Художественная литература», М. 1964, стр. 503—506. Рукопись письма хранится в ИРЛИ (ф. 16, оп. 4, ед. хр. 614, л. 28).

¹ Владимир Константинович Ржевский — чиновник особых поручений при графе С. Г. Строганове в Москве.

² «Московский вестник» в эти годы не выходил. Т. А. Бакунина явно имеет в виду журнал «Москвитянин». Это был печатный орган нарождавшегося славянофильского движения. У нас нет точных сведений о взаимоотношениях Лермонтова с этим кругом московской интеллигенции. Однако разноречивые суждения о Лермонтове среди сотрудников «Москвитянина», отголоски которых явно слышатся в письме Т. А. Бакуниной, дают основание полагать, что между Лермонтовым и представителями этого течения намечались идейные разногласия.

А. Я. Булгаков

ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 363)

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

(Стр. 365)

Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863) — московский почт-директор, сенатор, камергер, отец К. А. Булгакова, соученика Лермонтова по Московскому университетскому пансиону и юнкерской школе.

В настоящем издании мемуарные свидетельства А. Я. Булгакова печатаются по тексту: ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 709—712.

¹ В рассказе А. Я. Булгакова о дуэли несколько сгущены краски. Сведения о готовности Лермонтова просить прощения и о выстреле в упор не подтверждаются другими мемуаристами.

² Мартынов не пытался бежать от суда — он был арестован сразу же после дуэли.

³ В 1837 г. и 1840 г. Лермонтов был сослан на Кавказ по приказу Николая I.

⁴ Версия о том, что Т. Бахрахт была причиной дуэли между Лермонтовым и Барантом, видимо, не соответствует действительности. Но ее рассказ во дворце о поединке привел к аресту Лермонтова и расследованию дела о дуэли.

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

¹ Николай Васильевич *Путята* (1802—1877) — писатель, в 20-е годы участник литературного кружка Ранча, в 30-е и 40-е годы служил в Великом княжестве Финляндском.

² Владимир Сергеевич *Голицын* (1794—1861) — в 1841 г. командовал кавалерией на Кавказе.

³ У А. Я. Булгакова ошибочно: Мартыновича.

⁴ См. прим. 2 к дневнику Булгакова.

П. А. Вяземский

ИЗ ПИСЬМА К А. Я. БУЛГАКОВУ

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

(Стр. 366)

Поэт и литературный критик Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) был лично знаком с Лермонтовым, встречаясь с ним в литературных салонах Карамзиных, В. Ф. Одоевского и М. Ю. Виельгорского. Однако близких отношений между ними не возникло. В статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847) Вяземский писал: «Лермонтов имел великое дарование, но не успел, а может быть, и не умел вполне обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед» (П. А. Вяземский, Поли. собр. соч., т. 2, СПб. 1879, стр. 358—359). Нет смысла полемизировать с Вяземским и объяснять ошибочность его взгляда на поэзию Лермонтова.

Недооценка творчества Лермонтова не помешала Вяземскому правильно определить скрытые политические причины, вызвавшие гибель поэта. Его отзыв о смерти Лермонтова исключительно ценен, так как П. А. Вяземский отлично знал тайные пружины придворных интриг того времени. Он ставил в один ряд гибель Пушкина и Лермонтова — он понимал, что оба поэта пали жертвой николаевского самовластия.

В настоящем издании тексты Вяземского печатаются по следующим источникам: Из письма к А. Я. Булгакову — сборник

«М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», Соцэкгиз, М. 1939, стр. 67;
Из «Записной книжки» — П. А. Вяземский, Записные книжки
(1813—1848), изд. АН СССР, М. 1963, стр. 274.

¹ Вяземский имеет в виду неудачные покушения на жизнь французского короля Луи-Филиппа (царствовал в 1830—1848 гг.).

² Письмо А. Я. Булгакова к Вяземскому от 31 июля 1841 г. см. на стр. 365 наст. изд.

³ П. А. Вяземский рассказывал в письме к А. И. Тургеневу от 9 сентября 1841 г.: «Цесаревич говорил Мятлеву: «Берегись, поэтам худо, кавалергарды убивают их (Мартынов кавалергард, как и Дантес), смотри, чтоб и тебя не убили». — «Нет, — отвечал он, — еще не моя очередь» (ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 492).

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

¹ Вяземский противопоставляет гибель Лермонтова известию о женитьбе Жуковского, о которой он узнал из письма к нему А. И. Тургенева от 8 (20) июля 1841 г.

² Об этой дуэли, состоявшейся 11 ноября 1775 г., писал Пушкин в «Замечаниях о Пугачевском бунте»: «Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: «Как он хорош! настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла Потемкина...» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VIII, изд. АН СССР, М. 1958, стр. 361).

А. И. Васильчиков

ПИСЬМО К Ю. К. АРСЕНЬЕВУ

(Стр. 368)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
И О ДУЭЛИ ЕГО С Н. С. МАРТЫНОВЫМ

(Стр. 369)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ОПРАВДАНИЕ ЛЕРМОНТОВА
ОТ НАРЕКАНИЙ г. МАРКЕВИЧА

(Стр. 375)

Александр Илларионович Васильчиков (1818—1881) — секундант на последней дуэли Лермонтова. Он был сыном князя И. В. Васильчикова, председателя Государственного совета и председателя Комитета министров; с 1835 г. учился на юридическом

факультете Петербургского университета. По окончании университета, с 1840 г. он работал в комиссии барона Гана по введению новых административных порядков на Кавказе. Через год, когда эта работа была прекращена, Васильчиков вышел в отставку.

В статье «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым» Васильчиков заявляет, что печальный исход дуэли был обусловлен строптивым характером поэта. Но этот вывод противоречит другим утверждениям Васильчикова. Так, например, в письме к Ю. К. Арсеньеву, написанном по горячим следам событий (30 июля 1841 г.), он прямо пишет, что дуэль Лермонтова с Мартыновым всерьез им не рассматривалась, что он был твердо убежден, что дуэль будет пустой формальностью, так как пустяковая размолвка между приятелями не могла быть причиной для кровопролития и что, по его мнению, ничто не предвещало рокового исхода.

Что же тогда привело к гибели Лермонтова? Желая отвести обвинения от Мартынова и от себя, он объясняет гибель поэта его характером и его положением в аристократическом обществе. Из оценки Васильчикова вытекает, что стихотворение «Смерть Поэта» отделило Лермонтова от великосветского общества, что Лермонтова считали при дворе вредным и неблагонамеренным человеком. Таким образом, выясняется, что за спиной Мартынова стояло высшее общество во главе с Николаем I, а сам Мартынов чувствовал безнаказанность своего преступления.

В настоящем издании воспоминания А. И. Васильчикова печатаются по следующим источникам: Письмо к Ю. К. Арсеньеву — «Вестник знания», 1928, № 3, стр. 130—131 (Рукопись хранится в ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, ед. хр. 43); «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова» — «Русский архив», 1872, № 3, стлб. 205—213 (Рукопись хранится в Пятигорске, в Гос. музее «Домик Лермонтова»); Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича — газета «Голос», 1875, № 15 от 15 января.

¹ Юлий Константинович *Арсеньев* (ум. 1872 или 1873) — сын профессора истории и статистики К. И. Арсеньева, однофамилец родственников Лермонтова; в 1838 г. окончил Царскосельский лицей, с 23 марта 1840 г. состоял при канцелярии Комитета об устройстве Закавказского края; в том же году встречался с Лермонтовым и его друзьями на Кавказских минеральных водах.

² О Н. А. Жерве, члене «кружка шестнадцати», см. прим. 1 на стр. 507 наст. изд.

³ *Эмилия, Наденька, Груша* — дочери М. И. Верзилиной,

⁴ Вероятно, речь идет об Александре Николаевиче Долгоруком, участнике «кружка шестнадцати». А. Н. Долгорукий был однополчанином Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
И О ДУЭЛИ ЕГО С Н. С. МАРТЫНОВЫМ
(Стр. 369)

¹ Речь идет о статье П. К. Мартынова «Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников», напечатанной в журнале «Всемирный труд», 1870, № 10, стр. 581—604. Мартынов, в свою очередь, обвинял князя Васильчикова в стремлении «ослабить до известной степени нравственную его ответственность за убийство Лермонтова» (П. К. Мартынов, Дела и люди века, т. II, СПб. 1893, стр. 29).

² Неточно: заявление Мартынова было напечатано издателем «Русской старины» М. И. Семевским в приложениях к отдельному изданию «Записок» Е. А. Хвостовой, как об этом выше писал сам Васильчиков.

³ А. А. Столыпин-Монго был не двоюродный брат, а двоюродный дядя Лермонтова.

⁴ Михаил Павлович Глебов (1818—1847) — в 1838 г. окончил юнкерскую школу вместе с Д. А. Столыпиным, который, видимо, и познакомил его с Лермонтовым. Глебов участвовал вместе с Лермонтовым в сражении при Валерике 11 июля 1840 г., где был тяжело ранен. В апреле 1841 г. Лермонтов заезжал к Глебову в его имение Мишково, Мценского уезда, Орловской губернии, по пути в Ставрополь. Об этом посещении см.: Д. Смысловский, Воспоминания о пребывании М. Ю. Лермонтова в Орловской губернии, Орел, 1909. Глебов был секундантом во время дуэли Лермонтова с Мартыновым.

⁵ Васильчиков ошибся: сражения при Валерике были 11 июля и 30 октября 1840 г. Затем Лермонтов ездил в отпуск в Петербург, а 13 мая 1841 г. приехал вместе с А. А. Столыпиным-Монго прямо в Пятигорск, так и не явившись в Тенгинский пехотный полк.

⁶ А. Н. Долгорукий был убит на дуэли в 1842 г. своим однополчанином по л.-гв. Гусарскому полку, князем Яшвилем.

⁷ А. И. Васильчиков односторонне характеризует жизнь русского общества в 30-е годы. Герцен в своем труде «О развитии революционных идей в России» писал: «Внутри государства совершалась великая работа, работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство. <...> Влияние

литературы заметно усиливается и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и сохраняет либеральный и просветительский характер, насколько это удастся ей при цензуре. <...> Молодежь, лишенная участия в какой бы то ни было деятельности, находившаяся под вечной угрозой тайной полиции, с тем большей горячностью увлекалась чтением. Сумма идей, бывших в обращении, все возрастала» (А. И. Герцен, т. VII, стр. 211—214). В пробуждении общественного сознания того времени заметная роль принадлежала творчеству Лермонтова; сам поэт, пытаясь покинуть военную службу и выйти в отставку, стремился примкнуть к той прослойке независимых людей, о которой писал Герцен.

⁸ Далее в рукописи зачеркнуты следующие строки: «...в Кавалергардском полку, офицеры коего сочли своим долгом (*par esprit de corps*) при дуэли Пушкина с Дантесом <взять> сторону иноземного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина...»

⁹ Речь идет о Николае I. См. прим. 3 на стр. 493 наст. изд.

¹⁰ Имеется в виду колония Шотландка (другое название Каррас).

¹¹ По воспоминаниям Э. А. Шан-Гирей (см. стр. 347 наст. изд.), у тела убитого Лермонтова оставался Глебов. Есть основания больше доверять Васильчикову, как непосредственному участнику событий.

¹² В рукописи: «...ливснь прекратился».

¹³ Здесь в рукописи следовало: «Дело другое, я об этом не смею судить, нужно ли было непременно убить человека за такую пустую ссору и метить в его сердце для отомщения обиды непредумышленной. Это, повторяю, дело другое, о котором я, как свидетель дуэли...» и далее как в печатном тексте.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ОПРАВДАНИЕ ЛЕРМОНТОВА
ОТ НАРЕКАНИЙ Г. МАРКЕВИЧА
(Стр. 375)

¹ Повесть Маркевича «Две маски» была напечатана в журнале «Русский вестник», 1874, № 12 (декабрь), стр. 480—559.

² См. предыдущую статью Васильчикова (стр. 369 наст. изд.).

³ Речь идет о поэте-декабристе Александре Ивановиче Одоевском (1802—1839), с которым Лермонтов подружился на Кавказе и которому он посвятил стихотворение «Памяти А. И. Одоевского».

⁴ Ответ М. А. Назимова на эти строки Васильчикова см. на стр. 378 наст. изд.

⁵ Творчество Лермонтова опровергает это утверждение Васильчикова.

М. А. Назимов

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС»
(Стр. 378)

Декабрист Михаил Александрович Назимов (1801—1888) из Сибири был переведен рядовым на Кавказ в 1837 г., где тогда же и познакомился с Лермонтовым в доме доктора Н. В. Майера. Встречи Лермонтова с Назимовым возобновились в 1840 г. на квартире капитана генерального штаба И. А. Вревского в Ставрополе, куда Назимов наезжал из крепости Прочный Окоп, где стоял его полк. Последние встречи Назимова с поэтом имели место, по-видимому, летом 1841 г. в Пятигорске, так как Назимов в то время был там на водах.

Подробнее об отношениях Лермонтова и Назимова см.: Л. А. Иванова, Лермонтов и декабрист М. А. Назимов. — ЛН, т. 58, М. 1952, стр. 431—440; Д. А. Гиреев и С. И. Недумов, К истории знакомства Лермонтова с декабристами. — ЛН, т. 60, кн. I, М. 1956, стр. 507—514.

В настоящем издании письмо М. А. Назимова печатается по тексту газеты «Голос», 1875, № 56 от 25 февраля.

¹ Эту статью А. И. Васильчикова см. на стр. 375 наст. изд. В пересказе П. А. Висковатова сохранился рассказ А. И. Васильчикова о спорах Лермонтова с Назимовым: «Князь А. И. Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин», он напускал на себя *la fanfaronade du vice* (бахвальство порока — *франц.*) и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокаивать расхорившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник. Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение» (Висковатов, стр. 304).

² О повести Б. Маркевича «Две маски» см. прим. 1 на стр. 524 наст. изд.

³ М. А. Назимов, как и некоторые другие декабристы, не разделял иронического отношения Лермонтова к правительственным мероприятиям этой поры по подготовке крестьянской реформы. П. А. Висковатов писал: «Декабрист Назимов, которого в 1879 или 80 году посетил я в Пскове, именно с целью узнать о Лермонтове, с коим он встречался в Пятигорске, говорил: «Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через сорок лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и живо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделялся шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась серьезная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да впрочем, и молод же он был еще!» (В и с к о в а т о в, стр. 303—304). Как известно, проекты постепенной ликвидации крепостных отношений не были осуществлены правительством Николая I. Таким образом, скептическое отношение Лермонтова к иллюзиям М. А. Назимова оказалось совершенно правильным.

А. В. Дружинин

ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА»
(Стр. 380)

Александр Васильевич Дружинин (1824—1864) — писатель и критик.

Начав свою деятельность как литератор, близкий к «натуральной школе», Дружинин с 50-х годов эволюционировал вправо; он стал одним из идеологов теории «искусства для искусства» и выступал против революционно-демократического направления в русской критике. Особняком стоит его мемуарно-биографическая статья о Лермонтове. Написанная в форме развернутой рецензии на дудышкинское издание собрания сочинений поэта, она не ставит

своей задачей разрешение каких-либо теоретических вопросов. Основанная на записях его бесед с друзьями и знакомыми поэта, относящихся в основном к 1852 году, она обнаруживает глубокое понимание общественного характера событий, приведших к убийству Лермонтова, содержит презрительные строки об «орудиях» гибели Лермонтова. Цель Дружинина заключалась не только в том, чтобы предать гласности известные ему ценные воспоминания о поэте, но и оспорить ошибочное суждение Дудышкина о раздражительном характере поэзии Лермонтова. Говоря во второй части своей статьи (опущенной нами) о передовой общественной позиции Байрона и проводя в этом отношении параллель между английским поэтом и Лермонтовым, Дружинин подчеркивал превосходство личности Лермонтова. Подробный разбор статьи А. В. Дружинина см.: Э. Герштейн, Новый источник для биографии Лермонтова. — ЛН, т. 67, М. 1959, стр. 615—629. По этому изданию печатается и текст статьи (стр. 630—638).

¹ Речь идет об издании: «Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным», т. I—II, СПб. 1860.

² Хотя анализ творческой эволюции Лермонтова, сделанный критиком на основании многих неверных датировок издания С. С. Дудышкина, грешит неточностями, однако общее заключение А. В. Дружинина о быстром созревании таланта Лермонтова в последние годы жизни остается бесспорным.

В настоящее время стихотворения «Вид гор из степей Козлова» и «Кинжал» датируются 1838 г.

³ Речь идет о Руфине Ивановиче Дорохове (1806—1852), участнике кавказских войн, который был несколько раз разжалован в рядовые за неоднократные дуэли и буйное поведение. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин упоминает о своем знакомстве с Р. И. Дороховым. В лермонтовской литературе факт знакомства поэта с Р. И. Дороховым был давно известен, но только публикация статьи А. В. Дружинина открыла дружеский характер их отношений. А. В. Дружинин писал в 1852 г.: «Во время моей последней поездки я познакомился с одним человеком, который коротко знал и любил покойного Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое, нежное воспоминание. Характер знаменитого поэта хорошо известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов, при всей своей раздражительности и резкости, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встре-

тите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежащие, более чем драгоценность. С одним из таких людей меня свела судьба на короткое время, и я провел много приятных часов, слушая подробности о жизни, делах и понятиях человека, о котором я имел во многих отношениях самое превратное понятие. Наши разговоры происходили в виду скал и утесов, в виду тех самых снеговых гор, которые так любил великий поэт, угасший безвременно. <...> Приятель мой долго жил на Кавказе и понимал произведения Лермонтова так, как немногие их понимают: он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, событие, подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор «Пророка» брался за перо. Нечего и говорить, что он знал наизусть каждую строчку своего бывшего друга и сожителя» («Библиотека для чтения», 1852, № 1, отд. VII, стр. 119—120).

⁴ Эти альбомы, по всей вероятности, исчезли во время гибели Р. И. Дорохова в Гойтинском ущелье, где он вместе с отрядом казаков генерал-майора Ф. А. Крутовского попал в засаду.

⁵ Как отметила Э. Г. Герштейн, эти сведения подтверждают принадлежность Лермонтову дошедшего до нас в копии письма, в котором идет речь о предполагавшейся дуэли между поэтом и человеком, прославившимся «двадцатью поединками» (ЛН, т. 67, 1959, стр. 643; ср. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 51—52).

⁶ Недооценка А. В. Дружининым юношеских стихотворений Лермонтова вызвана тем, что к 1860 г. большая их часть еще не была опубликована.

⁷ Цитата из юнкерской поэмы Лермонтова «Уланша»: «Идег наш пестрый эскадрон...».

⁸ Сам Лермонтов писал об этих годах, как об исключительно тяжелых в своей жизни.

⁹ Об увлечении Лермонтова поэзией Байрона см.: М. Нольман, Лермонтов и Байрон, — Сборник ИМЛИ, стр. 466—515.

ПРИЛОЖЕНИЯ

С. А. Раевский

ОБЪЯСНЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ РАЕВСКОГО
О СВЯЗИ ЕГО С ЛЕРМОНТОВЫМ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ
СТИХОВ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА
(Стр. 395)

Святослав Афанасьевич Раевский (1808—1876) — старший товарищ Лермонтова — знал поэта с детства. В 1827 г. Раевский окончил нравственно-политическое отделение Московского университета, но проучился в университете еще год, слушая лекции по латинской, российской, французской словесности, российскому красноречию и поэзии и некоторые другие курсы по словесному отделению. Интерес Раевского к этим дисциплинам указывает на разнообразие его интересов, на его влечение к литературе, что в известной степени и определило возникновение прочной дружбы между ним и Лермонтовым. По сообщению П. А. Висковатова, Лермонтов и до переезда в Петербург встречался с Раевским в Москве в 1827—1831 гг. Близкое общение с Раевским — человеком независимого образа мыслей — помогало юноше Лермонтову осмысливать исторические события недавнего прошлого (восстание декабристов) и стать человеком передового мировоззрения.

В 1831 г. Раевский переезжает в Петербург и поступает на службу в министерство финансов — в департамент государственных имуществ. С 1832 г. он вновь начинает встречаться с Лермонтовым, причем в дальнейшем даже поселяется в квартире Е. А. Арсенье-

вой. Раевский познакомил Лермонтова со своим университетским товарищем А. А. Краевским, будущим издателем «Отечественных записок», где потом главным образом и печатались произведения Лермонтова. Раевский был в курсе творческих замыслов Лермонтова. Незавершенный роман «Княгиня Лиговская», по признанию самого Лермонтова, был начат им вместе с Раевским. Как справедливо полагают исследователи, страницы этого романа, где повествуется о чиновнике Красинском, писались с участием Раевского, который хорошо знал чиновничий быт. Когда Лермонтов решил отдать «Маскарад» в театральную цензуру, то Раевский помогал ему в этих хлопотах.

Духовная близость Раевского и Лермонтова особенно наглядно проявилась в 1837 г., когда Раевский принял самое деятельное участие в распространении стихотворения «Смерть Поэта», за что, по повелению Николая I, был выслан в Олонецкую губернию.

Живя в Петрозаводске, Раевский участвовал в организации «Олонецких губернских ведомостей», а также был инициатором и участником «Прибавления к Ведомостям», где печатались краеведческие материалы историко-этнографического характера. Сохранилось несколько писем Лермонтова к Раевскому от 1837—1838 гг. В одном из них Лермонтов называет друга «экономо-политическим мечтателем», что лишний раз подтверждает живой интерес Раевского к общественным вопросам.

Освобожденный в конце 1838 г. из ссылки, Раевский возвращается в Петербург и здесь вновь встречается с Лермонтовым. В 1839 г. Раевский с помощью Лермонтова и Е. А. Арсеньевой поступает на службу при ставропольском губернаторе; однако уже в сентябре 1840 г. он выходит в отставку и поселяется в своем имении в селе Раевке.

Более подробные сведения о Раевском см.: С. И. Недумов, О Святославе Афанасьевиче Раевском. — М. Ю. Лермонтов, Временник Гос. музея «Домик Лермонтова», I. Пятигорск, 1947, стр. 24—55; Н. Бродский, Святослав Раевский, друг Лермонтова. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 301—322.

В настоящем издании объяснение Раевского печатается по тексту «Дела о неправомерных стихах...», хранящегося в ИРЛИ (ф. 524, оп. 3, ед. хр. 9).

¹ Видимо, были списки «Смерти Поэта» без последних четырех строк — это дало возможность С. А. Раевскому в своем «Объяснении...» утверждать, что «добавочных стихов было не шестнадцать, а двенадцать».

² Имеется в виду Николай Аркадьевич Столыпин. О его разговоре с Лермонтовым см. также воспоминания В. П. Бурнашева на стр. 190—191 наст. изд.

³ Из стихотворения Лермонтова «Опять народные витии...».

А. Х. Бенкендорф

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕРМОНТОВА «СМЕРТЬ ПОЭТА»

(Стр. 399)

Генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844) — шеф корпуса жандармов; деятельно помогал Николаю I в подавлении передового общественного мнения, в гонениях прогрессивных писателей того времени. Бенкендорф был раздражен появлением стихотворения Лермонтова «Смерть Поэта», что явно чувствуется в его докладной записке царю. В руках Бенкендорфа был список «Смерти Поэта» с эпиграфом из трагедии Ротру, который начинается словами: «Отмщенья, государь, отмщенья!». Бенкендорф счел дерзким этот эпиграф. Еще большее возмущение шефа жандармов вызвали заключительные шестнадцать строк «Смерти Поэта», в которых Лермонтов гневно заклеил сподвижников Николая I. Однако, благодаря хлопотам Е. А. Арсеньевой, Бенкендорф нашел возможным содействовать возвращению Лермонтова в 1838 г. в л.-гв. Гусарский полк. В 1840 г. Бенкендорф снова преследует поэта: он требует, чтобы Лермонтов, находящийся под арестом за дуэль с Барантом, написал унижительное для себя письмо к Баранту с признанием ложности своих показаний, данных на суде. Как известно, Лермонтов отказался выполнить это требование. В 1841 г. Бенкендорф послал на Кавказ, куда вторично был сослан поэт, жандармского подполковника Кушинникова с предписанием докладывать в Петербург о поведении Лермонтова. Уже первый биограф Лермонтова П. А. Висковатов нашел «много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова», считая, что «их главная пружина кроется в условиях жизни и деятелях характера графа Бенкендорфа» (Висковатов, стр. 418—419).

В настоящем издании текст докладной записки Бенкендорфа и резолюция Николая I печатаются по публикации С. Шостаковича «Лермонтов и Николай I» — «Литературная газета», 1959, № 126 от 13 октября. Рукопись хранится в ЦГАОР, ф. 728, 1837 г., д. № 1467 (5), л. 32—33 (подлинник на французском яз.).

Николай I

ИЗ ПИСЬМА К ИМПЕРАТРИЦЕ ОТ 12/24 ИЮНЯ 1810 г.

(Стр. 400)

Впервые Лермонтов видел Николая I 11 марта 1830 г., во время посещения царем Московского университетского благородного пансиона. Недовольный «духом» пансиона, Николай I низвел его на уровень казенной гимназии, в пансионе были введены розги. Лермонтов и несколько других воспитанников вскоре покинули пансион, не окончив курса. В феврале 1837 г. Николай I, получив докладную записку Бенкендорфа о стихотворении «Смерть Поэта», приказал старшему медику гвардейского корпуса посетить арестованного Лермонтова и удостовериться, не помешан ли он. 11 октября 1837 г. по просьбе Бенкендорфа Николай I перевел Лермонтова в л.-гв. Гродненский гусарский полк, а затем, 9 апреля 1838 г., подписал приказ о возвращении поэта в л.-гв. Гусарский полк. После дуэли Лермонтова с Барантом Николай I вторично сослал его на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк, который вел в то время кровопролитные бои на Черноморских береговых укреплениях.

Николай I с нескрываемым раздражением прочитал «Героя нашего времени». Образ Печорина вызвал резкое осуждение Николая I.

Вскоре после этого письма Лермонтов за участие в боевых действиях представлялся начальством к награде, однако Николай I вычеркивал его из наградных списков. Узнав о гибели Лермонтова, Николай I сказал с нескрываемой радостью в кругу своей семьи: «Собаке — собачья смерть». Тот факт, что царь был удовлетворен исходом дуэли, подтверждается и исключительно легким приговором убийце поэта. Строгий противник дуэли, Николай I в данном случае открыто решил обойти статью «Уложения о наказаниях», по которой за вызов на дуэль, окончившуюся смертельным исходом, Мартынов должен был быть осужден к заключению в крепость на срок от четырех лет до шести лет восьми месяцев. Николай I, подтверждая приговор военного суда, ограничил наказание тремя месяцами гауптвахты и церковным покаянием. А. И. Дельвиг писал в своих воспоминаниях: «В бытность мою в Киеве, у генерал-губернатора Юго-Западного края <генерал-адъютанта Д. Г.> Бибикова было несколько балов, на которых танцевал, между прочим, Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова и посланный в Киев на церковное покаяние, которое, как видно, не было строго, потому что Мартынов участвовал на всех балах и вечерах и даже через эту

несчастную дуэль сделался знаменитостью» (А. И. Дельвиг, Полвека русской жизни, т. I, изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 405).

Письмо Николая I к императрице было написано по-французски; впервые публиковавший его немецкий ученый Т. Шиман дал немецкий перевод этого письма, с которого Е. В. Тарле сделал русский перевод.

В настоящем издании письмо Николая I к императрице печатается по тексту перевода Е. В. Тарле: «Дела и дни», 1921, кн. II, стр. 189. Отзывы Николая I о «Герое нашего времени» см. также в статье Э. Герштейн «Подмененные пистолёты» («Огонек», 1960, № 31, стр. 30—31).

Н. С. Мартынов

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

(Стр. 402)

МОЯ ИСПОВЕДЬ

(Стр. 404)

Николай Соломонович Мартынов (1815—1875) — убийца Лермонтова — познакомился с поэтом в юнкерской школе, где учился с октября 1832 г. Окончив школу на год позже Лермонтова, Мартынов был выпущен в конце 1835 г. корнетом в л.-гв. Кавалергардский полк. Как установлено М. И. Яшиным, здесь он близко сошелся с Ж. Дантесом-Геккереном. В марте 1837 г., будучи командирован на Кавказ, он остановился в Москве. «В эту самую эпоху, — писал Мартынов, — проезжал чрез Москву Лермонтов. Он был переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался» (Н. С. Мартынов, Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 году... — «Русский архив», 1893, кн. 8, стр. 593).

В апреле 1838 г. Мартынов вернулся в Петербург в Кавалергардский полк и находился в столице до октября 1839 г. Лермонтов находился в это время тоже в Петербурге и, по-видимому, встречался с Мартыновым.

В конце 1839 г. Мартынов был зачислен по кавалерии ротмистром с прикомандированием к Гребенскому казачьему полку. Осенью 1840 г. он участвовал в экспедиции в Большую Чечню, где вновь виделся с Лермонтовым. В феврале 1841 г. Мартынов был уволен в отставку в чине майора.

Во время своих посещений Москвы Лермонтов бывал в доме

Мартыновых. Среди современников даже ходили слухи о том, что прототипом княжны Мери была Наталья Соломоновна, сестра Мартынова (что не соответствовало действительности). Каковы бы ни были поводы, побудившие Мартынова вызвать Лермонтова на дуэль, можно с уверенностью утверждать: будущий убийца ясно понимал, что гибель поэта будет с удовлетворением воспринята Николаем I и что ему обеспечена почти полная безнаказанность. По единодушному мнению современников, Мартынов совершил подлое убийство: несмотря на то что Лермонтов наотрез отказался стрелять, Мартынов выстрелом в упор убил поэта.

Воспоминания Мартынова — тягчайшая улика против него. Он дважды принимался их писать и каждый раз останавливался на первых годах своего знакомства с Лермонтовым. Хотя именно от убийцы поэта и близких ему людей исходило клеветническое утверждение о якобы самовольно распечатанном Лермонтовым письме, Мартынов не посмел написать ни единого слова по этому поводу. Не хватило у него духа поддержать и беспочвенную версию о том, что, вызывая Лермонтова на дуэль, он вступился за честь сестры. Наконец, — и это самое существенное, — он не рискнул ничего написать о самой дуэли и ее действительных причинах. Отсутствие в воспоминаниях Мартынова каких-либо разъяснений по всем этим вопросам окончательно изобличает лживость распространявшихся им слухов, неопровержимо доказывая в то же время его виновность. Вынужденный под давлением многочисленных требований начать писать свои воспоминания, Мартынов побоялся запутаться в своих измышлениях, предпочел отмолчаться и выступил в печати с советом получить разъяснение о ходе дуэли от секунданта Васильчикова (который мог не вдаваться в подробности, касающиеся предыстории поединка). Ограничившись описанием школьных лет, Мартынов старался рассказать о поэте спокойно и даже бесстрастно, понимая, что если он допустит в своих воспоминаниях нападки на Лермонтова, то вызовет бурю негодования. И тем не менее недоброжелательность по отношению к убитому им поэту очевидна. Подробнее об отношениях Лермонтова с Мартыновым и его семейством см.: С. Панчулдзев, Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908, СПб. 1908, стр. 98—106; А. Н. Нарцов, Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства, Тамбов, 1904, т. I, стр. 73—75; Прилож., стр. 111—187; Э. Герштейн, Лермонтов и семейство Мартыновых. — ЛН, т. 45—46, М. 1948, стр. 691—706.

В настоящем издании воспоминания Н. С. Мартынова печатаются по рукописи ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, ед. хр. 51, л. 2—5 (первая публикация в «Русском архиве», 1893, кн. 8, стр. 586—591).

¹ Ю. Л. Елец со слов М. И. Цейдлера писал: «В служебном отношении поэт был всегда исправен, а ездил настолько хорошо, что еще в школе назначался на ординарцы. Недостатки его фигуры совсем исчезали на коне» (Ю. Елец, История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. I, СПб. 1890, стр. 207). А. Ф. Тиран также свидетельствует, что его вместе с Лермонтовым посылали на ординарцы к вел. кн. Михаилу Павловичу («Звезда», 1936, № 5, стр. 185). Ординарец — офицер или унтер-офицер, назначаемый к начальствующим лицам, преимущественно для выполнения поручений.

МОЯ ИСПОВЕДЬ
(Стр. 404)

¹ О «Нумидийском эскадроне» рассказывает также В. В. Бобыркин — см. его воспоминания на стр. 144 наст. изд.

² На этих словах рукопись обрывается.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Ссылки на текст воспоминаний даются прямым шрифтом, ссылки на вступительную статью и примечания набраны курсивом; жирным шрифтом отмечены страницы, содержащие сведения о данном лице.

Абрамович Геркулан Помпеевич, офицер Гродненского л.-гв. гусарского полка — 222.

Абрамович Дмитрий Иванович (1873—1955), историк русской литературы, редактор дореволюционного академического издания сочинений Лермонтова — 412, 461.

Агин Александр Алексеевич (1817—1875), художник — 495.

Адеркас, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 221.

Адеркас, урожд. Берте, жена полковника Адеркаса — 221, 222.

Адлерберг Александр Владимирович (1818—1888), граф, офицер — 229.

Азадовский Марк Константинович (1888—1954), историк русской литературы, фольклорист — 469.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), поэт, критик — 26, 256, 257, 483.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 26, 256, 257, 487—488, 506.

Александр I (1777—1825) — 28, 139, 251.

Александр Кононович — 356.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — 419, 496.

Александр Николаевич (1818—1881), сын Николая I, с 1855 г. русский царь — 396, 521.

Александра Федоровна (1798—1860), императрица, супруга Николая I — 400, 532, 533.

- Алексеев* Александр Ильич (1800—1833) — 86, 98, 440.
Алексеев Николай Ильич — 86, 440.
Алексеев Петр, повар Лермонтова — 325.
Алопеус Федор Давыдович, граф, офицер л.-гв. Гусарского полка — 47.
Альбединский Петр Павлович (1826—1883), генерал-губернатор и командующий войсками в западных губерниях — 224.
Андреев-Кривич Сергей Алексеевич, литературовед — 427.
Андреевский Эраст Степанович (1809—1872), доктор медицины, гражданский генерал-штаб-доктор кавказского наместничества — 6, 251, 361.
Андроников Ираклий Луарсабович, литературовед — 12, 17, 22, 23, 412, 413, 414, 420, 421, 427, 438, 440, 448, 456, 461, 462, 491, 519.
Анненков Иван Васильевич (1814—1887) — 19, 119 — 126, 447.
Анненков Николай Николаевич (1799—1865), адъютант вел. кн. Михаила Павловича — 127, 128, 447.
Анненков Павел Васильевич (1812—1887), публицист, литературный критик — 12, 447, 482.
Анненков, родственник Е. А. Арсеньевой — 77.
Анненкова Вера Ивановна, урожд. Бухарина (1813—1902) — 127—129, 413, 414, 447—448.
Антонов, солдат — 334.
Апухтин Алексей Николаевич (1841—1893) — 438—439.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — 218.
Арапетов Иван Павлович (1811—1887), студент Московского университета — 106.
Арапова Александра Петровна, урожд. Ланская (1845—1919) — 271—273, 413, 494.
Арендт Николай Федорович (1785—1859), лейб-медик — 158, 190.
Армфельд Александр Осипович (1806—1868), профессор Московского университета — 256.
Арнольд Юрий Карлович (1811—1898), композитор, музыковед, мемуарист — 25.
Арнольди Александр Иванович (1817—1898) — 23, 29, 217—235, 339, 412, 414, 470, 471, 472—476, 511, 515.
Арнольди Иван Карлович (1780—1860), генерал от артиллерии — 54.
Арнольди Лев Иванович — 54.
Арнольди Софья Карловна — 227, 231, 233, 476.
Арнольди, мачеха А. И. Арнольди — 227, 231.
Арнольди, семейство — 337, 339.
Аронсон Марк Исидорович, литературовед — 460.

Арсеньев К. И. — 522.

Арсеньев Михаил Васильевич (1768—1810), дед Лермонтова — 16, 58, 59, 62, 64, 65, 76, 425.

Арсеньев Никита Васильевич (1775—1847), брат деда Лермонтова — 157.

Арсеньев Юлий Константинович (1818—1872 или 1873) — 368, 369, 513, 521, 522, 524.

Арсеньев, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Арсеньева Елизавета Алексеевна (1773—1845), бабушка Лермонтова — 7, 15, 16, 34—35, 37, 40, 41, 43—45, 50, 52, 56, 58—66, 69—73, 76—78, 88—89, 91, 94, 95, 101, 114, 115, 127, 128, 133—136, 156, 158, 159, 162, 171, 185, 187—190, 192, 194, 196, 197—199, 201, 227, 245, 268, 278—280, 282—284, 286, 290, 291, 339, 346, 364, 395, 397, 407, 416, 417, 419, 420, 425, 426, 428, 429, 435, 440, 448, 451, 467, 497, 498, 501, 529—531.

Арсеньевы, родственники Лермонтова по материнской линии — 57, 65.

Асмус Валентин Фердинандович, историк философии — 512.

Афанасьев, литавщик Конной гвардии — 125.

Ашукина-Зенгер Мария Григорьевна, литературовед — 453, 457, 506.

Бабина Мария Алексеевна (род. 1807) — 508.

Баговут Мария Сергеевна, урожд. кн. Хованская — 439.

Багдадовы, московские знакомые Е. А. Арсеньевой — 72.

Багратион-Имеретинский Дмитрий Георгиевич (1800—1845) — 223, 224, 472.

Байков, парикмахер в юнкерской школе — 125.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 37, 88, 139, 146, 147, 248, 287, 381, 382, 384, 391, 420, 465, 501, 512, 515, 527, 528.

Бакаев Владимир Дмитриевич (ум. 1871), офицер л.-гв. Гусарского полка — 162, 168.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), революционер, анархист — 484, 518, 519.

Бакунин Николай Александрович (1818—1900) — 362, 518.

Бакунин, адъютант вел. кн. Михаила Павловича — 127.

Бакунина Татьяна Александровна (1815—1871) — 362, 413, 414, 518, 519.

Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910) — 509.

Бальтус, преподаватель Московского университетского пансиона — 115.

Баранов Владимир Васильевич, литературовед — 464, 515.

Барант Эрнест, сын французского посла в Петербурге —

25, 49—52, 132, 141, 158—160, 170, 205, 241, 242, 248, 279, 290, 304, 331, 364, 424, 457, 458, 464, 479, 488, 503, 511, 520, 531, 532.

Барант Цезарина, урожд. гр. Гудето, жена французского посла в Петербурге — 52.

Баранты — 25, 488.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — 26, 250, 463, 488.

Барбье Огюст (1805—1882), французский поэт — 50.

Барклай-де-Толли Иван Егорович (1811—1879), ординатор Пятигорского военного госпиталя — 320, 327, 331, 511.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), библиограф, редактор журнала «Русский архив» — 493.

Барятинский Александр Иванович (1814—1879), князь, генерал-фельдмаршал — 147, 453.

Барятинский Владимир Иванович (1817—1875) — 118, 473.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — 36.

Бахерахт Роман Иванович, дипломат — 364, 424.

Бахерахт Тереза (1804—1852) — 50, 364, 423, 488, 520.

Бахметева (Бахметьева) В. А. — см. Лопухина В. А.

Бахметев Николай Федорович (1798—1884), помещик, муж В. А. Лопухиной — 18, 47, 516.

Бедряга, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Безобразов Александр, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223—226.

Безобразов Владимир, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223—226.

Безобразов Сергей Дмитриевич (1801—1879), командир Нижегородского драгунского полка — 230, 234, 327, 335, 339.

Бек Мария Аркадьевна (1819—1889) — 492.

Беклемишев Николай Петрович, офицер — 184, 185.

Беклемишев Петр Никифорович (1770—1852), тайный советник, шталмейстер двора — 183, 184, 186.

Беклешова Мария Васильевна, урожд. Сушкова (1792—1853) — 101, 433, 435, 443.

Бекон (Бэкон) Фрэнсис (1561—1626), английский философ-материалист — 512.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 6, 10—12, 27, 28, 66, 107, 139, 141, 171, 207—211, 241—243, 247—251, 415, 426, 432, 443, 450, 465—468, 478—485, 490, 494, 518.

Беляев Александр Петрович (1803—1885), декабрист — 230, 491.

Беляев Петр Петрович (ок. 1804—1864), декабрист — 230, 491.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — 7, 8,

25, 29, 103, 159, 192, 193, 204, 246, 399, 413, 457, 461—463, 513, 531, 532.

Бенкендорф, юнкер — 342, 354.

Бер Генрих, барон, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Беранже Пьер-Жан (1780—1857), французский поэт — 117.

Берг Роман Борисович, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Бернарден де Сен-Пьер Жан Анри (1737—1814), французский писатель и естествоиспытатель — 146, 147, 453.

Бестужев-Марлинский Александр Александрович (1797—1837), писатель-декабрист — 151, 205, 206, 303, 332, 339, 358, 363, 454, 457, 467, 490, 512.

Бестужев Михаил Александрович (1800—1871), декабрист — 469.

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — 532.

Бибиков Дмитрий Сергеевич (ум. 1861) — 121, 261, 490, 495.

Бильдерлинг Александр Александрович (1846—1912) — 234, 454, 455.

Блаватская Елена Петровна, урожд. Ган (1831—1891) — 433.

Боборыкин Василий Васильевич (1817—1885) — 18, 22, 144—147, 453, 457, 506, 535.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 453.

Боденштедт Фридрих (1819—1892) — 8, 26, 293—301, 411, 502—504.

Боричевский Иван Адамович (1892—1942), историк философии — 423.

Борх Александр Михайлович (1804—1867), граф — 225.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — 10, 248—250, 478, 479, 483, 484, 494.

Браницкий (Корчак-Браницкий) Ксаверий Владиславович (1814—1879) — 6, 24, 254, 255, 413, 486, 487, 507.

Бродский Николай Леонтьевич (1881—1951), литературовед — 16, 412, 415, 429—431, 445, 467, 468, 476, 505, 530.

Бронштейн Нина Иосифовна, литературовед — 467.

Брюллов (Брюлов) Карл Павлович (1799—1852), художник — 13, 74, 275, 276, 511.

Будкин Филипп Осипович (1806—1850), художник — 458.

Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863) — 117, 363—366, 413, 519, 520.

Булгаков Константин Александрович (1812—1862) — 82, 117, 180, 194—201, 446, 519.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), реакционный писатель и журналист, агент III Отделения — 198, 432.

Бурнашев Владимир Петрович (1809—1888) — 19, 175—201, 461—462, 531.

Бурцев Алексей Петрович (ум. 1813), офицер — 389, 390.

Бурцев Василий Львович (1862—1942), журналист — 487.

Буров, купец — 155.

Бухаров Николай Иванович (1799—1862), полковник л.-гв. Гусарского полка — 166, 459.

Бухштаб Борис Яковлевич, литературовед — 505.

Быховец Григорий Андреевич — 515.

Быховец Екатерина Григорьевна, в замуж. Ивановская (ум. 1880) — 18, 29, 319, 345, 353—355, 513, 514, 515, 516.

Быховец Мавра Егоровна — 515.

Быховец Наталья Федоровна — 515.

Вадковские, родственники Е. А. Арсеньевой — 77.

Валуев Петр Александрович (1814—1890), член «кружка шестнадцати» — 24, 255, 487.

Варапаев — 490.

Василевская, урожд. Грейссер — 128.

Василевский Дмитрий Ефимович (1781 — после 1855), профессор Московского университета — 113.

Василий, садовник в Тарханах — 35.

Васильев Алексей Владимирович (1809—1895) — 165—174, 458—460.

Васильчиков Александр Илларионович (1818—1887) — 20, 29, 228, 232—235, 294, 295, 321, 324, 333, 338—340, 344—346, 351, 355, 357, 359, 364, 365, 368—378, 411, 412, 457, 476, 503, 513, 517, 521—525.

Васильчиков Илларион Васильевич (1776—1847), председатель Государственного совета и Комитета министров (1838—1847) — 359, 521.

Вацуро Вадим Эразмович, литературовед — 415, 432.

Вегелин (Вигелин) Александр Иванович (ум. 1860), декабрист — 229, 338.

Веймарн Петр Федорович (1795—1846), генерал-лейтенант — 193, 204, 399, 462.

Вейс Александр Юльевич, искусствовед — 419, 425.

Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838), генерал-лейтенант — 285, 330, 467.

Веневитинова Аполлинария Михайловна, урожд. Впельгорская (1818—1884), жена А. В. Веневитинова — 412, 496.

Веревкин Николай Николаевич (1813—1838) — 358, 517.

Верещагина Александра Михайловна, в замужестве Гюгель

(Хюгель) (1810—1873) — 37, 39, 40, 86—90, 92, 94, 98—102, 418, 421, 433, 436, **440**, 441, 442, 501.

Верещагина Елизавета Аркадьевна, урожд. Анненкова (ум. 1876) — 447.

Верзилин Петр Семенович (1791—1849), генерал-майор, атаман Кавказского линейного войска — 163, 229, 317, 318, 411, 417, 446, 513.

Верзилина Аграфена Петровна (ок. 1820 — после 1891) — 317, 369, 514, 522.

Верзилина Мария Ивановна, урожд. Вишневецкая, по первому мужу Клингенберг (1798—1848) — 163, 229, 317, 344, 372, 510, 514, 522.

Верзилина Надежда Петровна (1826—1863) — 229, 317, 318, 328, 342, 343, 346, 369, 510, 514, 522.

Верзилина Эмилия Александровна — см. Шан-Гирей Э. А.

Верзилины — 55, 229, 234, 311, 317, 319, 325, 338, 351, 356, 357, 369, 424, 476, 509, 513, 514, 518.

Вертюков Иван Николаевич, конюх Лермонтова — 325.

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), мемуарист — 440.

Виельгорский Михаил Юрьевич (1788—1856), граф, музыкальный деятель, композитор, хозяин литературно-музыкального салона — 494, 496, 520.

Викторов Н. — см. Бурцев В. Л.

Винсон, учитель Лермонтова — 36, 71, 78, 420, 426.

Виньи Альфред (1797—1863), французский поэт — 48.

Висковатов Павел Александрович (1842—1905), биограф Лермонтова — 12, 13, 19, 28, 29, 116, 117, 167, 171—174, 245, 246, 411, 412, 415, 417—420, 425, 429, 442, 446, 455, 457, 461, 471, 475, 476, 480—481, 490, 495, 496, 503, 504, 508, 513, 515, 525, 526, 529, 531.

Вистенгоф Павел Федорович (около 1815 — после 1878) — 14, 17, 108—113, 440, **444—445**.

Витали Иван Петрович (1794—1855), скульптор — 469.

Витт Александр Осипович, граф — 166.

Витт (Витте) Иван Осипович (1781—1840), граф, генерал от кавалерии — 332.

Войнилович Казимир, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222, 472.

Волконская Мария Николаевна, урожд. Раевская (1805—1863) — 470.

Волконская Софья Григорьевна (1786—1868), жена министра двора П. М. Волконского, сестра декабриста С. Г. Волконского — 512.

- Вольтер* Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778) — 209, 468.
- Вольф* Николай Иванович (ум. 1831) — 261, 490.
- Вонлярлярский* Василий Александрович (1814—1852) — 41, 117, 136, 144, 145, 150, 403, 446, 453.
- Воронцов* Михаил Семенович (1782—1856), князь, генерал-губернатор Малороссии и наместник Бессарабской области — 234, 235.
- Воронцов* Семен Романович (1744—1832), граф — 493.
- Воронцов-Дашков* Иван Илларионович (1791—1897), граф — 275, 495.
- Вревский* Ипполит Александрович (ум. 1858) — 259, 261, 262, 490, 525.
- Времев* Тимофей Миронович (ум. 1825), отставной полковник — 221, 472.
- Вырыпаев* Петр Андреевич, литературовед — 425.
- Высоцкий*, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.
- Вяземский* Павел Петрович (1820—1888) — 270, 413, 414, 476, 492, 493.
- Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — 24, 26, 171, 256, 365—367, 396, 463, 480, 481, 485, 486, 493, 499, 502, 511, 519—521.
- Гегарин* Григорий Григорьевич (1810—1893), художник — 27, 28, 274, 495, 509.
- Гегарин* Иван Сергеевич (1814—1882), член «кружка шестнадцати» — 6, 24, 26, 254, 255, 304—307, 487, 505, 507.
- Галафеев* Аполлон Васильевич (1793—1853), генерал-лейтенант — 27, 457, 489, 490.
- Ган* Елена Андреевна (1814—1842), писательница — 433.
- Ган* Павел Васильевич (1793—1862), барон, сенатор — 235, 333, 522.
- Гасовский*, доктор в школе юнкеров — 121.
- Гастев* Михаил Степанович (1801—1883), профессор Московского университета — 110, 113.
- Гвоздев* Александр Александрович (ум. 1862), директор департамента министерства внутренних дел — 197.
- Гвоздев* Павел Александрович (1815—1851) — 21, 142, 143, 197, 198, 451, 452.
- Ге* Анна Петровна, урожд. Забелла — 498.
- Гегель* Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831), немецкий философ — 332, 512.
- Гедройц-Юрага*, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

- Гейне* Генрих (1797—1856) — 50, 270, 382.
- Геккерн* Людвиг де Беверваард (1791—1884), барон, голландский посланник в Петербурге с 1823 по 1837 г. — 396.
- Гелль* Адель Омер — 413, 414.
- Гельмерсен* Александр Петрович, полковник в школе юнкеров — 116.
- Генрих IV* (1553—1610), французский король — 199.
- Герздорф* Орест Федорович, ротмистр л.-гв. Гусарского полка — 166, 168.
- Геринг* Иоганн Христофор Эргард (1796 — после 1855), профессор Московского университета — 113.
- Герлах*, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870) — 8, 9, 11, 12, 17, 30, 103—107, 421, 443—446, 465, 466, 492, 502, 512, 524.
- Гершензон* Михаил Осипович (1869—1925), историк русской литературы — 467, 468.
- Герштейн* Эмма Григорьевна, литературовед — 9, 10, 24, 25, 412, 424, 460, 474, 486—488, 503, 506, 507, 527, 528, 533, 534.
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 43, 248, 422.
- Гизо* Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874), французский историк, политический деятель — 21, 467.
- Гиреев* Девлет Азаматович, литературовед — 423, 458, 460, 525.
- Глазунов* Иван Ильич (1826—1889), издатель сочинений Лермонтова — 164.
- Глазунов* Илья Иванович (ум. 1849), издатель сочинений Лермонтова — 432.
- Глебов* Михаил Павлович (1818—1847) — 205, 228, 231—235, 294, 300, 325, 327, 328, 333, 338—340, 344—347, 351, 355, 357, 359, 364, 365, 370—374, 450, 457, 473, 475, 476, 503, 523, 525.
- Глинка* Владимир Сергеевич (род. 1813), сын писателя С. Н. Глинка, офицер генерального штаба — 184, 210.
- Глинка* Михаил Иванович (1804—1857) — 116, 134, 275, 276, 446.
- Глинки* — 488.
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852) — 26, 52, 256, 257, 274, 275, 281, 304, 404, 471, 477, 478, 483, 488, 506, 511.
- Годеин* Павел Петрович (1785—1843), начальник школы юнкеров (до 1831 г.) — 120.
- Годеин* Петр Павлович, офицер л.-гв. Гусарского полка — 166, 459.
- Голенищева-Кутузова* А. М. — см. Хитрово А. М.

Голицын Александр Николаевич (1773—1844), князь, государственный деятель — 367.

Голицын Валериан Михайлович (1802—1859) — 210, 211, 469.

Голицын Владимир Сергеевич (1794—1861) — 230, 231, 327, 344, 365, 474—475, 520.

Голицын Михаил Николаевич (1796—1863), князь, камергер, писатель — 502.

Голицын Петр Михайлович (1738—1775), генерал-поручик — 366, 521.

Голицын Сергей Михайлович (1774—1859), попечитель Московского учебного округа — 106, 111.

Голицыны — 305.

Головачев Григорий Филиппович (1818—1880), историк — 431, 444.

Головин Иван Гаврилович (1816—1890), публицист — 432.

Головин Николай Гаврилович — 98, 442.

Головинны, соседи Лермонтова по Тарханам — 60.

Голомбиевский (Гоздаво-Голомбиевский) *Александр Александрович* (1863—1913), археолог, архивариус Государственного совета — 514.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849), помощник попечителя Московского учебного округа — 111, 113.

Гольцгоф Александр Федорович (1805—1870), офицер в школе юнкеров — 116.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель — 17, 440, 444—445.

Гончаров Иван Николаевич (1810—1881), брат Н. Н. Пушкиной — 169.

Гончарова Александра Николаевна, в замужестве Фризенгоф (1811 — ок. 1887), сестра Н. Н. Пушкиной — 494.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), князь, государственный деятель — 255, 487.

Готовский, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Граббе Павел Христофорович (1789—1875), генерал, командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории — 27, 267, 427, 491, 508, 516.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист — 313, 314, 508.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, профессор Московского университета — 247, 248.

Грау Карл Иванович, хозяин гостиницы — 212, 219, 223.

Грёссер Александр, адъютант вел. кн. Михаила Павловича — 127.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 20, 22, 38, 94, 129, 203, 206, 303, 306, 339, 363, 423, 441, 450, 463.

Гризар Альберт (1808—1869), французский композитор — 147.

Гродецкий, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 219, 220, 222.

Гроссман Леонид Петрович, литературовед — 428, 481.

Груша, цыганка-певица — 168.

Грушкин Александр Израилевич (ум. 1942), литературовед — 517.

Губер Эдуард Иванович (1814—1847), поэт-переводчик — 158, 456.

Гудим-Левкович Константин Иванович (1797—1852), эскадронный командир в школе юнкеров — 120.

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769—1859), немецкий ученый, естествоиспытатель — 298.

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — 131, 449.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт, военный писатель, герой Отечественной войны 1812 года — 390.

Давыдов Николай Гаврилович, помещик Пензенской губернии — 35, 36, 70, 426.

Давыдовы Гавриил Петрович и Мария Яковлевна — 426.

Дантес Жорж-Шарль (1812—1895), убийца Пушкина — 25, 183, 184, 188, 189, 284, 292, 376, 396, 462, 521, 524, 533.

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869), композитор — 276.

Дашенька С. — 94, 95, 441.

Двигубский Иван Алексеевич (1771—1839), ректор Московского университета (в 1826—1833 гг.) — 106.

Девитт, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), инженер-генерал-лейтенант, мемуарист — 27, 516, 532, 533.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831), поэт — 27.

Демут Елизавета Филипповна (1781—1837) — 486.

Державин Гавриил Романович (1743—1816) — 36.

Дидро (Дидерот) Дени (1713—1784), французский философ-энциклопедист — 209.

Дмитревский Иван Дмитриевич (1812—1842), поэт, ставропольский вице-губернатор — 228, 232, 235, 334—337, 344, 354, 355, 475, 513.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт — 36.

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866), поэт, критик — 26, 256.

Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович (1823—1883), художник — 281.

Долгорукий Александр Николаевич (1819—1842) — 118, 254, 369, 370, 459, 488, 507, 523.

Долгорукий Иван Михайлович (1764—1823), писатель — 433.

Долгорукий Сергей Васильевич, студент, член «кружка шестнадцати» — 255, 507.

Долгоруков Петр Владимирович (1816—1868) — 488, 507.

Дорохов Руфин Иванович (1806—1852) — 27, 261, 476, 527, 528.

Дризен Густав Егсрович, барон, офицер Уланского полка — 124.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — 6, 9, 10, 27, 380—391, 413, 492, 526—528.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба жандармского корпуса — 45, 192, 193, 204.

Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), критик и литератор, редактор второго издания сочинений Лермонтова — 39, 181, 243, 382, 384, 418, 428, 471, 475, 527.

Дьякова Варвара Александровна (1812—1866), сестра М. А. Бакунина — 477.

Дюма (отец) Александр (1803—1870), французский писатель — 286, 291, 421, 456, 498, 500.

Дядьковский Иустин Евдокимович (1784—1841) — профессор Московского университета — 7, 512.

Егоров Борис Федорович, литературовед — 483.

Екатерина II (1729—1796) — 28, 138, 139, 251, 282, 367, 468, 521.

Елагина Авдотья Петровна, урожд. Юшкова (1789—1877), хозяйка московского литературного салона — 257.

Елец Юлий Лукианович (1862—после 1908), ротмистр л.-гв. Гусарского полка, военный писатель — 23, 471, 535.

Елисеев — 472.

Ениколопов Иван Константинович, литературовед — 456.

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — 73, 427, 450, 467.

Ершов Иван Иванович, ротмистр л.-гв. Гусарского полка — 166.

Есаков Александр Д. — 27, 261, 262, 489, 490.

Ефремов Александр Павлович (1814—1876), студент Московского университета, приятель Белинского — 108.

Ефремов Петр Александрович (1830—1907), редактор нескольких изданий сочинений Лермонтова — 181, 183, 428, 449, 461—462.

- Жадимировская* — 225.
- Жако* — 426.
- Жандр* Андрей Андреевич (1789—1873), драматург — 45, 423.
- Жандро* Жан-Пьер Келлет (ум. 1829), учитель Лермонтова — 35, 36, 78, 420, 426, 429.
- Желиховская* Вера Петровна (1835—1896), писательница — 413, 433, 474.
- Жерве* Николай Андреевич (1808—1841), офицер, член «кружка шестнадцати» — 254, 368, 488, 507, 522.
- Живон де Руссо*, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.
- Жолмир*, унтер-офицер в школе юнкеров — 150.
- Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852), поэт — 24, 36, 47, 53, 78, 81, 171, 188, 245, 246, 287, 366, 396, 420, 423, 431, 458, 471, 479—481, 511, 521.
- Журавлев* Петр Николаевич, управляющий имением Тарханы — 68.
- Журавлева*, сестра П. Н. Журавлева — 68.
- Забелла* Александр Петрович — 497.
- Забелла* Варвара Федоровна — 278—280, 282—284, 497.
- Забелла* Иван Петрович (род. 1828) — 28, 278—285, 412, 497—498.
- Забелла* Надежда Ивановна (1868—1913) — 498.
- Забелла* Пармен Петрович (1830—1917) — 414, 497.
- Забелла* Петр Иванович (1807—1873) — 497.
- Заболоцкий* Петр Ефимович (1803—1866), художник — 476.
- Заборова* Роза Борисовна, литературовед — 495.
- Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852), писатель — 26, 81, 145, 147, 256, 430.
- Заливкин* — 228.
- Закревский* Андрей Дмитриевич (род. 1813) — 492.
- Запольская* Наталья Ивановна, знакомая Лермонтова — 280—283, 497.
- Захаржевский* Григорий Андреевич (1792—1845), генерал-лейтенант — 50.
- Захаров* Петр Захарович (1816—1852), художник — 457.
- Здобнов* Николай Васильевич (1888—1942), библиограф — 420.
- Зельмиц* А. К., полковник — 325, 342, 344.
- Зильберштейн* Илья Самойлович, литературовед — 13, 476.
- Зиновьев* Алексей Зиновьевич (1801—1884) — 16, 36, 76—79, 412, 427, 428, 429.

Зиновьев Василий Васильевич (1814—1888), юнкер — 149.
Злынин, управляющий в Тарханах в конце XVIII в. — 57, 58.
Золотницкий Петр Дмитриевич (1812—1872) — 305, 506.
Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), литератор — 471.
Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871), литератор — 472.
Зубов Валерьян Александрович (1771—1804), граф — 282.
Зубова Екатерина Александровна, урожд. Оболенская (1811—1843), графиня — 488.
Зубовы — 305.

Иван, дворовый человек юнкера Хомутова — 126.
Иван Яковлевич — 95, 96.
Иваненко Александр Михайлович — 305, 507.
Иванова Ленина Афанасьевна, литературовед — 525.
Иванова Наталья Федоровна, в замужестве Обрескова (1813—1875) — 17, 420, 421.
Иванова Татьяна Александровна, литературовед — 420, 423, 460.
Игельстром Константин Густавович (1799—1851) — 334, 512.
Ида — см. Мусина-Пушкина Ида.
Изабе Жан-Батист, французский художник (1767—1855), или его сын Эжен-Луи-Габриель (1804—1886) — 332.
Измайлов Николай Васильевич, литературовед — 23, 486, 494, 501, 507.
Ильин Федор Васильевич, полковник л.-гв. Гусарского полка — 166.
Ильяшевич, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222, 224.
Ильяшенков Василий Иванович, подполковник, комендант пятигорской крепости и окружной начальник — 311, 319—321.
Инзов Иван Никитич (1768—1845) — 467.
Иофанов Даниил Михайлович, литературовед — 439.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, юрист и публицист — 107, 443.
Кайсарова — 282.
Камынин, юнкер — 149.
Кандель Борис Львович, библиограф — 504.
Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ — 332, 512.
Каплан (Ланский) Леонид Рафаилович, литературовед — 414, 493.
Карамзин Андрей Николаевич (1814—1854) — 292, 494, 501, 511.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историк — 366, 499, 501.

Карамзина Екатерина Андреевна (1780—1851) — 499.

Карамзина Софья Николаевна (1802—1856) — 23, 24, 270, 276, 457, 463, 494, 511.

Карамзины — 23, 24, 46, 270—273, 276, 451, 457, 494—496, 499, 500, 501, 511, 520.

Капэ Иван, учитель Лермонтова — 34, 35, 70, 71, 156, 426, 429.

Карачинский Евграф, юнкер — 134.

Карл X (1757—1836), французский король — 449.

Каррель Арман (1800—1836), французский публицист — 21, 467.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), журналист, историк и критик, профессор Московского университета — 107.

Керн Анна Петровна (1800—1879) — 449.

Кетчер Николай Христофорович (1809—1886) — 207, 466.

Кикин Алексей Андреевич (род. 1772) — 508.

Киреева, бабушка С. А. Раевского — 395.

Кирхгоф Александра Филипповна — 496.

Кисловский, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Классен Людмила Владимировна — 448.

Классен Нина Владимировна — 448.

Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), флигель-адъютант, директор департамента военных поселений, дежурный генерал Главного штаба — 28, 162, 246, 478.

Клерон Иван Степанович (ум. 1852) — 116, 132, 133, 449.

Клинггенберг Эмилия Александровна — см. Шан-Гирей Э. А.

Клот, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Кнольт Екатерина Ивановна — 509.

Кноринг Владимир Иванович, штабс-ротмистр — 150.

Ковалевская Елена Александровна, искусствовед — 425.

Ковровцев, маркиз — 218.

Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт и переводчик — 36, 81, 502.

Козлянинов Григорий Федорович (1793 — после 1848), генерал — 490.

Колачевский, поэт — 431.

Колюбакин Николай Петрович (1811—1868) — 163, 284, 285, 457, 498.

Комарович Василий Леонидович (ум. 1942), литературовед — 437.

Компанейщиков, студент Московского университета — 108.

- Конради Ф.*, врач-бальнеолог — 229.
- Константин Павлович* (1779—1831), великий князь, брат Николая I — 218, 335.
- Корд* — 441.
- Корде Шарлотта* (1768—1793), убийца Марата — 287.
- Корнилов Александр Александрович* (1862—1925), историк — 477, 519.
- Корнилов Василий Александрович*, музейный работник — 425.
- Корсаков Александр* — 69—71, 426.
- Костенецкий Яков Иванович* (1811—1885) — 17, 27, 267, 440, 444, 491—492.
- Краевский Андрей Александрович* (1810—1889) — 28, 44, 53, 171, 207, 238—241, 243—245, 246, 302, 396, 412, 458, 478, 482, 490, 494, 495, 530.
- Краснокутский Николай Александрович* (1819—1891), офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка, участник Кавказской войны (с 1840 г.) — 23, 219, 220, 227, 472.
- Красов Василий Иванович* (1810—1854) — 108, 302, 413, 483, 504—505.
- Крейц Петр Киприянович* (1816—1894), граф, юнкер — 149.
- Кривошишин*, полковник Финляндского полка — 45.
- Кривцов Николай Иванович* (1791—1843), брат декабриста С. И. Кривцова — 211.
- Кривцов Сергей Иванович* (1802—1864) — 210, 211, 468.
- Кропотов Сергей*, юнкер, впоследствии офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222, 224.
- Крутовский Ф. А.*, генерал-майор — 528.
- Крылов Андриан Тимофеевич* (1813—1858), учитель русской словесности — 279.
- Крылов Иван Андреевич* (1769—1844) — 36.
- Кубарев Алексей Михайлович* (1796—1881) — профессор Московского университета — 113.
- Кугельман Франциска*, дочь Л. Кугельмана, друга Маркса и Энгельса — 504.
- Кузьминский Константин Станиславович*, литератор — 495.
- Кукушкин*, фельдшер в школе юнкеров — 121.
- Кулешов Василий Иванович*, литературовед — 481.
- Куликовский*, поручик — 317.
- Купер Фенимор* (1789—1851), американский писатель — 211, 243.
- Курбатов Петр Александрович*, директор Московского университетского пансиона — 81, 115, 431.

Курок — см. Шаховской И.

Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — 432, 462.

Кушинников, жандармский подполковник — 531.

Ладыженская Елизавета Александровна, урожд. Сушкова (1828 — после 1883), писательница — 412, 440, 442.

Ламартин Альфонс де (1791—1869), французский поэт, историк, политический деятель — 88.

Ламберт Иосиф Карлович (ум. 1879) — 166, 459.

Ламберт Карл Карлович (1815—1865) — 261, 489.

Ланской Петр Петрович (1799—1877), генерал-адъютант, муж Н. Н. Пушкиной-Гончаровой — 494.

Ларошфуко Франсуа де (1613—1680), герцог, французский писатель — 437.

Лауниц, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Лафа — см. Поливанов Н. И.

Левенталь Федор Иванович, казначей л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Левин Юрий Давыдович, литературовед — 512.

Левис (Левиз) Ансельм — 34, 156, 429.

Левит Теодор Маркович (1904—1943), литературовед — 16.

Левицкий Николай Михайлович — 146, 305, 507.

Лермонтов Михаил Юрьевич.

Ангел — 94, 441.

Арбенин — 14, 44, 423, 456.

Беглец — 14, 40, 155, 421.

Благодарность — 301, 505.

Благодарю — 90, 91, 441.

Бородино — 67, 172, 474, 480.

Боярин Орша — 14, 40, 67, 249, 421.

Бэла — 451, 482.

Вадим — 15, 422, 450.

Валерик — 17, 18, 141, 155, 370, 507, 516.

Вверху одна горит звезда — 433.

В день рождения Н. Н. — 446.

Весна — 97, 441, 450.

Ветка Палестины — 48, 204, 299, 464.

В игре, как лев, силен — 327.

Вид гор из степей Козлова — 23, 227, 383, 472, 527.

В минуту жизни трудную — 48, 283, 460, 511.

В простосердечии невежды — 511.

Герой нашего времени — 11, 12, 14, 21, 46, 52, 118, 128, 135, 138, 139, 141, 155, 216, 236, 237, 242, 248, 273, 285, 294, 300,

303, 305, 306, 330, 356, 361, 382—384, 400, 401, 424, 432,
437, 439, 446, 448, 451, 457, 466, 468, 471, 473, 482—483,
485, 487, 503, 504, 506, 518, 532—534.

Гошпиталь — 422.

Графиня Эмилия — 477.

Дары Терека — 155, 477.

Два брата — 40, 44, 516.

Два великана — 458.

Демон — 15, 17, 29, 39, 44, 46—49, 67, 133, 138, 139, 155,
170—174, 202, 249, 250, 276, 421, 423, 448, 449, 458—460,
479, 483—485, 516.

Договор — 249, 250, 483, 484.

Додо — 499.

Дума — 147, 372, 477.

Еврейская мелодия («Я видал иногда...») — 433.

Еврейская мелодия («Душа моя мрачна...») — 477.

Есть речи — значение — 240.

Журналист, читатель и писатель — 46, 423.

Завещание — 67.

Зови надежду сновиденьем — 97, 442.

Измаил-Бей — 40, 155.

Индианка — 36, 420.

И скучно и грустно — 352.

Итак, прощай! впервые этот звук — 102, 443.

Кавказ — 155.

Казачья колыбельная песня — 155, 249, 477.

Как часто, пестрою толпою окружен — 237, 238, 388, 477.

Кинжал — 155, 383, 527.

К Л. — (подражание Байрону) — 442, 515.

Княгиня Лиговская — 16, 44, 416, 423, 437, 438, 440, 459,
501, 516, 530.

Княжна Мери — 163, 208, 341, 466, 516, 534.

К Н. Н. («Ты не хотел! но скоро волю рока...») — 446.

Когда волнуется желтеющая нива — 45, 48.

Когда к тебе молвы рассказ — 99, 100.

Крест на скале — 499.

Кто б ни был ты, печальный мой сосед — 45.

Литвинка — 40.

Максим Максимыч — 504.

Маскарад — 14, 44, 46, 67, 158, 203, 423, 437, 456, 464, 530.

Menschen und Leidenschaften — 40.

Милый Глебов — 328.

Монго — 44, 78, 79, 131, 140, 167, 177, 181—183, 422, 429, 457.
Мцыри — 11, 26, 46, 66, 155, 205, 227, 256, 304, 439, 464, 472,
477.

Мы ждем тебя, спешу, Бухаров — 459.

Мы случайно сведены судьбою — 515.

На вздор и шалости ты хват — 446.

Над бездной адскою блуждая — 460.

Надежда Петровна — 342, 510.

На светские цепи — 49, 460.

На севере диком — 270, 493.

Не верь себе, мечтатель молодой — 477.

Не плачь, не плачь, мое дитя — 155.

Не чудно ль, что зовут вас Вера? — 447.

Нет, не тебя так пылко я люблю — 515.

Нет, я не требую вниманья — 433.

Нищий («У врат обители святой...») — 92, 441.

О, как мила твоя богиня! — 133, 449.

Она не гордой красотою — 515.

Опять, народные витии — 46, 398, 531.

Оставь напрасные заботы — 515.

Отчего — 460.

Отворите мне темницу (Узник) — 45.

Очарователен кавказский наш Монако — 317.

Памяти А. И. Одоевского — 22, 155, 477, 524.

Парус — 67.

Передо мной лежит листок — 100, 101, 442.

Перчатка — 77, 428.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова — 44, 62, 85, 164, 172,
173, 238, 248, 279, 297, 298, 432, 480.

Пир («Приди ко мне, любезный друг...») — 446.

Пленный рыцарь — 67.

Праздник в Петергофе — 137.

Пророк — 528.

Прости — 67.

Посвящение Н. Н. («Вот, друг, плоды моей небрежной
музы...») — 446.

Последнее новоселье — 53.

Послушай, вспомни обо мне — 422, 443.

Раскаянье — 67.

Ребенка милого рождение — 153, 454.

Родина — 300, 504.

Романс («Ты идешь на поле битвы...») — 432.

Романс («Хоть бегут по струнам моим звуки веселья...») — 433.

Русский немец белокурый — 23, 141, 213, 224, 227, 470.

Сашка — 15, 25, 422.

Свершилось! полно ожидать — 102, 443.

Свиданье — 155.

Сказка для детей — 382, 439.

Скинь бешмет свой, друг Мартыш — 329.

Смело в пире жизни надо — 329.

Смерть Поэта — 13, 19—21, 25, 26, 30, 44, 45, 140, 143, 158, 169, 184—193, 203, 204, 209, 238, 279, 288, 304, 331, 376, 395—397, 399, 413, 423, 451, 462—463, 466, 480, 494, 511, 522, 524, 531, 532.

Смотрите, как летит, отвагою пылая — 459.

Сон («В полдневный жар в долине Дагестана...») — 155, 314, 508, 509.

Соседка — 51.

Спеша на север из далека — 155.

Спор — 155, 206, 305, 427, 465, 507.

Стансы («Взгляни, как мой спокоен взор...») — 36, 98, 99, 442.

Станный человек — 17, 421.

Тамань — 21, 22, 451.

Тамара — 155.

Тамбовская казначейша — 44, 241, 299, 479, 480.

Три грации считались в древнем мире — 96, 441.

Три пальмы — 247.

Тучи — 141, 451, 477, 495.

Ты помнишь ли, как мы с тобою (Выстрел) — 85, 432.

Ужасная судьба отца и сына — 15.

Уланша — 41, 42, 132, 137, 177, 180, 422, 449, 528.

У ног других не забывал — 100.

Фаталист — 451.

Хаджи Абрек — 40, 43, 133, 139, 152, 155, 158, 179, 227, 279, 422, 432, 450, 459, 472.

Черноокой («Вблизи тебя до этих пор...») — 90, 441.

Штосс — 140, 291.

Юнкерская молитва — 137, 138, 449, 450.

Я верю, под одной звездой — 483, 499.

Я, мать божия, ныне с молитвою — 45, 48.

Я не люблю тебя — 433.

Я не хочу, чтоб свет узнал — 162.

Я сын страданья — 15.

Лермонтов Юрий Петрович (1787—1831) — 15, 16, 34, 59, 60, 62, 71, 77, 156.

Лермонтова Мария Михайловна, урожд. Арсеньева (1795—1817) — 15, 16, 34, 56, 58—60, 62, 64, 65, 76, 77, 127, 156, 418, 419, 448.

Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель — 507.

Лессаж (Лесаж) Ален-Рене (1668—1747), французский писатель — 219, 472.

Линдфорс Николай Федорович (1812—1848), офицер, переводчик, драматург — 183, 184, 186.

Лихарев Владимир Николаевич (1800—1840) — 27, 332, 333, 491, 512.

Лишен Андрей Федорович, офицер в школе юнкеров — 116.

Лобанов-Ростовский Михаил Борисович (1819—1858) — 24, 223, 252, 412, 485—486.

Лобанов-Ростовский, князь — 99.

Ломоносов Александр Григорьевич (ум. 1854), полковник л.-гв. Гусарского полка — 168, 169.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 36.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — 7, 8, 19, 25, 28, 155—164, 411, 423, 448, 455—457, 503.

Лопухин Александр Алексеевич (1839—1895) — 153, 154, 455.

Лопухин Александр Николаевич (1780—1834), отец В. А. Лопухиной — 36, 420.

Лопухин Алексей Александрович (1813—1872) — 36, 153, 154, 420, 433—436, 455, 506.

Лопухина Варвара Александровна, в замужестве Бахметева (1815—1851) — 15, 17, 18, 36, 38, 40, 44, 46, 47, 174, 354, 420, 433, 442, 506, 515—516.

Лопухина Екатерина Петровна, урожд. Верещагина — 420.

Лопухина Елена Дмитриевна — 455.

Лопухина Елизавета Александровна (род. 1809) — 36, 420.

Лопухина Мария Александровна (1802—1877) — 36, 420, 433, 479.

Лопухины — 36.

Лорер Дмитрий Иванович — 513.

Лорер Николай Иванович (1795—1873) — 27, 29, 229, 234, 330—340, 471, 473, 475, 486, 510—513.

Лотрек де Тулуз, граф, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Лужин Иван Дмитриевич (ум. 1868), флигель-адъютант — 270, 476.

Луи (Людовиг) Филипп (1773—1850), французский король — 366, 367, 521.

Любаша, цыганка-певница — 168.

Людовик XIV (1638—1715), французский король — 199.

Людовик XVIII (1755—1824), французский король — 221.

Лярский — см. Волялярьский В. А.

Ляцкий Евгений Александрович, редактор — 485.

Магденко Петр Иванович — 308—312, 507—508, 513.

Майдель Людвиг Ф. (1795—1846), художник — 423.

Майер — см. Мейер Н. В.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт — 249, 250.

Майский Федор Федорович, литературовед — 16, 23, 420, 430, 446, 457, 464, 515.

Макарова Елизавета Яковлевна — 498.

Маклакова Н. С., внучка Н. Ф. Ивановой — 17, 421.

Максютовы Николай и Петр, князья — 35, 426.

Малов Михаил Яковлевич (1790—1849) — 17, 40, 104—106, 113, 115, 208, 421, 443, 446, 466.

Мамацев Константин Христофорович (1817—1900) — 7, 27, 263—266, 490—491.

Мамонова — 297, 300.

Манзлов Николай Николаевич (1816 — после 1889) — 18, 148—152, 454.

Манзей Константин Николаевич (1821—1905) — 334, 512.

М. (Мансурова) — 210.

Мансырева, соседка Арсеньевых по Тарханам — 58, 59, 425.

Мария Николаевна (1819—1876), великая княжна — 274, 494.

Мария Павловна (1786—1859), герцогиня саксен-веймар-эйзенахская — 493.

Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884), писатель — 20, 375, 376, 378, 379, 521, 522, 524—526.

Маркс Карл (1818—1883) — 504.

Мартинов Михаил Соломонович (1814—1860) — 41.

Мартинов Николай Соломонович (1815—1875) — 18, 20, 29, 30, 55, 62, 170, 206, 228, 230—235, 239, 284, 285, 292, 294, 300, 303, 306, 312, 325, 329, 337—341, 343—346, 351, 354—357, 359—365, 368, 369, 372—375, 402—407, 411, 413, 417, 427, 451, 459, 465, 473—476, 486, 489, 498, 508, 510, 513, 517, 518—524, 532—535.

Мартинов Соломон Михайлович, откупщик — 363, 365.

Мартинова Наталья Соломоновна (род. 1819) — 234, 361, 474, 503, 518, 534.

Мартиновы, семейство — 459, 503, 534.

Мартиновы, сестры — 170.

- Мартьянов* Петр Кузьмич (1827—1899), писатель — 19, 165—174, 423, 450, 458—460, 508—510, 523.
- Мацнев*, офицер Кирасирского полка — 229.
- Медведев* Максим, камердинер М. А. Арсеньева — 59.
- Межевич* Василий Степанович (1814—1849) — 6, 16, 84—85, 431, 432.
- Мейер* (Майер) Николай Васильевич (1806—1846) — 21, 118, 208, 210, 330, 446, 466—467, 511, 525.
- Меликов* Моисей Егорович (род. 1818) — 13, 72—75, 426—427.
- Меликов* Павел Моисеевич (1777—1848), генерал-майор — 72, 427.
- Меньшиков* В. А., князь, офицер л.-гв. Гусарского полка — 164.
- Мердер* Надежда Ивановна (1839—1906), писательница — 413.
- Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — 85, 114, 115, 158, 445.
- Меринский* Александр Матвеевич (ум. 1873) — 6, 14, 18, 130—143, 149, 198, 411, 448—452, 453, 454, 456, 462, 471, 518.
- Мерлини* Екатерина Ивановна — 318.
- Мерлини* Станислав Демьянович, генерал-лейтенант — 318.
- Мерфельд*, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.
- Мещеринов* Афанасий Петрович — 73.
- Мещеринов* Владимир Петрович (1813—1868) — 73.
- Мещеринов* Петр Афанасьевич, подполковник л.-гв. Кирасирского полка — 73, 427.
- Мещеринов* Петр Петрович — 73.
- Мещеринова* Елизавета Петровна, урожд. Собакина — 73, 76.
- Мещериновы*, родственники Е. А. Арсеньевой — 72—74, 77, 429.
- Мещерская* Екатерина Николаевна, урожд. Карамзина (1806—1867) — 23, 464.
- Мещерский* Б. В. — 270.
- Мещерский* Петр Иванович (1802?—1876), подполковник гвардии в отставке — 494.
- Миклашевский* Андрей Михайлович (1814—1905) — 16, 18, 114—118, 445, 446.
- Миллер* Ольга Валентиновна, литературовед — 413.
- Мильс* Генри, полковник английской службы — 317.
- Мильтон* Джон (1608—1674), английский поэт — 428.
- Милютин* Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — 16, 80—83, 115, 430, 431, 446.
- Милютин* Николай Алексеевич (1818—1872) — 82, 115.
- Минаев* Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт — 503.
- Минье* Франсуа-Огюст-Мари (1796—1884), французский историк — 21, 467.

- Мирза-Шафи* (1805—1852), азербайджанский поэт — 502.
- Михаил Николаевич* (1832—1909), великий князь, сын Николая I — 163.
- Михаил Павлович* (1798—1848) — 19, 98, 99, 117, 135, 161—163, 167, 169, 173, 180, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 275, 283, 459, 460, 535.
- Михайлова* Анна Николаевна, литературовед — 412, 414, 423, 448, 460, 483, 496.
- Мицкевич* Адам (1798—1855) — 23, 227, 472.
- Мойсеев*, откупщик — 182, 183.
- Моллер*, юнкер, впоследствии офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222, 403.
- Молчанов* Н. — 512.
- Момбелли* (Момбели) Николай Александрович (1823—1902), пестрашевец — 471.
- Мордвинов* Александр Николаевич (1792—1869) — 203, 204, 464.
- Мордовченко* Николай Иванович (1904—1951), литературовед — 483.
- Морни* Шарль-Огюст (1811—1865), граф, сводный брат Наполеона III, французский политический деятель — 225.
- Москалев*, поручик — 263, 264.
- Мур* Томас (1779—1852) — 37, 85, 432.
- Муравьев* Александр Николаевич (1792—1863) — 463, 512.
- Муравьев* Андрей Николаевич (1806—1874) — 19, 171, 202—206, 346, 463—465.
- Муравьев* Михаил Николаевич (1796—1866) — 463.
- Муравьев* Николай Николаевич (1768—1840) — 332, 512.
- Муравьев-Карский* Николай Николаевич (1794—1866) — 463.
- Мусина-Пушкина* Екатерина Петровна, фрейлина — 225.
- Мусина-Пушкина* Ида — 228, 231, 234, 348.
- Мусина-Пушкина* Поликсена — 228, 348.
- Мусина-Пушкина* Эмилия Карловна (1810—1846) — 18, 236, 275, 477.
- Мягков* Гавриил Иванович, преподаватель Московского университетского пансиона — 115.
- Мятлев* Иван Петрович (1796—1844), поэт — 521.
- Нагель*, офицер в школе юнкеров — 116.
- Нагорничевский*, офицер Тенгинского пехотного полка — 309.
- Назимов* Михаил Александрович (1800—1888) — 27, 229, 261, 262, 370, 377—379, 412, 491, 525—526.
- Наполеон* (1769—1821), французский император — 103.
- Нарцов* А. Н. — 534.

- Нарышкин Иван Александрович*, владелец Тархан в XVIII в.—57.
- Нарышкин Эмануил Дмитриевич* (род. 1813), юнкер — 406, 407.
- Нарышкина Мария Антоновна*, урожд. Четвертинская (1779—1854), фаворитка Александра I — 406.
- Недумов Сергей Иванович* (1884—1963), литературовед — 418, 525, 530.
- Нейман Борис Владимирович*, литературовед — 488.
- Некрасов Николай Алексеевич* (1821—1877) — 469, 502.
- Нессельроде Карл Васильевич* (1780—1862), граф, министр иностранных дел — 25.
- Нестеров* — 146.
- Нечаева Вера Степановна*, литературовед — 476, 510.
- Нечкина Милица Васильевна*, академик, историк — 510, 512.
- Николай I* (1796—1855) — 5, 6, 8, 27, 29, 30, 62, 82, 83, 103, 106, 135, 160, 185, 188, 192, 193, 198, 225, 235, 248, 268, 288, 340, 359, 372, 397—401, 411, 413, 457, 459—460, 464—466, 476, 489, 493, 506, 508, 519, 522, 524, 526, 530—534.
- Николай Николаевич* (1831—1891), великий князь, сын Николая I — 163.
- Новиков*, юнкер — 122.
- Новосильцев Ардалион Николасвич* (1816—1879), кавалергард — 159, 225.
- Нольман Михаил Лазаревич*, литературовед — 528.
- Ноодт*, штабной врач на Кавказе — 300.
- Норман*, врач в Пятигорске — 229.
- Обер Даниэль-Франсуа* (1782—1871), французский композитор — 459.
- Оболенская Варвара Александровна* — 506.
- Оболенская Екатерина Васильевна* — см. Потапова Е. В.
- Оболенская Наталья Васильевна* (1827—1892), жена Ал. Н. Карамзина — 270, 493.
- Оболенская Софья Васильевна* (1822—1891), жена Б. В. Мещерского — 270, 493.
- Оболенские* — 305, 506.
- Оболенский Александр Петрович* (1782—1855) — 506.
- Оболенский Андрей Александрович* (1814—после 1851), студент Московского университета — 106.
- Оболенский Василий Иванович* (1790—1847), профессор Московского университета — 113.
- Обресков Дмитрий Николаевич*, сын Н. Ф. Обресковой-Ивановой — 421.

Обресков Николай Михайлович (1802—1866), муж Н. Ф. Ивановой — 421.

Обрескова Наталья Николаевна, дочь Н. Ф. Обресковой-Ивановой — 421.

Обрескова Наталья Федоровна — см. *Иванова* Н. Ф.

Обухов — 47.

Обыденная — 354, 516.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 465—467, 492.

Одоевская Ольга Степановна (1797—1872), жена В. Ф. Одоевского — 246.

Одоевский Александр Иванович (1802—1839) — 22, 155, 339, 377, 451, 467, 524.

Одоевский Владимир Федорович (1804—1869), писатель, философ и музыкант, хозяин литературного салона — 24, 46, 53, 171, 172, 188, 238, 239, 243, 396, 424, 459, 460, 479, 480, 494, 520.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816), драматург — 35.

Озерская Сашенька — 318.

Озерские — 318.

Озерский — 318.

Озобишин Дмитрий Петрович (1804—1877), поэт — 517.

Оксман Юлиан Григорьевич, литературовед — 16, 23, 412, 414, 432—443, 469—477.

Олебуль (Оле-Буль), скрипач — 349.

Олсуфьев Павел Александрович (1819—1844) — 294—296, 300, 503.

Опочинин Федор Петрович (1779—1852) — 462.

Опочинина Дарья Михайловна, урожд. Голенищева-Кутузова (1788—1854) — 462.

Опочинины — 185, 462.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842), декабрист, генерал-майор — 26, 256, 488.

Орлов, студент Московского университета — 106.

Орлова, урожд. Мусина-Пушкина, жена казачьего генерала — 228, 348.

Павел, пятигорский священник — 345, 346, 355.

Павел I (1754—1801) — 103, 486, 488.

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), инспектор Московского университетского пансиона, профессор Московского университета — 81, 84, 107, 115, 431.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель — 26, 257, 304, 488.

Павлова Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса — 26, 257, 304, 489.

Павловский Александр Михайлович (1800—1867), инспектор классов в школе юнкеров — 116.

Пален, убийца Павла I — 486.

Палицын Степан Михайлович (1806 — ум. в 80-е годы) — 467.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — 14, 23, 25, 28, 207, 238—244, 411, 458, 478—479, 483.

Паначева (Головачева) Авдотья Яковлевна (1819—1893), писательница — 479.

Панин Виктор Никитич (1801—1874), граф, помощник попечителя Московского учебного округа — 111—113.

Пантелеев Николай Николаевич, юнкер — 122.

Панчулидзе Сергей Алексеевич (ум. 1917), историк Кавалергардского полка — 534.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856), князь — 333.

Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), литератор, историк и этнограф, участник кружка Герцена — 512.

Пахомов Николай Павлович, искусствовед — 13, 28, 424, 425, 453.

Пашков Михаил Васильевич, ротмистр л.-гв. Гусарского полка — 166.

Пестель Александр Иванович — 98, 99, 442.

Пестель Павел Иванович (1793—1826), руководитель Южного общества декабристов — 104, 442.

Петр, слуга Н. А. Краснокутского — 220.

Петр I (1672—1725) — 61, 103.

Пименов Николай Степанович (1812—1864), скульптор — 469.

Пименова Екатерина Егоровна (1816 — ум. после 1855), балерина — 167, 182.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), хирург — 107.

Писарев Александр Александрович (1780—1848), попечитель Московского университета — 431.

Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881), писатель — 117.

Плаксин Василий Тимофеевич (1796—1869), преподаватель русской словесности в школе юнкеров — 152, 454.

Платонов Борис Елисеевич, литературовед — 25.

Плаутин Николай Федорович (1794—1866), генерал-майор, командир л.-гв. Гусарского полка (в 1839—1843 гг.) — 166.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865), поэт, друг Пушкина, ректор Петербургского университета — 24, 171, 241.

Плетнев, студент Московского университета — 108.

Победоносцев Петр Васильевич (1771—1843), профессор Московского университета — 109, 110, 113.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), писатель, публицист, историк — 26, 256, 488, 506.

Пожогин-Отрашкевич Михаил А., двоюродный брат Лермонтова по отцовской линии — 69—71, 156, 426.

Пожогин-Отрашкевич Николай А., двоюродный брат Лермонтова по отцовской линии — 426.

Пожогина-Отрашкевич Авдотья Петровна, сестра Ю. П. Лермонтова — 426.

Полеводин Петр Тимофеевич (?) — 356—358, 517.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, писатель, историк — 420, 490.

Полевые Владимир и Никтополион, сыновья Н. А. Полевого — 279, 280, 497.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт — 103.

Поливанов Николай Иванович (1814—1874) — 42, 150, 422, 443.

Поливанов, штабс-ротмистр л.-гв. Гродненского гусарского полка — 220.

Поликсена — см. Мусина-Пушкина Поликсена.

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт — 502.

Поль де Кок (1794—1871), французский писатель — 181.

Понятовский, адъютант вел. кн. Михаила Павловича — 167.

Попов — 488.

Попов Андрей Васильевич, литературовед — 22, 456, 471.

Попов Павел Сергеевич, литературовед — 414, 493.

Потапов Александр Львович (1818—1886), генерал от кавалерии — 224.

Потапова Екатерина Васильевна, урожд. Оболенская (1820—1871), жена А. Л. Потапова — 270, 305, 493.

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), государственный деятель, фаворит Екатерины II — 367, 521.

Потто Василий Александрович (1836—1912), генерал-лейтенант, военный историк — 263—266, 457, 491.

Похвиснев Глеб Петрович — 425.

Прасковья Петровна, бабушка Е. А. Сушковой — 101.

Прокопенко Леонид Иванович, литературовед — 473.

Прокопович Феофан (1681—1736) — 505.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1764—1848), профессор (с 1790 г.) и ректор (1818—1826) Московского университета — 81.

Прянишникова М. А. — 319.

Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — 57, 58, 521.

Пулята Николай Васильевич (1802—1877) — 365, 520.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)—9, 11, 17, 19, 20, 23—26, 29, 30, 36, 43—46, 81, 88, 96, 114, 128, 129, 131, 140, 147, 155, 158, 160, 169, 178, 180, 183, 185, 187—192, 202, 203, 205, 206, 209, 238, 243, 248, 249, 251, 254, 274, 275, 277, 279, 284, 285, 287—290, 299, 300, 303, 304, 306, 309, 327, 331, 339, 358, 360, 363, 365, 366, 369, 375, 376, 380, 381, 389, 391, 395—397, 406, 423, 440—442, 445, 449, 459, 462—463, 468, 470, 471, 472, 480, 484—486, 493, 494, 496, 501—503, 506, 511, 513, 515, 518, 520, 521, 524, 527, 529—531.

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852)—27, 228, 261, 327, 328, 334, 343, 354, 358, 510, 516.

Пушкина Ида — см. *Мусина-Пушкина* Ида.

Пушкина Наталья Николаевна (1812—1863) — 169, 190, 271—273, 494.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы — 281, 428, 480, 481.

Р. — 304, 506.

Раевский Николай Николаевич, младший (1801—1843) — 334, 470, 512, 516.

Раевский Николай Павлович (ум. 1889), офицер, служивший на Кавказе — 315—329, 474—475, 509.

Раевский Святослав Афанасьевич (1808—1876)—6, 12, 13, 20, 44, 45, 53, 395—398, 412, 416—419, 423, 462, 479, 480, 529—531.

Раич Семен Егорович (1792—1855), поэт, переводчик, журналист, преподаватель Московского университетского пансиона — 16, 84, 431, 463, 520.

Рачинский, граф, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Ребров Алексей Федорович (1776—1862), помещик — 369.

Редкин Петр Григорьевич (1808 — после 1855), профессор Московского университета — 256.

Рейсер Соломон Абрамович, литературовед — 460.

Рейфман П. С. — 495.

Ремер Кристина (Христина) Осиповна, няня Лермонтова — 34, 156, 419.

Ржевский Владимир Константинович (1811—1885) — 519.

Риземан, полковник — 221.

Рикер (Рикар) Антуан (1799—1841), французский писатель — 181.

Рихтер — 228.

Роборовский П., переводчик — 501.

- Рожер* Карл Христофорович, врач в Пятигорске — 229.
- Рожнов* Евгений Петрович, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223, 224.
- Розен*, барон — 360, 518.
- Розен* Дмитрий Григорьевич (1815 — после 1885) — 147, 304, 453, 506.
- Розенгейм* Михаил, студент Московского университета — 106.
- Россет* (Россетти) Клементий Осипович (1811—1866) — 304, 305, 506.
- Россильон* Лев Васильевич (ум. 1883) — 261, 490.
- Ростопчина* Евдокия Петровна, урожд. Сушкова (1811—1858) — 14, 18, 23—25, 28, 38, 117, 156, 157, 198, 258, 286—292, 297, 411, 412, 421, 433, 438, 456, 483, 484, 498—501, 504.
- Ротру* Жан де (1609—1650), французский драматург — 423, 531.
- Руссо* Жан-Жак (1712—1778) — 96, 441.
- Рыбкин* Н. — 69, 426.
- Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826), поэт-декабрист — 22, 81, 104, 147.
- Сабуров* Михаил Иванович (род. 1813) — 117, 446.
- Савинов* Алексей Николаевич, искусствовед — 28, 495.
- Сакулин* Павел Никитич (1868—1930), историк русской литературы — 422.
- Салтановы*, помещики — 514.
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (1826—1889) — 8, 439.
- Самарин* Юрий Федорович (1819—1876) — 24, 26, 256, 303—307, 488, 505—507.
- Сандунов* Николай Николаевич (1769—1832), профессор Московского университета — 115.
- Саникидзе* Христофор, помощник камердинера Лермонтова — 325.
- Сатин* Николай Михайлович (1814—1873) — 10, 21, 207—211, 443, 465—469, 479, 481.
- Свербеев* Дмитрий Николаевич (1799—1876) — 304, 488.
- Свербеева* Екатерина Александровна, урожд. кн. Щербатова (1809—1892), хозяйка московского литературного салона — 257, 304, 488.
- Светлов* Иван Аркадьевич, инспектор Московского университетского пансиона — 81.
- Свиньин* Павел Петрович (1788—1839), литератор, журналист — 156.

- Селегей Павел Евдокимович*, литературовед — 510.
- Семевский Михаил Иванович* (1837—1892), историк, публицист, издатель журнала «Русская старина» — 181, 183, 411, 438, 523.
- Семенов Леонид Петрович* (1886—1959), литературовед — 456.
- Семенюта*, воспитанник Московского университетского пансиона — 81.
- Сенковский Осип Иванович* (1800—1858), писатель, журналист, ориенталист — 43, 179, 450.
- Сесилия Федоровна*, воспитательница Лермонтова — 60.
- Сиверс Егор* (ум. 1833), юнкер — 150.
- Сигал Нина Александровна*, литературовед — 503.
- Сидери Ангелий Георгиевич* — 509—510.
- Сидери Леонид Ангелиевич* (род. 1843) — 510.
- Синицын Афанасий Иванович* (ум. 1848) — 175—189, 191, 461.
- Скаррон Поль* (1610—1660), французский писатель — 461.
- Скотт Вальтер* (1771—1832), английский писатель — 37, 81, 139, 211, 242, 243, 248, 430, 479.
- Слащев Евгений Евгеньевич*, литературовед — 30.
- Слепцов Николай Павлович* (1815—1851) — 259.
- Смирдин Александр Филиппович* (1795—1857), книгопродавец, издатель — 139, 156, 274, 450.
- Смирнов Николай Михайлович* (1808—1870) — 511.
- Смирнова Александра Осиповна*, урожд. Россет (1809—1882) — 24, 46, 330, 471, 510, 511.
- Смирнова Софья Николаевна*, в замужестве Трубецкая (род. 1836), дочь А. О. Смирновой — 225.
- Смолянинов Александр Павлович* (род. 1821) — 359—361, 517—518.
- Смысловский Дмитрий* — 523.
- Соболевский Сергей Александрович* (1803—1870) — 24.
- Соколов Андрей Иванович* (1795—1875), дядька, камердинер Лермонтова — 43, 45, 325, 328, 422.
- Соколов Илья*, руководитель цыганского хора — 168.
- Соколовский Владимир Игнатьевич* (1808—1839), поэт — 207.
- Соллогуб Владимир Александрович* (1814—1882) — 23, 28, 171, 274—277, 473, 474, 481, 494—496, 515.
- Соллогуб Софья Михайловна*, урожд. Виельгорская (1820—1878) — 412, 495, 515.
- Соломирская Мария Петровна*, урожд. гр. Апраксина (1811—1859) — 172, 459, 460.
- Сперанский Михаил Михайлович* (1772—1839), граф, государственный деятель — 469, 487.
- Стааль фон Гольштейн Александр Карлович* (ум. 1875) — 221.

Стааль фон Гольштейн Софья Николаевна, урожд. Шатилова (1814—1893) — 213, 221, 227, 470, 472.

Стамболи Ирина Петровна, литературовед — 464.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — 108, 483, 505.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), историк искусства, археолог, музыкальный критик — 20.

Стахович Александр Александрович (1831—1913), мемуарист — 26.

Стеша, цыганка-певица — 168.

Столыпин (Монго) Алексей Аркадьевич (1816—1858) — 28, 43, 49, 50, 56, 131, 142, 147, 160, 161, 164, 165, 167, 170, 182, 228, 232—235, 255, 261, 270, 309—312, 319—328, 333—345, 368, 370, 372, 374, 423, 448, 453, 457, 458, 473—476, 492, 507, 508, 513, 523.

Столыпин Алексей Григорьевич (ок. 1805—1847), штабс-ротмистр, впоследствии полковник л.-гв. Гусарского полка — 166, 167, 204, 464.

Столыпин Алексей Афанасьевич (род. 1832), двоюродный дядя Лермонтова — 62.

Столыпин Афанасий Алексеевич (1788—1866), брат Е. А. Арсеньевой — 62.

Столыпин Дмитрий Алексеевич (1785—1826) — 440.

Столыпин Дмитрий Аркадьевич (1818—1893) — 27, 47, 165—174, 423, 448, 458—460, 523.

Столыпин Николай Алексеевич (1781—1830), брат Е. А. Арсеньевой — 38, 94, 441.

Столыпин Николай Аркадьевич (1814—1884), двоюродный дядя Лермонтова, камер-юнкер, чиновник министерства иностранных дел — 53, 184, 190, 191, 396, 465, 531.

Столыпина Анна Григорьевна (1815—1892) — 127, 448.

Столыпина Екатерина Аркадьевна (Апраксеевна), урожд. Апенкова (1791—1853), владелица Средникова — 440, 447.

Столыпина Наталья Алексеевна (ум. 1851), вдова крисг-штаб-мейстера Г. Д. Столыпина — 127.

Столыпины, родственники Лермонтова по материнской линии — 62, 77.

Строев Владимир Михайлович (1812—1862), журналист, переводчик — 431.

Строев Сергей Михайлович (1815—1840), студент Московского университета — 84, 85, 108.

Стройновская Екатерина, дочь генерала Бутковича — 472.

Стройновская Ольга Валериановна (1825—1853) — 472.

Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, попечитель Московского учебного округа (в 1835—1847 гг.) — 519.

Стромилов Семен Иванович, поэт — 431.

Стунеев Алексей Степанович, полковник в школе юнкеров — 116, 134, 138, 149, 150, 446.

Судаков Михаил, крепостной А. И. Арнольдн — 232.

Сушков Александр, отец Е. А. Сушковой — 101, 432.

Сушков Дмитрий Петрович (1817—1877), писатель — 433.

Сушков Николай Васильевич (1796—1871), литератор — 433, 440.

Сушков Петр Васильевич (1783—1855) — 86, 440.

Сушков Сергей Петрович (1816—1893) — 499.

Сушкова А. П., урожд. Долгорукова (ум. 1828), мать Е. А. Сушковой — 432.

Сушкова (Хвостова) Екатерина Александровна (1812—1868) — 6, 16, 37, 38, 85—102, 164, 181, 198, 287, 288, 369, 411—414, 421, 427, 428, 429, 432, 433, 434—443, 448, 501, 523.

Сушкова Прасковья Михайловна — 94, 98.

Талейран Шарль-Морис (1754—1838), французский дипломат — 48.

Тарле Евгений Викторович (1875—1955), историк — 533.

Терновский Петр Матвеевич (1798—1874), профессор Московского университета — 113.

Тизенгаузен Дарья Федоровна, в замужестве Фикельмон (1804—1863), дочь Е. М. Хитрово — 253.

Тизенгаузен Петр Павлович (род. 1815), граф, юнкер, участник Кавказской войны — 144, 159, 222, 225.

Тимм Василий Федорович (1820—1893), художник, издатель «Русского художественного листка» — 233, 234.

Тиран Александр Францевич (1815—1865) — 7, 15, 228, 234, 252, 333, 339, 473, 486, 535.

Тиран Франц Иванович — 487.

Тихонич, повар Е. А. Арсеньевой — 197, 198.

Токвиль Алексис (1805—1859), граф, французский политический деятель — 21, 467.

Толстой Алексей Константинович (1817—1875), поэт, драматург — 502.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 27, 458.

Толь — 456.

Топорнин, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 223.

Травье Шарль, французский художник — 422.

Траскин Александр Семенович, полковник — 230, 319, 339, 489, 516.

Трубецкой Александр Васильевич, князь — 225.

Трубецкой Андрей Васильевич (1824—1881), князь — 225.

Трубецкой Сергей Васильевич (1814—1859), князь — 55, 159, 225, 228, 230, 233, 235, 261, 304, 324, 327, 329, 334, 343, 344, 370, 374, 457, 476, 489, 506.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845), брат декабриста Н. И. Тургенева, литератор, археограф — 23, 26, 256, 487, 488, 512, 521.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 7, 14, 23, 107, 236, 443, 476—478, 495, 502.

Турнер В. С. — 68.

Туровский Николай Федорович — 29, 348—352, 413, 514—515.

Туровский Федор Иванович — 514.

Тьер Адольф (1797—1877), французский историк, публицист, государственный деятель — 146, 147.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — 502.

Уваров Александр, юнкер — 406.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф, министр народного просвещения (в 1833—1849 гг.) — 78, 80, 162.

Уман, комендант в Пятигорске — 228.

Унковская, племянница Н. И. Запольской, возможно, сестра юнкера Николая Унковского — 280, 281.

Ушаков, гвардейский дивизионный начальник — 159.

Ушаков, старший фельдшер в школе юнкеров — 121.

Фадеев Ростислав Андреевич (1824—1883), военный писатель — 433.

Фадеева Н. А. — 440.

Фее, братья — 94.

Фикельмон Дарья Федоровна — см. Тизенгаузен Д. Ф.

Фикельмон Карл Людвиг, граф, с 1829 по 1840 г. австрийский посол в Петербурге — 192.

Филарет (1782—1867), московский митрополит — 463.

Филиппов С. — 413.

Филипсон Григорий Иванович (1809—1883) — 21, 210, 466, 468.

Философов Алексей Илларионович — 127, 172, 448, 460.

Фитингоф Иван Андреевич (1797—1871), полковник — 228.

Фома Кемпийский (1380—1471) — 330, 511.

Фрейтаг Роберт Карлович (1802—1851), командир Куринского полка, участник Кавказской войны — 332, 333.

Френзель, поставщик лосины в школу юнкеров — 125.

Фридерикс Дмитрий Петрович (ум. 1844), барон, член «кружка шестнадцати» — 254, 507.

Фридрих II (1740—1786), прусский король — 468.

Фуке Фридрих де ла Мотт (1777—1843), немецкий писатель — 47, 423.

Халецкий Иван Альбертович, ротмистр л.-гв. Гродненского гусарского полка — 221, 222.

Хастатов Еким (Аким) Екимович (Акимович), племянник Е. А. Арсеньевой — 159.

Хастатова Екатерина Алексеевна, урожд. Столыпина (род. 1775 — ум. 30-е годы XIX в.), сестра Е. А. Арсеньевой — 416.

Хвостов А. В. (ум. 1861) — 438.

Хвостов, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 159.

Химшеев, князь, офицер в школе юнкеров — 116.

Хитрово — 97, 99.

Хитрово Анна Михайловна (1788—1854) — 192, 193, 462.

Хитрово Елизавета Михайловна (1783—1839) — 24, 253, 277, 462, 485.

Хомутов Леонид Николаевич, юнкер — 126, 148.

Хомутов Михаил Григорьевич (1795—1864), генерал, командир л.-гв. Гусарского полка — 161, 166—168, 188, 340.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт и публицист славянофильского направления — 26, 202, 304, 463, 488.

Хомякова Екатерина Михайловна (1817—1852), жена А. С. Хомякова — 257.

Хохряков Владимир Харлампиевич (1828—1916), пензенский учитель, собиратель материалов о Лермонтове — 12.

Храбровицкий Александр Вениаминович, литературовед — 426.

Хунгер, поставщик лошадей в школу юнкеров — 125.

Хюгель Карл — 440.

Царицыха, казачка — 21.

Цейдлер Иван Богданович (1780—1853) — 469.

Цейдлер Михаил Иванович (1816—1892) — 21, 23, 141, 149, 202, 212—216, 222, 224, 227, 414, 448, 451, 454, 469—471, 472, 535.

Цигенгайт Герхард, немецкий литературовед — 11.

Чаадаев (Чадаев) Петр Яковлевич (1794—1856), философ, друг Пушкина — 24, 26, 488.

Чавчавадзе, князя — 49.

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — 438.

Чарыков А. — 27, 258—260, 488—489.

Череповы Андрей Леонтьевич и Александр Леонтьевич, юнкера, впоследствии офицеры л.-гв. Гусарского полка — 144.

Черков, юнкер — 122.

Чернышев Александр Иванович (1785—1857), князь — 268.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 504.

Черткова Елизавета Григорьевна (1805—1858), жена археолога А. Д. Черткова, сестра декабриста З. Г. Чернышева — 257.

Чиляев Василий Иванович (1798—1873) — 315, 317, 328, 509—510.

Чириков — 502, 503.

Шамиль [ок. 1798—1871], вождь горцев Дагестана и Чечни — 508.

Шан-Гирей Аким Павлович (1818—1883) — 6, 13, 14, 15, 17—19, 23, 25, 28, 29, 33—56, 317, 411, 412, 416—424, 427, 429, 437, 440, 458, 476, 513.

Шан-Гирей Евгения Акимовна (1856—1943) — 417, 514.

Шан-Гирей Мария Акимовна, мать А. П. Шан-Гирея — 34, 77, 416.

Шан-Гирей Павел Петрович (ум. 1869), отец А. П. Шан-Гирея — 77, 427.

Шан-Гирей Эмилия Александровна, урожд. Клингенберг (1815—1891) — 29, 55, 118, 229, 316—318, 341—347, 369, 411, 412, 417, 446, 475, 476, 509, 513—514, 522, 524.

Шатилов Николай Александрович — 221, 472.

Шаховской Иосиф, князь, юнкер, по прозвищу Курок — 131, 133, 150, 177, 449, 461.

Шаховская, княгиня — 236.

Шведе Роберт Константинович (1806—1871), художник, двоюродный брат М. И. Цейдлера — 56, 232, 233, 332, 424, 476, 511.

Швембергер Виктор Александрович — 30.

Шевич Егор Иванович, ротмистр л.-гв. Гусарского полка — 166.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), поэт, критик, профессор Московского университета — 506.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 425, 466.

Шенгелидзе И. П., воспитанник Московского университетского пансиона — 81.

Шенье Андре (1762—1794), французский поэт — 50, 440.

Шепелев Петр Амплиевич (1737—1828) — 367, 521.

Шигорин Николай Иванович, с 1832 г. корнет Конной гвардии — 122.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 77, 172, 287, 428, 455.

Шиман Теодор (1847—1921), немецкий историк — 533.

Шипов, адъютант вел. кн. Михаила Павловича — 127.

Шлиппенбах (Шлипенбах) Константин Антонович (1796—1859), начальник школы юнкеров, генерал-майор — 116, 120, 134, 188, 407.

Шостакович Сергей Владимирович, литературовед — 531.

Штакельберг Константин, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Штакельберг Эдуард, офицер л.-гв. Гродненского гусарского полка — 222.

Шубин Михаил Николаевич — 79, 429.

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), редактор журнала «Исторический вестник» — 496.

Шувалов Андрей Павлович (1816—1876) — 236, 237, 255, 477.

Шувалов Сергей Васильевич, литературовед — 412.

Шугаев Петр Кириллович (1855—1917) — 15, 57—68, 424—425.

Шульц Мориц Христианович (1806—1888) — 313, 314, 413, 508—509.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), историк, литературовед — 412, 414, 491, 510.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 26, 488.

Щербатов Дмитрий Алексеевич (ум. после 1853), ротмистр л.-гв. Гусарского полка — 166.

Щербатова Мария Алексеевна, урожд. Штерич, во втором браке Лутковская (ок. 1820—1879) — 18, 25, 49, 172, 359, 449, 459, 460, 488, 511, 518.

Щетинин А. Н., сосед Е. А. Арсеньевой по Тарханам — 64.

Эдельберг, мастер, изготовлявший каски для юнкеров — 125.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), литературовед — 24, 25, 486, 498.

Энгельгардт Василий Васильевич (1814—1868), сын друга Пушкина В. В. Энгельгардта, юнкер, с 1836 г. офицер л.-гв. Гусарского полка — 144.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — 504.

Эргардт Б. Ф. — 413.

Эрстед Ханс Христиан (1777—1851), датский физик — 298.

Эссен Антон Антонович, командир л.-гв. Гродненского гусарского полка (до 1838 г.) — 219—221, 223.

Юрьев Николай Дмитриевич, юнкер, родственник Лермонтова — 43, 139, 177—179, 181, 185—201, 462.

Юрьевы, братья — 35, 426.

Юсупова, княгиня — 270, 493.

Яворский Стефан (1658—1722) — 505.

Языков Михаил Александрович (1811—1885), член кружка Белинского, литератор — 239.

Яковлев Ефим, крепостной Е. А. Арсеньевой — 65.

Якубович Дмитрий Петрович (1897—1940), литературовед — 430.

Якубович Лукьян Андреевич (1805—1839), поэт — 431.

Янжул — 489.

Яшвиль, князь — 487, 523.

Яшин Михаил Иванович, литературовед — 533.

Carpet — см. Капэ.

Gindrot — см. Жандро.

Sterich — см. Щербатова М. А.

Winson — см. Винсон.

Ziegegeist G. — см. Цигенгайт.

**СПИСОК МЕМУАРОВ, ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ И ПИСЕМ
СОВРЕМЕННИКОВ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ¹**

(Составила О. В. Миллер)

А(лександров)ская, Письмо г-жи А—ской из Пятигорска, — «Нива», 1885, № 20, стр. 475.

Арканников О., О пребывании М. Ю. Лермонтова в Тамани. — «Русский архив», 1891, кн. 3, № 12, стр. 575.

Арсеньева Е. А., Письма к П. А. Крюковой. — «Литературное наследство», т. 45—46, М. 1948, стр. 646—651.

Баратынский Е. А., Письмо к Н. Л. Баратынской (1839). — В кн.: *Баратынский Е. А.*, Сочинения, М. 1869, стр. 422—423.

* *Б(артенев) П.*, (Николай I о Лермонтове). — «Русский архив», 1911, № 9, стр. 159—160.

Бельгард В. А., Автобиографические воспоминания, ч. 2. — «Русская старина», 1899, т. 97, № 2, стр. 427—428; также: — *Ениколопов И. К.*, Лермонтов на Кавказе, Тбилиси, 1940, стр. 120—121.

Бетлинг, Письмо г. Бетлинга из Ардатова. — «Нива», 1885, № 20, стр. 475.

Блудова А. Д., Воспоминания и записки графини А. Д. Блудовой. — «Заря», 1871, № 3, стр. 30; то же. — «Вестник Европы», 1890, кн. 5, стр. 293—294; «Русский архив», 1889, № 1.

¹ Звездочкой отмечены мемуарные свидетельства, использованные в примечаниях к настоящему изданию.

* *Васильчиков А. И.*, Воспоминания А. И. Васильчикова о дуэли Лермонтова в пересказе П. А. Висковатова. — *Висковатов*, стр. 304.

* *Веневитинова А. М.* (Воспоминания А. М. Веневитиновой в пересказе П. А. Висковатова). — *Висковатов*, стр. 378.

Верещагина Е. А., Письма к А. М. Хюгель (Верещагиной). — В статьях: И. Л. Андроников, Рукописи из Фельдафинга; И. А. Гладыш, Т. Г. Динесман, Архив А. М. Верещагиной. — Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26, М. 1963, стр. 5—33, 36—62.

Волкова В., Воспоминания в передаче А. И. Никольского. — В кн.: Ираклий Андроников, Лермонтов. Исследования и находки, М. 1964, стр. 21.

Вульф А. Н., Дневники. (Любовный быт пушкинской эпохи), «Федерация», М. 1929, стр. 382—383.

Гайзенер Е., Отзыв современника о Лермонтове. — «Вестник Европы», 1914, № 3, стр. 390—393.

Голицын Н. Н., Похороны Лермонтова. — В кн.: Хвостова Е. А., Записки. 1812—1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова, изд. 2-е, СПб. 1870, стр. 249—251.

* *Гончаров И. А.*, Из университетских воспоминаний. Как нас учили 50 лет назад. — «Вестник Европы», 1887, кн. 4, стр. 489—517; то же. — Гончаров И. А., Собр. соч. в восьми томах, т. 8, М. 1954, стр. 228—229.

* *Дельвиг А. И.*, Полвека русской жизни, т. I, «Academia», М.—Л. 1930, стр. 304—305, 307, 320.

Дроздов И. И., Записки кавказца. — «Русский архив», 1896, кн. 3, № 10, стр. 213—274.

Елагин А. А., Из письма Алексею Андреевичу Елагину. — В кн.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», Соцгиз, М. 1939, стр. 66.

Захарьин И. Н. (Якунин), Встречи и воспоминания. Из литературного и военного мира, СПб. 1903, стр. 8—19.

Инсарский В. А., Из записок. — «Русский архив», 1873, № 4, стрлб. 527—528; то же. — В. А. Инсарский, Записки, ч. I и II, СПб. 1898, стр. 21—22.

Карамзины, Письма к А. Н. Карамзину. — В кн.: «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов», М.—Л. 1960, Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом),

стр. 20, 25—27, 34, 37, 174—175, 182, 303, 333, 346, 348, 354, 363, 370, 380, 386, 387, 395, 398.

Катков Меф. Никиф., Из письма к Мих. Никифоровичу Каткову. — В кн.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы», Соцэкгиз, М. 1939, стр. 67.

* *Кикин А. А.*, Письмо к дочери Марии Алексеевне Бабной, 2 авг. 1841 года. Село Воробьево. — «Русская старина», 1896, № 2, стр. 316.

(Козубский С.), К биографии Лермонтова. Рассказ кавказского штабс-капитана. Сообщил С. Козубский. — «Русский архив», 1893, № 11, стр. 380.

* *Краевский А. А.* (Воспоминания А. А. Краевского в пересказе П. А. Висковатова). — Висковатов, стр. 368—369, 375—376.

Ладыженская Е. А., Замечания на «Воспоминания Екатерины Александровны Хвостовой». — «Русский вестник», 1872, т. 97, № 2, стр. 637—662.

Лишин А. Ф., Воспоминания Андрея Федоровича Лишина (1830—1831). — «Русская старина», 1890, т. 65, № 3, стр. 740—741.

* *Лопухина Е. Д.* (Воспоминания Е. Д. Лопухиной в пересказе П. А. Висковатова). — Висковатов, стр. 56—57.

Любомирский К., Письмо из Ставрополя в Одессу К. Н. и В. Н. Смольяниновым. — «Литературный критик», 1939, № 10—11, стр. 250—251.

Майдель Е. И. (Воспоминания Е. И. Майделя в пересказе П. К. Мартынова). — В кн.: *Мартынов П. К.*, Дела и люди века, т. 2, СПб. 1893, стр. 152—154.

Майский Ф. Ф., М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — В кн.: «М. Ю. Лермонтов. Сб. статей и материалов», Ставрополь, 1960, стр. 123—164.

Мещерский А. В., Из моей старины. Воспоминания князя А. В. Мещерского. — «Русский архив», 1900, № 9, стр. 71—84.

* *Молчанов Н.*, Письмо к В. В. Пассеку. — «Литературное наследство», т. 45—46, М. 1948, стр. 715—716.

* *Назимов М. А.* (Воспоминания в пересказе П. А. Висковатова). — Висковатов, стр. 303—304.

Негрескул В., Рассказ штабс-капитана Н. о Лермонтове. — «Московские ведомости», 1853, № 71, 13 июня, стр. 729.

Огарева-Тучкова Н. А., Воспоминания, Гослитиздат, 1959, стр. 227—228.

(*Омэр де Гелль А.*), Лермонтов и г-жа Гомер де Гелль в 1840 году. — «Русский архив», 1887, ч. 3, кн. 9, стр. 129—142; то же. — Омэр де Гелль, Письма и записки. Ред., вступ. статья и примеч. М. М. Чистяковой, «Academia», М.—Л. 1933.

* *Панаева (Головачева) А. Я.*, Воспоминания. — «Исторический вестник», 1889, кн. 2, стр. 291—333; то же. — *Панаева (Головачева) А. Я.*, Воспоминания, ГИХЛ, 1948, стр. 93.

Пирожков, Письмо доктора Пирожкова из Ярославля. — «Нива», 1885, № 20, стр. 474—475.

Полевой А., Литературные воспоминания старика, изд. газ. «Южная копейка», Кнев, 1911, стр. 8—14.

* *Раевский Н. П.*, Рассказ о дуэли Лермонтова. Записано В. Желиховской. — «Нива», 1885, № 7, стр. 166—170; № 8, стр. 186—190.

* *Раевский С. А.* (Воспоминания С. А. Раевского в пересказе П. А. Висковатова). — *Висковатов*, стр. 18—19.

Саникидзе Хр., Рассказ свидетеля дуэли Лермонтова (В передаче Б. Ф. Эргардта). — «Кавказ», 1891, № 185; то же. — «Исторический вестник», 1895, кн. 2, стр. 599—604; то же. — *Ениколов И. К.*, Лермонтов на Кавказе, Тбилиси, 1940, стр. 122—126.

* *Сидери Л. А.*, Сообщение отставного полковника Леонида Ангелевича Сидери о кончине М. Ю. Лермонтова. — В кн.: *Щеголев П. Е.*, Книга о Лермонтове, вып. 2, «Прибой», 1929, стр. 218—219.

Смирнов Н. М., Из памятных заметок. — «Русский архив», 1882, кн. I, стр. 239—241.

Смирнова А. О., Записки. Лермонтов — Лист — Глинка. — «Северный вестник», 1894, кн. 7, стр. 85—98; кн. 10, стр. 124—133.

Смирнова-Россет А. О., Автобиография. (Неизданные материалы). Подгот. к печати Л. В. Крестова. С предисл. Д. Д. Благого, «Мир», М. 1931, стр. 213, 247—248.

Смысловский В., Воспоминание о пребывании М. Ю. Лермонтова в Орловской губернии. Историческая справка В. Смыслового, Орел, 1909.

* *Соллогуб В. А.* (Воспоминания В. А. Соллогуба в пересказе П. А. Висковатова). — *Висковатов*, стр. 338.

* *Соллогуб С. М.* (Воспоминания С. М. Соллогуб в пересказе П. А. Висковатова). — *Висковатов*, стр. 326—327.

Столыпин А., Середниково. (Из семейной хроники). — «Столица и усадьба», 1914, № 1, стр. 2—4.

Струговицков А. Н., Михаил Иванович Глинка. Воспоминания. — «Русская старина», 1874, № 4, стр. 670—725.

* Сушков С. П., Биографический очерк. — В кн.: Ростопчина Е. П., Сочинения, т. I, СПб. 1890, стр. XIV.

Тиран А. Ф., Воспоминания о Лермонтове. — «Звезда», 1936, № 5, стр. 183—186.

* Тургенев А. И., Из дневника. — «Литературное наследство», т. 45—46, М. 1948, стр. 419—420.

Филиппов С., Лермонтов на кавказских водах. (Рассказ современника). — «Русская мысль», 1890, № 12, стр. 68—86.

{Философова А. Г.}, Из записной книжки «Русского архива». — «Русский архив», 1893, № 10, стр. 256.

Шан-Гирей Э., Воспоминания о Лермонтове. — «Исторический вестник», 1881, т. 6, № 10, стр. 448—450; то же. — «Новое время», 1881, № 1983.

Шан-Гирей Э., Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове. — «Нива», 1885, № 27, стр. 643—647.

Шан-Гирей Э., Еще о Лермонтове. — «Русский архив», 1887, кн. 3, № 11, стр. 438.

Шан-Гирей Э., Ответ г. Филиппову на статью, помещенную в журнале «Русская мысль», декабрь 1890 года. — «Русское обозрение», 1891, № 4, стр. 707—712; то же. — «Север», 1891, № 12, стр. 745—748.

Из писем к издателю «Русского архива». — «Русский архив», 1893, кн. 9, стр. 125.

Обстоятельства, при которых Лермонтов написал «Колыбельную песню». — «Петербургская газета», 1886, 6 марта, № 63.

{Тарханские крестьяне о приезде Лермонтова в Тарханы в 1837 г.}. Среди газет и журналов. — «Новое время», 1881, № 1991, 13 сентября.

* {Тарханские старожилы о Лермонтове}, — Висковатов, стр. 15.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

М. Ю. Лермонтов. *Автопортрет. 1837—1838.*

Е. А. Сушкова-Хвостова. *Миниатюра на кости неизвестного художника.*

А. П. Шан-Гирей. *Фотография.*

В. А. Лопухина. *Портрет работы М. Ю. Лермонтова.*

А. А. Столыпин (Монго). *Портрет работы М. Ю. Лермонтова, 1841.*

С. А. Раевский. *Портрет работы М. Ю. Лермонтова, 1836.*

А. А. Краевский. *Портрет художника К. Турчанинова. 1845.*

В. Г. Белинский. *Портрет художника К. Горбунова. 1843.*

Э. А. Клингенберг и Н. П. Верзилина. *Портрет художника Г. Гагарина.*

А. И. Васильчиков. *Портрет художника Г. Гагарина.*

Докладная записка А. Х. Бенкендорфа Николаю I о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта» и резолюция Николая I. Автограф.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. И. Гиллельсон и В. А. Мануйлов. Лермонтов в воспоминаниях современников</i>	5
---	----------

ЛЕРМОНТОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

<i>А. П. Шан-Гирей. М. Ю. Лермонтов.</i>	33
<i>П. К. Шугаев. Из колыбели замечательных людей.</i>	57
<i>А. Корсаков. Заметка о Лермонтове.</i>	69
<i>М. Е. Меликов. Заметки и воспоминания художника-живописца.</i>	72
<i>А. Э. Зиновьев. Воспоминания о Лермонтове.</i>	76
<i>Д. А. Милютин. Из воспоминаний.</i>	80
<i>В. С. Межевич. Из статьи о стихотворениях Лермонтова.</i>	84
<i>Е. А. Сушкова. 1830-й год. Глава из записок</i>	86
<i>А. И. Герцен. Из книги «Былое и думы».</i>	103
<i>П. Ф. Вистенгоф. Из моих воспоминаний.</i>	108
<i>А. М. Миклашевский. Михаил Юрьевич Лермонтов в заметках его товарища.</i>	114
<i>И. В. Анненков. Несколько слов о старой Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. 1831-й год</i>	119
<i>В. И. Анненкова. Из воспоминаний.</i>	127
<i>А. М. Меринский. М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе, ...</i>	130
<i>Воспоминание о Лермонтове.</i>	135
<i>В. В. Боборыкин. Три встречи с М. Ю. Лермонтовым.</i>	144
<i>Н. Н. Манвелов. Воспоминания, относящиеся к рисункам тетради М. Ю. Лермонтова.</i>	148
<i>А. А. Лопухин. Письмо к А. А. Бильдерлингу, ...</i>	153
<i>✓ М. Н. Лонгинов. Заметки о Лермонтове, ...</i>	155

Д. А. Столыпин и А. В. Васильев. Воспоминания (В пересказе П. К. Мартыанова).	165
В. П. Бурнашев. Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников.	175
А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами.	202
Н. М. Сатин. Отрывки из воспоминаний.	207
М. И. Цейдлер. На Кавказе в 30-х годах.	212
А. И. Арнольди. Из записок.	217
И. С. Тургенев. Из литературных и житейских воспоминаний.	236
И. И. Панаев. Из литературных воспоминаний.	238
А. А. Краевский. Воспоминания (В пересказе П. А. Висковатова).	245
В. Г. Белинский. Выдержки из писем	247
Из рецензии на «Героя нашего времени».	250
М. Б. Лобанов-Ростовский. Из записок.	252
К. В. Браницкий. Из предисловия к книге «Славянские нации».	254
С. Т. Аксаков. Из «Истории моего знакомства с Гоголем».	256
А. Чарыков. К воспоминаниям о М. Ю. Лермонтове.	258
А. Д. Есаков. Михаил Юрьевич Лермонтов.	261
К. Х. Мамацев. Из воспоминаний (В пересказе В. А. Потто)	263
Я. И. Костенецкий. Из воспоминаний.	267
П. П. Вяземский. Из воспоминаний.	270
А. П. Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская.	271
В. А. Соллогуб. Из воспоминаний.	274
И. П. Забелла. Из моих воспоминаний.	278
Е. П. Ростопчина. Из письма к Александру Дюма.	286
Фр. Боденштедт. Из послесловия к переводу стихотворений Лермонтова	293
Воспоминания из моей жизни	300
В. И. Красов. Из письма к А. А. Краевскому	302
Ю. Ф. Самарин. Из дневника.	303
Из писем к И. С. Гагарину.	305
П. И. Магденко. Воспоминания о Лермонтове.	308
М. Х. Шульц. Воспоминания о М. Ю. Лермонтове (В пересказе Г. К. Градовского).	313
В. И. Чилев и Н. П. Раевский. Из воспоминаний (В пересказе П. К. Мартыанова).	315
Н. И. Лорер. Из «Записок декабриста»	330
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове.	341
Н. Ф. Туровский. Из дневника поездки по России в 1841 году.	348
Е. Г. Быховец. Из письма.	353
Полеводин. Из письма.	356
А. П. Смольянинов. Из дневника.	359

<i>Т. А. Бакунина.</i> Из письма к Н. А. Бакунину	362
<i>А. Я. Булгаков.</i> Из дневника.	363
Из письма к П. А. Вяземскому.	365
<i>П. А. Вяземский.</i> Из письма к А. Я. Булгакову.	366
Из «Записной книжки»	366
<i>А. И. Васильчиков.</i> Письмо к Ю. К. Арсеньеву	368
Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым	369
Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича	375
<i>М. А. Назимов.</i> Письмо редактору газеты «Голос».	378
<i>А. В. Дружинин.</i> Из статьи «Сочинения Лермонтова».	380

Приложения

<i>С. А. Раевский.</i> Объяснение губернского секретаря Раевского, о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина.	395
<i>А. Х. Бенкендорф.</i> Докладная записка о стихотворении Лермон- това «Смерть Поэта» с резолюцией Николая I.	399
<i>Николай I.</i> Из письма к императрице от 12/24 июня 1840 г. . .	400
<i>Н. С. Мартынов.</i> Отрывки из автобиографических записок. . .	402
Моя исповедь.	404
Примечания	409
Указатель имен	536
Список мемуаров, дневниковых записей и писем современников о М. Ю. Лермонтове, не вклю- ченных в настоящее издание	574
Список иллюстраций.	579

Лермонтов
в воспоминаниях современников

Редактор *Е. Жезлова*
Художественный редактор *С. Данилов*
Технический редактор *А. Трошин*
Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 5/III 1964 г.
Подписано в печать 5/X 1964 г.
Бумага 84×108¹/₂—18,25 печ. л.=29,93 усл.
печ. л. 30,029+11 вклеск=30,58 уч.-изд. л.
Тираж 75 000. Заказ № 200. Цена 1 р. 46 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
«Главполиграфпрома»
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати.
Измайловский проспект, 29.

